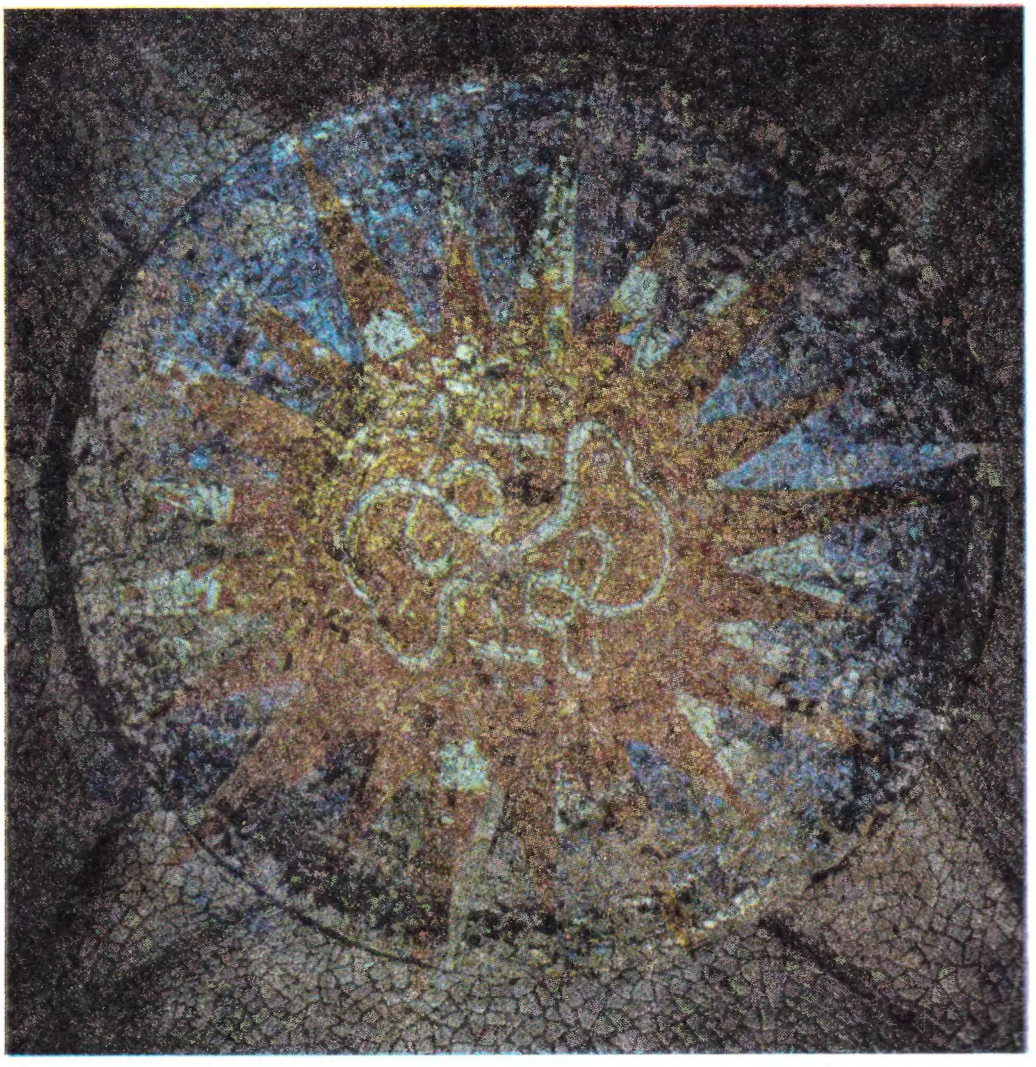
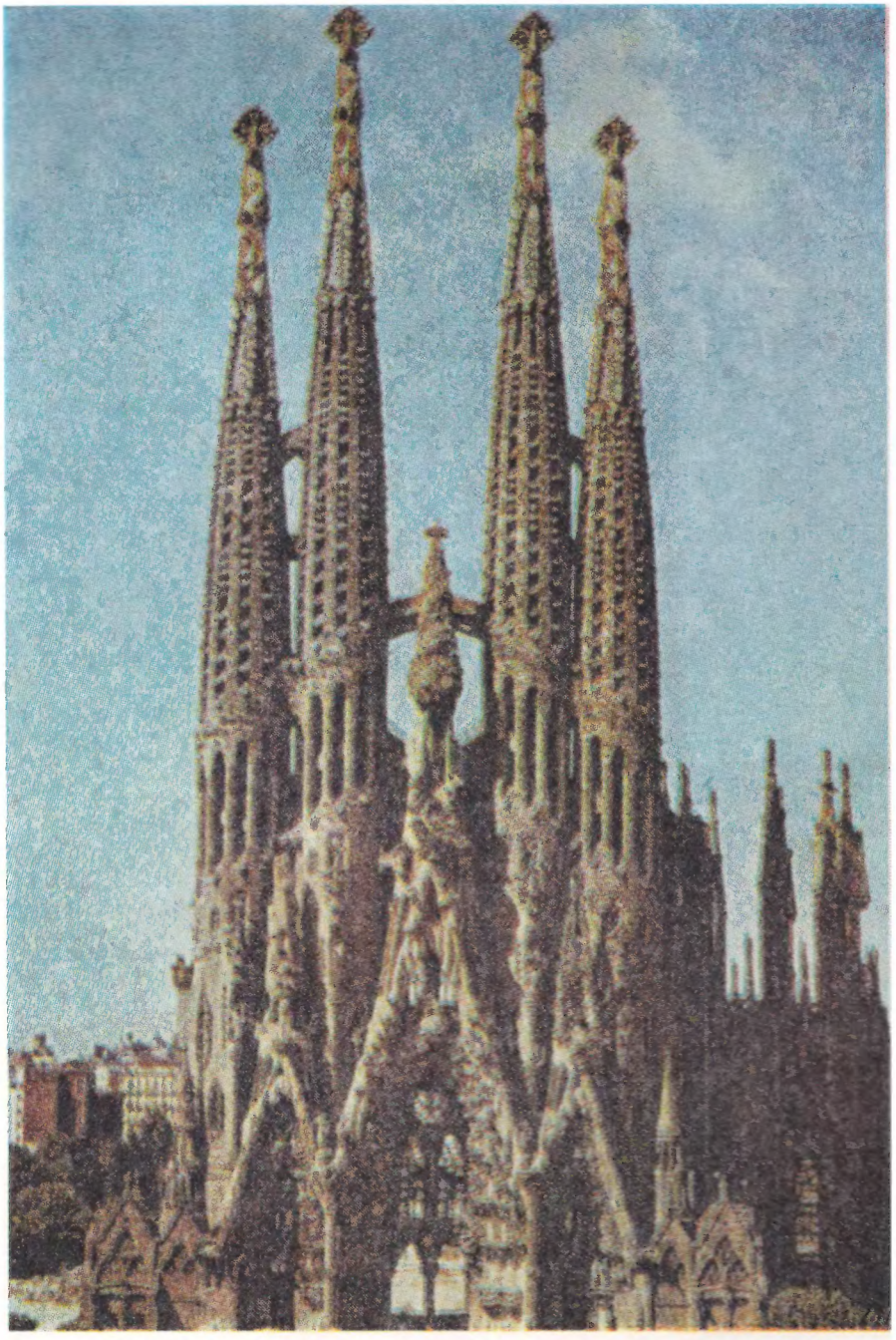
ISSN 0130 – 6545

3. 1990

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА





Собор Святого семейства в Барселоне.

На 1-й и 4-й страницах обложки — Декоративный плафон (при участии Х. Хухоля). Эль Капричо в Сантандере.

Цветные иллюстрации номера — работы испанского архитектора Антонио Гауди

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ»
МОСКВА

Международный
общественный совет
журнала «Иностранная литература»:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ (СССР)

Главный редактор — председатель Совета

ЖОРЖИ АМАДУ (Бразилия)
ЭРИК БАЗЕН (Франция)
КРИСТА ВОЛЬФ (ГДР)
ГРЭМ ГРИН (Великобритания)
ТОНИНО ГУЭРРА (Италия)
МИГЕЛЬ ДЕЛИБЕС (Испания)
ЭРНЕСТО КАРДЕНАЛЬ (Никарагуа)
ЗИГФРИД ЛЕНЦ (ФРГ)
АРТУР МИЛЛЕР (США)
АНАНТА МУРТИ (Индия)
КЭНДЗАБУРО ОЭ (Япония)
ЙОРДАН РАДИЧКОВ (Болгария)
СВЯТОСЛАВ РЕРИХ (Индия)
НГУГИ ВА ТХИОНГО (Кения)
РОБЕРТО ФЕРНАНДЕС РЕТАМАР (Куба)
СЕМБЕН УСМАН (Сенегал)
МАКС ФРИШ (Швейцария)
УМБЕРТО ЭКО (Италия)

Редакционная
коллегия:

С. С. АВЕРИНЦЕВ
А. М. АДАМОВИЧ
Н. А. АНАСТАСЬЕВ
Первый заместитель
главного редактора
О. С. ВАСИЛЬЕВ
Заместитель главного
редактора
Л. Н. ВАСИЛЬЕВА
Т. П. ГРИГОРЬЕВА
Я. Н. ЗАСУРСКИЙ
А. М. ЗВЕРЕВ
И. Ф. ЗОРИНА
Т. П. КАРПОВА
Т. В. ЛАНИНА
Т. Л. МОТЫЛЕВА
В. Ф. ОГНЕВ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
В. С. ПЕРЕХВАТОВ
Р. И. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
А. Н. СЛОВЕСНЫЙ
Ответственный секретарь
К. А. ЧУГУНОВ
Заместитель главного
редактора

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» МОСКВА

3 март 1990

СОДЕРЖАНИЕ

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР — Падающая башня (*Повесть. Вступление А. Зверева. Перевод с английского Л. Беспаловой*) 5

Мальтийские сонеты
(*Вступление и перевод с мальтийского Е. Витковского*) 47

ДЖЕЙМС КАРР — Месяц в деревне (*Повесть. Перевод с английского А. Николаевской*) 57

ЙОРДАН РАДИЧКОВ — Образ и подобие (*Хроника. Перевод с болгарского Н. Глен*) 112

Из классики XX века

АНТОНИО МАЧАДО — Стихи (*Вступление Б. Дубина. Перевод с испанского Н. Ванханен, Б. Дубина, В. Андреева*) 148

Критика

ДЖЕК ФЛЕТЧЕР — Вьетнам и Афганистан: жизнь и литература (*Перевод с английского И. Дорониной*) 157

ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН — Джордж Оруэлл — беглец из лагеря победителей 167

Читальный зал

Борхес и Кортасар: эпизод духовной жизни XX века
(*Вступление, составление и перевод с испанского И. Петровского*) 177

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС — Страшный сон 179

ХУЛИО КОРТАСАР — Страшные сны 185

Публицистика

ФРАНТИШЕК ЯНОУХ — Нет, я не сожалею... (Малая мозаика периода «нормализации») *(Перевод с чешского Ады Кольман. Вступительное слово А. Сахарова и Е. Боннэр)* 189

АКИО МОРИТА при участии Эдвина Рейнгольда и Митико Симомура — Сделано в Японии: Акио Морита и «Сони» *(Фрагменты книги. Перевод с английского Б. Никольского)* 223

К нашим иллюстрациям

Л. Дьяков — Антонио Гауди 248

Советская литература за рубежом 166

Курьер «ИЛ» 250

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1990

Художественный редактор Е. Н. Черняев
Технический редактор Е. П. Поляков

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая, д. 41, телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР», Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 09.01.1990. Подписано в печать 28.03.1990. Формат 70×108 1/16. Печать высокая, бумага книжно-журнальная. Усл. печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 27,15.

Тираж 360 000 экз. (1-й завод: 1—290 000 экз.). Зак. 236. Цена 1 р. 80 к.

Отпечатано с матриц типографии ордена Ленина комбината печати издательства «Радянська Україна», Киев-6, ул. Анри Барбюса, 51/2 в ордена Трудового Красного Знамени типографии «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР

Падающая башня

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского Л. БЕСПАЛОВОЙ

Начало нашему знакомству с Кэтрин Энн Портер (1890—1980) положили повесть «Бледный конь, бледный всадник» и сборник рассказов «Полуденное вино»: повесть была напечатана в «ИЛ» (1979, № 1), а сборник вышел в библиотеке «ИЛ» шесть лет спустя. Совсем недавно советские читатели получили наконец возможность познакомиться с «Кораблем дураков» (1963), единственным романом американской писательницы, который стал главным делом ее жизни.

Теперь, когда путь Портер завершен, все написанное ею до этого романа невольно воспринимается как подготовительные этюды к ее большой книге. Бывают художники, целиком посвящающие себя единственной творческой задаче,— так Александр Иванов двадцать лет работал над «Явлением Христа народу», создав многие десятки набросков и эскизов. Портер тоже была из таких художников, однако никто не назовет ее создателем всего лишь одного, пусть выдающегося произведения. Ее новеллы и повести по праву войдут в любую, даже строжайшим образом отобранную антологию шедевров американской малой прозы XX столетия. К «Падающей башне» сказанное относится в первую очередь.

Эта повесть, опубликованная без малого полвека тому назад, в 1944 году, и сегодня воспринимается не как литературный факт ушедшей эпохи, а как произведение без всяких натяжек актуальное, ничуть не утратившее своей аналитичности, когда исторические обстоятельства переменились, кажется, необратимо. Такое бывает в литературе очень редко. Особенно в той, которая прямо и нескрываемо связана со злобой дня.

Время действия в повести — сочельник 1931 года; ровно через год к власти придут нацисты. Но пока еще почти никто не осознал приближения такой развязки. И кажется всего лишь капризом вкуса распространившаяся мода, как у одержимого политикана, который надрывает глотку перед микрофоном. И будничность еще монотонна до полной безликости.

Покачивается мертвой зыбью полуголодная, хмурая жизнь с изнурительными повседневными заботами, когда приходится считать каждый пфенниг. Уныние, смешанное с постоянным раздражением из-за неустройств, придавливает германскую столицу, словно тяжелое зимнее облако, набухшее снегом.

Рассказанная Портер история более чем заурядна. Фабула практически отсутствует, усилия автора отданы другому — необходимо донести атмосферу, обволакивающую героев.

Искусство Портер всегда отличалось неожиданностью и емкостью метафор-лейтмотивов, к самому действию как будто не имеющих прямого отношения. Они появляются и в «Падающей башне» уже на вступительных страницах. Присмотритесь к описанию витрин: изобилие свинины — парной, копченой, жареной, под маринадом — и вообще великое множество свинок, сделанных из сахара и крема, из плюша, бархата, ситца, из дерева и железа. «Экстаз свинопоклонничества». И резким перебивом — безлюдье в этих роскошных магазинах. Изможденные лица прохожих, остановившихся взглянуть на недоступные им пиры плоти, выражение жадности, восторга, жестокости, просачивающееся в пустых, измученных глазах. А следующим «кадром» — заплывшие жиром лица самодовольных бюргеров, которые тоже задержались перед витринами, выгуливая своих перекормленных псов по улицам, где метет ледяной поземкой да расхаживают прозябшие тощие проститутки...

В европейской литературе межвоенного времени есть несколько запоминающихся образов Берлина: у Набокова в «Даре», у Фаллады в знаменитом романе «Маленький человек, что же дальше?», у Дёблина в построенной по принципам киномонтажа книге «Берлин, Александерплац». Образ, созданный Портер, резко выделяется и на этом богатом фоне. Анонимность, обезличенность, убийственная механическая размеренность берлинского быта со всеми его уродливыми аномалиями схвачены и переданы всего двумя-тремя штрихами, зато настолько выразительными, что каж-

© Перевод с английского, издательство «Радуга», 1990.

дый заключает в себе не только контрастную гамму оттенков, позволяющих почти физически ощутить изображаемый город, а становится метафорой бытия, заполнившегося чем-то тревожным и зловещим, хотя нам показывают всего лишь вязкие, скучные будни.

В прозе Портер важна намеренная недовыраженность: не все сказано до конца, оставлен простор читательскому воображению. Все неоднозначно, начиная с метафоры, вынесенной в заглавие. Можно ее истолковать как символ цивилизации, опасно накренившейся и с минуты на минуту грозящей рухнуть. Однако это лишь объективный вывод, вовсе не навязываемый повествованием. В нем нет прямых подсказок, есть только дешевый сувенир, копия Пизанской башни, олицетворяющая для фрау Розы мещанское счастье. Оно теперь стало только воспоминанием, скрашивающим тягостную обыденность, зато и оберегается эта подделка как сокровище — неистово, самозабвенно.

С этим воспоминанием для фрау Розы связан образ сытой, не ведающей ни лишений, ни униженности жизни тогда, до катастрофы 1918 года, повлекшей за собой инфляцию, голод, нищету. И легко себе представить, чем фрау Роза и тысячи таких же, как она, пожертвуют даже за призрачную возможность эту жизнь вернуть, положив предел бесконечным бытовым трудностям. Легко вообразить, остановят ли их в подобном случае заботы о добродетели или принципы добропорядочности, когда-то считавшиеся непререкаемыми и в этой социальной среде.

«Не забывайте, что они проиграли войну,— скажет герою его сосед по пансиону поляк Тадеуш.— А это, если хотите знать, дурно отражается на характере нации».

Насколько дурно, герой удостоверится не раз и не два. Его поражает озлобленность, воцарившаяся в будничных отношениях. За молчанием толпы, снующей по берлинским мостовым, он с недоумением распознает сгустившуюся ненависть, едва сдерживаемую ярость. Ему трудно поверить, что можно всерьез гордиться раной, полученной в драке между буршами, его просто оглушают упоенные речи об «истинном, великом, исконном германском типе» светловолосых, как боги, красавцев.

Американец, не знающий, как растлевает — духовно и нравственно — перенесенное национальное унижение и как оно способно распалять мечты о реванше любой ценой, Чарльз с натугой постиг психологическую природу этих вывертов, так и не поняв, что они сделались благодатной питательной средой фашизма. Для Портер, писавшей повесть, когда уже полыхала грандиозная по размаху война, подобная неискушенность составляла часть не одними немцами разделяемой вины за случившееся. За разыгравшуюся вселенскую трагедию, за состояние мира, сделавшее ее неотвратимой.

Еще не был начат «Корабль дураков», однако некоторые мотивы главной книги Портер в «Падающей башне» не просто намечены, а развиты по-своему не менее глубоко. Даже дата описываемых событий в обеих книгах совпадает — канун фашизма. А эти гимны грубой силе, выше которой, «важнее и ценнее» нет ничего на свете, потом, в романе, предстанут как венец целой философии, исповедуемой персонажами, которые стараются оправдать безумные проекты исцеления немецкого духа и подводят наукообразные основания под свой безоглядный шовинизм. И вновь появятся на сцене герои, лишь апатично наблюдающие, как самоутверждается фашистская идеология, словно к собственным их судьбам это не имеет никакого касательства.

Все творчество Портер было вызовом такого рода безмыслию, безволию, пассеизму, за который пришлось платить по кровавому счету. Не признавая иллюзий, она и не капитулировала перед агрессией иррациональных сил, считая недостойной позицию обреченности. «Падающая башня» осталась одним из лучших художественных воплощений ее жесткого и мужественного взгляда на мир нашего времени.

А. ЗВЕРЕВ

27 декабря 1931 года, на шестой день пребывания в Берлине, Чарльз Аптон удрал с утра пораньше из унылой гостинички на Хедеманштрассе и засел в кафе напротив. Гостиница своей атмосферой почему-то действовала на него угнетающе: ему казалось, что ее владельцы, женщина с пожолклым лицом и раздражительного вида толстяк, все время заговорщически шушукаются за дверцами бельевых шкафов, в углу столовой, в закоулках коридоров, над гроссбухами за высокой полированной конторкой в вестибюле. Комнату ему отвели сумрачную, душную, холодную, а как-то раз, когда он остался ужинать в гостинице, из ливерной колбасы выползли на тарелку белые червячки. Вдобавок гостиница была ему не по карману, и он решил съехать. Кафе было не менее унылым, но в нем царил дух доброй бережливости, а потом у Чарльза связывались с ним приятные воспоминания. Свое первое Рождество в Европе он встретил здесь, прибившись

к шумно гуляющей группке приветливых людей, судя по разговорам, работавших на одной фабрике. За весь вечер никто, кроме старика официанта, не сказал ему ни слова, зато посетители вели между собой задушевные разговоры на грубом берлинском — Чарльз уже научился различать его — диалекте, где деревянное квохтанье перемежалось кряканьем и пронзительным шипеньем. На немецком пароходе, которым он приплыл в Европу, все пассажиры-немцы наперебой расхваливали произношение своего края, но для берлинского произношения никто не нашел ни одного доброго слова, включая и самих берлинцев. Чарльз, знанием немецкого обязанный отчасти учебникам, отчасти патефонным пластинкам, а отчасти немцам, жившим в его родном городе, чьи разговоры он слушал, с удовольствием внимал их скрежещущему говору и, неспешно прихлебывая пиво, доброе, темное пиво, отбившее у него вкус к любому другому пиву, взялся доказывать себе, что он не дал маху. Да, Германия, Берлин — это то, что ему нужно, и Куно понимал, что ему нужно, и радовался, если бы мог знать, что его друг наконец-то здесь.

Все Рождество он часто думал о Куно, а вовсе не о родителях, которые слали ему пространные письма, подгадывая так, чтобы он получил их на праздники, где писали, как им тоскливо без него. Он отправил им телеграмму и дал себе слово постоянно думать о них, но слова не сдержал. И когда поутру он засел в кафе с картой города и туристским проспектом, где имелся список пансионов с указанием цен, перед ним снова неожиданно, внезапно, наплывами возник Куно — и не только Куно, но и он сам, тогдашний, а на эти наплывы наслаивались другие наплывы, а где-то там, во тьме подсознания, таилась вся их история, какая ни на есть. Они с Куно, казалось, знали друг друга всегда. Первое их общее воспоминание было вот какое: они стоят бок о бок в ряду таких же крох, поют или что-то в этом роде, по всей вероятности, в детском саду. Они жили вместе и вместе пошли в школу в старом техасском городке, который первоначально основали испанские поселенцы. Мексиканцы, испанцы, немцы и американцы, по преимуществу из Кентукки, смешивались — более или менее беспрепятственно — на протяжении нескольких поколений, и хотя все они были американскими подданными, испанцы, по большей части богатые и любящие шикануть, время от времени ездили на свою бывшую родину.

Немцы ездили в Германию, а мексиканцы, которые жили обособленно в старой части города, ездили в Мексику, когда могли себе это позволить. Только одни кентуккийцы никуда не ездили, даже в Кентукки и то почти никогда, и хотя Чарльз нередко слышал, как любовно они вспоминают свой край, Германия представлялась ему и куда ближе, и куда соблазнительнее, прежде всего потому, что родители возили туда Куно.

Хотя в Германии мать Куно, как говорили, была баронессой, в Техасе она была женой преуспевающего торговца, владельца мебельного магазина. Кентуккийцы, которых чем дальше, тем скуднее кормила земля, считали, что, за исключением, разумеется, ученых профессий, зарабатывать на жизнь можно лишь земледелием; и Чарльза, чья семья хорошо ли, плохо ли фермерствовала на техасских худородных землях, поражало, с какой гордостью Куно демонстрирует ему очередную партию полированной, мягкой мебели в витрине отцовского магазина. Сквозь большие, хорошо отмытые стекла, если приглядеться, можно было различить в глубине лавки мистера Хиллентафеля, отца Куно, с карандашом за ухом, в черном альпаковом пиджаке — он, склонив голову, внимательно слушал покупателей. И Чарльз, который привык видеть, как его отец то ездит верхом на лошади, то осматривает с неграми скот на подворье, то бредет по полю в высоких сапогах, то трясется на чугунном сиденье плуга или бороны, чувствовал, что стыдился бы, если бы его отец ходил за покупателем по пятам и из кожи вон лез, чтобы всучить ему свой товар. Они с Куно всегда ладили, лишь один раз у них чуть не дошло до драки — случилось это вскоре после того, как Куно

вернулся из второй поездки в Германию, им обоим тогда шел девятый год. Куно заговорил о фермерах, обозвал их каким-то немецким словом — что оно означает, Чарльз не понял.

— Они ничем не хуже лавочников,— вскипел Чарльз,— а твой отец всего-навсего лавочник.

Куно не остался в долгу:

— Моя мать баронесса, мы все родились в Германии, значит, считаемся немцами. А в Германии тот, кто работает на земле, последний человек.

— Если вы немцы, чего ж вы не живете в Германии? — не остался в долгу Чарльз.

А Куно свысока бросил ему:

— Там идет война, и они не хотели выпустить ни маму, ни папу — всех нас, но мы не могли не вернуться.

И принялся маловразумительно объяснять, как им лишь чудом удалось вернуться в Америку: где-то по дороге их едва не посадили в тюрьму, но большие люди вызволили их, и, слушая эту захватывающую, хоть и путаную историю, Чарльз забыл об их ссоре.

— Только потому, что моя мать баронесса,— сказал Куно,— нам удалось вырваться.

Но и после войны мистер Хиллентафель раз в два года возил на несколько месяцев семью в Германию, и тогда из дальних городов, таких, как Бремен, Висбаден, Мангейм, Хайдельберг и Берлин, приходили открытки с иностранными марками от Куно и приносили Чарльзу огромный мир по ту сторону океана, синий, безмолвный, таинственный, прямо на дом. Из Европы Куно возвращался в новеньких, диковинных, но очень солидных костюмах. Привозил оттуда и потрясающие заводные игрушки, а позже галстуки из непривычно добротных материй, пиджаки с отстроченными карманами, тупоносые башмаки толстой бежевой кожи — все, по его словам, ручной работы. По возвращении Куно неизменно говорил с легким акцентом, от которого избавлялся лишь через несколько недель: «Нет-нет, обязательно поезжай в Берлин, иначе ты просто ничего не увидишь. Мы всегда подолгу торчим в таких дырах, как Мангейм и тому подобные городишки: никуда не денешься, приходится навещать родственников, а они оттуда носа не высовывают — тощища страшная, зато в Берлине...» Он часами мог рассказывать о Берлине, и в результате Чарльзу Берлин рисовался мерцающим огнями городом устремленных ввысь замков, окутанных светящейся дымкой. Откуда он это взял? Куно ведь сказал только: «Улицы там ровные, что твоя столешница, а уж широкие какие,— и смерил взглядом узкую, петляющую, грязную улочку старого испанского городишка, основанного еще до Войны за независимость,— ну раз в пять шире этой. А дома,— он поднял глаза вверх, к плоским крышам над их головой, и на лице его изобразилось отвращение,— камень, мрамор, резьба, сплошь резьба, колонны, повсюду статуи, а лестницы широченные, шире дома, и винтовые...»

— Мой отец говорит,— сказал как-то Чарльз, пытаясь показать, что и он знает толк в роскоши,— в Мексике у лошадей серебряные уздечки.

— Не может быть,— сказал Куно,— дичь какая-то, если это не враки. Надо же придумать такую глупость — делать уздечки из серебра. Зато в Берлине дома мраморные, сверху донизу в резных розах, гирляндах роз...

— А это что — не глупость? — возразил Чарльз, но довольно вяло, потому что никакой глупости тут не видел, так же как и в серебряных уздечках мексиканских лошадей. Вот что он больше всего хотел, прямотаки умирал от желания увидеть, и, ничтоже сумняшеся, он сказал: — Когда-нибудь и я туда поеду.

Куно играл на скрипке, два раза в неделю он ходил к крутому старику, немцу, который, когда он брал не ту ноту, лупил его смычком

по голове, а родители заставляли упражняться по три часа в день. Чарльз рвался рисовать, писать маслом, но его родители считали, что он даром переводит время, а мог бы употребить его на что-нибудь более полезное — скажем, на учебу; и он чертил углем на первых попавшихся под руку листах бумаги или, забившись в угол, часами малевал, тыча лысеющей на глазах кисточкой в убогие ящички с красками. Во время не то четвертой, не то пятой поездки в Германию Куно — ему тогда было лет пятнадцать-шестнадцать — умер, и его похоронили в Висбадене. Его родители — кроме старшего брата и сестры Куно, они вдобавок привезли из Германии еще и новорожденного младенца, уже второго на памяти Чарльза,— обходили молчанием смерть Куно. Чарльз не дружил с родственниками Куно, все они были как на подбор светловолосые, рослые, худосочные и довольно скучные, и после его смерти он их почти не видел и не вспоминал о них.

Сидя в кафе, Чарльз старался направить свои мысли на поиски жилья подешевле, которые не терпели отлагательства, но они текли в ином направлении: если б не Куно, я бы никогда сюда не приехал. Двинул бы в Париж, а нет, так в Мадрид. А может быть, стоило дернуть в Мексику. Вот где раздолье для художников, вот что им нужно... А с Берлином я дал маху. Здесь что-то неладно не то с контурами, не то со светом, не то черт его знает с чем...

Отец его в молодости побывал в Мексике и любил рассказывать о своей поездке, но Чарльз никогда не слушал его с таким вниманием, как слушал Куно. И вот Чарльз в Берлине, пытается стать художником, теперь он даже верит, что из него выйдет хороший художник, и решение приехать сюда, и в это он тоже верит, было вполне обоснованным и совершенно самостоятельным. Но сейчас, обуянный смутными, едва оформившимися сомнениями и не до конца осознанным разочарованием в этом городе — какой же он, собственно? — Чарльз неожиданно для себя открыл, что приехал сюда из-за Куно, из чьих рассказов выходило, что только здесь и нужно жить. Он почти никогда не вспоминал о Куно, во всяком случае, давно уже не вспоминал, вспоминал разве, что тот умер, хотя в смерть его никак не мог поверить; и тем не менее, если его что и побудило приехать сюда, так это яркие открытки от Куно, рассказы Куно и его восторги. Трезво все взвесив, Чарльз решил, что одного этого было бы недостаточно, никак недостаточно. И тем не менее тут же решил пожить здесь еще, конечно, если будет такая возможность.

До Нового года оставалось четыре дня, и Чарльз впервые всерьез задумался о деньгах. Со следующим пароходом прибудет чек от отца: отец, поочередно то гордясь, то тяготясь талантом сына, все же решил помогать ему. Чарльз дал себе слово вернуть отцу деньги до последнего гроша и заносил все отцовские переводы в записную книжку. Издатель художественного журнальчика собирался поместить серию его рисунков и обещал за них заплатить. Если его расчеты не оправдаются, Чарльз предвидел, что Новый год придется встречать всухую, даже без пива. И все равно рано или поздно, чем раньше, тем лучше, придет пароход и привезет ему деньги, пусть небольшие, но их хватит, чтобы продержаться. А пока что, вспомнил он, у него есть дорогой фотоаппарат, подарок кентуккийской тетушки, и решил, не откладывая дела в долгий ящик, заложить его. Мало того, у него есть еще золотые дедовские часы. Да о чем речь — он же богач! Обмозговав, как выкрутиться с деньгами, Чарльз и вовсе выбросил бы их из головы, если б его не смущала мысль: куда же они подевались? Перед Рождеством он беспечно, без счету кидал мелочь в шапки и разложенные на тротуаре платки людей, стоявших шпалерами вдоль улиц: на праздники разрешили попрошайничать, и они вовсю пользовались этим. Одни из них попрошайничали организованно, группами: пели рождественские гимны, знакомые ему с тех пор, когда отец и мать еще на родине водили его в немецкий хоровой кружок,— «Heilige Nacht», «O Tannenbaum»[1], Лю-

[1] «Святую ночь», «Елочку» (*нем.*). (*Здесь и далее прим. перев.*)

терову «Колыбельную»,— знакомыми ему по хоровым кружкам голосами, стройными, звучными, мелодичными. Изголодавшиеся, с посиневшими носами, они утопали разбитыми ботинками в раскисшем снегу, пели похоронными голосами, торжественно кивали, принимая подаяние, и, не сводя глаз друг с друга, отбивали ритм руками.

Другие попрошайничали поодиночке, они-то и были самые жалкие — неизбывное горе отъединяло их от остального мира. Те, кого война лишила зрения или изувечила как-либо иначе, носили на рукаве определенного вида повязку в доказательство того, что у них больше, чем у других, прав попрошайничать и подавать им следует щедрее. Чарльз с его тощим карманом, где не было ничего, кроме будущего, которое, как он считал, принадлежит ему, обратил внимание на рослого парня, такого изможденного, что под его крапчатой кожей обрисовывался каждый по отдельности зуб, парень стоял на обочине, на шее у него висел плакатик: «Согласен на любую работу». Чуть ли не украдкой Чарльз сунул марку в вялую полую ладонь, вошел в ближайший подъезд и под прикрытием наваленных перед магазином елок, чей аромат щекотал ноздри, негнущимися пальцами наскоро набросал закоченевшую фигуру в отрепьях, завершавшуюся обглоданным голодом черепом.

И пошел дальше, думая: хорошо бы праздники поскорее отшумели и отпала надобность изображать веселье; нынешний запах свежесрубленных елок вызвал в памяти запах яблок, разложенных по обочинам нью-йоркских улиц в ту пору, когда он в ожидании парохода бродил по картинным галереям. Мужчины, дрожа от холода, стояли у сложенных кучками яблок или гранили мостовые, окликая прохожих: «Друг, дай сколько не жалко!» Фраза сразу разошлась, стала крылатой. И так чуть ли не за ночь попрошайки превратились в живописную примету времени, черту местного колорита, последнее поветрие. Ну и что с того, что мытарства этих людей серьезны, они ведь недолговечны: очереди за хлебом скоро кончатся, утверждали газеты, и до того нелепо, недостоверно, невразумительно объясняли, чем вызваны очереди, словно они были явлением природы, чем-то вроде землетрясения или, скажем, ливня.

Здесь же, по наблюдениям Чарльза, нищету принимали всерьез, и бедолаги, похоже, знали, что надеяться не на что. В них не замечалось дерзкой бравады торговцев яблоками, лишь крайнее отчаяние и бесконечное терпение... меж тем витрины Курфюрстендамма и Унтер-ден-Линден, вставшие за их спинами, ломились от прекрасных свитеров, мехов, пальто и поместительных глянцевых машин. Чарльз, праздно шатаясь по улицам, сравнивал здешние витрины с нью-йоркскими, вставшими за спинами торговцев яблоками и попрошаек. Видит бог, товары здесь были ничуть не хуже, но куда же подевались покупатели? В Нью-Йорке покупатели оживленно сновали из магазина в магазин, роняя мелочь в протянутые руки. Здесь редкие, уныло одетые прохожие подолгу торчали перед витринами, но, если заглянуть в магазин, оказывалось, что там один-два человека, не больше. На улицах встречалось множество молодых людей, поджарых и суровых, одетых, как парни, так и девушки, в кожаные куртки или одинаковые синие лыжные костюмы,— они носились по улицам на велосипедах, а витрины и вовсе не удостаивали вниманием. Чарльз видел, как они, вскинув лыжи на плечо, пересмеиваясь, болтая, отправлялись большой компанией на воскресенье в горы. Чарльз завистливо разглядывал их; он надеялся, что, если пробудет здесь подольше, ему удастся познакомиться с кем-то из них и тогда он тоже будет раскатывать на велосипеде и уезжать на лыжные прогулки. Впрочем, в это не очень-то верилось.

Он брел дальше — и чем плотнее обтекала его толпа, тем более чужеродным чувствовал он себя. Он разглядывал группу мужчин и женщин средних лет — они молча созерцали выставленных в витрине игрушечных и сахарных свинок. Эти люди удивительно походили друг на друга и принадлежали к удивительно распространенному тут типу.

Здешние улицы были запружены точно такими же расплывшимися, переваливающимися с боку на бок женщинами, коротконогими, с брюзгливым выражением лица, и мужчинами, с шарообразными головами в валиках жира на загривках, сутулыми, не иначе как пригнувшимися под тяжестью неподъемных животов. Чуть не каждый из них вел и не одну, а парочку жидких, вырожденческих, коротконогих собак на щегольских сворках. Собаки были одеты по-зимнему — в шерстяные попонки, меховые горжетки, отороченные овчиной ботики. Твари выли, скулили, тряслись, и владельцы бережно поднимали их повыше, чтобы они могли полюбоваться на свинок.

В одной витрине были выставлены колбасы, окорока, бекон, малюсенькие розовые отбивные — все из свинины, натуральной свинины, парной, копченой, соленой, запеченной, жареной, маринованной, заливной, шпигованной. Во второй — искусные подделки: свинки марципановые, отбивные из розового сахара, шоколадные колбаски, миниатюрные окорока и грудинка из подтаявшего крема, выложенного весьма правдоподобно раскрашенными полосками. А позади них, на ворохах мишуры и бумажных кружев, каких только свинок не было: и из плюша, и из черного бархата, и из пятнистого ситца, и заводных, из дерева и из железа,— все как на подбор с лихо закрученными хвостиками и трогательно-наивными мордочками.

Прижимая беспокойно повизгивающих собак, эти бесстыжие груды жира замирали перед витринами в экстазе свинопоклонничества, и глаза их от жадности и восторга подергивались слезой. Злее карикатур на самих себя и представить трудно, но ведь точно таких же людей видишь на картинах и Гольбейна, и Дюрера, и Урса Графа [1], причем сходство было не смутным, а совершенно явным — на их типичных для позднего средневековья лицах проглядывало кошмарное коварство и неуклюжая, но неотступная жестокость, которая мало-помалу просачивалась наружу сквозь дряблые толщи жира, последствия неуемного обжорства.

Редкий снежок все падал и падал, выбеливал покатые плечи, поля громоздких шляп. Чарльз, поеживаясь от снежных хлопьев, залетавших за шиворот, пошел дальше: эти люди вызывали в нем живейшее омерзение — ему хотелось уйти от них. Он шел, шел и вышел на Фридрихштрассе, куда с ранними сумерками высыпали тощие проститутки — они расхаживали посередине тротуара, и хотя казалось, что они куда-то идут, ни одна ни разу не переступила пределы отведенного ей участка. Черные кружевные юбки, высоченные каблуки, шляпы с перьями — Чарльз никогда не осмелился бы к ним подступиться. В первый же его вечер в Берлине молоденькая хмурая проститутка не слишком заинтересованно стала зазывать его. Чарльз не без запинки составил фразу, которая, по его предположениям, должна была означать: «Мне некогда», опасаясь, что от нее не отвязаться. Она окинула его серьезным, оценивающим взглядом, убедилась — вогнав его в краску,— что тут не поживишься, и, бросив ему безразлично: «Что ж, пока», повернулась к нему спиной. На родине если у него что и получалось с девушками, то только со знакомыми, но и с ними он поначалу всегда робел. В любом случае ему могло перепасть, а могло и нет; и этот метод, как он его окрестил, ласки и таски, кнута и пряника, проб и ошибок, его многому научил. Эти неприветливые с виду профессионалки, расставленные по своим постам, как солдаты в мундирах, вызывали в нем смущенное любопытство и неуверенность. Он не терял надежду каким-то образом свести знакомство с разбитными девчонками, скажем студентками; здесь их было вроде бы полным-полно, но ни одна не положила на него глаз. Зайдя в подъезд, он торопливо наметил несколько толстозадых фигур, брыластых лиц и всевозможных свинок. Набросал одну особенно отощавшую, прискорбного вида проститутку в лихо заломленной шляпе с

[1] Урс Граф (1485—1527) — художник и гравер немецкой школы, прозванный Вийоном живописи.

перьями. Поначалу он старался рисовать украдкой, но вскоре понял, что старается понапрасну — до него никому нет дела.

Вот какие довольно беспорядочные, но от первой до последней огорчительные картины проносились у него в голове, когда он, сложив карту и проспект, пошел по Берлину искать комнату. Он не прошел и дюжины перекрестков, а уже насчитал еще пяток нездорового вида юнцов со свежими шрамами на щеках, длинными, глубоко перерезавшими щеку, кое-как прикрытыми пластырем и ватой, и снова подумал, что ни о чем подобном ему никто не рассказывал.

Два дня спустя он все еще месил заваливший улицы снег, звонил в двери, а вечером возвращался без задних ног в гостиницу. Утром третьего дня поиски привели его на четвертый этаж внушительного дома на Бамбергерштрассе; на этот раз он дал себе труд приглядеться к отпершей ему дверь женщине. Чарльз, хотя и недолго пробыл в Берлине, уже понял, какой страшной властью обладают в этом городе квартирные хозяйки. Улыбчивые лисицы, оголодавшие волчицы, неопрятные домашние кошки и в самом прямом смысле слова тигрицы, гиены, фурии, гарпии, а порой, и это было тяжелее всего, просто отупевшие, понурые тетки, на чьих лицах читалась летопись их несчастий — они только что не плакали, когда он уходил, будто он уносил с собой их последнюю надежду. Чарльз, если не считать четырех зим, проведенных в захолустном южном университете, никогда не уезжал из дому. До сих пор ему не приходилось искать жилье, и его не покидало чувство вины: ему чудилось, что он подглядывает в щелочки и замочные скважины, вынюхивает слабости рода человеческого: кухонную вонь, затхлость непроветриваемых спален, застарелый запах нищеты и тяжелый дух богатства. Ему показывали свободные каморки за кухней, где на веревке сохли пеленки, а меж тем где-то тосковала по жильцу искомая комната. Его препровождали в края позолоченной резьбы и облысевшего плюша, пропахшие тушеной капустой. Его допускали в неохватные пустыни — сплошь шлакоблоки и хромированная сталь,— скаредно обставленные белыми кожаными кушетками и столами с зеркальными столешницами, где неизменно требовали, чтобы он прожил не меньше года, и заламывали чудовищные цены. Он сунулся и в одну сырую конуру — лучшего антуража для сцены убийства не найти,— и в другую, где угрюмая молодая женщина укладывала вещи и в нос шибало гнусными духами от сложенного на кровати стопками нижнего белья. Она явно назло хозяйке завлекательно улыбнулась ему, а та резко выговорила ей. Но по большей части в комнате за комнатой он сталкивался с дотошной опрятностью, наводящей уныние неусыпной и неотступной домовитостью и отталкивающей благопристойностью, различия между ними были лишь в пышности перин да в обилии драпировок, и из всех из них он опрометью удирал на улицу — на вольный, пусть и не вполне, воздух.

Сейчас ему открыла дверь довольно симпатичная женщина лет пятидесяти, может, чуть старше — после тридцати все они казались Чарльзу одного возраста,— румяная, седая, с на редкость живыми голубыми глазами. Она, видно, принарядилась к его приходу, держалась она с некоторой ходульностью, впрочем, довольно безобидного свойства, и откровенно обрадовалась ему. Он заметил, что почти пустой коридор натерт до блеска: а что, если он найдет здесь ту самую золотую середину между засильем плюша и собачьей конурой?

Хозяйка привела его в свою лучшую комнату: все остальные уже сняли, объяснила она. Ему, наверное, будет приятно узнать, что у нее живут исключительно молодые люди, точнее говоря, их трое, и, она надеется, он станет четвертым.

— У меня,— сказала она горделиво,— живут студент Берлинского университета, молодой пианист и студент Хайдельбергского университета — он сейчас в отпуску; как видите, компания подобралась неплохая. Могу я осведомиться, чем вы занимаетесь?

— Точнее всего будет сказать, что я художник,— ответил Чарльз уповательно.

— Это просто замечательно!— сказала хозяйка.— Именно художника нам и недоставало.

— Я плохо знаю немецкий, но надеюсь на вашу снисходительность,— сказал Чарльз, несколько подавленный ее светскостью.

— Это дело поправимое,— сказала хозяйка, милостиво, по-матерински улыбнулась и добавила:— Я венка, вот почему я говорю несколько отлично от берлинцев. Позволю себе заметить, если вы и впрямь намереваетесь изучать здесь немецкий язык, венское произношение отнюдь не из худших.

Комната. Комната как комната. Не счесть, сколько точно таких же комнат он перевидал за время своих поисков. Будь у него выбор, он, конечно, выбрал бы что-нибудь другое, но это, пожалуй, наименее удручающий образчик общепринятого здесь стиля: роскошный восточный ковер сумрачных тонов, из-под собранных пышными складками бархатных портьер выбегают тюлевые занавески, большой круглый стол, покрытый опять же восточным ковриком в приторно-изысканной гамме красок. В одном углу два низких дивана, на них груды шелковых и бархатных подушек, на стене над ними — застекленная полочка, уставленная миниатюрными безделушками, в основном из серебряной филиграни и тончайшего фарфора, на столе — тяжеловесная лампа под затейливым абажуром розового шелка, желобчатым, обшитым бахромой и украшенным шелковыми кисточками. Массивная кровать под покрывалом переливчатого шелка поверх пуховой перины, громоздкий шкаф темного полированного дерева, до того изукрашенный резьбой, что не разобрать, какой он формы.

Жутковатая комнатенка, ничего не скажешь, но он ее снимет. Хозяйка с виду не злая, да и меньше за такой кошмар нигде не возьмут. Она охотно согласилась предоставить ему для работы простой стол с настольной лампой и добавила:

— Надеюсь, вы проживете у нас по меньшей мере полгода.

— Увы, только три месяца,— сказал Чарльз: он ожидал, что разговор примет такой оборот.

Хозяйка безуспешно попыталась замаскировать разочарование приветливой улыбочкой.

— Как правило, комнаты сдают на полгода,— сказала она.

— Но через три месяца я уеду из Германии,— сказал Чарльз.

— Вот как? И куда?— спросила она, просияв так, будто эта поездка предстояла ей самой.

— Скорее всего в Италию,— сказал Чарльз.— Сначала в Рим, потом во Флоренцию. Ну а потом буду колесить по всей Европе,— добавил он бесшабашно и тут впервые почувствовал, что это не пустые слова, что так и будет.

— Ах, Италия!— заахала хозяйка.— Я провела там три самых счастливых месяца моей жизни и всегда мечтала еще раз туда съездить.

Чарльз остановился у стола. На шелковом коврике рядом с лампой стояла гипсовая копия Падающей пизанской башни сантиметров в двенадцать высотой. За разговором он потянулся к ней, едва касаясь кончиками пальцев, приподнял, и хрупкие гипсовые колонки аркад продавились. Они просто-напросто рассыпались в прах от его прикосновения и, едва он отдернул руку, усеяли массивное основание лампы. Он увидел, как от лица хозяйки отхлынула кровь, а ее голубые глаза заволокло слезами, и пришел в ужас.

Самообладание Чарльза обратилось в прах вместе с башней.

— Мне очень жаль,— промямлил он, сознавая, что не на шутку огорчил хозяйку, конфузясь, что постыдно выставил напоказ свою вечную косорукость, праздное, пустое любопытство, дурную привычку хватать все что ни попадя. Ну что бы ему попридержать руки?— Ради бога, разрешите мне возместить вам эту потерю.

— Ее нельзя возместить,— сурово, с оскорбленным видом сказала хозяйка.— Этот сувенир — память об Италии. Мы с мужем привезли его шутки ради из нашего свадебного путешествия. Мужа давно нет в живых. Нет-нет, башенку возместить никак нельзя.

Чарльз, которому не терпелось убежать на вольный воздух и поскорее забыть об этом унизительном происшествии, сказал:

— Мне, наверное, надо сходить за вещами. Я вернусь через час.

— Хорошо,— сказала она рассеянно, крошку за крошкой собирая обломки на листок бумаги.— Одна надежда, что ее удастся починить.

— Прошу вас, разрешите мне оплатить связанные с этим расходы,— сказал Чарльз.— Мне очень-очень жаль.

— Вашей вины тут нет, виновата я,— сказала хозяйка.— Мне не следовало оставлять башенку здесь: ведь сюда может зайти любой...— Она спохватилась и пошла прочь, унося бумажку в сложенных лодочкой руках,— любой дикарь, заморский невежа, который не умеет обращаться с подлинными ценностями,— явственно дала она ему понять как тоном голоса, так и выражением лица.

Чарльз побагровел, насупился и, осторожно огибая мебель, подошел к окну. Неудачное начало, на редкость неудачное. Двойные рамы не пропускали воздух, батареи струили ровное тепло. Он раздвинул тюлевые занавески и в отраженном белесом свете зимнего утра увидел, как по крутой крыше дома напротив в вечном страхе — не сверзиться бы — карабкаются друг за дружкой десяток фаянсовых амуров размером с грудного ребенка, коренастых, игривых, сплошь немыслимо розового цвета, но с алыми щеками, пятками и попками. Чарльз с неприязнью взирал на их донельзя натуральные ножонки и жирные ручонки, вцепившиеся в шифер крыши, на их дурацкие улыбочки. И в проливной дождь им придется продолжать свои бессмысленные забавы. А в пургу их занесет снегом чуть не по макушку. Подумать только, что их взгромоздили на крышу с тем, чтобы они забавляли, потешали — и еще как!— прохожих из года в год. Чарльз подхватил пальто и шляпу — ему не терпелось потихоньку улизнуть, удрать. Не исключено, что он и вовсе не вернется. Он никаких бумаг не подписывал, задатка не давал. Не давал, но придется дать. Куда денешься: хозяйка мигом вернулась — на губах ее играла улыбка, она взяла себя в руки — с серебряным подносом, на котором лежали визитная карточка, печатный бланк, ручка, чернила и квитанция. Ему удалось вырваться, только оставив на подносе полный отчет о себе для сведения полиции, подписанное обязательство прожить не меньше трех месяцев и деньги за месяц вперед, но не долларами, а марками.

— Какая жалость, что у вас нет долларов.— Хозяйка, стараясь не выдать своего огорчения, лихо тряхнула головой: мол, снесем и этот удар судьбы.

На левой руке у нее было кольцо с необычного вида бриллиантом, квадратным, голубой воды, явно очень дорогим, вставленным в высокую оправу. Чарльз только сейчас обратил на него внимание.

Увядшая, замореная владелица гостиницы, когда он подошел к конторке, чуть ли не расплылась в улыбке. Но улыбка с поразительной быстротой сползла с ее лица, стоило ему объявить, что он подыскал себе комнату и съезжает. Казалось, она с трудом сдерживается, чтобы не расплакаться — так сильны были ее злоба и разочарование.

— Я вас не понимаю,— накинулась она на него, и веки ее покраснели.— Вы обязались прожить месяц, я сделала вам скидку, а через какую-то неделю вы заявляете, что собираетесь съехать. Вы что, недовольны нами? Или вам не нравится, как у вас убирают? Что случилось? В чем дело?

— Дело в том, что я вынужден подыскать себе еще более дешевую комнату,— сказал он, тщательно подбирая слова.— Только и всего.

— Но у нас цены без запроса,— сказала она и пожевала растрес-

кавшимися губами, едва прикрывавшими торчащие зубы.— Почему вы не хотите остаться?

— Да, цены у вас без запроса,— подтвердил Чарльз, чувствуя, что от нее не отделаться, и, словно признаваясь в чем-то постыдном, добавил:— Только мне они не по карману.

Женщина открыла гроссбух и торопливо принялась что-то оттуда выписывать, лицо ее окаменело от гнева — можно подумать, она поймала его с поличным, когда он залез ей в кошелек.

— Дело ваше,— сказала она,— но в таком случае вам, разумеется, придется платить посуточно.

— Разумеется,— согласился он.

— И пусть это послужит вам уроком — в другой раз хорошенько подумаете, прежде чем менять решение,— сурово, наставительно сказала женщина.— Нерешительность — дорогое удовольствие.

— Похоже, что так,— сказал Чарльз, опасливо косясь на быстро удлиняющийся столбик цифр на листке бумаги.

Она вскинула глаза, но не на него, а куда-то за его плечо, ее лицо приняло прежнюю злобную, нахальную мину, и, резко повысив голос, она сказала:

— Сейчас же оплатите счет, не то я вызову полицию.

Чарльз, а он уже заготовил деньги, чтобы уплатить по счету, решил было, что ослышался. Проследив за направлением ее взгляда, он обернулся и увидел в нескольких шагах от себя ее пожилого кубастого партнера. Голова его напоминала мягкий валун, поросший редкой седой щетиной. Засунув руки в карманы, он рассматривал Чарльза, и его тонкогубый рот чуть не до ушей растягивала злорадная улыбка. Чарльз, не веря своим глазам, посмотрел на сумму в низу листка, точно, до последнего пфеннига, отсчитал деньги, подозревая, что не получит сдачу, если даст ей круглую сумму. Она, ни слова не говоря, выхватила деньги у него из рук вместе со счетом.

— Пожалуйста, напишите расписку,— попросил Чарльз.

Она не удостоила его ответом, только чуть отодвинулась, а мужчина молча подошел к нему и с издевательской, показной любезностью сказал:

— Прежде чем уедете, не откажите предъявить ваши документы.

Чарльз сказал:

— Я показал их, когда приехал,— и взялся за чемоданы.

— Но не мне,— сказал компаньон, и его белесые заплывшие глазки гнусно, злорадно сверкнули.— Увы, не мне, и, поверьте, мы не выпустим вас отсюда, пока вы не покажете их мне лично.

Ему, похоже, было нелегко скрывать подспудно клокотавшее в нем торжество. Его шея вздулась, налилась кровью, он сжал губы, отчего рот щелью перерезал лицо, и легонько покачивался на носках. Для Чарльза не было новостью, что ему придется смириться с постоянной слежкой: опытные путешественники предупреждали его, что в Европе, и в особенности в Германии, он первое время будет чувствовать себя отпущенным на поруки преступником и должен быть готов по первому требованию предъявить документы. Он поставил чемоданы, пошарил в карманах и тут вспомнил, что сунул портмоне с документами в один из чемоданов. Вот только в какой?

Он отпер тот, что побольше, выставив на обозрение запиханное как попало белье. Парочка наклонилась поглядеть на его пожитки, и женщина презрительно обронила: «So» [1].

Чарльз, от ярости лишившись дара речи, запер первый чемодан, отпер второй. Протянул портмоне компаньону — тот с приводящей в бешенство медлительностью вытаскивал из него паспорта, другие документы и недоверчиво их разглядывал, то надувая щеки, то прищелкивая языком. Потом вальяжно протянул Чарльзу документы и сказал:

[1] Ах так (*нем.*).

— Отлично. А теперь можете идти,— с оскорбительной снисходительностью мелкого чиновника, величающегося перед подчиненным.

Они все смотрели на него молча, ненавистно, нелепо перекосив лица в усилиях передать всю глубину своей злобы. То ли не могли определить — так он держался,— понимает ли он, как бессовестно его обхамили и обобрали, то ли, взяв над ним перевес, провоцировали на скандал, с тем чтобы и вовсе прищучить. Под их неотрывными взглядами Чарльз кое-как запихнул документы в чемодан и, повозившись с неподатливыми замками, закрыл его. Не успел он затворить дверь, как они нарочито громко — не дай бог, он не услышит — зашлись за его спиной хохотом — ну, гиены и гиены.

Он вдруг решил, что такси ему не по средствам, и пошел пешком, волоча свои жалкие пожитки — они чем дальше, тем больше оттягивали ему руки, дорога казалась все длинней, и его все сильней одолевала мысль, хотя нить ее он постоянно терял: почему с ним так обошлись. Он был хорошего роста, недурной наружности, ни его внешность, ни манеры не могли внушать антипатии, но сейчас, насупленный, в низко нахлобученной шляпе, он казался угрюмым и недобрым. Он рванулся заехать пузану в зубы, но мигом овладел собой, ума не потерял, у него хватило хладнокровия и трезвости понять, что он загнан в угол, что ничего не исправить и ему остается только убраться подобру-поздорову подальше от этих разбойников, иначе не миновать неприятностей посерьезнее. Но злость не ушла, засела в душе, пустила корни — и это было ему внове.

Дверь ему снова открыла хозяйка. А прислуги у нее, похоже, нет, заметил он. Перебросившись с ней парой приличествующих случаю фраз, он ушел, убедив себя, что оброс и пора наведаться в парикмахерскую — ему не сиделось на месте. Сверившись с картой, он направился к Курфюрстендамму. Солнце зашло, похолодало, снова повалил снег, гладкие темные мостовые под фонарями сверкали, будто их надраили. Тяжеловесный, громоздкий город в рано опустившейся темноте впал в спячку.

Парикмахерская, крохотная, чистенькая, увешанная белоснежными полотенцами, слепила блеском зеркал, обволакивала теплым мыльным паром. Тщедушный парикмахер с синюшным лицом тут же подскочил к нему, стал засовывать простыню за воротник. Редкие унылые волосенки цвета пакли, дурной запашок изо рта. Он рвался свести Чарльзу волосы на нет на затылке, скосить над ушами, а верх оставить подлиннее. Сам он носил такую же стрижку, так же были острижены чуть не все прохожие, и на вырезанной из газеты фотографии, заткнутой за рамку зеркала, красовался надрывающий глотку политикан с хохлом на макушке, с квадратными усишками над разинутым ртом — мода на эту стрижку явно пошла от него. Чарльзу пришлось долго мотать головой, лихорадочно подыскивать немецкие слова, тыкать в другие фотографии в имевшемся у парикмахера модном журнале, прежде чем удалось склонить его к более приемлемому варианту.

Парикмахер, грустный, как он ни тужился бодриться, пока мало-помалу подравнивал Чарльзу затылок, сник еще больше и, чтобы переменить тему, заговорил о погоде. День-другой стояла теплынь, никто не мог подумать, что будет тепло, даже аистов и тех обманула погода. В утренних газетах сообщили, что над городом летают аисты, а это верная примета, она сулит хорошую погоду и раннюю весну. Вы обратили внимание на сообщение из Нью-Йорка, где говорится, что в Центральном парке на деревьях проклюнулись почки — и это посреди зимы!

— В Тиргартене сейчас ничего подобного не увидишь,— со вздохом сказал парикмахер.— У нас зимой такая темень. Мне довелось жить в Малаге, я там проработал в парикмахерской целый год, точнее, без малого тринадцать месяцев. В парикмахерских там грязища, не то что здесь, зато выйдешь на улицу — там и в декабре цветут цветы. Там в бриллиантин кладут миндальное масло, ей-ей. А уж ихнему розмариновому

экстракту и вовсе нет равных. Ну а те, кто победнее, и волосы смазывают маслом, и готовят на нем же. Нет, вы только представьте себе, почем у нас оливковое масло, а они льют его себе на голову. «Употребляй оливковое масло снаружи и вовнутрь, и волосы у тебя будут густые-прегустые» — так они говорят. Может, оно и верно, кто знает. Здесь волосы ничем не мажут и в основном,— снова поднял он неприятную тему,— предпочитают височки покороче, а верх попышнее. Будем считать, у нас, немцев, плохой вкус,— кисло обронил он.— В Малаге я за всю зиму ни разу не надел пальто. Даже забыл, что на дворе зима.— Пальцы у него были липкие, передние зубы такие мелкие, словно они плохо росли.— Конечно, многое казалось мне чудным, оно и понятно — там ведь все совсем иначе, им, правда, не приходится ломать себе голову, как прожить, не то что нам. В Малаге я иногда суну руку в карман — там последняя песета, а мне и горя мало, другое дело — здесь. Думал, потрачу эти деньги, заработаю еще. И что бы мне подкопить там деньжат на черный день,— сказал он покаянно,— так нет же, а здесь коплю-коплю, и все без толку.— Он закашлялся, отвернул голову.— В Малаге,— он говорил о Малаге, как о покинутой родине,— я никогда не кашлял, а здесь кашляю и кашляю.

— Грипп?— спросил Чарльз из-под полотенец.

— Нет, газ,— просто ответил парикмахер.— Война.

После неловкой паузы Чарльз сказал:

— Я обратил внимание, что этой зимой и в Малаге стояли холода.

— Да, было такое дело, но холода продержались всего несколько дней,— согласился парикмахер, степенно покачивая головой,— было такое дело...

Чарльз долго шарил по карманам в поисках монеты помельче: ему было неловко, но он нервничал — боялся уменьшить свою наличность, передав лишний пфенниг, однако парикмахер, протянув ему утлую синюшную руку, исподтишка заглянул в нее, улыбнулся и рассыпался в неподдельных благодарностях.

— Спасибо, огромное вам спасибо.

Чарльз устыдился, кивнул и поторопился уйти.

Едва Чарльз с ключом в руке нагнулся к замку, ручку повернули изнутри, дверь распахнули, и хозяйка приветственно заворковала. Она давно его ждет и все гадает, что могло его задержать, она проходила по коридору и услышала его шаги на лестнице. Она, как ей кажется, все у него очень славно устроила, и когда ему предпочтительнее пить послеобеденный кофе? Часов в пять, сказал Чарльз, будет в самый раз.

— So.— Она улыбнулась, кивнула, в ее улыбке Чарльзу почудилось нечто чересчур интимное, собственническое.

И так и не стерев улыбки, вдруг бросилась в дальний конец коридора и забарабанила там в дверь.

Дверь тут же открылась, и глазам Чарльза предстал понурый, крепко сколоченный молодой человек, с большой, коротко стриженной головой и грубыми чертами лица. Хозяйка метнулась мимо него в комнату и заговорила с ним отрывисто, властно, словно отдавала приказания. Чарльз с облегчением закрыл дверь в свою комнату и огляделся по сторонам: где же его чемоданы? Чемоданов не было. Он заглянул в огромный гардероб и поежился от хозяйкиной бесцеремонности, увидев, что его вещи распакованы — ключи он давным-давно посеял, и вдобавок у него и в заводе не было ничего закрывать — и разложены с аккуратностью, лишь подчеркивающей их дешевизну и потрепанность. Ботинки — их давно пора было починить, да, кстати, и почистить — распялены на деревянных колодках. Два других его костюма, на твидовом, ко всему прочему, пуговицы болтались на ниточках, висят на обитых шелком вешалках. Убогий туалетный прибор, облысевшие щетки для волос и потерявшие форму кожаные футляры аккуратно расставлены на второй полке. Среди них выделялась — здесь она выглядела почему-то неприлично — на треть опорожненная бутылка коньяку, и он вдруг осознал, что, пока

искал комнату, успел пристраститься к выпивке. Он глянул в висевший на крючке туго набитый мешок для грязного белья — и все его мужское естество возмутилось. Эта пахучая кипенная белизна служила вместилищем дырявым носкам, грязным рубашкам — экономя на стирке, он редко менял их — и растянувшемуся исподнему. На подушке, почти заслонив собой зовущие к неге пышные кружевные оборки, лежала тщательно сложенная чистая пижама.

И в довершение всего — нет, какая неслыханная наглость!— хозяйка распаковала его бумаги, краски, картонные папки с неоконченными работами. Уж не заглядывала ли она в них? То-то позабавилась, надо думать. Рисунки его по большей части не предназначались для печати. Все его бумаги были старательно разложены, причем во главу угла были поставлены соображения аккуратности и симметрии. Чарльз и раньше замечал, что хозяйственные женщины почему-то терпеть не могут бумаг. Похоже, они видят в них врагов порядка, ненужных накопителей пыли. Дома он вел из-за бумаг непрекращающуюся молчаливую войну с матерью и прислугой. Они стремились навести в его бумагах порядок, а если удавалось, то и запихнуть их в самые дальние закоулки чулана. Он умолял их Христом богом не прикасаться к его работе. Но нет, они ничего не могли с собой поделать; тот же случай и здесь — это ясно как божий день. И он, то и дело сверяясь с карманным разговорничком, стал сооружать, попутно затверживая ее, вежливую фразу, начинающуюся словами: «Пожалуйста, не трудитесь убирать на моем столе...»

Стол, ничего не скажешь, она дала ему большой, хотя простым его никак не назовешь, лампу сносную, но вот стулу, хлипкому, на чахлых кривых ножках, с залатанным гобеленовым сиденьем и жесткой спинкой, место в музее, не иначе, решил Чарльз и для пробы опустился на него. Ничего, ножки не подломились. Чарльз решил пренебречь неприятностями, презреть их, привести в порядок бумаги и засесть за работу. Для начала он выудил из карманов накопившиеся там записки, наброски, квитанции, адреса ресторанов, открытки с репродукциями картин, купленные в музеях, и договор, обязывающий его прожить здесь не меньше трех месяцев. Хозяйкино имя, Роза Райхль, было выведено на нем размашистой с росчерком изящной рукой. Ему показалось, что эти три месяца никогда не кончатся. Он ощущал разом и слепое бешенство, еще больше усугублявшееся оттого, что его не на ком было выместить, и бессилие, какое овладевает, когда последуешь неверному совету и попадешь впросак. Смутно, но мучительно ощущал, что его бросил в беде человек, которому он доверял,— дичь какая-то, как говаривал Куно. «Дичь какая-то»,— часто повторял Куно, особенно часто по возвращении из-за границы.

Голоса в соседней комнате не затихали, становились громче, напряженней: сказывалось волнение, а может быть, и злость. Чарльз внимательно ловил слова, не смущаясь тем, что подслушивает, его не переставало удивлять, как хорошо он понимает по-немецки и с каким трудом объясняется на нем.

— Герр Буссен, герр Буссен,— Фрау Райхль сорвалась, в ее исступленном голосе почти не слышалось легкого призвука венского выговора.— Как вы позволяете себе обращаться с моими лучшими стульями, прекрасными старинными стульями, которые у меня с незапамятных времен, мало у меня огорчений, так вы хотите к ним добавить еще и эти? Как вам не стыдно, вы же знаете, что мне никогда больше не купить таких стульев?

Чарльз уже начал пробовать мелки и точить карандаши — он прервался, закурил, откинулся назад. И, какую-то долю секунды, не больше, покачавшись на стуле, опустился — хлипкие ножки стукнули об пол, застонали совсем по-человечьи, и у него чуть не оборвалось сердце.

Герр Буссен поначалу слабо отбивался, но вскоре сдался и смиренно принял головомойку как должное, так, словно его укоряла не фрау

Райхль, а мать или голос совести. Да нет, что же он не понимает, оправдывался он с сильным нижненемецким выговором, она, может быть, ему и не верит, но он получил хорошее воспитание. У его матери тоже есть такие стулья, он никогда больше не позволит себе ничего подобного. На слух Чарльза речь герра Буссена походила на какой-то корявый английский диалект, но на каком бы языке ни говорил герр Буссен, фрау Райхль ему бы все равно не одолеть. Чарльз проникся к нему жалостью: бедняга бесконечно путался в извинениях, умолял на этот раз простить его.

— На этот раз,— подхватила фрау Райхль — она разбушевалась вовсю, куда только подевалась ее любезность,— на этот раз,— ядовито повторила она елейным голоском,— на этот раз, а сколько уже раз мне приходилось вас прощать и сколько раз еще придется?

Герр Буссен не нашелся что ответить. Фрау Райхль минуту-другую молча смаковала свою победу, потом прошелестела мимо двери Чарльза — он застыл в тягостном ожидании, опасаясь, не остановится ли она около его комнаты,— и постучалась в дверь справа.

— Jawohl [1],— ответил ей обморочный голос молодого человека: его, видно, неожиданно выдернули из глубокого сна.— Входите же! — И сразу тот же голос, но уже веселый и звонкий, добавил: — Это вы, Роза, душечка? А мне померещилось, уж не пожар ли?

Роза, вот оно что, думал Чарльз, слушая, как их голоса текут рядом, торопливо, приглушенно, порой ненадолго сливаясь в добродушном смехе. Роза, похоже, и впрямь была в приподнятом настроении, разговаривая, она порхала по комнате, то и дело бегала через коридор в свою комнату и обратно. Наконец она сказала:

— Обязательно позовите меня, если вам что-нибудь понадобится, хорошо? Только льда не просите. Льда больше нет.

— А мне что за дело? — отозвался молодой человек, и Роза снова закатилась смехом.

Чарльз решил, что Роза, как он стал про себя называть хозяйку, должно быть, порядочная зануда, если целый день так вяжется к жильцам.

Стемнело. Чарльз пристроился поудобнее с рисунком под лампой, которая, кстати, оказалась куда удобнее, чем он ожидал. Начал он с мелких забот — их накопилось немало. Что будет, если редактор пойдет на попятный? Что будет, если его рисунки не опубликуют и он соответственно не получит за них деньги? Сколько еще отец может помогать ему? Сколько еще — и это беспокоило его всерьез, беспокоило пуще всего,— сколько еще позволительно брать деньги у отца? И нужно ли было ему вообще приезжать в Европу? Вон сколько прекрасных художников не видели Европы. Попытался припомнить хоть одного. Но, как бы там ни было, он в Европе, и, хоть на душе у него муторно и тяжело — что есть, то есть,— нельзя не признать, что этот город ошарашил его так, как он и не ожидал. По крайней мере надо определить, зачем он сюда приехал, иначе вся эта затея может окончиться пшиком. Он решил отключиться от посторонних звуков, вперил глаза в одну точку на бумаге, вспомнил, какие задачи ставил себе, и принялся за работу. Вся его сила, казалось, перешла в правую руку, сосредоточилась в ней, он прекратил метаться, обрел уверенность, знал, что делает. А там и вовсе забыл о себе. Немного погодя он откинулся назад и посмотрел на рисунок. Нет, так дело не пойдет, все ни к черту.

Избавление принес легкий стук в дверь. Отличный повод отвлечься, перевернуть рисунок — пусть отлежится, а там можно снова приглядеться к нему. Не дожидаясь разрешения, вошла Роза. Метнула взгляд сначала на зажженную лампу, потом на стол, где уже воцарился беспорядок.

— Я вижу, вы рано зажигаете свет,— заметила она, неопределенно

[1] Да (*нем.*).

улыбнулась и укоризненно покачала головой.— Герр Буссен по вечерам работает только после ужина. Герр Мей, молодой человек из Польши, по большей части предпочитает играть в темноте. А нашему юному студенту из Хайдельберга хватает забот с лицом — его чем хуже видно, тем лучше, так что ему свет и вовсе не нужен. На него смотреть страшно! Правда,— продолжала она умильно и интригующе,— он молодой, это у него в первый раз, вперед будет знать, на что идет. Вот только рана, понимаете ли, загноилась, и он приехал лечиться. Ах, молодежь, молодежь,— сказала она прочувствованно, прижимая руки к груди,— днем он храбрится, а едва стемнеет, падает духом. Он такой юный, такой чувствительный,— от гордости и жалости она едва не прослезилась,— но все получилось как нельзя лучше. Да вы и сами увидите! У него будет прелесть что за шрам!

Разговаривая, она порхала по комнате — где поставит стулья в ряд, где взобьет подушку, где расправит портьеры. Постояла около Чарльза, предприняла из-за его спины легкий наскок на бумаги, учинила легкий кавардак, сдвинув со своих мест пепельницу и бутылку с тушью.

— Солнца больше не будет — это ясно,— вынуждена была признать она,— а раз вы рисуете, вам нужен свет, спорить не приходится. Ну а теперь я вам быстренько принесу кофе,— радостно объявила она и, сделав вид, будто ей страшно некогда, удалилась.

Солнца больше не будет. Чарльз в полной растерянности, словно он играл роль в какой-то пьесе и реплики начисто забыл, а может быть, и не знал, ожидая кофе, смотрел в окно на улицу, примолкшую под сеющимся снегом, пустынную в морозном мерцании угловых фонарей. В домах напротив загоралось одно окно за другим.

Последние несколько дней он каждое утро при свете фонарей смотрел, как тусклое солнце выползает все позже и позже, с трудом взбирается на крыши домов и неспешно, прочертив пологую дугу, скатывается вниз, а часам к трем и вовсе исчезает из виду. Долгими ночами его мучили не подвластные разуму ужасные предчувствия. Тьма стискивала незнакомый город, точно мощный кулак и доныне полного сил врага, безгласного чудища, дошедшего до нас из более древней, холодной и угрюмой эпохи, когда человека еще не было и в помине. «Просто я родом из солнечных краев и воспринимаю лето как нечто само собою разумеющееся — вот чем все объясняется»,— уговаривал себя Чарльз. Но этим не объяснялось, почему он, вместо того чтобы порадоваться, подивиться непривычной погоде — ведь ничего подобного он не видел: все-таки и другая страна, и другой климат,— даже притерпеться к ней не хочет. Но погода, разумеется, тут ни при чем. Кому какое дело до погоды, если ты хорошо экипирован; ему припомнились слова его учителя, однажды обронившего: все великие города строятся в непригодных для жилья местах. Он знал, что людям по душе самый мерзкий климат в родных краях и они не могут взять в толк, почему им так возмущаются чужаки. У себя в Техасе он наблюдал, как северяне кляли южный климат с яростью бессилия: погода служила удобным поводом ненавидеть заодно и все остальное, что им было ненавистно в этих краях. Чего уж легче и проще, если б он мог найти выход, сказав: «Мне тут не прижиться, потому что в декабре солнце всходит только в одиннадцатом часу», но его огорчало здесь вовсе не это.

А лица. Пустоглазые лица. И эти пустоглазы, белесые, тусклые, смотрели со скукоженных, казалось, начисто изглоданных изнутри лиц или, хуже того, еле видные из-под набрякших век, подслеповато пялились с заплывших жиром лиц, и казалось, что еда, эти тарелки с грудами вареной картошки, свиных ножек и капусты, которой они набивали переваливающиеся с боку на бок тела, пригибала к земле, шла не впрок. Пустоглазы на женских лицах готовы были в любой момент пустить слезу. В первый же его день в Берлине с Чарльзом случилось происшествие, поставившее его в тупик. Он купил себе дешевые носки в одной лавчонке. В гостинице обнаружилось, что носки ему малы, и он вернулся об-

менять их на носки большего размера. Владелица лавчонки увидела его на пороге со свертком в руках и, узнав, остолбенела, глаза ее наполнились слезами. Пока он, совершенно растерявшись, пытался втолковать, что всего-навсего хочет носки размером побольше взамен купленных, по щекам ее катились слезы.

— У меня нет носков размером побольше,— сказала она.

— А вы не могли бы заказать их? — попросил Чарльз.

Но она с такой мукой выдавила из себя: «Да, да», что Чарльз сконфузился, сказал: «Не трудитесь. Сойдут и эти» — и выскочил на улицу, раздосадованный и озадаченный. Через день-другой происшествие разъяснилось, перестало казаться чем-то необычным. Владелице лавчонки во что бы то ни стало нужно было продать товар. Она просто не могла себе позволить заказать хотя бы еще несколько пар носков. Боялась остаться с непроданным товаром на руках и поэтому сознательно всучила ему носки того размера, какие у нее имелись, в надежде, что он — чужой в городе человек, турист, и, следовательно, не найдет дорогу назад, и не заявит претензию.

Людям, торговавшим вином и фруктами в крохотных закутках, похоже, не приносили процветания их роскошные, а также горячительные товары, во всяком случае, не шли им в тук, и они сами не могли их отведать. Молчаливые, по преимуществу в летах, до крайности хмурые, они, если Чарльзу случалось обратиться к ним с вопросом, узнав в нем иностранца, отвечали, срываясь на крик, словно их душила ярость, хотя сами ответы ничего обидного не содержали. Между собой они говорили мертвенными голосами, в которых звучала безнадежность — по всей видимости, застарелая. Денег у Чарльза было в обрез, и он вообще опасался заходить в магазины. И по бедности заходил в магазинчики победнее и на этом горел, потому что его не выпускали без покупки. Ему всячески пытались сбыть вещи, которые он не испытывал ни желания, ни нужды купить, не знал, куда девать, и не мог себе позволить. Но объяснить это владельцам не представлялось возможным. Они не слушали его.

Солнца больше не будет. Льда больше не будет. Не будет больше обитых гобеленом стульев с хилыми ножками, которые ломаются, стоит откинуться назад. Не будет больше шелковых скатертей в мерзостных, приторных тонах. А если хорошенько толкануть угловую полку, не будет больше и дурацких безделушек — и туда им и дорога, думал Чарльз, ожесточаясь сердцем.

— А вот и кофе! — На этот раз Роза вошла без стука — принесла кокетливо убранный поднос.

Кофе в пять часов больше не будет, его подают, только если ты иностранец, а следовательно, само собой разумеется, богатей. Чарльз чувствовал, что участвует в надувательстве, причем самого презренного толка, которое был приучен презирать с детства.

Я беднее ее, думал он, глядя, как Роза ставит чашку прозрачного фарфора с ручкой в форме бабочки, расстилает тончайшего полотна скатерть. Да нет, ерунда. Ко мне плывет пароход из Америки, а к ней никакой пароход не плывет. Ко мне одному во всем этом доме плывет пароход из Америки, везет деньги. Я могу, если выдержу, пожить здесь, могу уехать отсюда когда мне заблагорассудится, в любой момент могу уехать домой...

Он ощущал себя таким юным, неопытным, неумелым: ему столькому еще надо было научиться, что он не знал, за что взяться. Он в любой момент может уехать домой, но не в этом суть. Отсюда до дома путь был не близкий — в этом он отдавал себе отчет. И Падающей пизанской башни больше нет, покаянно вспомнил он, когда Роза в последний раз суетливо пригладила скатерть — она все наводила красоту, хотела накрыть стол получше,— но вот наконец отступила назад и сказала:

— Ну а теперь садитесь, я налью вам кофе. Какая жалость, что мы не в Вене.— Она состроила веселую гримаску.— Там я напоила бы вас настоящим кофе. Но и этот, смею вас заверить, недурен.— И умчалась,

оставив после себя суматоху, которая улеглась далеко не сразу.

Кофе и впрямь был хорош, даже слишком хорош — Чарльзу такого не доводилось пить, но едва он отхлебнул первый глоток, как из коридора послышался голос герра Буссена.

— Экая вонь от вашего кофе,— разнесся его грохочущий нижненемецкий говор.

— Даже если б и так, вам бы он все равно понравился,— Роза не знала пощады,— вы же сосете молочко, как младенец, и еще прячете грязные бутылки под кровать. Стыд и срам, герр Буссен!

Их заглушили звуки рояля — поначалу кто-то уверенно, но негромко ударил по клавишам, и чуть не сразу полилась, зажурчала музыка. Чарльз — а он любил музыку, хотя никогда не смог бы объяснить, за что и почему,— внимательно слушал. Играл, конечно же, польский студент, и Чарльзу казалось, что играет он хорошо. Приятно удивленный, Чарльз откинулся на спинку стула — его завораживал четкий ритм, восхищала стремительная мелодия, за которой было легко следить. Роза постучала в дверь, прокралась на цыпочках — палец приложен к губам, брови вскинуты, глаза сияют. Подошла к столу, изящно, проворно собрала на поднос скатерть, серебро.

— Герр Мей,— шепнула она, и чуть погодя — благоговейно: — Шопен!

Чарльз не успел придумать, что бы ей ответить, а она уже подхватила поднос и на цыпочках удалилась.

Чарльз прикорнул, ему снилось, что дом горит — он ожил, хоть и немотствует, и каждый его закоулок пульсирует, охваченный пламенем. Не ведая ни страха, ни сомнений, Чарльз с чемоданом в руке прошел сквозь полыхающие стены и вышел на широкую, ярко освещенную улицу; хотя чемодан бил его по коленкам, оттягивал руку, бросить его он не мог: в нем хранились рисунки, над которыми ему предстояло работать всю жизнь. Он отошел от дома на безопасное расстояние и стал смотреть на темный, высоченный, что твоя башня, остов, залитый огненными струями. Увидев, что вокруг никого нет, он не без удивления отметил: «А они, оказывается, тоже убежали» — и тут у него в ушах раздался громкий нечеловеческий стон. Он повернулся — никого. И опять, на этот раз над головой, послышался стон, и он вмиг проснулся. Оказывается, он утонул в душной перине, запарился и едва не задохнулся. Он выпростался из-под перины, присел на кровати, прислушался, повертел головой туда-сюда — хотел определить, откуда идет стон.

— Ой-ей-ей,— донесся отчаянный стон из комнаты справа и, изойдя тяжким, усталым выдохом, затих, замер. Чарльз, не сознавая, что делает, кинулся в коридор и деликатно, едва касаясь двери, постучал.

— Что еще надо? — послышался сонный, но нешуточно сердитый голос.

— Я могу вам чем-нибудь помочь? — спросил Чарльз.

— Нет-нет,— ответил голос отчаянно.— Нет, благодарю вас, ничего не нужно.

— Прошу прощения,— сказал Чарльз и вдруг сообразил, что с тех самых пор, как приехал в этот город, только и делает, что просит прощения то у одного, то у другого — в мыслях, в душе своей, весь день, всякий день. Босые ноги на голом полу пронизывало иголками.

— Входите же, прошу вас.— Теперь голос звучал чуть ли не любезно.

На краю разворошенной постели сидел до крайности белесый молодой человек — среди здешних молодых людей Чарльзу встречалось множество таких. Волосы, брови, ресницы у него были рыжеватые, цвета молочной ириски, кожа того же оттенка, но посветлее и весьма маловыразительные, если б не чуть приподнятые уголки, придававшие ему сходство с хитрым лисенком, тусклые серо-голубые глаза... Узкий, вы-

тянутый череп, четкие, резкие черты лица того типа, который Чарльз почему-то считал аристократическим. Пожалуй, недурной собой юнец, примерно двадцати одного года; когда он неторопливо поднялся, оказалось, что ростом он Чарльзу — а в том было метр восемьдесят — до бровей. Портило его одно: левая щека у него чудовищно раздулась, едва не закрыв глаз, и от уха ко рту тянулась полоска лейкопластыря шириной в два пальца, из-под которой расползались грязно-синие, зеленые и лиловые пятна. Это был не кто иной, как хайдельбергский студент. Он прикрывал щеку рукой, стараясь не касаться ее.

— Ну вот, да вы и сами видите,— сказал он, еле шевеля губами, и его глаза из-под пушистых светлых бровей уставились на Чарльза.— Чепуха, не о чем говорить, но он меня вконец замучил. Совсем как зубная боль. Я кричал во сне, сам слышал,— сказал он, и в его невозмутимом взгляде мелькнул вызов: мол, попробуй только не поверить.— Меня разбудили собственные стоны. Когда вы постучали, я, по правде говоря, решил, что это Роза принесла пузырь со льдом. А мне осточертели пузыри со льдом. Присаживайтесь, прошу вас.

Чарльз сказал:

— У меня есть немного коньяку, может быть, вам стоит выпить?

— Видит бог, да! — сказал юнец, и у него помимо воли вырвался вздох.

Он беспокойно слонялся по комнате, держа растопыренную пятерню у лица, словно опасался, что у него оторвется голова, и тогда он будет начеку и успеет подхватить ее. Из-за светло-серой пижамы создавалось впечатление, что он вот-вот рассеется от желтоватого света ночника.

Чарльз — как был в толстом шерстяном халате и войлочных шлепанцах — вернулся с двумя стаканами и бутылкой коньяку. Пока Чарльз наливал ему, юнец так пожирал глазами коньяк, что, казалось, того и гляди выхватит стакан у Чарльза из рук, но он дождался, когда Чарльз протянул ему стакан, поднес краем к носу, понюхал, они чокнулись и выпили.

— Ух ты! — сказал юнец, он пил осторожно, наклонив голову вправо. Улыбнулся Чарльзу правым углом рта и благодарно просиял правым глазом.— Сразу легче стало! — И без всякого перехода добавил: — Ханс фон Горинг, к вашим услугам.

Чарльз назвал себя, юнец кивнул, и, пока Чарльз снова наполнял стаканы, они помолчали.

— Как вам нравится здесь, в Берлине? — вежливо осведомился Ханс, согревая коньяк ладонями.

— Пока нравится,— сказал Чарльз,— но я ведь еще толком не обосновался.

Чарльз следил за лицом Ханса: он боялся, что язык будет помехой их разговору. Но Ханс, похоже, вполне понимал его.

— Я обошел чуть не весь город, в каких только музеях и кафе не побывал, пока что, разумеется, только в самых известных. Великий город. И тем не менее берлинцы не гордятся им, хотя не исключено, что они просто скромничают.

— Знают, что Берлину далеко до других городов,— без обиняков выложил Ханс.— Я никак не могу понять, почему вы-то сюда приехали? Почему именно сюда — ничего лучше, что ли, не нашли? Вы же могли поехать куда угодно, верно я говорю?

— Пожалуй,— сказал Чарльз.— Да, да, разумеется, мог.

— Меня отец отправил сюда лечиться к своему старому другу, но через десять дней я вернусь в Хайдельберг. Поляк, он пианист, а у пианистов считается, что учиться можно только у старика Шварцкопфа, вот они и едут сюда. Что же касается герра Буссена — его комната дальше по коридору,— начнем с того, что он Platt deutsch [1] и вдобавок

[1] Нижненемецкое наречие. Здесь имеется в виду житель северных районов Германии, где говорят на этом наречии. Литературным языком считается верхненемецкий.

еще и живет в Далмации, так что для него и Берлин хорош. Он считает, что получает здесь образование, и, наверное, так оно и есть. Но вы-то! Взять и по своей воле приехать в Берлин! — Он криво улыбнулся одним уголком рта и гадливо передернулся.— Значит, вы собираетесь пожить здесь?

— Еще три месяца,— сказал Чарльз без особого энтузиазма.— Сам не понимаю, почему я сюда приехал, если не считать того, что у меня был близкий друг — немец. Он ездил сюда с семьей, но это было давным-давно, так вот, он часто повторял: «Поезжай в Берлин». Мне всегда казалось, что здесь стоит побывать, ну а если ты мало что повидал, Берлин производит впечатление. Конечно, Нью-Йорк тоже неплох. Я пробыл там всего неделю, но мне он понравился, по-моему, я бы смог в нем жить.

— Да, конечно, Нью-Йорк,— без всякого интереса повторил Ханс,— но послушайте, а чем плохи Вена, Прага, Мюнхен, Будапешт, Ницца, Рим, Флоренция и, наконец, Париж, Париж, Париж! — Неожиданно Ханс чуть ли не развеселился. И, подражая немецкому актеру, подражающему французу, поцеловал кончики пальцев и, легонько перебирая ими, указал на запад.

— В Париж я поеду позже,— сказал Чарльз.— А вам случалось бывать в Париже?

— Нет, но я непременно туда поеду,— сказал Ханс.— У меня все распланировано.— И, видимо, взбудораженный такой перспективой, вскочил, запахнул поплотнее халат, бережно потрогал щеку и снова опустился на кровать.

— Я хочу пожить там год, походить в какую-нибудь студию, заняться живописью. А вдруг вы нагрянете в Париж, покуда я там буду?

— Нет, мне еще год учиться в Хайдельберге,— сказал Ханс,— а после Хайдельберга придется провести хотя бы несколько месяцев у моего деда, он очень старый и дает мне деньги. Ну а потом я могу уехать и буду волен делать что хочу, по крайней мере года два.

— Как странно, что у вас все распределено наперед,— сказал Чарльз.— Я вот понятия не имею, где окажусь через два года. Не исключено, что мне что-нибудь помешает и я так и не попаду в Париж.

— Если не планировать все заранее,— рассудительно сказал Ханс,— это может завести бог знает куда. Не говоря уж о том, что моя семья обо всем договорилась. Я даже знаю, на какой девушке женюсь и какое у нее приданое. Отличная девушка,— без особого восторга сказал он.— Зато уж Париж мой, уж там-то я погуляю на славу, там я буду сам себе хозяин.

— А я рад, что приехал сюда,— на полном серьезе продолжал Чарльз.— Все американцы, знаете ли, хотят когда-нибудь побывать в Европе. Им кажется, в ней есть нечто особенное.— Развалился на стуле, закинул ногу за ногу: с Хансом он чувствовал себя вольготно.

— В Европе и верно есть, но в Берлине — нет. Вы только теряете здесь время попусту. Поезжайте в Париж, если можете.— Ханс сбросил шлепанцы, юркнул в постель, взбил подушки и с предельной осторожностью опустил на них голову.

— Надеюсь, вам лучше,— сказал Чарльз.— Может быть, теперь вы заснете.

Ханс насупился, замкнулся в себе.

— А я вовсе не болен,— заявил он,— до вашего прихода я спал. Все идет своим чередом, такое случается сплошь и рядом.

— Что же, спокойной ночи,— сказал Чарльз, поднимаясь.

— Нет-нет, не уходите.— Ханс попытался было сесть, но передумал.— Я вам что скажу — постучите-ка в дверь Тадеушу, пусть он тоже встанет. Слишком много он спит. Его дверь рядом с моей. Не в службу, а в дружбу. Он будет рад.

Чарльз постучал — в ответ ни звука, но чуть погодя дверь, также

без звука, отворилась. В темном дверном проеме возник худой высокий юноша, с вытянутой вперед, как у птицы, продолговатой головкой. В лиловом халате тонкого шелка, пожолклые руки с длинными сомкнутыми пальцами сложены одна поверх другой на груди. Вид у него был совсем не сонный, а небольшие, темные, удивительно живые глаза добродушно улыбались.

— Что еще стряслось? — спросил он с английским акцентом, наслаивающимся на польский.— Наш окаянный дуэлянт опять не оставляет нам покоя?

— Не вполне так,— сказал Чарльз: он и рад был услышать английскую речь, и поразился самой речи,— но и утверждать, что он затих, тоже нельзя. Мы пили коньяк. Я Чарльз Аптон.

— Тадеуш Мей,— представился поляк и выскользнул в коридор, бесшумно притворив за собой дверь. Тихим голосом, почти шепотом, он непринужденно продолжил: — Я поляк, хотя моя фамилия и может ввести в заблуждение. Бабка неосмотрительно вышла замуж за австрийца. Остальные члены семьи — вот счастливчики! — носят фамилии типа Замойский.

Едва они вошли к Хансу, как Тадеуш тут же перешел на немецкий:

— Да, да, прелесть что за шрам будет.— Он склонился над Хансом, с видом знатока разглядывая рану.— Все идет как нельзя лучше.

— Останется навек,— сказал Ханс.

На его лице проступило совершенно ошарашившее Чарльза выражение. Лицо его менялось медленно, но основательно, как меняется освещение, хотя ни веки, ни один его мускул при этом не шелохнулись. Выражение это прорвалось изнутри, из тайного укрытия, служившего Хансу подлинным обиталищем; в нем мешались чванство и радость, непередаваемая суетность и самодовольство. Сам Ханс не двигался, двигателем, вытолкнувшим это выражение на поверхность, была его сокровенная натура. Чарльз подумал: «Его надо писать только так, иначе не передать сущности». Тадеуш вел разговор негромко, любезно, переходя с французского на немецкий. У Чарльза просто в голове не укладывалось, как можно так свободно говорить на разных языках. Он напряженно прислушивался, но Тадеуш, скупо жестикулируя рукой со стаканом, похоже, вел довольно бессодержательный разговор, хотя Ханс тоже слушал его внимательно.

Чарльз счел, что не обязан принимать участие в беседе, и попытался вообразить Ханса в Париже с этим его шрамом. Вообразить его в Америке, в захолустном городишке, вроде, скажем, Сан-Антонио, с этим его шрамом. Предположим, в Париже разберутся, что к чему, ну а как его воспримут в глуши Техаса, в Сан-Антонио? Подумают, что он ввязался в поножовщину, скорее всего с мексиканцем, или попал в автомобильную катастрофу. Подумают: экая жалость, такой видный парень и так изуродовался — из деликатности постараются не упоминать о шраме, будут отводить от него глаза. Да и в Париже, как представлялось Чарльзу, у тех, кто поймет, что это за шрам, он вызовет явное неодобрение. Ханс для них будет всего-навсего одним из тех немцев, которые норовят разбередить полученный на дуэли шрам, чтобы кривой, иссиня-багровый рубец остался навек. Тут до него дошло, что лишь в этой стране Ханс может чваниться и своим шрамом, и тем, как он его заработал. Только здесь его поймут, только здесь его шрам не сочтут несчастьем или позором. Прислушиваясь к неумолчной болтовне Тадеуша, Чарльз следил за Хансом, и мысль его ходила по кругу, безуспешно стараясь вырваться из него. Такой здесь обычай, только и всего. Так и надо к этому относиться, больше ничего не остается. Но у Чарльза в целом мире не было, нет и не будет друга, который, повстречай он Ханса, не спросил бы потом Чарльза с глазу на глаз: «Где этот парень заполучил такой шрам?» Если не считать Куно. Но Куно ни о чем подобном ему не рассказывал. Куно рассказывал, что на улице перед офицерами положено посторониться, иначе тебя столкнут с дороги, во время

прогулок они с матерью всегда сходили на мостовую и пропускали офицеров. Куно это нисколько не возмущало: рослые офицеры в шинелях и шлемах скорее импонировали ему, а мать, та негодовала. Он слышал этот рассказ давным-давно, а вот помнил же; ни с чем подобным он в жизни не сталкивался, но рассказ отложился у него в памяти как неоспоримая истина, и неведомый ему отрезок жизни Куно, протекавший вдали, был для него более подлинным, чем жизнь, прожитая ими совместно.

У боксеров изуродованные уши, но это получается помимо их воли. В их случае это профессиональный риск. У официантов плоскостопие. У стеклодувов щеки свисают мешками оттого, что они целыми днями дуют что есть силы. У скрипачей часто вскакивают нарывы под подбородком, оттого что они упирают туда скрипку. У солдат сплошь и рядом разворачивает взрывом лица, и хирургам приходится сшивать их по кусочкам. Работа уродует людей по-всякому: и в результате несчастного случая, и мало-помалу — так что ты и сам замечаешь, на что похож, только когда уже ничего не поделаешь. Чуть не во всем мире издавна дрались на дуэлях, к дуэлям относились с почтением, но дуэли должна предшествовать ссора. Он видел дуэльные пистолеты своего прадеда в подбитом бархатом футляре — предмет семейной гордости. Но что это за человек, который хладнокровно позволяет ни за что ни про что раскроить себе физиономию? И вдобавок всю жизнь чванится этой раной, хотя ни для кого не секрет, как он ее заработал. Мало того, он и от тебя еще ждет восторгов. Чарльзу Ханс понравился с первого взгляда, но было в Хансе что-то, что останется для него тайной, проживи они оба хоть до тысячи лет; тебе это дано или не дано, и Чарльз отринул и саму рану, и причины, ее породившие, и все, благодаря чему такое вообще возможно, просто потому, что все это выходило за пределы его понимания.

Тем не менее Ханс ему нравился, и он дорого дал бы, чтобы шрама не было. Но шрам был, и, когда Чарльз глядел на него, его и брала оторопь, и он не верил своим глазам разом, все равно как если бы встретил посреди бела дня на Курфюрстендамме рыцаря в латах или, пуще того, скелет, кружащийся в Пляске смерти.

— Вы говорите по-французски? — отнесся наконец Тадеуш к Чарльзу.

— Еле-еле,— сказал Чарльз, но перейти на французский заробел.

— Счастливчик,— сказал Тадеуш.— Ваш родной язык каждый старается выучить. Ваш и французский. А мне приходится учить все, чтоб им, языки подряд, потому что никто, кроме поляков, не говорит по-польски.

Он был хрупкого сложения, зеленый с лица молодой человек, глаза его на свету казались темно-карими. Что-то заставляло предположить в нем раздражительный нрав; разговаривая, он крутил словно пожухлый хохолок на макушке, губы его еле заметно кривила тонкая улыбочка.

— Я могу говорить и на Plattdeutsch, но герр Буссен притворяется, что не понимает меня.

— Это тот, которого сегодня отчитывала наша хозяйка? — спросил Чарльз и тут же понял, что совершил бестактность.

— Сегодня? — переспросил Тадеуш.— Она отчитывает его не только сегодня, а каждый день, не за одно, так за другое. Он ужасный дурак. Других таких дураков, как северяне, днем с огнем не найти. Пусть себе Роза срывает злость на нем. Меньше будет цепляться к нам. Она сущая фурия, эта тетка.

— Чего вы хотите? — сказал Ханс брюзгливо и надулся.— Это же pension [1].

— Кстати говоря, числящийся в рекомендательном списке,— добро-

---

[1] Пансион (*франц.*).

душно сказал Тадеуш, зажав сигарету между указательным и средним пальцами, огоньком к ладони.— И я ничего не хочу.

— Все бы ладно, если бы она оставила в покое мои бумаги,— сказал Чарльз.

— Вы тот американский богач, который оплачивает все, что мы недоплачиваем,— улыбнулся Тадеуш.— Зато вам и кружевные занавески, и лучшая перина. Но если вы проштрафитесь, помните — за ваши грехи взыщут с герра Буссена.

Чарльз покачал головой: это до того похоже на правду, подумал он, что даже не смешно, во всяком случае ему. Разлил коньяк по стаканам, и они снова закурили. Гости расположились поудобнее, а Ханс перевернулся на бок. Они пребывали в самом добром и мирном расположении духа, между ними, похоже, завязывались приятельские отношения. В дверь трижды резко, отрывисто постучали, вслед за тем послышался Розин голос. Она мягко пожурила их, как водится, напомнила, что уже четвертый час ночи, что они в доме не одни, тут есть люди, которые, в отличие от них, хотят спать. Они переглянулись с заговорщическими улыбками.

— Роза, душечка.— Ханс вложил в голос всю силу убеждения.— Мне стало совсем плохо, и они пришли составить мне компанию.

— Вам никакая компания не нужна,— отрезала Роза,— прежде всего вам нужен сон.

Тадеуш неслышно поднялся, резко отворил дверь, и Роза, привидением в халате и сетке для волос, кудахча, кинулась прочь, Тадеуш. увещевающе крикнул ей вслед:

— Мы сейчас же разойдемся,— обернулся к ним, и его близорукие глазки издевательски блеснули.— Я знал, как обратить ее в бегство,— сказал он.— Она ужасно тщеславная — можно подумать, ей двадцать лет. Впечатление такое, словно мы в какой-то окаянной тюрьме.— Он снова взял стакан.— Впрочем, Берлин и есть тюрьма. Должен вам сказать,— обратился он к Чарльзу,— я жду не дождусь, когда смогу вернуться в Лондон. Вот куда вам надо поехать во что бы то ни стало. Поверьте моему опыту — я перебывал почти во всех великих городах, разве что в вашем легендарном Нью-Йорке не был, но на фотографиях, сделанных с самолета, он довольно-таки отталкивающий,— цивилизованный человек должен жить только в Лондоне.

Ханс осторожно покачал головой и повторил:

— Нет-нет, в Париже.

— Ладно.— Тадеуш перешел на английский: — О'кей. Этому выражению я научился у одного вашего соотечественника, типичного американца на все сто процентов, как он себя аттестовал. Ковбой из Аризоны, шляпа с ведро величиной. Из трясунов, к тому же вегетарианец, поутру никогда не сядет завтракать, пока не хлопнет стопку виски. Крутил роман с заклинательницей змей, она по совместительству еще танцевала нагишом. Когда я с ним познакомился, он держал маленькое boîte [1] на Левом берегу; развесил там по стенам бычьи рога, лассо. Как-то раз он повздорил со своей заклинательницей, накинул ей на шею лассо и ну таскать по полу. Она от него тут же сбежала, но перед этим подложила ему в постель ядовитую змею. И ничего — обошлось. Как он сам сказал: о'кей, мне все нипочем.

— Объясните, о чем вы говорите? Не забывайте, я не понимаю по-английски,— сказал Ханс.

Тадеуш перешел на немецкий:

— Я рассказывал, как научился говорить о'кей.

— Вот оно что, о'кей — это я понимаю. Но больше ни одного английского слова не знаю,— кивнул Ханс.

Чтобы доказать, что они как-никак мужчины и не позволят собой помыкать, они тянули время и, прежде чем разойтись, долго желали друг другу спокойной ночи.

[1] Кабаре (*франц.*).

Выйдя поутру из ванной, Чарльз столкнулся в коридоре с герром Буссеном. На герре Буссене был куцый бумазейный халат, на руке висело довольно замызганное вафельное полотенце. На пухлом круглом лице расстройство мешалось с недоумением — он напоминал ребенка, которого так затуркали домашние, что он ни от кого не ждет ничего хорошего. Сегодня Чарльза разбудили крики Розы — она за что-то отчитывала герра Буссена. Чуть погодя она принесла Чарльзу кофе, булочки, масло, отлично причесанная, тщательно одетая — и это в такую рань, но в глазах ее не угасло раздражение. Она отдернула занавески, щелкнула выключателем — зимний свет грязноватой водицей залил комнату. И тут же унеслась прочь, забарабанила в дверь ванной, строго, властно крикнула:

— Вы уже пятнадцать минут занимаете ванную, герр Буссен, ваше время истекло.

Вернулась, одним рывком сдернула с кровати белье — и легкий ветерок взъерошил Чарльзу волосы. Встала около Чарльза, вздохнула.

— Как я ни стараюсь, а нет ни порядка, ни покоя, все идет кувырком — разве к такой жизни я привыкла? И в довершение всего еще и ванная. Ее всю заляпали кремом для бритья, пастой, везде лужи, лужи на линолеуме, зеркала и те забрызгали, всюду грязь, нет, вы мне скажите, герр Аптон, почему молодые люди никогда не моют за собой ванну? Но мало этого, так еще и герр Буссен. Что ни утро, у него в постели полно сырных и хлебных крошек, в комоде среди белья сплошь и рядом открытые банки с сардинами, он прячет в шкаф скорлупу от орехов, которые вечно щелкает. Мне все говорят, что он станет профессором, но от этого мне не легче. И каждый, буквально каждый месяц он задерживает плату за квартиру. На что, интересно, он думает, я буду жить, если мне не платят в срок?

Чарльз весь залился краской, вскочил.

— Подождите пару минут, я уйду и не буду вам мешать,— сказал он.

— Вы мне не мешаете. Занимайтесь своими делами, а я займусь своими. Нет-нет, вы меня не так поняли.— Она оживленно улыбнулась ему: видно, поборола накатившее на нее уныние.— Для вашего сведения, перед войной у меня было пять человек прислуги, не считая садовника и шофера, платья я выписывала из Парижа, мебель из Англии; у меня было три бриллиантовых колье, герр Аптон, да-да, три, так чего же удивительного, если я порой задаюсь вопросом: что со мной станется? Я стелю постели, как горничная, мою замызганные полы...

Чарльз, чувствуя, что его загнали в угол, схватил пальто, шляпу, буркнул что-то по-немецки — спроси его, он и сам не смог бы объяснить что — и опрометью кинулся из квартиры в ужасе: это же полное забвение приличий так откровенничать, и вдобавок Роза еще знает — вот стыд-то! — что он разводит грязь в ванной.

Он заложил фотоаппарат, рассчитывая получить за него сущие гроши, но щуплый субъект в ссудной кассе, оторвавшись от гроссбуха, с видом знатока осмотрел щегольскую камеру и без слов выложил за нее сто марок. Чарльз почувствовал, что он несметно богат, приободрился и поспешил домой в надежде немного поработать. Уже подходя к дому, он увидел герра Буссена — прижимая к груди кулек из оберточной бумаги, по всей вероятности хлеб с ливерной колбасой, в одном пиджаке, хотя стоял зверский холод, тот открывал парадную дверь. Чарльз догнал его на лестнице: герр Буссен, понурившись, медленно поднимался вверх. Со спины его можно было принять за старика, но вот он обернулся к Чарльзу, и лицо у него оказалось даже слишком юным для его возраста — в нем проглядывало непрожитое до конца, затянувшееся детство. С покрасневшего носа свисала капля, глаза слезились, на сжимавших пакет руках без перчаток потрескалась кожа.

— Доброе утро,— сказал герр Буссен, и его неказистое лицо на

миг осветилось улыбкой, словно он ожидал какой-то приятной нечаянности.

Чарльз замедлил шаг, они представились друг другу и дальше поднимались молча. Дверь им открыла Роза.

— Вот как! — Она подозрительно переводила глаза с одного на другого.— Значит, вы уже познакомились?

— Да,— сказали они хором и, сильные своей сплоченностью, прошли мимо, не удостоив ее больше ни единым словом.

Роза, бормоча что-то под нос, удалилась к себе.

— Вас она тоже норовит обругать всякий раз, когда с вами разговаривает? — спросил герр Буссен, смиренно, без тени возмущения.

— Пока нет,— сказал Чарльз: он уже начал тяготиться своей неприкосновенностью. Пора переходить на их сторону, решил он, я не желаю и не позволю, чтобы Роза сделала меня своим любимчиком.

Герр Буссен меж тем продолжал:

— Она всякий день напускается на меня — поносит как минимум полчаса, а кончит — давай поносить герра Мея, но совсем по-другому: у него острый язык, и он отвечает ей тем же, но по-хитрому, так что ей и невдомек. Она облизывает фон Горинга, потому что он дрался на mensur [1], ну да ей это быстро надоест, а вам она не грубит, потому что вы иностранец и платите за квартиру больше нас. Но все впереди. Она и до вас доберется.

— Пусть только попробует,— беззаботно сказал Чарльз,— я мигом съеду.

— И вы готовы заплатить за три месяца? Ведь иначе вам придется иметь дело с полицией! — Герр Буссен был потрясен.— Господи, да у вас, должно быть, денег куры не клюют!

Чарльз помотал головой, хотя и понимал, что отпираться не имеет смысла: все равно ему не поверят. Зависть, до того глубокая, что даже смахивала на ненависть, проступила на лице герра Буссена, он замолчал и принялся разглядывать Чарльза так, словно перед ним было некое невиданное, но довольно мерзкое существо другой породы.

— Нет, я серьезно,— сказал он,— я бы посоветовал вам не нарушать наших прелюбопытных обычаев и ничем, решительно ничем, даже самой малой малостью не навлекать на себя недовольство полиции. Я говорю это вам, потому что вы плохо знаете нашу страну: здесь не любят иностранцев.

— Спасибо,— сухо бросил Чарльз: он был оскорблен до глубины души.

Этот невеселый разговор сначала нагнал на него тоску, потом привел в бешенство. В приступе неясной ему самому, но бодрящей ярости он сел за стол и принялся рисовать — торопливо, как бог на душу положит. Время от времени он отводил локти назад, вдыхал полной грудью воздух. Ему казалось, что стены надвигаются на него, представлялось, что он слышит, как дышат жильцы в соседних комнатах, на него попахивало йодом от перевязки Ханса, тухлыми сардинами изо рта герра Буссена, его мутило от томных дамских истерик Розы. Он нарисовал владельцев своей бывшей гостиницы: ее — хворой лисой, его — помесью борова с тигром. Нарисовал он и простоватую физиономию герра Буссена и с каждым наброском все больше теплел к нему. Чем-то он располагал к себе. С особым злорадством нарисовал Розу, сначала неряшливой кухаркой, потом морщинистой старой шлюхой и наконец нагишом. Вглядевшись в рисунки, он счел, что выместил, пусть и не до конца, свое раздражение, и изорвал их в клочки. Тут же пожалел об этом, а в то же время — где бы он их прятал от нее? Затем, уже не спеша, принялся рисовать Ханса, нелепо чванящегося своей раной, такого, каким он запал ему в память, и до того увлекся, что утихомирился, устыдился своего гнева и стал даже недоумевать, что это на него накатило. Ведь

[1] Дуэли (*нем.*).

все они славные люди, все попали в беду, набились, как сельди в бочку, в эту дыру, где нечем дышать, негде повернуться, не на что жить, нехватки буквально во всем, некуда податься, нечего делать, и только и остается, что есть друг друга поедом. Я в любую минуту могу уехать домой, сказал он себе, но сначала надо выяснить, зачем я вообще приехал сюда.

Тадеуш снова заиграл, и он отложил карандаш. Откинулся поудобнее и наслаждался музыкой. Да, этот парень умел играть. Чарльз слышал по радио многих знаменитых музыкантов, и Тадеуш, на его взгляд, ничуть не уступал им. Тадеуш знал свое дело. Он нарисовал Тадеуша за пианино — птичья головка, резкие морщины в углах рта, пальцы точно птичьи когти. «Вот черт, а что, если я карикатурист?» — подумал он, но эта мысль его ничуть не огорчила. Он снова взялся за работу и забыл о музыке.

До него не сразу дошли возня в коридоре и Розины пронзительные стенания, полностью очнулся он, только когда она с воплем неподдельного ужаса забарабанила в дверь:

— Господи, о господи, герр Аптон, помогите герру Буссену...— Чарльз отворил дверь. Тадеуш и Ханс уже толклись около двери герра Буссена. По Розиному лицу катились слезы, волосы ее растрепались.— Герр Буссен отравился.

Чарльза оледенил смертный ужас. Он выскочил в коридор и вместе со всеми ввалился в комнату герра Буссена. Герр Буссен стоял на коленях у кровати, вцепившись в ночной горшок: его рвало, выворачивало, говорить он мог, только когда ему удавалось перевести дух между судорогами. И все же он через силу поднял руку, отчаянно замахал на них и пробулькотел:

— Уходите, уходите...

— Уведите его в ванную,— кричала Роза,— вызовите врача, принесите воды и ковер, ради бога, не попортьте.

Пока Чарльз, ухватив герра Буссена под мышки, поднимал его, подоспел Тадеуш с мокрыми полотенцами, а Ханс, прикрыв щеку рукой, побежал к телефону.

— Какого черта, ничего не надо,— вопил герр Буссен.— Не надо, не надо никакого врача.

Герр Буссен, чуть не выскользнув из рук Чарльза, рухнул, перегнувшись пополам, на изножье кровати, прижимая живот руками,— его корежило от боли, лицо приняло пугающий лиловато-зеленый оттенок, по бровям, по носу ручьями тек пот.

— Ну зачем, зачем вы это сделали? — заливаясь слезами, выкрикивала Роза.— Ну как вы могли отравиться здесь, где все желают вам добра?

Герр Буссен, собрав последние силы, запротестовал.

— Говорю вам, я вовсе не желал отравиться,— возопил он, зычный баритон его ничуть не ослабел.— Я же говорил вам, я съел что-то не то и отравился, сам того не желая.

Он снова согнулся над горшком — приступы рвоты возобновились.

— Уведите его в ванную,— кричала Роза, ломая руки.— Мне все известно,— напустилась она на герра Буссена в новом приступе гнева.— Эта ваша колбаса. Эти ваши сардины. Этот ваш печеночный паштет. Я вас предостерегала, так нет же, вы меня не послушали. Нет, вы же у нас умнее всех. Сколько раз я вам говорила...

— Оставьте меня в покое,— в отчаянии вопил герр Буссен.— Отпустите меня.

Чарльз и Тадеуш сообща приступились к нему.

— Пошли,— сказал Тадеуш на Platt deutsch самым будничным тоном,— пошли, мы вам поможем.

Они обхватили его за талию — он мешком повис у них на руках — и, стараясь ни обо что не ушибить, поволокли по коридору.

— О господи,— стонал герр Буссен в непритворном отчаянии,— оставьте меня в покое!

Но они, не считаясь с его протестами, точно он уже умер, протащили его в ванную, закрыли дверь, задвинули защелку. Чарльз чуть не сразу выскочил из ванной, опрометью, забыв надеть шляпу, кинулся в аптеку, через несколько минут вернулся оттуда с огромным пакетом, запер ванную, и, отмахнувшись от Розиных вопросов, они с Тадеушем взялись за герра Буссена всерьез.

Роза напустилась на Ханса, лицо ее совсем распухло от слез, не переставая плакать, она велела ему отправляться в постель.

— Зря вы беспокоитесь,— сказал Ханс.— Мне стало легче, и я пойду в поликлинику.

— Вы совсем расхвораетесь,— рыдала Роза.

— Нет, напротив, мне станет лучше,— холодно бросил он ей уже с порога.

Герр Буссен — его обиходили, обласкали, промыли и с ледяным пузырем на голове устроили в постели — застыл в оскорбленном неблагодарном молчании, а трое новообретенных друзей наперебой ухаживали за ним. Он, похоже, не очень-то нами доволен, думал Чарльз, а ведь мы потрудились на славу. Герр Буссен — и с какой стати они его так называют: ему ведь года двадцать четыре, не больше,— подавленный, сконфуженный, лежал с закрытыми глазами или отвернувшись к стене, а когда Тадеуш принес горячий суп из ресторана, он замотал головой и, похоже, едва не заплакал. Роза, увидев суп, тоже обиделась.

— Вы должны были попросить меня приготовить еду,— сказала она Тадеушу.— Я не желаю, чтобы его снова отравили.

Она унесла суп и чуть погодя, разогрев, подала на красиво убранном подносе. Вид у нее был угнетенный, герр Буссен пал духом и ел без аппетита.

Чарльз заметил, что стол герра Буссена завален густо исписанными бумагами, узнал математические формулы, но разобрать их не мог. Роза суетилась, пыталась навести на столе порядок. Когда они вышли из комнаты, она сказала Чарльзу:

— Вы наверняка не знаете, что герр Буссен считается в университете блестящим математиком. Он подает большие надежды.— В ее голосе звучала гордость собственницы.— Я порой отчитываю его, но надо же кому-то привить ему приличные навыки. Он ест ну просто бог знает что, чуть ли не отбросы. А теперь ему стыдно, потому что вы застали его в таком жалком виде. Вы не представляете себе, как ужасна бедность,— сказала она, и не только из глаз, а, кажется, изо всех пор у нее потекли слезы и, смешавшись с потом, залили ей лицо: — Что нам делать? Что с нами станется?

В коридор вышел Тадеуш, взял ее за руку.

— Да будет вам, Роза,— сказал он, легонько тряхнув ее.— Ну в самом деле, что такого случилось? Герр Буссен съел сардинку и доставил нам массу хлопот. Подите прилягте, а мы приглядим за ним и постараемся не шуметь.

— У меня нервы расходились.— Роза благодарно улыбнулась ему.

Они наведались к герру Буссену. Он лежал неподвижно, прикрыв лицо рукой: похоже, снотворное начало действовать.

— Пойдем ко мне,— сказал Чарльзу Тадеуш.— У меня тоже припасен коньяк.

В комнату вошел Ханс — рана его, заклеенная свежим лейкопластырем, из-под которого выбивалась свежая же корпия, выглядела гораздо лучше. От коньяка он отказался.

— Как по-вашему, за ним не нужно приглядывать? По-вашему, как? — спросил он Чарльза.

— Да нет, по-моему, не нужно,— не сразу ответил Тадеуш.— А по-вашему? — обратился он к Чарльзу.

— Мне кажется, он нас не обманывает,— сказал Чарльз.

— Вот и отлично. Выпейте и за мое здоровье,— сказал Ханс, прикрывая за собой дверь.

Узкую комнату Тадеуша загромождало пианино и небольшая немая клавиатура; Чарльз осмотрел ее, неловко перебирая клавиши рукой.

— Я упражняюсь на ней по семи часов в день,— сказал Тадеуш и, вытянув перед собой руки, повертел ими,— и ваше счастье, что на ней. Но наш окаянный убийца себя, чтоб ему, заснул, и сегодня мне больше не играть. А раз так, почему бы не надраться.— И он ткнул в наполовину опорожненную бутылку коньяку.— Вообще-то я не пью. Но если бы мне пришлось пожить здесь подольше, я бы запил.

— На меня здешняя обстановка тоже действует угнетающе, сам не знаю почему. По сравнению с настоящими бедняками, а мне их случалось видеть и здесь, и дома, даже герр Буссен чуть ли не богач. А по сравнению хотя бы с самостоятельными людьми я, наверное, чуть ли не нищий. Но я никогда не считал себя бедняком и не боялся бедности. Мне всегда казалось: если мне по-настоящему, позарез захочется разбогатеть, я сумею разбогатеть. Но здесь... не знаю, как и объяснить... здесь все живут так скученно, так озабоченно и ни о чем, кроме денег, не думают.

— Не забывайте, что они проиграли войну,— сказал Тадеуш. Он пробежал пальцами по немой клавиатуре, и ее клавиши размеренно, деревянно защелкали.— А это, если хотите знать, дурно отражается на характере нации. Но я им не сочувствую, ничуть. А что касается скученности, им далеко до поляков. Эти пузатые уроды...— Он закинул ногу за ногу и принялся терзать хохолок на макушке.— Побывали бы они в нашей шкуре, тогда поняли бы, что такое настоящий голод.

— Здесь далеко не все уроды,— сказал Чарльз,— вот уж нет.

— О'кей.— Тадеуш не стал спорить, прикрыл глаза.

А Чарльз думал: что я должен на это сказать? Выступить с пламенной защитой поляков? Или обругать немцев? Но на самом деле он думал вовсе не об этом, а о своем пальто на теплой подкладке — прикидывал, достаточно ли оно приличное, чтобы предложить его герру Буссену, и как к этому подступиться. Уместно ли просто постучать ему в дверь и сказать: «Мне это пальто не нужно» или (нет, нет, так нельзя): «Если вы оставили пальто дома, почему бы вам пока не поносить мое?» Неужели никак нельзя сделать это по-человечески? Он рассказал о своих затруднениях Тадеушу и попросил его совета.

— Да что вы! — сказал Тадеуш.— Ни в коем случае. Он человек гордый, он придет в ярость. И потом,— Тадеуш покачал ногой,— не забывайте, что нельзя отнимать ничьих страданий, ведь чаще всего человек обрекает себя на них, преследуя какие-то свои цели,— откуда нам знать? Мы нередко жалеем людей совершенно не за то. А они, да будет вам известно, не нуждаются в нашей жалости и не хотят ее. Бедняга Буссен, теперь уже с полным правом говорим мы, и наше будущее представляется нам куда более завидным и надежным. В жизни есть вещи похуже холода и голода. Вам это никогда не приходило в голову? Знаете ли вы Буссена, его чувства, его замыслы? Так вот вам мой совет: пока не узнаете, не вмешивайтесь в его жизнь.

— Если бы мы сегодня не вмешались, он уже отдал бы богу душу,— сказал Чарльз.

— И все равно, не исключено, что мы совершили ошибку,— не смутился Тадеуш.— А впрочем, поживем — увидим. Разумеется, если б можно было дать ему деньги или еду так, чтобы он не знал, почему мы это делаем, тогда другое дело. Но это невозможно. Если после всего того, что сегодня случилось, вы возьмете и предложите ему свое пальто, на что вы можете рассчитывать? Он разве что не швырнет его вам в лицо. Человек, наверное, был бы не прочь принять милостыню, если б не опасался заслужить презрение благодетеля. Одолжения можно принимать только от близких друзей и оказывать их можно тоже только им же.

Иначе из этого не выйдет ничего хорошего.— Тадеуш вскочил, забегал по комнате, накренясь вперед и буравя Чарльза взглядом.

— Не посетуйте, дружище, но я должен сказать, что у вас, американцев, весьма причудливые понятия. С какой стати такая щедрость? Какая вам в этом корысть, на что вы рассчитываете?

— Я не преследую никакой корысти и рассчитываю лишиться пальто. Но пальто мне не нужно,— сказал он.— И что касается меня, я ставлю тут точку.

— Вы кипите благородным негодованием,— сказал Тадеуш. Он остановился около Чарльза, улыбнулся.— Не сердитесь на меня, слышите, я говорю совсем как американец, правда? Вы сможете гордиться тем, что вам ничего не стоит отдать пальто, а тут есть своя корысть. Герр Буссен не будет мерзнуть, позволит чужому человеку облагодетельствовать себя, и не исключено, что благодаря этому ничего в жизни не достигнет. Постарайтесь понять. Я разбираюсь в этих делах лучше вас. Если мне случится приехать в Америку, я прислушаюсь к вашим советам относительно ваших соотечественников.

— Не думаю, чтобы американцы так уж отличались от других людей,— сказал Чарльз.

— Поверьте мне,— сказал Тадеуш,— вы для нас все равно что инопланетяне. Не предлагайте пальто герру Буссену. Он вас возненавидит.

— Как хотите, а я не могу в это поверить,— сказал Чарльз.

— Если вы выступаете в роли благодетеля,— сказал Тадеуш,— будьте готовы к тому, что вас возненавидят. С вашего позволения, я расскажу вам одну историю. Моему знакомому, очень богатому человеку, захотелось помочь молодым музыкантам, и он назначил им стипендии, и немалые. Но первым делом он отправился к своему поверенному и поставил условие: дар должен исходить от неизвестного, имя дарителя нельзя открыть ни при каких обстоятельствах. Поверенный сказал, что это вполне можно устроить, почему бы нет, только такая таинственность связана с лишними хлопотами, а зачем они его клиенту? И этот мудрец так ответил ему: «Я человек суеверный и не хочу, чтобы они знали, кого им проклинать».

— Господи, спаси и помилуй,— непритворно ужаснулся Чарльз.

— Вот именно, что спаси и помилуй,— вежливо согласился Тадеуш.

И Чарльз, оставив пальто в шкафу, понес герру Буссену молоко и апельсины. У его постели уже сидел Ханс — он уговаривал герра Буссена доесть суп.

Больной согласился и съел несколько ложек супа с таким видом, словно глотает горькую микстуру. А Тадеуш говорил верно, подумал Чарльз, герру Буссену еда не идет впрок; ему было ясно, что герр Буссен чувствует, как мало-помалу нарастает долг, отдать который он никогда не сможет. Чарльзу — он стоял в изножье кровати — вдруг представилась прелюбопытная картина: герр Буссен, объект их благодеяний, оленем мчится по заснеженным просторам, а за ним в бешеной погоне несутся Ханс, Тадеуш и Роза — хотят, пусть даже взяв за горло, сбить с ног, с тем, чтобы принудить принять от них помощь, утешение. В ушах Чарльза звучал басовитый угрюмый лай отцовых красно-пегих гончих.

Роза принесла кофе на подносе, одну его сторону занимала ничем не примечательная металлическая шкатулка черного лака. Роза не стала наливать кофе, а сложила руки на столе и, понизив голос, сказала:

— Я думаю, сегодняшний день был нелегким для всех. Но я была резка с герром Буссеном, и поэтому у меня особенно тяжко на душе. Я извинилась перед ним, и он ответил... он ответил мне по-доброму. Но я знаю, что вы, иностранец, родом из богатой страны...

— Спору нет, страна богатая,— сказал Чарльз,— но богачей в ней не так много.

— ...не в состоянии понять.— Роза отмела его возражения, даже не потрудившись к ним прислушаться.— Я хочу кое-что вам показать, вдруг вы хоть отчасти уясните себе, что с нами произошло. К нам отовсюду съезжаются иноземцы, им некуда девать деньги...

— Я же говорил вам, ко мне это не относится, я не богат,— отнекивался Чарльз, хоть и понимал, что это бесполезно.

В ее устремленном на него взгляде читалось едва ли не презрение: ну зачем лгать, ей-то лучше известно. Он из тех американских богачей, которые притворяются бедняками, хуже нет таких.

— Им некуда девать деньги,— повысив голос, продолжала она гневно,— и они смотрят на нас свысока, потому что мы озабочены тем, как нам жить дальше. Вы презираете нас, потому что мы разорены, а почему, позвольте вас спросить, мы разорились? Да потому, что ваша страна в войну отреклась от нас, вы должны были прийти нам на помощь, а не пришли.— Она понизила голос, говорила горько, спокойно.

Чарльз, не горячась, рассудительно сказал:

— На пароходе немцы всю дорогу твердили мне то же самое. По правде говоря, я всю мою жизнь слышу разговоры о войне, но саму войну помню весьма смутно. И, признаться, мало о ней думаю. Если бы я о ней больше думал, я, может статься, никогда бы не приехал сюда.

— Вы можете себе позволить не думать о войне, —сказала Роза,— но мы здесь ни о чем больше не можем думать.

Она открыла черную шкатулку. Шкатулка была доверху заполнена купюрами, плотными пачками купюр, туго стянутыми резинками,— столько денег Чарльзу никогда не доводилось видеть, разве что мельком под боком у кассира, сидящего за зарешеченным окошечком большого банка. Роза вынула одну пачку из шкатулки.

— Вот эти ничего не стоят,— сказала она с напускной бесшабашностью,— они всего-навсего по сто тысяч марок каждая... Погодите,— она вынула другую пачку, пропустила края купюр между пальцами,— а вот эти по полмиллиона марок каждая, посмотрите на них,— голос ее дрогнул.— Вот эти по миллиону марок каждая,— продолжала она и, не поднимая глаз, роняла пачку за пачкой на столик. Ужас мешался на ее лице с благоговением, казалось, к ней на миг возвратилась вера в былое могущество этих бумаг.— Вам случалось видеть банкноту в пять миллионов марок? Здесь их ровно сто штук, такого вы больше никогда не увидите.— И, не справившись с охватившим ее горем, неожиданно расплакалась, вцепившись в так зло обманувшие ее пачки обеими руками.— А сегодня на все эти деньги не купить и буханки хлеба, попробуйте, попробуйте — и убедитесь сами!

Голос ее взлетел, забыв о приличиях, она плакала, даже не прикрыв лицо, руки ее повисли, никчемные пачки упали на пол.

Чарльз озирался по сторонам, будто ожидал, что произойдет чудо и к нему придут на помощь, вызволят. Он попятился, желая лишь одного — сбежать от нее, а сам тем временем как можно более прочувственно бубнил:

— Это ужасно, я понимаю, но чем я могу тут помочь?

Нехитрый вопрос неожиданно возымел действие. Розины слезы чуть не сразу высохли, голос опустился на тон ниже, и она яростно накинулась на него.

— Ничем,— с жаром выкрикнула она,— решительно ничем, вы ничего не понимаете и даже представить себе не можете...

Чарльз поднял деньги с ковра, и Роза принялась укладывать тугие белесые пачки в шкатулку, сначала расположила их так, потом иначе, то и дело отрываясь, чтобы промокнуть кончик носа изящным платочком.

— Ничего тут не скажешь, ничего не поделаешь,— повторила она, метнув на него взгляд, полный такой укоризны, словно он подвел ее, и такой сердитый и разобиженный, словно она была ему близкой родственницей, а не родственницей, так близким другом или... но кем, спрашивается, была ему Роза? Незнакомой пожилой дамой, у которой он снял

комнату и с которой рассчитывал обменяться на ходу парой фраз не чаще раза в неделю, а она возьми да и навались на него со всеми бедами, рыдает у него на груди да еще перекладывает на него вину за все беды мира, доводит его до белого каления, а как от нее избавиться, он не знает.

Роза закрыла шкатулку, оперлась о стол.

— Если ты беден,— сказала она,— тебя пугают бедные и невезучие. Меня пугал герр Буссен, да что там, я чуть ли не ненавидела его. У меня не выходило из головы: «Господи, этот человек накликает на нас беду, он всех нас потянет за собой на дно».— Голос ее понизился чуть ли не до шепота.— Но сегодня мне открылось, что герр Буссен все превозможет, он сильный, он ничего не боится. И я черпаю в этом поддержку, потому что всего боюсь.

Она налила кофе, взяла черную лакированную шкатулку и вышла из комнаты.

Квартира готовилась ко сну — этой ночью всем хотелось отоспаться. Как хорошо, подумал Чарльз, что можно отделиться от сегодняшних событий долгим безмолвным темным промежутком. А что, если бедняга Буссен окочурится? Но герр Буссен все еще дышал, вернее, храпел, протяжно, зычно, словно никак не мог надышаться, и он почувствовал к нему живейшую благодарность.

Утром, когда Чарльз просунул голову в дверь поглядеть на герра Буссена, у него уже сидели двое посетителей: костлявые парни с на редкость серьезными физиономиями и совершенно одинаковыми рыжеватыми чубчиками — один на кровати, другой на чахлом стульчике. Они разом повернулись и устремили на незнакомца две пары совершенно неотличимых бездонной синевы глаз, и герр Буссен, вполне оправившийся и повеселевший, представил их Чарльзу. Близнецы, сказал он, его школьные друзья, сейчас они на пороге осуществления своей заветной мечты. В канун Нового года они откроют кабаре в уютном полуподвальчике с отличным пивом, холодными закусками, хорошенькими девочками — певичками, танцорками. Особого шика-блеска не будет, но недурное заведение, и герр Буссен надеется, что Чарльз не откажется пойти с ним отпраздновать его открытие. Превосходная мысль, сказал Чарльз и подумал, что Ханс и Тадеуш наверняка согласятся присоединиться к ним. Близнецы не сводили с него глаз, напрочь лишенных даже признаков какого-либо выражения.

Герр Буссен вскочил, он словно возродился к жизни.

— Вот здорово, пойдем все вместе.

Близнецы поднялись, и оказалось, что они ростом чуть ли не под потолок; один сказал:

— Берем мы, кстати говоря, недорого.

И улыбнулся широко и ободряюще, видно радуясь возможности преподнести Чарльзу такую приятную новость, Чарльз улыбнулся ему в ответ.

— Я собираюсь выйти, вам что-нибудь принести? — спросил он герра Буссена.

— Нет-нет,— решительно отказался герр Буссен, помотал головой, и глаза его недовольно сверкнули.— Благодарю вас, мне ничего не нужно. Я сейчас встану.

Наверху короткой, в несколько ступенек, лестницы, ведущей в кабаре, стояла тарелка с объедками для бездомных кошек и собак. Черный кот, перепуганно озираясь назад, торопливо заглатывал объедки. В дверь высунулась голова одного из близнецов, он радостно пригласил четверых приятелей пройти, заметил кота, бросил ему положенное: «Ешь на здоровье». Распахнул дверь, за ней открылся небольшой, свежепокрашенный, ярко освещенный зал, заставленный столами, накрытыми красными в крупную клетку скатертями, скромная стойка и

длинный стол с холодными закусками в дальнем углу. Все это охватывалось одним взглядом. Обстановка была вполне домашняя — пестрые бумажные цепи, гирлянды нарезанной бахромой серебряной фольги, вокруг зеркала над стойкой, на полках ряды глиняных кружек, часы с кукушкой.

Чарльз совсем иначе представлял себе берлинское кабаре: он был наслышан об изысках берлинской ночной жизни и чувствовал себя обманутым в своих ожиданиях. Он не скрыл разочарования от Тадеуша.

— Ну что вы,— сказал Тадеуш,— это заведение совсем другого рода. Здесь будет благопристойное замшело-бюргерское немецкое заведение — сплошь сантименты и пиво. Сюда можно без опаски привести невинного ребенка, будь у вас невинный ребенок.

Он, похоже, был рад, что пришел сюда, Ханс и герр Буссен тоже; они расхаживали по залу и наперебой нахваливали близнецов — это ж надо все так удачно устроить. Они пребывали в состоянии радостного возбуждения: никто из них до сих пор не был знаком с владельцем кабаре, и тут им в кои-то веки выпал случай увидеть скрытую от других жизнь такого заведения, а это, что ни говори, а приятно. В кабаре они сразу же стали звать герра Буссена по имени. Начало положил Тадеуш.

— Отто, дружище, у вас огонька не найдется? — попросил он, и Отто, который не курил, зашарил по карманам, хоть и знал, что у него нет спичек.

Они явились первыми. Близнецы хлопотали — как всегда в последнюю минуту возникло множество дел,— хлопая дверьми, вбегали, выбегали на кухню. Отто провел гостей к столу, и они, в меру, но без излишества, положили себе закуски: вблизи было заметно, что здесь господствовал дух бережливости — кружки колбасы и кусочки сыра, казалось, были пересчитаны, а ломтики хлеба не исключено, что и взвешены. Малый в белой куртке принес им высокие кружки с пивом, они подняли их, помахали близнецам и долгими глотками осушили до дна.

— В Мюнхене,— сказал Тадеуш,— я часто пил с консерваторскими студентами, сплошь немцами. Мы пили без передышки, и кто первый выскакивал из-за стола — платил за всех. Платить всегда приходилось мне. Такая тоска, в сущности.

— Нудный обычай в лучшем случае,— бросил Ханс,— ну а иностранцы, разумеется, только такое и замечают, а потом выдают за типичный немецкий обычай.

Он был если не раздражен, так раздосадован, отводил от Тадеуша глаза, но тот не принял оскорбление на свой счет.

— Ведь я уже согласился с вами, что это страшная тоска,— сказал он,— и, в конце концов, речь шла только об одном образчике мюнхенских нравов.

Глядя на них, Чарльз не без удивления отметил, что на самом деле эти двое недолюбливают друг друга. И чуть не сразу расположение сменилось безразличием, не лишенным неприязни, а к ним присоединилась еще и неловкость, которая овладевает, когда случится затесаться не в свою компанию; он от души жалел, что увязался с ними.

Один из близнецов нагнулся к ним, чтобы с присущей ему неприкрытой целеустремленностью привлечь их внимание к вновь прибывшей паре. Глуповато-красивый молодой человек с тщательно уложенными густыми кудрями над богоподобным — о чем он не забывал — лбом снимал со смуглой блондинки меховой палантин.

— Знаменитый киноактер,— возбужденно прошептал близнец,— а дама — его любовница и партнерша.— Он неуклюже метнулся к знаменитостям, усадил их и тут же вернулся.— А вот и Лютте, она манекенщица, из первой десятки берлинских красавиц.— Голос его вибрировал от волнения.— Она попозже будет танцевать румбу.

Они обернулись, да и кто б не обернулся, и их глазам предстала стройная красавица: ее головка серебристо-желтым пионом возвышалась над едва прикрывавшим точеную фигуру платьем. Она улыбнулась

им, но хотя они встали и поклонились, обманув их ожидания, к ним не подошла. Опершись о стойку, она разговаривала с малым в белой куртке. Зал быстро заполнялся народом, около стола с закусками началась толкучка; близнецы, разгоряченные успехом, сияя, сновали туда-сюда с подносами, заставленными глиняными кружками. Небольшой оркестрик перебрался поближе к стойке.

Чуть не каждый посетитель, заметил Чарльз, принес с собой музыкальный инструмент: кто скрипку, кто флейту, кто белый аккордеон, кто кларнет, а один ввалился, шатаясь под тяжестью виолончели в футляре под зеленым матерчатым чехлом. Молодая женщина, бедрастая, с толстыми ногами и гладким узлом волос, спускавшимся на ненапудренную шею, вошла без спутника, с рассеянной улыбкой огляделась по сторонам, но никто не улыбнулся ей в ответ, и она встала за стойку и там принялась сноровисто уставлять поднос пивными кружками.

— Поглядите на нее,— сказал Ханс, посматривая на Лютте с видом собственника,— вот он, истинно германский тип красоты, признайте, что нигде не видели ничего лучше.

— Да будет вам,— миролюбиво сказал Тадеуш,— в этом городе не сыщется и пяти таких, как она. Вы посмотрите на ее ноги, руки, ну что в них типичного? Не исключено, что у нее есть примесь французской, а то и польской крови,— сказал он.— Правда, грудь у нее чуть плосковата.

— Я вижу, мне никак вам не втолковать,— сказал Ханс, уже несколько взъерепенившись,— что, говоря о германцах, я имею в виду не крестьян и не этих разжиревших берлинцев.

— Наверное, всегда надо иметь в виду крестьян, когда рассуждаешь о расах,— сказал Тадеуш.— Аристократические и королевские роды всегда смешанных кровей, в сущности, абсолютные дворняги, люди без национальности. Даже буржуа женятся на ком попало, а крестьяне никогда не покидают своего края и поколение за поколением женятся на ровне, и вот так, не мудрствуя лукаво, и закладывается раса, как мне представляется.

— В вашем рассуждении есть серьезный изъян: какую страну ни возьми, крестьяне походят друг на друга,— сказал Ханс.

— Лишь на первый взгляд,— сказал Отто.— Если присмотреться, у них совсем разное строение черепа.— Он посерьезнел, подался к ним.— Неважно, как и почему так получилось,— сказал он,— но истинный, великий, исконный германский тип — стройные, высокие, светловолосые, как боги, красавцы.— Его лоб перерезала глубокая морщина, переходящая на переносице в мясистую складку. Запухшие глазки увлажнились от наплыва чувств, жирная складка, наползавшая на воротник, побагровела от восторга.— Далеко не все мы походим на свиней,— смиренно сказал он, протягивая к ним короткопалые руки,— хоть я и знаю, что иностранные карикатуристы именно так преподносят нас миру. Этот тип восходит к венедам, но, в конце концов, что такое венеды — всего лишь одно племя, и, строго говоря, они не принадлежали к исконному, истинному, великому германскому...

— ...типу,— на грани грубости закончил Тадеуш.— Давайте договоримся, что немцы все как один неслыханные красавцы, с немыслимо изысканными манерами. Посмотрите, как они щелкают каблуками, как кланяются, перегнувшись чуть ли не пополам, как утонченно ведут беседу. А до чего любезен двухметровый полицейский, когда он с улыбкой на губах собирается раскроить вам череп. Говорю об этом не понаслышке. Спору нет, Ханс, у вас великая культура, а вот цивилизации нет. Из всех рас на земле вы цивилизуетесь в последнюю очередь, ну да что за важность?

— Поляки же напротив,— сказал Ханс преувеличенно вежливо, он улыбался, но глаза его холодно поблескивали,— поляки же, ничего не скажешь, красавцы, если вам по вкусу скуластый, низколобый, татарский тип, и, хотя их вклад в мировую культуру равен нулю, они, если

подходить к ним со средневековыми мерками, наверное, могут считаться цивилизованными.

— Спасибо,— сказал Тадеуш и повернулся к Хансу, словно демонстрируя свое отнюдь не скуластое лицо и высокий узкий лоб.— Одна из моих бабок была татарка, и посмотрите, что во мне типичного?

— Не забывайте, что ваш дед был австриец,— сказал Отто,— и я не считаю вас поляком. Для меня вы австриец.

— Бог ты мой, вот уж нет,— решительно сказал Тадеуш и улыбнулся, не разжимая губ.— Нет-нет, лучше я буду татарином. Но, как бы там ни было, я поляк.

Чарльзу не доводилось видеть никаких других поляков, кроме кряжистых, головастых мужчин, которые укладывали шпалы у них на юге, и ему бы в голову не пришло, что это поляки, если б кто-то не просветил его, правда, сам просветитель называл их полячишками. Он не мог разобраться в Тадеуше, но людей типа Ханса и Отто ему доводилось встречать и раньше; таких парней, как Отто, в Техасе было полным-полно, а Ханс напоминал ему Куно. Спор, на его взгляд, зашел в тупик, он вызвал в его памяти школьные стычки между немецкими, мексиканскими и кентуккийскими мальчишками; ирландские мальчишки дрались с кем попало, и Чарльз — а он был наполовину ирландец — вспомнил, что ему приходилось сплошь и рядом участвовать в потасовках, когда они, забыв о первопричине ссоры, тузили друг друга просто из любви к дракам.

— На пароходе,— сказал он,— все немцы говорили мне, что я не типичный американец. Откуда им знать? Я очень даже типичный.

— Вовсе нет,— сказал Тадеуш, на этот раз с неподдельной веселостью.— Мы вас хорошо знаем. Все американцы если не ковбои, так богатеи, и богатеи надираются в бедных странах, обклеивают чемоданы банкнотами в тысячу франков или раскуривают ими сигареты...

— Господи! — только и сказал Чарльз.— Кто распускает эти бредни?

Даже американские туристы пересказывали их с ужасом, правда, отдававшим самодовольством, словно тем самым рассчитывали доказать, что уж они-то на таких туристов не похожи.

— И знаете, в чем причина?— любезно осведомился Тадеуш.— Все американцы, которых мы знаем, просто непристойно богаты. А мы, европейцы, ничего так не жаждем, не алкаем, не вожделеем, как богатства. Не верь мы, что ваша страна богаче всех, мы бы гораздо лучше относились лично к вам.

— Мы напились вдребадан,— сказал Чарльз.— И плевать нам на все.

— Европейцы ненавидят друг друга по самым разным поводам и без повода и вот уже две тысячи лет только и делают, что стараются стереть друг друга с лица земли, так с какой же стати вы, американцы, рассчитываете на нашу любовь? — спросил Тадеуш.

— Мы не рассчитываем,— сказал Чарльз.— Кто это вам сказал? Мы-то, естественно, любим всех без разбора. Мы сентиментальны. Совсем как немцы. Вы хотите, чтобы вас любили ради вас самих, вы живете с сознанием своей правоты, и вам невдомек, почему другие от вас не в таком восторге, как вы сами от себя. Посмотрите, вы же отличные ребята, а вот штука — никому не нравитесь. Экая жалость.

Отто устремил на Чарльза серьезный взгляд из-под нависших бровей, помотал головой и сказал:

— Я думаю, вы, американцы, на самом деле никого не любите. Вы равнодушны, поэтому вам легко быть веселыми и беспечными, и оттого каждый американец кажется рубахой-парнем. На самом же деле вы бессердечные и равнодушные. Невзгоды минуют вас. Невзгоды вас минуют, потому что вы не умеете их переносить. Но если они вас и не минуют, вам кажется, что они предназначались не вам, а кому-то друго-

му, как пакет, оплошно доставленный не по тому адресу. И это мое глубокое убеждение.

Чарльза его слова задели за живое.

— Я не могу мыслить категориями целых стран,— сказал он,— потому что не знаю ни одной страны, даже своей собственной. Я знаю лишь отдельных людей здесь и там, одних люблю, других нет, но я всегда считал это сугубо личным делом...

Тадеуш сказал:

— Что-то вы чересчур скромничаете, дружище. Заставить себя почитать, а это большое искусство, можно, только возводя свои личные симпатии и антипатии на уровень этических и эстетических принципов и раздувая до вселенских масштабов мельчайшую обиду личного характера. Скажем, вам наступили на ногу — вы не успокоитесь до тех пор, пока не поставите под ружье целую армию и не отомстите обидчику... Но мы-то, на что мы тратим вечер? Эдак я, чего доброго, еще помру со скуки...

— А как насчет наших друзей-французов? — огорошил его вопросом Ханс.— Неужели и у них есть недостатки? Их кухня, вино, моды, манеры.— Он поднес ко рту кружку, выпил пиво уже без прежнего удовольствия и добавил: — Мартышки — вот кто они такие.

— Манеры у них хуже некуда,— сказал Тадеуш.— За пять франков наличными они изрубят тебя в лапшу, причем тупым ножом. Себялюбцы, дальше собственного носа ничего не видят, но до чего же я их люблю. Правда, англичан я все-таки люблю больше. Вот, к примеру, англичане...

— К примеру, итальянцы,— сказал Чарльз,— от первого до последнего...

— После Данте у них не появилось ничего достойного упоминания,— сказал Тадеуш.— От их тяжеловесного Возрождения меня тошнит.

— Решено,— сказал Чарльз,— возьмем, к примеру, пигмеев, исландцев, охотников за головами с острова Борнео...

— Люблю их всех, всех до одного! — воскликнул Тадеуш.— А пуще всего люблю ирландцев. Люблю за то, что они такие же отчаянные патриоты, как поляки.

— Меня воспитывали ирландским патриотом,— сказал Чарльз.— Девичья фамилия моей матери О'Хара, и я должен был носить ее с гордостью — нелегкая задача в школе, где только и слышишь: ирландцы-поганцы, горлопаны, нищеброды,— а вокруг тебя одни пресвитерианцы, кто из Шотландии, кто из Англии.

— Какая дичь,— сказал Тадеуш и заговорил доброжелательно и спокойно, но и не без ехидства метя в Ханса, о величии древних кельтов, превозносил их древнюю культуру, оказавшую влияние на всю Европу.— Да-да, даже немцам она много дала,— сказал он.

Ханс и Отто покачали головами, но и они, похоже, больше не сердились, не супились, не отводили друг от друга глаз. Чарльз был обрадован и польщен: величию Ирландии отдают дань — до сих пор он слышал хвалы ей лишь в узком семейном кругу.

— Мой отец,— обратился он к Тадеушу,— часто говорил мне: «Что сказать тебе об ирландцах, мой мальчик? Период их расцвета быстро миновал, но не забывай, что они создали великую культуру, и, когда англичане еще малевались синей краской, французы уже обменивались с ними учеными».

Тадеуш перевел его слова Хансу и Отто, Ханс разразился смехом, скорчился от боли и схватился за щеку.

— Осторожно! — сказал Тадеуш и, не забыв изобразить клинический интерес, посмотрел на рану: он знал, что Хансу это очень нравится.

Ни в одном учебнике истории, продолжал Чарльз, он не нашел подтверждения этому — надо сказать, что в них жизнь ирландцев до тех пор, пока на них не напали англичане, освещается довольно туманно. А тогда, со всей определенностью сообщали учебники, ирландцы были

просто дикарями, невылазно торчавшими в своих болотах. Ему было жаль отца, который черпал утешение в легенде о былом величии Ирландии, хотя все, что он читал на эту тему, никак легенду не подтверждало. Но отец предпочитал думать, что ему попадались не те книги.

— До чего же ирландцы похожи на поляков,— сказал Тадеуш,— они тоже живут былой славой, поэзией, Келлской книгой [1] в изукрашенном драгоценными каменьями переплете, великими чашами и коронами древней Ирландии, памятью о победах и поражениях, по масштабам равным разве что битвам богов, надеждой вновь покрыть себя славой, а пока суд да дело,— добавил он,— дерутся крайне часто и весьма неудачно.

Ханс подался вперед и поучительно, точно профессор, читающий лекцию студентам, начал:

— Судьба Ирландии (да и Польши тоже, не забывайте об этом, Тадеуш) может служить примером того, что ждет страну, когда она утрачивает единство и не может дать отпор врагу... ирландцы наконец-то опомнились, теперь они рьяные националисты, а единства среди них нет как нет. На что они рассчитывают? В свое время они могли сплотиться и напасть на врага, а они ждали-ждали и дождались, что он сам напал на них.

Тадеуш напомнил:

— Этот рецепт, Ханс, помогает отнюдь не всегда.

Но Ханс пропустил его колкость мимо ушей. Чарльз, который был не силен в истории, увяз в зыбучих песках общедоступных сведений и не нашел ответа, но его возмутила сама постановка вопроса.

— Не понимаю, с какой стати нападать, если на тебя не напали?

Ханса, юного оракула, его вопрос не застал врасплох:

— Да потому что, стоит тебе отвернуться или временно сложить оружие, на тебя набросятся, и ты будешь наказан прежде всего за свою беспечность, за то, что не потрудился выведать планы врага. Ты побежден, твое дело проиграно, если только ты не соберешься с силами и снова не пойдешь войной на врага.

— Дело кельтов вовсе не проиграно,— сказал Тадеуш.— Их великое множество, они раскиданы по всему свету и поныне; в какой области они ни подвизались бы, они пользуются большим влиянием.

— Влиянием? — переспросил Ханс.— Да что такое влияние — уклончивый, чисто женский, дрянной метод. Нация ли, раса ли — ничто без власти. Надо уметь подчинить себе другие народы, повелевать им, что делать, а главное, чего не делать, надо уметь проводить в жизнь любой свой приказ, как бы ему не противились, и если ты отдаешь распоряжение, пусть даже невыполнимое, тебе должны беспрекословно повиноваться. Это и есть власть, а что есть более важного и ценного в мире, чем власть?

— И тем не менее власть не вечна, я не вижу, в чем ее превосходство,— сказал Тадеуш.— Дальновидная хитрость и умная стратегия нередко куда действеннее. А власти в итоге приходит конец.

— А что, если ей приходит конец, потому что люди у власти ею наскучивают? — Отто подпер голову рукой, вид у него был подавленный.— Что, если они устают вечно угнетать, шпионить, понукать и грабить? Что, если они просто исчерпывают себя?

— А что, если они просто переоценивают себя или к власти приходят новые молодые силы и свергают их,— сказал Тадеуш.— Бывает и такое.

— А что, если им открывается, что они зря старались,— сказал Чарльз.

— Не зря,— сказал Ханс.— И в этом суть. Только ради власти и стоит стараться. Все остальное ерунда по сравнению с властью. Отто, ты меня удивляешь, от кого, от кого, а от тебя я этого никак не ожидал.

[1] Древняя (8—9 вв.), богато иллюстрированная рукопись Четвероевангелия, найденная в Келлском аббатстве (графство Мит, Ирландия).

Отто, виноватый, расконфуженный, сразу скис.

— Я не солдат,— сказал он.— Мне бы мирно заниматься своей наукой.

Ханс сидел прямой как палка, глаза его враждебно поблескивали. Полуобернувшись к Чарльзу, он сказал:

— Мы, немцы, потерпели поражение в прошлой войне не в последнюю очередь благодаря и вашей великой державе, зато в следующей войне мы победим.

У Чарльза по спине побежали мурашки, он передернул плечами. Они все уже поднабрались, и, если не взять себя в руки, скандал неминуем. Ему не хотелось ни ссориться, ни вновь решать войной исход той давней войны.

— Все мы еще под стол пешком ходили, когда кончилась война,— сказал он.

— Зато когда начнется следующая война — мы все пойдем на фронт,— быстро парировал Ханс.

— Ханс, милый, да будет вам. Я отнюдь не жажду крови, и сейчас меньше, чем когда-либо. Я хочу лишь одного — быть пианистом.

— А я художником,— сказал Чарльз.

— А я преподавателем математики,— сказал Отто.

— Да и я не жажду крови,— сказал Ханс,— но я знаю, что нас ждет.— Его щека, стянутая лентой лейкопластыря, за вечер вздулась еще сильнее. Левая рука бережно ощупывала воспаленные, посиневшие края раны.— Послушайте,— оживленно, без вызова начал он,— я хочу напомнить вам одну небезынтересную подробность. Мы должны были выиграть эту войну, а мы проиграли ее в первые же три дня, хотя и не осознавали этого — во всяком случае, не могли этому поверить — года четыре. В чем причина? Один только раз вышла задержка с выполнением приказа, всего лишь раз: когда войска впервые перебрасывали через Бельгию, они не выступили вовремя. И из-за этой задержки на три дня мы и проиграли войну. Что ж, в следующий раз мы такой ошибки не совершим.

— Нет,— сказал Тадеуш кротко,— в следующий раз вы совершите какую-нибудь другую ошибку, допустите другую оплошность, а какую и почему, кто знает? Иначе не бывает. Победу в войне одерживают не умом, Ханс. Неужели вы этого не понимаете? В каждой армии найдется тип, который в решающий момент если не допустит задержки, так отдаст не тот приказ, а нет, так прибудет не туда. О чем говорить, ваши противники совершали промах за промахом, и все равно в тот раз они выиграли войну.

— Морские державы. Власть испокон века за морскими державами,— сказал Чарльз,— ей-ей. В конце концов, морские державы всегда одерживали победу.

— Карфаген был морской державой, но Рима не одолел,— сказал Отто.

— В следующий раз,— невозмутимо гнул свое Ханс,— им не победить. Дайте только срок. В следующий раз мы больше не совершим ошибок.

— Я могу и подождать,— сказал Тадеуш,— я не тороплюсь.

— И я могу подождать, отчего бы не подождать? — сказал Чарльз.

— А тем временем давайте-ка я схожу за пивом.

Оркестр, которому помогали гости, наяривавшие на своих скрипках, флейтах и виолончели, гремел что есть силы, и четверке приходилось говорить все громче.

— Оставим на время наш спор,— сказал Тадеуш,— за один вечер его не решить.

Актер с любовницей ушли, и теперь красавица Лютте безраздельно царила в зале. Она сидела за соседним столиком в компании юнцов, кроме нее в компании была всего одна девица, они кружка за кружкой пили пиво, без удержу смеялись, то и дело обнимались, чмокали друг

друга в щеку, парни с равным пылом целовали и парней, и девушек. Лютте перехватила взгляд Чарльза и помахала ему пивной кружкой. Он помахал ей в ответ и возбужденно улыбнулся. Сногсшибательно хороша — он просто умирал от желания познакомиться с ней поближе. Но даже тут, как первые признаки смертельного недуга, его посетило страшное предчувствие грядущих бедствий, и его мысли, путавшиеся от выпитого, незнакомой обстановки, понимаемого с пятого на десятое чужого языка и атмосферы застарелых обид и злопамятства, вращались вокруг почти стершихся из его памяти историй Наполеона, Чингисхана, царя гуннов Аттилы, всех цезарей, Александра Великого, Дария, перепутавшихся в его голове фараонов и сгинувшего Вавилона. Он почувствовал себя бесконечно беспомощным, беззащитным, посмотрел на трех чужаков рядом и решил больше не пить: не след быть пьянее — он не доверял никому из них.

Отто отставил кружку, побрел по залу, один из близнецов, проходя мимо, передал ему белый аккордеон. Отто переменился на глазах. Куда подевалась тупая безысходность — его лицо засияло простодушной радостью, он подхватил мелодию, которую наигрывал оркестр, и пошел между столиками, растягивая мехи аккордеона, его коротенькие пальцы летали по клавишам. Красивым рокочущим басом он завел:

Ich armes welsches Teufelein
Ich kann nicht mehr marschieren...[1]

— Marschieren! — радостно подхватил зал, все как один.— Ich kann nicht mehr marschier'n [2].

А Отто пел:

Ich hab' verlor'n mein Pfeflein
Aus meinen Mantelsack [3].

— Sack! — гремел хор.— Aus meinen Mantelsack [4].

Ханс вскочил, высоким, звонким тенорком подтянул:

— Ich hab', ich hab' defunden, was du verloren hast! [5]

— Hast,— рявкнул хор, теперь уже все посетители поднялись, их смеющиеся лица были простодушными, наивными — резвящимся барашкам впору.— Was du verloren hast.

Песня завершилась взрывом хохота, и оркестр неожиданно переключился на «Продавца орехов». Лютте, враз посуровев, словно ей предстояло выполнить свой долг, вышла из-за стола и в одиночку пустилась отплясывать нечто, имеющее отдаленное сходство с румбой, но Чарльзу ее танец показался помесью блекботтома [6] и хучи-кучи [7] — он их навидался в ярмарочных балаганах, куда просачивался с компанией мальчишек в пору своего невинного техасского детства. Он отплясывал румбу под звуки «Продавца орехов» от самого своего родного городишки и через весь Атлантический океан вплоть до Бремена, и тут его осенило: вот где я сумею показать класс! Он забрал маракасы у снулого оркестранта, довольно вяло ими постукивавшего, и стал отплясывать румбу на свой манер, энергично потряхивая и пощелкивая маракасами.

В зале захлопали в такт, и Лютте, оборвав свой сольный номер, присоединилась к нему. Он тут же вернул маракасы оркестранту и крепко взял Лютте за талию, теплую, волнующуюся под тонким шелком. Она держалась деревянно, отворачивала от него лицо, улыбалась, старательно подражая киношным femmes fatales [8], и довольно неуклюже.

---

[1] Бесенок-иноземец,
Едва тащу поклажу.
[2] Поклажу... Едва тащу поклажу.
[3] Я свой свисток посеял:
В мешке дыра была.
[4] Была... дыра была.
[5] А я твою пропажу нашел — и все дела (*нем.*).
[6] Американский танец конца двадцатых годов.
[7] Танец в псевдовосточном духе, исполнявшийся преимущественно ярмарочными танцовщицами.
[8] Здесь: роковым женщинам, вамп (*франц.*).

но весьма зазывно била его бедром. Он покрепче обхватил ее, притиснул поближе, но она словно одеревенела, двинула его бедром и на этот раз угодила ему в живот.

— Побоку технику, положись на мать-природу,— сказал Чарльз без тени улыбки.

— Что вы сказали? — спросила она по-английски, чего он никак не ожидал.— Не поняла.

— Ну что ж,— сказал Чарльз и чмокнул ее в щеку,— я тебе отвечу тоже по-английски.

Она не поцеловала его в ответ, но обмякла и перестала выпендриваться.

— Я такая же красивая, как та актриса, которая была здесь сегодня? — задумчиво спросила Лютте.

— По меньшей мере,— сказал Чарльз.

— Я пройду в Америке? — спросила она, повисая на нем.

— Кончай бить бедром,— сказал Чарльз.— Да, ты пройдешь на ура!

— Ну а как я танцую — на уровне? — спросила Лютте.

— Да, детка, на уровне. Ты там задашь шороху!

— Что это значит?

— Все хорошее,— сказал Чарльз.— Иди ко мне, ангел мой.

— У тебя есть знакомые в Голливуде? — спросила Лютте: ее ничто не могло отвлечь от цели.

— У меня нет, но у тебя могут быть,— сказал Чарльз.— Туда сейчас понаехала чуть не вся Германия и Европа, ты обязательно встретишь там друзей. Во всяком случае, тебе не грозит долго пребывать в одиночестве.

Лютте приложила рот, спелый персик, к его уху и, обдавая теплым дыханием, зашептала:

— Возьми меня с собой в Америку.

— Поехали! — сказал Чарльз, обхватил ее еще крепче и побежал к двери. Она упиралась.

— Да нет, серьезно, я правда хочу в Америку.

— И я хочу,— бесшабашно сказал Чарльз.— И не только я, а все хотят.

— Это неправда,— строго оборвала его Лютте и чуть не остановилась на полном ходу.

Тут их разбил Ханс. Чарльз вернулся на место с таким ощущением, словно его надули. Лютте как подменили. Она прильнула к Хансу, и они медленно заскользили по залу, она то и дело бережно, ласково целовала его в правую щеку мягкими нежными губами, глаза ее были полуприкрыты. Изуродованное лицо Ханса выражало раскормленную гордость, неколебимое самодовольство — точнее сказать, чванство. Чарльз вдруг почувствовал острый приступ ненависти к Хансу. Но он чуть не сразу прошел.

— Тьфу,— сказал он вслух, хотя ни к кому не обращался.— Ну и что из этого?

— Совершенно с вами согласен,— сказал Тадеуш.— Согласен, тьфу, ну и что из этого?

— А не выпить ли нам коньяку? — сказал Чарльз.

Притихший было Отто вскинулся, улыбнулся.

— Чудесный вечер! — сказал он.— Мы все тут друзья, верно я говорю?

— Совершенно верно,— сказал Тадеуш.— Мы все ваши друзья, Отто.— Движения его стали менее резкими, более плавными, глаза растерянно смотрели из-под складчатых век, с губ не сходила напряженная улыбочка...— Ох, и надерусь я сейчас, и совесть меня замучит,— сказал он не без удовольствия. И повел, хоть они и слушали его вполслуха, рассказ о своем детстве в Кракове: — В старом доме, где моя семья жила с двенадцатого века... На Пасху мы ели одну свинину, чтобы выказать евреям свое презрение; разговляясь после Великого поста, мы,

естественно, бессовестно объедались... Отстояв праздничную службу, я утром накидывался на еду и ел, пока не раздувался, точно шар, и у меня не начинались колики. Тогда я укладывался в постель, плакал в три ручья, а когда меня спрашивали, в чем дело, говорил: мне стыдно, меня мучит совесть. К моим страданиям относились уважительно, меня утешали, но порой я, казалось, замечал, как... нет, не мать, скорее сестра проницательная была, поганка, и няня то сверкнут глазами, то скорчат гримаску. Однажды няня, напоив меня успокоительной микстурой, растерла мне с унизительной притворной жалостью живот и сказала: «Теперь тебя совесть больше не мучит?»

Я — в рев, сказал матери, что няня пихнула меня в живот. А потом изрыгнул всю пасхальную свинину, так что евреи на сей раз были отмщены. Няня сказала: такой маленький, а уже такой подлый, потом они с мамой ушли поговорить в соседнюю комнату, вышли оттуда смеясь, и я понял, что меня раскусили. С тех пор я никогда больше не заикался при них о муках совести. Но как-то раз — уже взрослым или почти взрослым — я, пьяный в стельку, явился домой в четыре утра и пополз вверх по лестнице — вот дураки люди, думалось мне, и зачем ходить, на четвереньках же гораздо удобнее. Красная ковровая дорожка давала ощущение надежности, раскованности, помнится, я считал себя благодетелем человечества — ни более ни менее: еще бы, я возрождал исконный способ передвижения, стоит мне доказать его достоинства и преимущества, и он произведет коренной переворот в обществе. Но тут первым препятствием на моем пути встала моя мать. Она молча высилась на верхней площадке лестницы с зажженной свечой в руке — поджидала меня. Я помахал ей передней лапой, она не удостоила меня ответом. А едва моя голова выросла над последней ступенькой, она заехала ногой мне в челюсть — да как! — я просто чудом уцелел.

Она никогда не упоминала об этом происшествии, впрочем, расскажи она мне о нем, я бы ни за что ей не поверил, если б на следующий день у меня не распух язык. Так меня воспитывали в этом древнем городе, но теперь я вспоминаю этот город — нечто среднее между кладбищем и утерянным раем — и гул колоколов над ним с нежностью.

Отто сказал:

— А не выпить ли нам еще пивка? — и с горечью рассказал им кое-что о своем детстве.

Однажды, когда он грыз орехи, мать ни с того ни с сего поколотила его. Обливаясь слезами, он спросил ее, в чем он провинился, а она сказала: не задавай вопросов. Что хорошо для Мартина Лютера, то хорошо и для тебя. Позже он прочел в детской книжке, что мать Мартина Лютера отколотила его до крови, когда он щелкал орехи,— она, оказывается, не переносила этого звука. До той поры я думал о Лютере как о великом, суровом, жестоком человеке, чья душа радовалась, когда лилась кровь, но после этой книжки я проникся к нему жалостью. И он когда-то был несчастным, забитым малышом вроде меня, и его колотили ни за что ни про что. И все же он стал великим человеком.— Лицо у Отто было приниженное, извиняющееся.— Дичь, сущее ребячество, конечно, но мне это очень помогло в жизни,— сказал он.

Клубы дыма, свет, голоса, музыка — все смешалось и, слившись воедино, поплыло вокруг. Крупная молодка, помогавшая близнецам, вышла из-за стойки в зал, принялась сдвигать столы и стулья к стене. Крепкие ягодицы так и ходили под обтягивающей юбкой, большие груди вздымались и опадали, когда она поднимала и опускала руки; широко расставив массивные ноги, она налегла на стол. Мужчины, сидевшие поблизости, смотрели на нее во все глаза, но не двигались с места и не пытались ей помочь. И тут в Отто снова произошла разительная перемена. Он прямо пожирал глазами молодку, только что не пускал слюни. В своем возбуждении он, казалось, ничего не видел вокруг, нос его дергался, глаза округлились, в них горела расчетливая свирепость кота. Молодка наклонилась вперед, оголив подколенные ямки, выпрямилась,

и на ее спине и плечах заходили мускулы. Она перехватила взгляд Отто и медленно залилась краской. У нее вспыхнули шея, щеки, лоб, лицо ее окаменело, омрачилось, словно она пыталась справиться с приступом боли или ярости. Однако уголки ее мягкого бесформенного рта раздвинула улыбка, глаза ее были опущены — после того первого, беглого взгляда она больше их не поднимала. Вдруг она схватила стул, напоследок рывком отшвырнула его к стене и убежала — двигалась она нескладно, вразнобой. Отто обратил на Чарльза взгляд, полный пыла, не до конца растраченного на молодку.

— Есть за что подержаться,— сказал он.— Люблю крупных, ядреных баб.

Чарльз кивнул, чтобы не вступать в прения, и снова стал смотреть на Лютте — она все еще танцевала с Хансом, осыпая его поцелуями.

Деревянная кукушка, не больше колибри, выскочила из дверцы над циферблатом, предупреждающе закуковала. И тут же все повскакали с мест — сосед обнял соседа, раздались крики:

— С Новым годом, с новым счастьем, здоровья тебе, удачи, Господь спаси тебя и помилуй!

Бокалы, кружки плясали в воздухе, на полуоборотах окропляя пеной вздетые кверху лица. Сам собой образовался круг, переплетя руки, все запели кто во что горазд, однако голоса быстро слились в мощный хор — прекрасные голоса выводили игривые, неведомые Чарльзу мелодии. И он, звено этой цепи, открывал рот и пел не в лад и без слов. Неподдельная радость, жаркая, беспечная, подхватила его: да, он не дал маху, это именно то, что ему нужно, здесь и люди замечательные, и все, буквально все здесь ему нравится. Круг разорвался, соединился, завертелся и, разомкнувшись там и сям, распался.

Криво улыбаясь одной стороной лица, к нему подошел Ханс, и с ним — Лютте. Они с двух сторон обняли Чарльза за плечи и пожелали ему счастливого Нового года. Он раскачивался, обняв одной рукой Ханса, другой Лютте,— ревность его сразу улетучилась. Лютте поцеловала его в губы, и он невинно, как целуют ребенка, поцеловал ее в ответ. Тут они заметили, что Тадеуш склонился над Отто — тот улегся на столик, положив голову на руки.

— Он мертвецки пьян, он дезертировал,— сказал Тадеуш.— Теперь, куда бы мы ни пошли, нам придется волочить его за собой.

— Но мы ведь больше никуда не пойдем, надеюсь, нет? — взмолился Чарльз.

Отто и впрямь был мертвецки пьян. Они подхватили его под руки, судорожно цепляясь друг за друга, вывалились на тротуар, под снисходительным взглядом рослого полицейского залезли в такси, тут же перепутались ногами и, лишь чудом не вывалившись, разом высунулись из окон. Лютте, никого не выделяя, желала всем: «Спокойной ночи, счастливого Нового года», лицо ее сияло, но вид у нее при этом был вполне трезвый.

На лестнице Отто рухнул окончательно и бесповоротно. Троица медленно потащила его наверх, передыхая на каждой ступеньке. Временами все сооружение начинало раскачиваться, они шатались, расползались, наступали на Отто, он стонал, взвывал, но не обижался. И они, поднатужившись, снова сцеплялись руками и начинали все сначала, покатываясь от хохота, кивая друг другу так, словно им открылась неизъяснимая, но неимоверно смешная истина.

— А что, если попробовать ползком? — крикнул Тадеушу Чарльз.— Может, так будет вернее?

Ханс с ходу отверг это предложение.

— Ползком — никогда! — взял он командование на себя.— Все идем как положено, исключение делается разве что для Отто.

Они схватились покрепче за руки, напряглись — рывок, и вот они уже у знакомой двери.

Дверь в Розину комнату была приотворена, из нее в коридор пада-

ла полоска света. Они поглядели на дверь и от испуга чуть не протрезвели — ведь она, того и гляди, распахнется, и оттуда с бранью выскочит Роза. Ничего подобного. Тогда они переменили тактику, пошли на приступ и, выбив на двери барабанную дробь, лихо закричали: «С Новым годом, с новым счастьем, Розочка!»

За дверью послышался легкий шорох, она приотворилась пошире, в щель высунулась отлично уложенная Розина головка. Хотя глаза у нее покраснели, слипались, она весело и лукаво улыбалась им. Ее постояльцы явно перепили, сразу смекнула она, но ничего дурного, слава богу, с ними не случилось. У Ханса щека расцветилась еще сильнее, но он хохотал вовсю. Чарльз и Тадеуш, те вели себя тише — тщились показать, какие они трезвые и положительные, но глаза у них закрывались, а губы растягивали дурацкие ухмылки. Все трое старательно поддерживали герра Буссена — его мотало туда-сюда, колени у него подламывались, лицо во сне хранило наивно-блаженное выражение.

— С Новым годом, с новым счастьем, полуночники,— сказала Роза: она гордилась, что ее домочадцы не подкачали, отпраздновали Новый год как положено.— Мы с друзьями тоже встретили Новый год шампанским, варили новогодний пунш. Так что и я чуточку навеселе,— похвасталась она.— А теперь отправляйтесь-ка спать: наступил Новый год. И начать его надо хорошо. Спокойной ночи.

Чарльз сидел на кровати — раздевался, стягивал одежду как попало, бросал ее где придется. Когда он влезал в пижаму, перед глазами у него все поплыло — ему виделось то одно, то другое, и все незнакомое, все чужое. Под конец он заметил, что Падающая башня снова здесь и стоит в полной безопасности на угловой полочке за стеклом. Выписывая вензеля, он пересек комнату, подошел к башне. Да, она тут, сомнений нет, но следов починки не скрыть — ей уже не быть прежней. Впрочем, для Розы, бедной старухи, и так сойдет, решил он, все лучше, чем ничего. Башня была символом чего-то, чем она некогда обладала или считала, что обладает. И пусть она чиненая-перечиненная, пусть ей вообще-то грош цена, Розе она была дорога, и он и сейчас стыдился, что поломал ее, ну что он за подонок. Башня стояла крохотная, дерзкая в своей хрупкости, словно бросала ему вызов: а ну-ка, попробуй подступись; он прекрасно знал, что стоит свести пальцы — и колонки рухнут, дунуть — и аркады обвалятся. Она вечно кренится, клонится, кажется, того и гляди упадет, но все не падает, нахальная безделица, по сути своей явный промах, докучный каприз — вот что она такое, ведь как ни говори, а башне не положено падать, курьез, вроде тех, чудом не падающих с крыши амуров, и все же для Чарльза она тоже некий символ. Вот только чего? Он провел пятерней по волосам, протер глаза, почесал в затылке, зевнул так, что чуть не вывернул челюсть. Что из его прошлого напомнила ему эта хрупкая безделица? Если б ему удалось собраться с мыслями, он бы отыскал ответ, но для этого еще не настало время. Хотя что-то до крайности спешно назревало, но в нем ли, вокруг ли него, он затруднялся определить. Что-то недолговечное, но грозное и смутное не то нависало над головой, не то злобно копошилось у него за спиной. И если он сейчас же не выяснит, отчего его здесь так снедает тревога, он, наверное, никогда этого не поймет. Он стоял, опьянение давило его, как горе, как тяжкое бремя, думать ясно он не мог, зато с незнаемой доселе силой ощущал потустороннее одиночество духа и леденящее предчувствие смерти. Он обхватил руками грудь, выдохнул весь воздух, и его с ног до головы покрыла холодная испарина. Он вернулся к кровати, повалился на нее, свернулся клубком и повел с собой неприятный разговор.

— Для полноты картины остается только закатить по пьянке истерику,— сказал он.

Но ему не было жаль себя, и ни истерика по пьянке, ни пьянка без истерики уже никогда и ничем не помогут ему в этой жизни.

■

Мальтийские сонеты

■

Вступление и перевод с мальтийского Е. ВИТКОВСКОГО

Средиземное море, как считали древние, лежит среди земли, а в самой его середине лежит маленький архипелаг, точнее, один большой остров, два поменьше и несколько совсем маленьких — независимое государство Мальта. По древним легендам, именно здесь Одиссей семь лет прожил у Калипсо.

За три последних тысячелетия в чьих только руках не побывали эти острова. В XIII столетии до н. э. их колонизировали финикийцы. Потом острова достались Карфагену. Когда пал Карфаген, они перешли к Риму. После распада Римской империи — к Византии. После этого острова последовательно оккупировали вандалы, остготы, арабы — след последних особенно заметен в нынешнем мальтийском языке.

В 1530 году император Карл V передал Мальту рыцарскому ордену иоаннитов (госпитальеров), который с этой поры получил название Мальтийского ордена. До конца XVIII века рыцари чувствовали себя на островах полновластными владыками, успешно отражая попытки любого иноземного флота (прежде всего турецкого) прибрать Мальту к рукам. Кстати, последним великим магистром Мальтийского ордена считал себя русский император Павел I.

В 1798 году Мальту занял Наполеон, но там не удержался: через два года местное население с помощью английской эскадры завоевателя с Мальты выставило, а в 1801 году в битве при Абукире флагман французской эскадры «Ориент» пошел на дно, и с ним погибла значительная часть награбленных французами на Мальте реликвий и драгоценностей. Однако английские «освободители» домой не торопились: Мальта была объявлена колонией английской короны. Лишь в сентябре 1964 года Мальта стала независимым государством, лишь в 1979 году был спущен флаг на британской военно-морской базе, и последний «Томми Аткинс» покинул мальтийские берега.

Кто только не посещал Мальту за истекшие столетия. Традиционно считается, что около 60 г. н. э. на Мальте побывал, направляясь в Рим, апостол Павел, провел там около трех месяцев, попутно обратив местных жителей в христианство. Что правда, то правда: подобного религиозного единодушия (почти 100 % населения католики) достиг разве что Ватикан. На Мальте работали знаменитые художники Караваджо и Маттиа Претти, в конце XVII века туда приезжали «птенцы гнезда Петрова» Б. П. Шереметев и П. А. Толстой, каждый из них оставил путевые записки. «Прощай, смешная Ла-Валлетта...» — писал в своем знаменитом «Прощании с Мальтой» Байрон, покидая остров в 1811 году.

Первый достоверно известный по имени поэт, писавший на мальтийском языке, Пьетро Каксару, умер в 1485 году. От XVII века до нас дошли имена и стихи Дж. Ф. Бонамико и Дж. Ф. А. де Сольданиса (1639—1680). Именно де Сольданису принадлежит самый ранний из сохранившихся сонетов на мальтийском языке: «Пуническо-мальтийский сонет в честь сеньора доктора Лудовико Кольтеллини» (опубликованный, впрочем, только через сто лет). Мальтийская поэзия и сонет как жанр были связаны едва ли не с самых первых шагов — с тех времен, когда язык еще не получил ни литературной нормы, ни грамматики, ни даже своего нынешнего названия. Европа, уделяя столько внимания Мальте как стратегическому и в известном смысле религиозному центру, столетиями решительно не замечала на Мальте главного — самих мальтийцев, ее коренного населения. Лишь в XIX веке на мальтийском языке, принявшем в себя огромное количество заимствований из арабского, из итальянского, греческого языков, начинают регулярно выходить книги и газеты, предпринимаются попытки создания словарей и грамматик. Но тогда мальтийский язык, точней, его письменность находился «в колыбели»: Джанантон Вассало (1817—1868), Л. М. Томмаси (1795—1879) и другие писали в основном по-итальянски, лишь от случая к случаю создавая произведения на родном языке. Даже первый сборник «отца» современной мальтийской литературы, Джузе Мускат-Аццопарди, вышедший в 1876 году, содержал стихи как на мальтийском, так и на итальянском. Однако именно его произведения, написанные на мальтийском, позволили создателям грамматик и сло-

варей, работавшим в XX веке, во многом исходить из установленной им литературной нормы.

Но начало XX века принесло и значительную волну италоязычной литературы. В 1912 году в Риме вышла серьезная антология «Стихи с Мальты». До первой мировой войны только по-итальянски писал клирик Кармело Псайла, известный под литературным именем Дун Карм, первый поэт, слава которого шагнула за пределы Мальты. В десятых годах нашего столетия решалось: сумеет ли мальтийская литература на национальном языке найти собственную дорогу в будущее. Подъем национально-освободительного движения в 20-х годах решил этот вопрос для Мальты однозначно. Один за другим стали приходить в литературу молодые поэты и прозаики, стали развиваться национальная драматургия, журналистика, наконец, радиовещание, резко увеличился поток переводов художественной и политической литературы на мальтийский язык.

Во вторую мировую войну Мальте пришлось выдержать тяжелую блокаду со стороны итало-немецких фашистов, тысячи мальтийцев погибли при бомбардировке острова. Но после разгрома фашизма под Сталинградом, после краха североафриканской авантюры корпуса Роммеля, судьба Мальты была решена: используя ее как одну из опорных баз, в 1943 году союзники высадили войска в Южной Италии. В 1947 году Англия предоставила своей колонии ограниченное самоуправление, а в 1964 году национальный бело-красный флаг окончательно взвился над независимой Ла-Валлеттой.

Мальта — маленькая страна (общая площадь островов — 316 кв. км), на каждый квадратный километр бедной, практически лишенной полезных ископаемых земли приходится более тысячи жителей. Поэтому довольно велика эмиграция: около 25 тысяч мальтийцев живут в Англии, вдвое больше — в Австралии. Говорят на мальтийском языке около 400 тысяч человек, это вдвое больше, чем, скажем, число говорящих по-исландски,— но кто не знает у нас исландских саг или произведений Лакснесса и кому доводилось слышать у нас о мальтийской литературе? В Краткой литературной энциклопедии нет статьи о ней. Мальта все еще — белое пятно для нас.

Мальтийский язык труден и не похож на европейские, и чтобы научиться читать на нем (хотя бы «по складам») по немногим доступным книгам и словарям, у автора этих строк ушли годы. Теперь я получил возможность читать лучших мальтийских поэтов в оригинале. Маститые Мускат-Аццопарди и Дун Карм, ядовитый Бьянкарди, страстный Писани, самый популярный из «классиков» Рузар Бриффа — все они понемногу ожили во мне и вызвали желание дать им жизнь по-русски.

ДЖУЗЕ МУСКАТ-АЦЦОПАРДИ (1853—1927)

Залив Марсашлокк

Какая ночь, какая тишь в просторах!
Луна в заливе занята игрой —
Меж волн шныряет, множится в повторах:
Все волны моря — на один покрой.

В серебряных деревьях — тайный шорох,
И тени простираются порой
К тем синим облакам, среди которых
Клубятся звезды, как пчелиный рой.

Какая тишь! Как долго мир беззвучен!
Уснуть не смею: только ждать могу —
И, наконец, услышу скрип уключин,—

И вот уже бредет пастух с отарой,
И резко на восточном берегу
Бледнеют небеса над Деллимарой.

Рынок так рынок!

На мерки продается тут зерно,
На дюжины — что яйца, что ириски,
На бочки, разумеется, вино,
На штуки — тыквы, ну, а суп — на миски.

Изюм — на горсти, так заведено,
Миндаль — на кучки, а треска — на снизки,
На связки — лук, на ярды — полотно,
Мука — на фунты, на бутыли — виски.

Размер, подсчет — на вкус, на дух, на цвет,
Тюки, мешки, рулоны, кучки, бочки —
Все продается, исключений нет.

Пусть покупают кто во что горазд!
Издатель, счет переведя на строчки,
Газету, да и совесть, распродаст.

ДУН КАРМ (1871—1961)

Развалины

Теми Заммиту[1]

Там, где к земле течет лазурь небес
И зелень всхолмий взлет остановила —
Еще фундамент ветхий не исчез:
На нем когда-то возвышалась вилла.

Ревнитель древний, римский камнерез,
Нам завещал мозаику настила;
Увы — ни колоннаду, ни навес
Столетий череда не пощадила.

Ни статуй мы, ни портика не зрим:
Все, что какой-нибудь матроны ради
Любовно здесь воздвиг могучий Рим,—

Все испарилось утренней росой.
И только между плитами, в засаде,
Хохочет Смерть с клепсидрой и косой.

Виет Ирда[2]

Когда лучей закатных бахрома
Над склонами трепещет в пляске дикой —
Смотрю туда, в долину, где дома
Стоят средь пальм и тишины великой;

[1] Мальтийский археолог. (*Здесь и далее прим. перев.*)

[2] Название долины возле Зеббуджа, городка в центральной части Мальты. Родина Дун Карма. Место кровопролитного сражения мальтийцев с наполеоновскими войсками (1799 г.).

Когда к рассудку подступает тьма,
И отдых жаждет стать его владыкой,
И пусто все — лишь ветер от холма
Доносит песню жницы смуглоликой,—

Внемлю тому, чего не слышно днем:
Доносят в шелесте своем сады
Немые вопли ртов, забитых глиной,—

В который раз я думаю о н е м,
О том, кто был виновником беды,—
И слышу поступь смерти над долиной.

Мальтийский флаг

Лишь белизну и алость — только эти
Цвета в тебе я вижу, гордый флаг;
Какой бы с моря ни являлся враг —
Тебя вздымали древней Мальты дети.

Ты слева — бел, как небо на рассвете
Над Ливией, когда отходит мрак,—
Ты справа — ал, и это крови знак,
Что пролита за множество столетий.

В нем только белизна и только алость,
Их несомненно погубила бы
Любой другой окраски даже малость,—

Лишь эти два столь долгожданных цвета
Должны венчать столетия борьбы
И над тобою реять, Ла-Валлетта.

НИКОЛЬ БЬЯНКАРДИ (1904—1987)

Портрет

Из-под Зеббуджа. Нынче — городской.
Хотя и духовидец, но эмпирик.
В стихе мальтийском — словно в мастерской.
Поэт — бесспорно! И трибун и лирик.

Высок и худ. Достаточно мирской.
Одет — в сутану: значит, все же клирик.
Любитель славы. Да еще какой.
Однако не клюет на панегирик.

Экс-библиограф. Сложная судьба.
Сейчас — уже на пенсии. При этом —
И не ослеп, и не нажил горба.

В литературе — держит старшинство.
Наставник — молодым. Отец — поэтам.
Пускай растут! Куда им до него [1].

[1] Имеется в виду Дун Карм.

РУЗАР БРИФФА (1906—1963)

Летний полдень

Природа задохнулась от жары
Невыносимой. Что поделать — лето.
В стихиях тишь, спокойствуют миры,
Земля обожжена и перегрета.

Вот — перечное дерево; с коры
Спадают шершни: ясно, песня спета.
Вот — мрачный жук, ползущий из норы
Через дорогу. Скверная примета.

Все в мареве. Оцепенел залив.
Белеет парус и чернеет рея,
Плывет кораблик — но и он сонлив.

Покой — в природе. В сердце — непокой:
Оно болит и, от жары дурея,
Терзается любовью и тоской.

ЭРИН СЕРАЧИНО-ИНГЛЕТТ (1904—1984)

Из «Сонетов войны»

Вы, мертвые, что спят в земной утробе,
На чьих могилах — греться ветерку,
Вы слышите, как скалы бьет в ознобе,
Как прибывает вашего полку?

Настал черед войне, вражде и злобе,
От жадности неймется чужаку...
И снова громоздится гроб на гробе:
Вы знали это на своем веку.

Нет, этот бой совсем иного сорта —
Явились настоящие враги,
Чья рать с лица земли да будет стерта!

Земля скудеет, гаснут очаги,—
Восстань из праха, гордая когорта,
Восстань — и помоги, и помоги!

ДЖОРДЖ ПИСАНИ (род. 1909)

Без надежды [1]

Давай под землю спустимся вдвоем,
У мертвых от живых ища защиты;
Давай во тьме хоть что-нибудь споем —
Про то, как сиры мы, как позабыты.

[1] Стихотворение написано в дни войны, когда итало-немецкий флот блокировал Мальту и древние катакомбы служили бомбоубежищами для тысяч мальтийцев, так же как это было, например, в 1565 году во времена турецкой блокады Мальты.

Мы брошены в убежище своем,
Спасают нас надгробий древних плиты.
Блокадой запечатан окоем —
Враги ликуют, а друзья разбиты.

И мы должны по давнему примеру
Скрываться под землей от града бомб —
Но плакать ли, когда идешь в пещеру?

Мы — не одни. Дорога все отвесней.
Что ж, не впервой: мы в бездну катакомб
Идем — на ненависть ответить песней.

Мальтийской речи

Я отдал все, что было у меня,
Тебе, в ущерб покою и уюту.
В меня вошла поэзия: огня
Не много нужно, чтоб зажечься труту.

Враги твои — не проходило дня —
Твердили мне: безумец, пьешь цикуту!
Со мною порвала моя родня —
Я не жалел о ней. Ни на минуту.

И все же нас ничто не одолело,
Мы отстояли наш родной язык,—
Мы верили в задуманное дело!

Пусть не дожить мне даже до восхода,
Когда оставлю я хотя б на миг
Наречие мальтийского народа.

Без соблюдения приличий

Увы, сознаюсь: к моему стыду,
Мне в городе и суетно, и серо.
А ну-ка на природу я пойду,
Там — запою: без рифмы, без размера.

Устал от пребыванья на виду,
Где цель у всех — лишь бизнес и карьера,
Я жить не в силах круглый год в аду,
В котором даже и любовь — химера.

Вот выйду к морю — там и запою,
Лицо подставя ветру и свободе,
У мощного прибоя на краю.

От века — так: в разливе зимней тьмы
Лишь терпеливой матери-природе
Столь безнадежно жалуемся мы.

Конь жизни

Конь Времени: на свете нет веревки,
Которая стреножить бы могла
Его: и, закусивши удила,
Он исступленно мчит без остановки.

Он — изначальный враг вольтижировки,
Он — ненавистник всякого седла,
Ему любая ноша тяжела,
Лишь безнадежно звякают подковки.

Конь Времени! Куда бежать коню,
Ему, чье тело гибче гуттаперчи?
Он мчит в закат, швыряя пену с губ,—

Я совершенно зря его маню:
Неистово сверкнула грива, круп —
Конь промелькнул и канул в черном смерче.

Предощущение

Я грежу о старинном корабле:
Пусть он плывет через моря и годы,
Пусть мачту кроют золотом восходы
И клочья пены блещут на весле.

Мелькают чудища в глубинной мгле,
Морской травой и солью пахнут воды —
Гляди, Улисс, взыскующий свободы:
Не тянет ли тебя к садам, к земле?

Нет, не прельстить его земным жилищем:
Он знает лишь родной стихии власть
И спутникам слова роняет в души:

— В проливе Смерти мы тропу отыщем,
А если нет — достойней в бездну пасть,
Чем жить рабами на безгласной суше.

Детство

О, книги жизни первая страница,
Прочитанная мною так давно,
О, время детства! Кажется, оно
Еще и до сих пор могло бы длиться.

В нем сердце знай поет, поет как птица,
Житейской прозой не умудрено,—
Ему ни грана злобы не дано —
Затем оно и не умеет злиться.

Гляжу в былое, как с вершины вниз:
Встречаю на тропе в свое село
Ребят-соседей в Муншаре, в Аль-Кбире,—

Там известь жег я, там сажал маис...
Увы, все слишком зыбко в нашем мире,
И что прошло — то н а в с е г д а прошло.

ФРАНС КАМИЛЛЕРИ (род. в 1919 г.)

К Средиземному морю

Когда валы твои ревут, как звери,
О скалы распыляясь без следа,—
Я слышу грозный клич былых империй:
Их поглотили время и вода.

Зерцало неба, ты разверзло двери
Возмездию — и долгие года
То услужало ты любви и вере,
То в бездну опускало города.

И Цезаря, и Александра — шири
Твои влекли от отчих берегов;
Ты помнишь день, когда при Абукире [1]

Разгромлен был воитель знаменитый.
Ты, море, приводило к нам врагов,
Но ты же и служило нам защитой.

Крепость Мдина

Как долго ты была настороже,
Пока тянулась старина седая,—
Ты грезила мечтой о мятеже,
Над сыновьями павшими рыдая.

Тебя освободил король Роже [2],
Но ты жила, по-прежнему страдая,
Вновь грянул бой — на этот раз уже
Наполеона к бегству принуждая.

Спи, крепость, и в уме перебирай
Чреду веков: как был отпор неистов
Мальтийцев, защищавших отчий край!..

Здесь, где приют герои обрели,
Теперь покой: одни шаги туристов
Тревожат прах моей родной земли.

[1] Битва у берегов Египта (1798), в которой адмирал Нельсон полностью разгромил флот Наполеона.

[2] Роже I (Рожер) освободил Мальту в 1091 году от арабского господства и присоединил ее к Сицилии.

Европа

(1945 год — окончание войны)

Земля, где проливалась кровь героев,
Где решена истории судьба,—
Ты — колыбель законов и устоев,
Но ты же — у позорного столба.

Повадку беспощадную усвоив,
Пороховые полня погреба,
Ты превращала храбрецов в изгоев,
Любого непокорного — в раба.

Ты гибла, ты воскресла: но затем ли,
Чтоб, словно ростовщик за каждый грош,
Держаться за награбленные земли?

Что день сулит? Спасение? Невзгоду?
Европа, ты свободу обретешь,
Когда своим рабам вернешь свободу.

ВИНЧЕНТ УНГАРО (род. в 1919 г.)

Non omnis moriar [1]

Идут чредой десятки тысяч лет,
Изничтожая всякий знак былого:
Одна держава рушится — вослед
Уже другая гордо встать готова.

Ни в чем опоры долговечной нет,
На все вопросы странствия земного
Могильная плита дает ответ:
«Ты прахом был, во прах отыдешь снова».

Хлеб станет пылью, уксусом — вино,
Мы сами — перстью, безнадежно бренной,—
Нарушить никому не суждено

Печальных правил, общих для Вселенной:
И разве что Поэзии дано
Все пережить, всех дольше быть нетленной.

[1] Весь я не умру *(лат.)*. Гораций. «Оды».

Мальтийскому сонету

Нет, родина твоя недалека;
Твои отцы — соседи-северяне.
Чем станешь для чужого языка —
Ответить бы никто не смог заране.

Чтоб стала гибкой каждая строка —
Дун Карм твоей коснулся филиграни,
Ты вспыхнул наподобие цветка,
Став достояньем страстного Писани.

Тебя Отец [1] к нам бережно принес
И оживил — могло ли быть иначе? —
Чтоб ныне наступил апофеоз.

Дай Бог тебе и в будущем удачи:
Ты древом стал, ты в землю Мальты врос.
Ты сделал нас, а мы тебя — богаче.

■

[1] «Отцом» современной мальтийской литературы считается Джузе Мускат-Аццопарди.

ДЖЕЙМС КАРР

Месяц в деревне

ПОВЕСТЬ

Перевод с английского А. НИКОЛАЕВСКОЙ

Посвящается Кейти.

Повесть — небольшая история, чаще о любви.

Словарь Джонсона

Переведя дыханье,
На месте я застыл —
Мне руку дав, признайся,
Что в сердце затаил?

А. Э. Хаусман[1]

Поезд остановился, я выкарабкался из вагона, прокладывая себе путь локтями и подпихивая ногой рюкзак. На платформе кто-то отчаянно выкрикивал: «Оксгодби... Оксгодби...» Мне никто не помог, так что пришлось снова пробираться в купе, спотыкаясь о колени и ботинки, за плетенкой (на вешалке) и походной постелью (под сиденьем). Если это и есть истые северяне, значит, я попал во вражеские края, и потому я не церемонясь шагал по чужим ногам. Услышал, как один парень вздохнул, другой засопел, но все молчали.

Потом стрелочник свистнул, поезд дернулся немного вперед и остановился. Тут же старик в углу опустил окно до половины.

— Даж-ди-ша збираеца прамокнешь д кастей,— сказал он, щелкая окном перед моим носом.

Из трубы взметнулся роскошный хвост дыма, и мимо поплыли тупо глазевшие на меня лица. А я остался на платформе один, пристроил за плечами рюкзак, в последний раз глянул на карту, спрятал ее в верхний карман пальто, снова вытащил и раскрыл, уронив билет на башмаки начальника станции, мечтая, чтоб дождь перестал, пока у меня нет крыши над головой.

Из дома начальника станции, прижавшись лицом к оконному стеклу, меня с любопытством разглядывала девчонка. Видно, мое пальто ей приглянулось, да и то — довоенных времен, года тысяча девятьсот седьмого, материал добротный, настоящий твид, плотный, в елочку. Оно мне было по щиколотку, прежний владелец, видно, был богач и великан.

Я чувствовал, что скоро промокну до нитки, в башмаках хлюпала вода. Начальник станции уже скрылся в ламповой, пробормотав что-то на местном диалекте, я ничего не разобрал. Он сообразил и повторил на сносном английском:

— Я сказал: можете взять у меня зонтик.

— Да мне недалеко,— ответил я.— То есть по карте судя.

Народ в здешних местах, видно, ужасно любопытный.

— А куда вам?

— В церковь,— ответил я.— Там и отдохну.

— Может, чаю хотите?— уговаривал он.

— Я условился со священником, он меня ждет.

© J. L. Carr, 1980

[1] Альфред Эдуард Хаусман (1859—1936) — английский поэт и ученый. (*Здесь и далее стихи в переводе А. Солянова; прим. перев.*)

— А-а,— протянул он.— А я уэслианец[2]. Если нужна будет моя помощь, только намекните. Они в церкви все небось уже подготовили к вашему приезду.

Он, похоже, знал, зачем я приехал.

И я вяло двинулся в путь, сунув под пальто плетенку с пожитками, чтобы укрыть от дождя. Дорога шла там, где было указано на карте. Одинокое строение оказалось пришедшей в упадок фермой. Запущенный палисадник уныло приютился за проржавевшим железным забором. Эрдельтерьер, натянув цепь, несмело тявкнул и снова спрятался под навес. В зарослях крапивы чернели развалившиеся старые курятники. Дождь струйкой тек с моей шляпы по шее, одна ручка у сумки сломалась. Я обогнул высокий забор и оказался на лугу. Передо мной стояла церковь.

Она была небогатой. Ясно, что шерстяной бум[3] обошел стороной эти края. Тут жили трудно и скудно, каждый камешек на счету. Низкий алтарь накрывала непривычно пологая крыша; должно быть, его пристроили на добрых сто лет позже, чем само здание (над основным нефом крыша была крутой, а над боковыми — более пологой). Башня была приземистой. Не торопитесь с выводами, храм радовал глаз, и, подойдя поближе, я убедился, что кладка у стены отличная — тесаный камень-известняк, а не рубленый. Даже между контрфорсами он был прекрасно стесан, плотно прилегал один к другому, только кое-где пришлось скрепить его раствором, и я, хоть и вымок до нитки, в душе аплодировал каменщикам. Сам камень, с желтоватыми крапинками магнезии, отбили, верно, где-то около Тэдкастера и везли реками. Пусть вас не раздражают эти подробности; даже в те далекие дни, по-моему, я отлично разбирался в камне. Кладбищенская стена была в хорошем состоянии, хотя почему-то щеколда на воротах была сорвана, и они держались на бечевке. Было тут несколько красивых надгробий восемнадцатого века; херувимы, испещренные лишайниками, песочные часы и мраморные черепа тонули в бурьяне, крапиве и лебеде. Я бросил взгляд на шпили семейного склепа, заросшего шиповником. Откуда ни возьмись вынырнула серая кошка, глянула на меня злобно и исчезла. Бог знает что тут еще водилось: может, кладбище теперь заповедник разной живности?

Я не мог удержаться, чтобы не проверить, в исправности ли сточные трубы и желоба, и обошел храм. На стенах ни пятнышка, ни подтека! Сырость — погибель для настенной живописи. Обнаружь я хотя бы одну стену сырой, я бы вмиг смылся на станцию.

Я вернулся к паперти, каменные скамьи тут за пять сотен лет отлично отполировали зады скорбящих, провожавших близких в последний путь, истомленных ладаном и угрызениями совести.

Я дернул за ручку колокольчика и толкнул дверь. Она жалобно скрипнула — предупреждение, за которое я ей бывал благодарен и в последующие недели. И вот я внутри. Большая просторная церковь оказалась такой, какой я ее себе представлял,— пол из каменных плит, три приземистые колонны по обе стороны нефа, два низких боковых нефа и задвинутый в глубину алтарь, переделанный (насколько я мог догадаться) усердным трактарианским[4] священником. Потолок был сделан на славу, точно дно корабля, перевернутое вверх тормашками. Похоже, на нем еще лепнина есть. Но ведь важней всего запах, именно запах места, а здесь пахло сырой травой.

---

[2] Уэслианцы — секта методистов, образовалась в 1835 г., в 1857-м объединилась с уэслианскими реформистами, названа по имени основателя методизма Дж. Уэсли (1703—1791). Методизм — течение в англиканской церкви.

[3] При короле Эдуарде III (1312—1377) шерсть стала важнейшей статьей английского экспорта, отчего страна в XIV—XV вв. разбогатела; с тех же времен идет обычай — лорд-канцлер в палате лордов сидит на набитой шерстью красной подушке.

[4] Последователи трактарианства, религиозного движения, которое — наряду с Оксфордским движением — выступало за возвращение англиканской протестантской церкви к католицизму, но без слияния с римско-католической церковью.

Арку под алтарем, как мне сообщалось в письме, забрали в леса, сразу видно — ставили их наспех. Успели приспособить даже лестницу, по которой я немедленно забрался наверх. Во многом можно было бы упрекнуть его преподобие Дж. Г. Кича. Увы, во многом. Но когда он предстанет перед престолом Вечного Судии, в оправдание его можно будет сказать: он занимался делом, Господи! А для англичанина это редкая добродетель. Во Франции нам приходилось пересекаться с несколькими майорами-снабженцами вроде него. Кич сказал, что леса будут готовы к моему приезду, и пожалуйста — стоят. Он сказал, что, если я приеду поездом в четверть восьмого, он будет ждать меня в церкви в семь тридцать. И он ждал. И когда он предстал передо мною, образ, созданный мной его четким, деловитым письмом, обрел плоть, он стоял на пороге, убедившись по мокрым следам, что я приехал. Точно собака-ищейка проследил взглядом цепочку следов до подножия лестницы, а потом поднял глаза.

Он был лет на пять старше меня, лет тридцати, высокий, но на вид несильный, четкие черты, холодный, непроницаемый взгляд блеклых глаз; никак он не мог привыкнуть к моему нервному тику, еще долго смотрел куда-то через мое плечо.

Он сразу взял быка за рога:

— Относительно того, чтобы вы жили на колокольне. Я отнюдь не в восторге от подобной перспективы, скажем так — эта идея не по душе мне. Да, я вам со всей определенностью писал в своем письме, что каждое воскресенье Моссоп должен звонить в колокола, что веревка проходит через проем в полу. Я рассчитывал, что вы где-нибудь еще устроитесь — снимете у кого-нибудь из местных комнату или номер в гостинице «Пастухи».

Я пробормотал что-то насчет денег.

— Печка,— сказал я.— Как насчет печки? Вы ничего не сказали. Я могу ею пользоваться?.. Если дождь зарядит, как сегодня.

Услышав, как я заикаюсь, он заколебался, но ненадолго.

— Это не оговорено в контракте,— он давал понять, что мои тик и заикание тоже не были оговорены.— С самого начала о печке речи не было. Нам ведь тоже приходится думать о расходах. Вы написали, что привезете с собой примус. В первом письме. Вот в этом.— Он достал из кармана письмо и ткнул мне.— В середине второй страницы.

— Но вдруг я что-нибудь подожгу? — возразил я, довольный собой; люди не понимают, что у заик больше времени на ответы на глупые вопросы, и я этим воспользовался.— И не забудьте о страховом полисе. Там есть специальный пункт — «О злоупотреблениях». Метан и керосин... старое дерево... страхование от огня — тоже источник премиальных. Мой дядя был страховым агентом.

«Злоупотребления» возымели действие. Злоупотребления в Лондоне недопустимы, а в глубинке, да к тому же на севере, боже упаси! И хорошо известно, как раздувается грех, стоит о нем сообщить священнику.

— Ну ладно,— сказал он раздраженно.— Можете пользоваться, коли уж вам так надо.— Потом, как все, кто легко уступает, начал придираться по пустякам, чтобы сохранить свое достоинство.— Имейте в виду, по воскресеньям церковь действует, а стало быть, не забывайте, что это вообще святое место. Вы, надеюсь, англиканин?

О да, конечно, заверил я его, он может на меня положиться.

Я понимал, что он подозревает двусмысленность, размышляет, в чем именно он может на меня положиться. Судя по его лицу — выводы он сделал неутешительные. Я не был похож на англиканина. Скорее на подозрительного типа, способного на злоупотребления, типа, которого, пренебрегая советом, наняли зачем-то расчищать и реставрировать фреску, на которую глаза б его не глядели, и чем скорее я с ней покончу и уберусь в погрязший в грехе Лондон, тем лучше будет.

— Какая необычная,— сказал я.

— Что?

— Печка,— ответил я,— необычная.

— Безнадежно устарела,— сказал он.— К зиме надеюсь ее выбросить. Я нашел в каталоге только что запатентованную печь с двумя котлами. Каждый котел в водяной рубашке — нет угрозы перегрева. И бесшумная работа гарантируется.— Он преобразился, без удержу нахваливая печку, хотя в Оксгодби она была явлена всего лишь картинкой каталога.— А эта дура или перегревается и накаляется докрасна, или же горит еле-еле, проку от нее никакого.— И он с пренебрежением пнул ее ногой. Они оналяли друг друга точно заклятые враги.

Он готов был говорить еще долго, но я не слушал его, внимательно изучал печку. Меня очень занимали всякие механические штучки. До того дня я увлекался больше часами и механизмами. Раньше меня не интересовали печки, которые топят углем. А у этой были разные винтики и краники, назначения которых я не знал, короче, это чертово чудище обещало мне подарить несколько приятных часов, пока я выведаю все его слабости. Еще я надеялся, что, пока я здесь, Кич не выбросит печку. Как бы то ни было, я ласково погладил место, в которое Кич пнул ее ногой. Если не жалеть топлива и подсобит милейший Моссоп (не знаю, кто такой), печка эта может так раскочегариться, что будет прекрасным наглядным пособием для проповеди об адовом пламени и кладезе бездны [5].

Ее украшал большущий герб, увитый железными розочками, на котором значилось, что изготовила ее «Бэнкдем—Кроутер лимитед», что по адресу Грин-Лейн, Уолсол, патент № 7564Б. Да с такой родословной можно заклинать духов! И даже не ветвь генеалогического древа, а целая династия... Бэнкдем—Кроутер, короли печного мира! Кто знает, что сталось с Бэнкдемами, а вот о Кроутере я читал в «Дейли мейл»: он для большей надежности перерезал себе глотку, а потом сиганул с Бридлингтонского пирса. Конечно, его до этого довели не печки, а бабы и лошади. Так прекратились печки Бэнкдем—Кроутер. Невосполнимая потеря для тех частей света, где не обойтись без тепла угольных печей. Последнюю такую я видел на Ипре. От прямого попадания бомбы церковь рухнула. Но не старушка Бэнкдем—Кроутер! Честь и хвала английскому рабочему!

Дождь стучал по крыше.

— А что конкретно вас в ней не устраивает? — спросил я.

— Она грохочет,— сказал он раздраженно,— отвлекает прихожан, мешает им молиться и петь, несмышленые ребятишки смеются. И потом, у нее с дымоходом нелады... что-то там скапливается, и дым прорывается в дверцу, а к тому же искры, пепел... да, пепел. Так и сыплется на прихожан. Мне уже столько раз жаловались. В этом году во время вечерней молитвы пятнадцатого января пепел на хоры посыпался, когда певчие гимн исполняли. Хлопьями! Я приглашал специалиста из Йорка посмотреть, что с ней. Он содрал с нас гинею, обещал, что больше она барахлить не будет. А через месяц все снова-здорово. Сейчас вроде бы утихомирилась. Надеюсь, на вас можно положиться, вы не будете мне с ней надоедать.

Он прекрасно знал, что на меня нельзя ни в чем положиться. Я выглядел совершенно неблагонадежным типом, мое пальто выдавало меня с головой. Да еще лицо, левая сторона. Его, как печку Бэнкдем—Кроутер, бил тик. Люди, вроде преподобного Дж. Г. Кича, зрелище это плохо переносили. Обычно начиналось с левой брови и опускалось ко рту. Тик я подхватил при Пассендале [6], да и не я один. Врачи сказали, что со временем пройдет. Но оттого, что Винни ушла, мне не стало лучше.

---

[5] Откровение Иоанна Богослова, 9, 1.

[6] Пассендальская битва происходила недалеко от Ипра (Бельгия), здесь германские войска впервые применили химическое оружие — хлор и горчичный газ — в 1914 и 1915 гг.

Конечно, заверял я его, он может на меня положиться, и изобразил на своем лице, как мне казалось, благонамеренную гримасу. Но щека моя подергивалась, что придавало мне не благонадежный, а скорее зверский вид; он снова пнул печку ногой, теперь уж в замешательстве.

— А теперь,— сказал он,— еще один деликатный вопрос.— И впрямь, видно, момент был чрезвычайной деликатности, ибо он понизил голос.— Не соблаговолите ли вы для естественной нужды использовать домик в северо-восточном углу кладбища? Вы увидите, он весьма уединенный, вдали от любопытных глаз, стоит в кустах сирени. Когда я в последний раз туда заглядывал, там было кое-что из инструментов Моссопа, но там довольно просторно. Пожалуйста, раз в неделю прыскайте аэрозолем и подбрасывайте свежей земли, чтобы мухи не заводились.

Ему немалых усилий стоил этот монолог, наступила пауза, во время которой он собирался с духом, чтобы приступить к следующим откровениям.

— Коса,— вымолвил он.

— Коса?

— Коса Моссопа висит там на гвозде. Но он ржавый. Гвоздь.

— Понятно.

— Вы уж удостоверяйтесь, что она надежно висит, прежде чем...

Я поблагодарил его, размышляя, о чем же он на самом деле болеет душой: как бы я жизни не лишился или же всего-навсего мужского естества.

— Муну я тоже разрешил пользоваться. А к какому периоду она относится, как вы думаете?

Вряд ли это об уборной, решил я, скорее о печке, и потому ответил:

— Ну где-то к 1890-му... 1900-му, что-то в этом роде.

А сам подумал: интересно, кто этот Мун, мой тайный компаньон.

— Да нет же,— озлился он.— Стена... Фреска...

Я ответил, что не могу сказать наверняка, пока не расчищу хотя бы часть фрески. Одежда на фигурах позволит ответить с точностью до десяти — двадцати лет; мода тогда так быстро не менялась, даже среди знати, а у бедняков она, естественно, вообще практически не менялась, так что вся моя надежда на знатных дам на фреске. Приблизительно в 1340-м вышли из моды верхние юбки особого покроя, зато стали носить ленты. Но если он хочет, чтобы я пытался сейчас гадать, а я могу только гадать, не более того,— это четырнадцатый век, после «черной смерти»[7], когда уцелевшие богачи за гроши покупали поместья своих почивших в бозе соседей, но страх за собственную шкуру заставлял их выжимать из своих тугих кошельков кое-что в пользу церкви.

Он опять перескочил на другое — верно, потому-то его и было так трудно слушать. Да и голос был до того нудный, что уши вяли, я, видно, почти все пропустил мимо (должно быть, размышлял над дамокловой косой Моссопа).

— Когда вы приступите к работе?

Этот вопрос я услышал. Что ж тут спрашивать: раз я здесь, значит, я уже приступил. Это же элементарно. Потом до меня донеслись его слова:

— Нас не обрадуют непредусмотренные расходы.

— А их и не будет.

— Их и не должно быть. Вас устроило двадцать пять гиней. Двенадцать фунтов десять шиллингов должны быть выплачены, когда будет закончена первая половина работы, а по окончании и одобрении всего цикла работ душеприказчиками — тринадцать фунтов пятнадцать шиллингов. У меня с собой ваше письмо.

---

[7] Название чумы в Европе в XIV в.; особенно сильно пострадали от эпидемии Англия и Ирландия в 1348—1349 гг., унесшей около четверти населения и положившей конец золотому веку знаменитых соборов, возведенных английскими мастерами обработки камня, в стиле так называемой «украшенной готики».

— Почему только душеприказчиками? — спросил я.— А почему не вами?

Это был тонкий выпад.

— Упущение мисс Хиброн при составлении завещания,— соврал он с горечью.— Не доглядела.

Конечно, подумал я. Естественно!

Но он нанес мне ответный удар:

— Как бы то ни было, во всех случаях я представляю интересы душеприказчиков. Я не буду возражать, если вы восстановите... все подпортившиеся и утраченные участки можете... дорисовать. Если это будет соответствовать стилю и колеру фрески. Полностью доверяю вам,— добавил он несколько неуверенно.

Невероятно, думал я. Почему почти все священники такие! Надо ли оправдывать их равнодушие к ближнему тем, что они посвятили себя Господу? Ну, а как же с женами? Неужели они и дома такие?

— Конечно, нет стопроцентной гарантии, что там что-то есть,— произнес я, стараясь говорить дружелюбно.

— Конечно, там что-то есть. Хотя я не могу полностью полагаться на мисс Хиброн (сейчас не место обсуждать мои мотивы), она была женщиной неглупой. Она поднималась наверх и скребла стенку и что-то там обнаружила.

Господи, этого еще не хватало! Скребла стенку!

— И много она наскребла? — простонал я, готовый разрыдаться и вперясь в бешенстве во тьму поверх алтарной арки. (Щека моя дергалась как безумная.)

— Одну голову, думаю,— ответил он.— Но не больше двух, уверяю вас.

Голову! А то две! Очень может быть, что и полдюжины! Она небось наждаком и щеткой для кастрюль орудовала. Мне захотелось взбежать вверх по лестнице и биться головой об эту стенку.

— Она потом все снова закрасила,— продолжал он, абсолютно не замечая моего отчаяния.— Хочу вас сразу поставить в известность, что я был против того, чтобы вас нанимать. Без сомнения, вы догадались об этом по тону моего письма. Дело бы не зашло так далеко, если бы ее душеприказчики не стали упрямиться, когда я попросил их согласия на то, чтобы потратить ваши двадцать пять гиней на другие нужды, и если бы не их идиотский отказ внести тысячу фунтов оставленных ею денег в наш строительный фонд, пока все условия завещания не будут выполнены.

Я уставился в темноту. Откуда она вообще узнала про фреску? А вдруг там ничего и нет, кроме того, что осталось от этих ее голов? Но если Кич, Фома неверующий, верит, что она там, значит, она там. А вдруг он тоже скреб стенку?

— Это будет на виду у прихожан.

— Это? — спросил я.— Это?

— Что бы там ни было,— отрезал он в бешенстве, глядя наверх,— люди будут отвлекаться от молитвы.

— Совсем ненадолго,— сказал я.— Люди устают от статичных цвета и формы. А к тому же они всегда рассчитывают почему-то, что у них будет свободное время и что они в будни придут и досконально все разглядят.— Мне бы сказать «мы», я точно такой.

Знаете, кажется, он всерьез вдумывался в этот довод, прежде чем его отвергнуть. Затем он удалился. Он так и не сказал мне, кто такой Мун. Может, мы столкнемся за кустами сирени?!

Я снова взбежал по лестнице и осторожно спружинил на настиле. Леса были на диво устойчивые и надежные. Потом я стал созерцать возвышающуюся прямо передо мной беленую часть стены. Да, именно «созерцать», другого слова не подберу, то было торжественное мгнове-

ние. Она тянулась (я имею в виду стену) до стропил, внизу и по бокам ее обрамляла арка. Как слепой, я стал ощупывать стену ладонями, пока не нашел участки, которые мисс Хиброн соскребла и снова забелила. Мы живем надеждой, такова уж наша природа, всегда мы готовы обманываться, увлечься чудом, которое непременно вот-вот обнаружится в кульке из оберточной бумаги.

Но я же знал, что это здесь! И я знал, что это — Страшный суд. Это, конечно же, Страшный суд, потому что самые важные эпизоды всегда помещали на видном месте, чтобы прихожане волей-неволей зрели ужасы, которые им грозят, если они не выплатят десятину, которую задолжали церкви, или женятся на брюхатой девке. Архангел Михаил мерит на весах отлетевшие души и грехи их, Христос во Славе в роли рефери, а внизу вечное пламя. Великолепная массовка. Дурак я, надо бы потребовать плату с каждой головы.

Я так разволновался, что тут же приступил к работе, если б не темнота. Вот подфартило! Первая работа... да, первая самостоятельная работа. Только бы не напороть, не испортить, думал я. Цена страшная, но ничего, выживу, зато будет что показать будущим клиентам. Хоть бы это оказалось что-нибудь хорошее, прямо великолепное, удивительное. Как Стоук Орчард или Чалгроув. Чтобы не удержалась «Таймс», а «Иллюстрейтед Лондон ньюс» поместил очерк с фотографиями.

Я спустился с лесов, взобрался по другой лестнице на колокольню, но перед тем, как зажечь керосиновую лампу, подошел к окну и выглянул — в темноте, пробиваясь сквозь дождевую завесу, горели огоньки деревни. Ну что ж, подумалось мне, это мой дом на ближайшее время, я ни души не знаю здесь, никто не знает меня. Я тут как марсианин. Нет. Вот и неправда. Я знал его преподобие Дж. Г. Кича, может, знал о нем все, что надо. И начальника станции, разве он не предложил мне чашку чаю? Почти весь цвет общества Оксгодби с Моссопом и Муном ждал своего выхода на сцену. Я уже стал кое-кем, и это за несколько часов. Дивно.

Этой ночью, впервые за долгие месяцы, я спал как убитый, а утром проснулся ни свет ни заря. Вообще-то я подымался с рассветом все дни, что провел в Оксгодби. Работа была адская, я почти весь день был на ногах, даже ел часто стоя, а потом — ночью, на моих хорах, высоко над полями, вдали от дороги, куда не доносились ничьи голоса, ничто не нарушало моего покоя. Иногда, внезапно проснувшись ночью, я слышал, как тявкает лисица на опушке дальнего леса или попискивает неведомая зверушка, притаившаяся во тьме. Ничто не мешало мне, кроме подрагивавшей веревки, свисавшей с колокольни сквозь дыру в потолке, скрипа стропил, шороха камня, который за пять веков не перестал оседать.

За то время, что я провел там, меня только две ночи мучили кошмары. В первый раз мне приснилось, что на меня падает башня, а во второй — я ползу на пулеметную очередь, укрыться негде, а я ползу и ползу по грязи навстречу мерзкой смерти. Я вскрикиваю, и мой крик тонет в хоре ночных звуков. Да, была еще третья бессонная ночь, но это гораздо позже и совсем другое дело.

Итак, в первое утро я свернул одеяло, стараясь не задеть веревку от колокола, подошел к окну, выходящему на юг, и скинул плащ, которым и прикрыл его от дождя. Окно было самое обычное, незастекленное, двустворчатое, конечно, с простым крепким средником, способным выдержать мой вес. Дождь прекратился, и на кладбищенской траве блестела роса, паутина дрожала в воздухе, два черных дрозда бродили в поисках добычи, в рябине тоже заливался дрозд, я его видел. А внизу раскинулся луг, по которому я шел со станции (возле ручья круглилась палатка), а дальше поля, поля до темной кромки холмов. И когда рас-

свело, взгляду открылись огромные, великолепные просторы. Я отвернулся, да, мне здорово повезло.

Потом я распаковал мои запасы: чай, маргарин, какао, рис, хлеб. Неплохо бы где-нибудь свистнуть банки с плотными крышками, чтобы было куда все сложить. Я зажег примус, поджарил два ломтика ветчины и сделал себе толстенный сандвич. Отлично! Сидишь на досках, опершись о стену, в окне холмы, вздувшиеся точно спина огромного морского зверя, темный лес плавно сбегает в долину.

Да, Господи Боже, в первое же утро, в первые же минуты первого утра я почувствовал, что эти незнакомые северные края приняли меня дружелюбно, что началась новая жизнь — и это лето 1920 года будет не торопясь гореть, пока не падут первые листья, оно станет благословенной порой моей жизни.

Я сказал себе: сколько надо, столько и потрачу на эту работу — конец июля, август, сентябрь, даже октябрь. Я буду счастлив, заживу скромно, просто, буду тратить деньги только на свечи, хлеб, овощи, мясо стану покупать изредка. Двух пинт молока в неделю — вполне достаточно, но такая погода долго не продержится, придется покупать три пинты — овсяная каша очень сытная, подогрей — и, пожалуйста, обед готов. Я рассчитал, что, раз не надо платить за квартиру, можно прожить на пятнадцать шиллингов в неделю, даже на десять—двенадцать. В сущности, двадцать пять гиней, которые мне обещали заплатить, можно растянуть до тех пор, пока холода не загонят меня на зимние квартиры в Лондон.

В эту тихую гавань заглянуло чудо, в течение нескольких месяцев ничто на свете не будет волновать меня, ничто, кроме фрески, которую надо расчистить. А после можно опять попытать счастья, снова забыть, что сделали со мной война и скандалы с Винни, начать сначала. Именно это мне нужно, думал я, глядишь, оклемаюсь.

Да, человек живет надеждой.

На хорах было еще одно окно, я его приметил вечером. Какое-то там было отверстие, заткнутое мешковиной, я вчера подумал: должно быть, это окно. Я сорвал мешковину.

Я перевидал на своем веку десятки, может сотни, церквей, но, знаете, эта мешковина скрывала удивительнейшую вещь. Передо мной под самым носом возвышалась капитель, массивная, огромная англосаксонская капитель! Я расхохотался. Раньше мне никогда не доводилось видеть ее, но я сразу же признал ее по картинке в нашем старом учебнике Баннистера и Флетчера, в нашей Библии в классе по английской архитектуре, который вела мисс Уитерпен. «Рисуйте капитель,— бурчала она бывало.— Ладно уж, не морочьте себе голову прекрасной коринфской капителью, рисуйте английскую капитель». (Я и сейчас могу ее изобразить.)

А тут вот она: грубая каменная бочка с парой обручей наверху и внизу. «Ладно уж, рисуйте капитель!» Если бы я был Джозефом Конрадом, я бы пустился сейчас разглагольствовать о потерянном острове юности. Моя первая всамделишная капитель! И на протяжении нескольких недель я был безраздельным ее хозяином: это была моя капитель! Я стукнул ее в бок — разок за Баннистера, разок за Флетчера, разок за пролетариев всех стран, давно усопших, и за тех, кто еще суетится, вроде меня.

Я посмотрел вниз, в неф. Освещение в храме было плохое, и на лесах под потолком слишком темно, начинать работу нет никакой возможности. Я спустился и обошел всю церковь. Благодаря аркаде в низком нефе и двум широким боковым нефам она выглядела красиво, а если по частям ее рассматривать (за исключением, конечно, моей капители), совсем неуклюжей казалась. Правда, была тут одна отличная скульптура — барочный барельеф прекрасно сложенной юной леди Летиции Хиброн, которая, целомудренно скрывая свое главное достоинство под саваном, выбиралась из элегантного катафалка. Все это очень мило

изобразил некий А. Х. в 1799 году, присовокупив к барельефу поэтические строки от имени ее молодого супруга. Хотелось надеяться, что он их не из каталога списал. Латынь, конечно, но я понял смысл...

Conjugam optima amantissima et delectissima —

Самой любящей и самой красивой жене, а далее на протяжении одиннадцати строчек следует перечень ее ни с чем не сравнимых чар, а в двенадцатой одно-единственное слово, его последнее унылое прости — Vale [8].

Я еще раз посмотрел на Летицию и после этих признаний долго не мог отвести взгляд. Облегающий саван ей шел, лицо с чуть оттопыренной кокетливой верхней губкой светилось благорасположенностью, 'Conjugam optima amantissima et delectissima". Да, он был прав. И ему больше повезло, чем мне.

Потом я затащил рюкзак наверх и разложил его содержимое — ланцет (снимать побелку), бутыль со спиртовым раствором соляной кислоты, кисточки, щетки, сухие краски, бутыль с дистиллированной водой (разбавлять нашатырный спирт)... почти все это дал мне Джо Уоттерсон, заявив, что завязал с реставрацией и желает мне удачи.

— Это профессия, старик,— сказал он.— Дико опасная и изнурительная; но если слово «профессия» означает квалифицированный труд, которым не всякий владеет, то это безусловно профессия.— И он горестно засмеялся в бороду.— Нас, реставраторов, скоро совсем не станет; я знаю только вас двоих, но Джордж Пековер плохо стал видеть, как бы с лестницы не сверзился. Тогда будешь подыхать с голоду без конкуренции.

Я осторожно обходил свои владения. Прямо над головой конек крыши упирался в основание башни, украшенной весьма причудливой лепниной, ее первоначальный цвет сохранился благодаря постоянному сумраку под неприступными сводами высоких крыш. Тут была великолепная средневековая галерея; ближе всех ко мне нарисована почти испанская голова Христа в терновом венце, ударяемого по ланитам, дальше пугало-бес просунул ухмыляющуюся рожу меж двух прелюбодеев и, наконец, дебелая дама с голубым щитом из лилий. Это подтверждало то, что знает каждый, кто рыскает по церквам,— в старом храме непременно найдешь что-нибудь уникальное, надо только смотреть как следует.

Скрипнула дверь — на пороге возник коренастый, невысокий парень и, стараясь ничего не упустить, принялся меня оценивающе разглядывать. Самоуверенное, круглое лицо, синие, умные глаза.

— Доброе утро, я Чарльз Мун.— Он снял со своей взъерошенной светловолосой головы мягкую твидовую шапку.— Я тут рядом раскопки веду. На лугу. Наверное, заметил палатку? Я не хотел сразу заваливаться, думал, подожду, пока устроишься, да стало невтерпеж. Одним глазком на тебя взглянуть. В общем-то не только это. По правде говоря, ночами я так маюсь, спать не могу, чуть свет вскакиваю, все думаю, вдруг удалось Летиции выбраться ночью на свет Божий?! — И он махнул рукой в сторону южного нефа.

— Я сейчас спущусь,— сказал я и сбежал вниз. Ему было лет двадцать семь — двадцать восемь, коротышка, он стоял так крепко, будто корни пустил. И этот его вид — «все воды Твои и волны Твои прошли надо мною» [9] — выдал его еще до того, как я заметил на плечах его гимнастерки три дырочки от капитанских звездочек.

Он понравился мне с первого взгляда — самостоятельный парень. А я понравился ему (так всегда и бывает). Господи, как вспомнишь эти годы! И все кануло в Лету. Гордость и волнение из-за первой работы, Оксгодби, Кейти Эллербек, Алиса Кич, Мун, тихие, безоблачные дни — все ушло, будто никогда ничего и не было.

---

[8] Прощай! (*лат.*)

[9] Псалтирь, 41, 8.

Мы выбрались на солнышко, прислонились к стене. Я спросил, надолго ли он в здешних краях, он кивнул на палатку.

— Пока первые морозы не прогонят. Надеюсь отложить деньжат, чтобы было с чем зазимовать в Уре. Вулли делает раскопки зиггурата [10], он даст мне работу, когда я появлюсь.

Позже я понял, что в этом мудрость Муна: против надежды и рассудка знать, что все будет хорошо. «Вулли даст мне работу!» И тот ведь даст! Так и представляешь себе фантастическую картину: Мун спрыгивает с поезда, который раз в сутки идет из Басры в Багдад, на полустанке Ур; там ничего, даже платформы нет — только три хижины, он пробирается по камням и песку, выкрикивая: «А вот и я! Мы с вами раньше не встречались, так что вы не знаете меня. Меня зовут Чарльз Мун. Какую работу вы мне можете предложить?»

Я поинтересовался, что он здесь ищет. Он засмеялся.

— Согласно официальной версии, ищу могилу предка мисс Хиброн. Пирса Хиброна, 1373 года рождения. Она где-то вычитала, что его отлучили от церкви, и решила, что, должно быть, его похоронили не на погосте. Я должен найти его, во всяком случае поискать. Она оставила пятьдесят гиней ему на ограду.— Он спешил, будто эти подробности его и не интересовали.

— Не будет костей, не будет и монеты?

— Да нет, боже упаси. Тут не о деньгах речь. В контракте говорится, что я должен «по мере возможности продолжить работу в пределах разумных сроков». Душеприказчики сошлись на том, что их вполне устроят три-четыре недели, чтобы я особенно не отчаивался, если не найду.

— И ты действительно надеешься найти это... его? Я хочу сказать, что его где угодно могли захоронить. Небось семьи, вроде Хибронов, запросто покупали священников со всеми потрохами. Может, он покоится под алтарем.

Мун ухмыльнулся. Немного позже я вспомнил, что улыбка у него мудроватая (так говорят в тех краях).

— Что ж, может, ты и прав,— сказал он и неопределенным жестом показал не только на луг, но и на все окрест.— Так я и сказал старику. Какому старику? Да ее брату, полковнику. Нет-нет, он в англо-бурскую воевал. Он все понял. «Железная логика, Мун. Именно так я и говорил Эдди. Не мели чепухи, Эдди, говорил ей. Он где угодно может лежать. Вон Моссоп у парника с огурцами кости нашел, вполне возможно, они самые и есть». Один черт. Вечно одно и то же талдычила: «Полагаю, что я могу распорядиться деньгами по своему усмотрению, Тед. Тебе и так оставлено больше, чем тебе понадобится». Глупа как пробка!»

Мун фыркнул.

— Я в отчаянии, что не был с ней знаком,— сказал он и сунул руку в карман за бумажником.— Смотри, вот фотоснимок нашей благодетельницы, мне Моссоп дал. Немного выцвела.

Я с жадным интересом изучал мисс Аделаиду Хиброн, мою первую хозяйку. У нее была вытянутая головка, светлые волосы зачесаны назад, слегка циничная улыбочка приподняла уголки рта, блеклые глаза, изящный носик. Полковник, особенно получивший звание на англо-бурской войне, не мог рассчитывать на победу в сражении с этим фельдмаршалом в юбке.

— Сдается мне, я бы с ней враз поладил,— сказал Мун.— Думаю, она бы просекла, почему мне наплевать, откопал я старика или нет. Жаль, что она не раскошелилась на это мероприятие, пока еще была жива: ее ежедневные визиты украсили бы мою жизнь.

— Чудно! Зачем же ты с такими настроениями — ведь тебе начхать на результаты — сюда приехал? — Я подразумевал: тут что-то не так.

---

[10] Вавилонский или ассирийский храм типа ступенчатой пирамиды.

— Просто я сразу понял, что к чему,— ответил он, будто удивляясь, что я сам не понимаю.— Может, не совсем так. Я увидел вероятность. Я не подписывал контракт, пока мой приятель, летчик из АСВ [11], не слетал со мной на своей колымаге. Мы прилетели поздно вечером. Совершенно неожиданно. Это самое подходящее время, чтобы увидеть, что здесь было давным-давно.

Я оказался прав, это было ясно, как на ладони — базилика [12]. Саксонцы такую штуку назвали бы часовней. Она примерно с 600—650 годов. Очень, очень ранняя, небось вскоре после первого острого приступа христианства [13], потому что стояла она посредине кладбища, еще более раннего. Кладбище не такое, как наше, конечно: повсюду глиняные вазы, сотни их, луг ими буквально утыкан, как иголками — подушечка. И никто ничего не замечал.

Я должен был сообщить властям о моей находке. Конечно, я так и собирался сделать. Но не раньше, чем найду фундамент и кое-что выясню для себя. Местным вправлены мозги насчет того, что я ищу, и любой камень, который они увидят, для них — развалины коровника. Я уж с тобой делюсь, потому что ты сам и так сообразил бы. Тебе-то со своей верхотуры видно, чем я занимаюсь.

Да, у меня ни за что так не получилось бы. Брать деньги за одну работу, а делать другую!

— Меня совесть не мучит,— продолжал он, будто угадав мои мысли.— Ни капельки. В Ур ехать рано. Семьи у меня нет. Только сестра с зятем, но мы не ладим. Ну, то есть мы стараемся не лаяться. Но это не важно. Уверен — деньги Эдди на дело пошли. Я даже от нее не ожидал — как это она догадалась, что луг-то не простой.

Я, конечно, задним умом крепок, но потом до меня дошло, что, когда мы с ним разговаривали, он уже знал наверняка, где найдет могилу.

— Чего мы здесь торчим? — спросил он.— Пойдем, я чего-нибудь приготовлю.

Я сказал ему, что уже позавтракал.

— А, да ладно уж,— сказал он.— Мне можно не заливать, что свой тик ты получил на железной дороге, так что сразу обменяемся кой-какими впечатлениями и выпьем по кружке. Обоим ведь приходится думать: «Господи, хоть бы не в последний раз». Да к тому же теперь твой черед рассказать о работе.

И мы пошли по его волшебному лугу к палатке. К моему удивлению, она стояла в яме.

— Как на острове,— сказал он.— К тому же чувствуешь себя доисторическим человеком, обожаю норы. Ты наверх по своей лестнице забираешься, а я в нору залажу... двое допотопных существ. Послушай, давай вечером выпьем в баре «Пастухи», познакомишься с местной публикой.

Я не ответил согласием, и он, видно, догадался, что у меня с деньгами туго, что Кич пока ничего мне не заплатил, и приглашения не повторил. Вместо этого он похлопал себя по левой ляжке и сказал:

— Я говорил тебе, что по ночам маюсь? Это не совсем точно: хожу с осколком, его из меня не выковыряли.

Пока мы беседовали, он кипятил чайник, потом разлил по кружкам чай, и мы вернулись к кладбищенской ограде.

— Вон там, слева от тебя,— небольшая впадина,— сказал он.— Нет, не видишь? Ничего, поверь на слово, она есть, если бы трава была пониже, увидел бы. Приблизительно девять на пять футов, почти каноничес-

---

[11] Авиация сухопутных войск.

[12] Прямоугольное здание, расчлененное рядами колонн на ряд продольных галерей (нефов). В средние века базилики использовались как церкви.

[13] Христианство проникало в Англию из Рима, немного позднее из Ирландии. Седьмое столетие целиком охвачено процессом христианизации. Летопись отмечает примеры насильственного обращения в христианство.

кий размер, часть под стеной. Следовательно, ее перестраивали несколько раз.

Он посмотрел на меня. По моему лицу ему стало ясно, что я ничего не понял.

— Понимаешь,— сказал он,— они были не то, что мы. У них мозги не так работали. Религия была магией. Они верили во все, о чем им говорили. Раз семья не сумела протащить его в церковь, они хоть поближе его пристроили. Даже если бы он был никто, они не бросили бы его на свалку, как дохлую кошку, а он вполне тянул на каменный саркофаг, который сохранится в целости и сохранности.

Он поскреб подбородок и задумчиво глянул на меня. Потом усмехнулся.

— Мы оба хороши,— сказал он.— Эксперты, черт побери.— Он сел, прислонясь спиной к стене.

Солнце уже взошло, кто-то шел по лугу... Может, Кич — проверить, как движется работа? Нет, не он.

— О Господи, это же полковник! — воскликнул Мун.— Бродит вокруг как неприкаянный. Не уходи. Он так и так тебя достанет, даже на твоей верхотуре.

Полковник оказался высоким сутулым человеком, неряшливым, задумчивым, к таким на козе не подъедешь, такие даже вида не делают, что тебя слушают. Может, он был очень робкий и заставлял себя соваться в дела, которые его вовсе не интересовали. Может, его сестра, эта грозная Адела, была его путеводной звездой, а без нее он как без руля и ветрил?!

— Эй! — сказал он.— Здравствуйте! Ну-с, двигаемся помаленьку вперед, пробираемся к цели?

Мун, кажется, уже знал, чего от него ждут, он ничего не ответил. лишь изобразил на лице подобие некоего ответа. Мне очень понравилось это представление. Он к тому же встал, но насколько я помню, не для того, чтобы угодить полковнику, просто как бы само собой вышло, что он уже стоял.

Что до полковника, тот огляделся и, сам того не подозревая, пнул ногой предполагаемую могилу предка.

— Ох,— сказал он.— Да. Очень интересно. Хорошо, когда вы тут. Совсем другое ощущение. Оставайтесь сколько угодно. Дела, видно, идут. Ну, не буду мешать.

— Это мистер Беркин, полковник,— сказал Мун.— Он приехал просветить нас насчет того, что там над алтарной аркой.

Полковник взглянул на мои сапоги.

— Очень интересно,— сказал он.— И вы можете оставаться сколько угодно, Беркин. Не могли бы посудить нам по субботам? Моссоп говорит, он в эти дни не может. Да, с удовольствием бы еще остался. Может, как-нибудь в другое утро. Надо идти. Я скажу Моссопу, что вы согласились быть нашим судьей. Очень любезно с вашей стороны.

Он побрел прочь. Повернулся.

— Нашли что-нибудь примечательное, Мун? Предметы искусства? Едва ли золотые слитки?

Мун помрачнел, но, признав обоснованность расспросов, издал некий гортанный звук.

— Не обижайтесь, что спрашиваю. Просто выказываю интерес. Оставайтесь сколько вам будет угодно.— И он заковылял прочь.

Я так и не перемолвился с полковником ни единым словом. Он не играл никакой роли в том, что приключилось, пока я был в Оксгодби. По мне, хоть бы он и концы отдал, как только завернул за угол. Но ведь так почти со всеми бывает, верно? Тупо смотрим друг на друга. Вот я. вот ты. Зачем мы тут? И как ты думаешь: к чему это все? Хорошо. Продолжим. Мой старший брат — на камине. Эту наволочку вышила моя кузина Сара всего за месяц до кончины. Я выхожу на работу в восемь, а в пять тридцать возвращаюсь. Когда я пойду на пенсию, мне подарят

часы и выгравируют фамилию на крышке. Теперь ты знаешь обо мне все. И уходи, я уже про тебя забыл.

Обычно так начинались почти все дни — за кружкой чаю в землянке Муна, пока он выкуривал трубку, мы говорили мало. Я, бывало, спрашивал его, как идут дела, кто заглядывал к нему в нору; потом он спрашивал меня, как мои дела на верхотуре, кто приходил в церковь, и время от времени, между двумя затяжками, он задумчиво поглядывал на меня. Ну что ты за тип? Кого ты оставил дома на кухне? Что это с тобой там приключилось? Где это ты подхватил свой чудовищный тик? Пытаешься снова влезть в шкуру, которая была на тебе, пока тебя не сунули в мясорубку?!

Я читал эти вопросы на его лице, но не отвечал. Не от недостатка откровенности, а просто — что толку говорить? Мне твердили, что только время залечит раны, и я верил. Так или иначе, что было, то прошло, и в первые дни в Оксгодби я с головой ушел в работу. Меня била дрожь; может, вы поймете мое состояние: ведь я не знал, что я расчищаю.

Средневековые фрески занесены в общедоступные каталоги. Тут три сластолюбца, предающихся любовным утехам, а потом претерпевающие муки адовы, тут Христофор [14], идущий вброд меж рыбин и русалок, с младенцем Христом на плече; скучные святые девы, стоически претерпевающие дыбу, колесование, усекновение главы, эти располагаются обычно по стенам боковых нефов или над аркой нефа, но большое пространство между алтарной аркой и стропилами почти всегда отводится под Судилище Христово — под Страшный суд.

Что ж, весьма разумно. Большие труппы требуют большой сцены, а высокая стена вокруг мощной арки — самое подходящее место, чтобы запечатлеть Христа во Славе в самом центре — в замковом камне [15], изгибы арки изящно отделяют дивные фигуры праведников, шагающих со сцены на север, в Рай, от проклятых, летящих (обычно вверх тормашками) в адский огонь.

И я начал свой труд в Оксгодби с проверки моей догадки, попытавшись с помощью приставной лестницы найти замковый камень. Я его нашел. К концу второго дня обнаружилась прекрасная голова. Да, в самом деле, прекрасная голова, борода клином, свисающие усы, глаза с тяжелыми веками, в темных кругах. И на губах ни тени киновари — это говорило о мастерстве моего художника: как ни эффектна сперва киноварь, он-то знал, что лет через двадцать она почернеет на известке. А когда обозначились первые участки одежды, стали проступать всей синеве синева — ультрамарин и голубица — и масштабы художника подтвердились. Он, видно, в монастыре стибрил краску, ни одна сельская церковь не могла позволить себе таких расходов. (А монастыри нанимали самых лучших мастеров.) Но голова и лицо не оставляли никаких сомнений насчет его класса.

Бьюсь об заклад, итальянским мастерам было чему поучиться, глядя на эту голову. Это был не хрестоматийный, невыносимо возвышенный, неземной Христос. Это был суровый, грозный владыка, правосудие, да будет правосудие. Но милости не будет [16]. Об этом кричала каждая деталь, и когда в конце недели я дошел до его поднятой правой руки, я увидел на ней след от гвоздя.

Таким был Христос из Оксгодби — непреклонным... даже угрожающим: «Вот моя рука. Вот что вы со мной сделали. И за это многие примут пытку, ибо вы пытали меня».

---

[14] Святой Христофор (III в. н. э.) — христианский святой; по легенде, был великаном, переносил людей на руках через реки и водоемы, однажды перенес младенца Христа, поэтому и получил имя Христофора — «тот, кто перенес Христа». Заступник кузнецов и путешественников.

[15] Клинчатый камень, завершающий свод.

[16] Ср. Псалтирь, 88, 15: «Правосудие и правота — основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим».

Мун тотчас же это понял.

— М-да,— пробурчал он.— Не хотел бы я сидеть на скамье подсудимых, когда он судит.

Паки грядущаго со славою
Судити живым и мертвым...[17]

И, лежа в своей постели воскресными утрами, слушая блеянье, доносившееся снизу, я видел его в полумраке, тогда как прихожане не видели его, и думал: тот ли он высокий гость, чьего прихода столь восторженно ожидают «Преподобный Кич и компания».

«Да! Как это там у вас говорится! Ты накормил Меня, когда Я алкал, напоил, когда Я жаждал? Одел Меня, когда Я был наг, принял Меня, когда Я был странником, посетил, когда Я был болен, пришел ко Мне, когда Я был в темнице» [18].

Ну а насчет бедолаги Беркина, кто-нибудь из вас предложил ему кров и стол?

Да, добродетельные йоркширцы, а как насчет Тома Беркина — он ведь вчистую проигрался, нервы в клочья, жена сбежала, ни кола ни двора? Да, как насчет меня?

О, эти осуждающие глаза! «И ты тоже, Беркин! Не думай, я тебя не забыл. Ты поминал мое имя всуе под заградительным огнем в поле. За все-все тебе зачтется!»

Но самое удивительное для меня было другое. Вот передо мной из тьмы проступает безвестный художник, чтобы показать мне, на что он способен, говоря мне яснее всяких слов: «Коль весь я не умру, коль что-то тления избегнет — смотри: вот это я» [19].

Кейти Эллербек, первая из местных, заглянула полюбопытствовать, чем я занимаюсь. Это она глазела из окна начальника станции на мое пальто и на меня; ей было четырнадцать лет, она заканчивала приходскую школу. Он была крупная для своего возраста, синеглазая, веснушчатая, смышленая. В те дни меня не раздражали дети, я ладил с ними почти со всеми. Мне доставляло удовольствие болтать с бойкими ребятками, и они это знали, им тоже нравилось со мной болтать — любили разговор разговора ради, как детишки часто любят мороженое.

Да, Кейти Эллербек принадлежала к этой редкой разновидности, к тому же у нее хватало ума понимать, что взаимная расположенность к беседе не может длиться вечно, и она умела поймать летучее мгновенье. Мы великолепно поняли друг друга, стоило ей открыть дверь.

— Приветик,— крикнула она.— Мистер Беркин, можно я поднимусь?

Я подошел к краю настила, посмотрел вниз и ответил, что держу за правило никого наверх не пускать. Железное правило, никаких любимчиков. Только мистер Мун. У нас с ним двустороннее соглашение — я спускаюсь в его нору, он забирается ко мне. Она знакома с мистером Муном? А откуда она знает мою фамилию?

Да, естественно, она знает мистера Муна, все в Оксгодби знают его, и хотя мне сюда не приходило писем, все узнали, что я мистер Т. Беркин: Мун оповестил. И я прав, он никого не пускает к себе в палатку, и никто не бывал в его норе. А что означает буква «Т»?

— Видишь ли,— сказал я.— Это флаг, вывеска. И еще наш союз. И явись сюда хоть король Георгий, ему придется на меня смотреть снизу, а на Муна только сверху. Никаких исключений. Мы вдвоем — нам надо советоваться по разным техническим вопросам, следить, как бы не обогнать друг друга.

---

[17] Строки из символа веры.
[18] Ср. Евангелие от Матфея, 25, 35—36.
[19] Парафраз стихотворения Горация «Памятник».

Но я всегда готов беседовать с поклонниками искусства, даже благодарен бываю им за это, готов поддержать беседу, пока они расположены к ней и не сердятся, что я стою спиной, и выброси из головы эту самую «Т», девочки называют меня «мистер».

— Я видела, как вы с поезда сходили,— сказала она.— Дождь шел. Мой папа — мистер Эллербек, начальник станции. Папа сказал: «Этот парень с юга, он будет церковь реставрировать... только что приехал». Меня зовут Кейти Эллербек.

— А как твой отец меня узнал? — спросил я.— На мне же не висела табличка?

— Да ведь мы знаем почти всех, кто сходит с поезда, а если кого не знаем, так знаем встречающих. А насчет вас мистер Моссоп предупредил, что вы едете. И у вас внешность художника.

— Но я не художник, с чего ты взяла, что у меня внешность такая?

— Мы знаем, художникам плевать на свой вид, и это ваше пальто вас выдало. Меня папа послал справиться, как вы. Он сказал, что такого случая в нашей дыре больше и не представится — то есть наблюдать художника за работой.

— Послушай, сколько раз мне тебе повторять: я не художник. Я ремесленник, который реставрирует творения художников. И пальто мое вовсе ничего не обозначает — я ношу его, потому что у меня коленки мерзнут. Мерзнут же у других уши?!

Хорошо, что родители знали, где она. В конце концов, обо мне тут никому почти ничего не известно, а я могу себе представить, как в глуши все приобретает сексуальный налет, и даже когда речь не о чужой жене, так о маленьких девочках и мальчиках, и хуже того, о животных. Правда, отделявшая меня от моих посетителей лестница создавала некое препятствие их воображению. Но не такое уже неодолимое.

— Папа говорит, что у вас очень трудная работа — целый день один, даже словом перемолвиться не с кем.

— Ага,— сказал я загадочно.

— У нас в церкви на стене картина,— сказала она.— За кафедрой. Три большие лилии — аронники. Очень красивые.

— Почему?

— Что почему?

— Почему лилии? Почему просто лилии? Почему не лилии с розами или просто розы? Или розы и маргаритки?

— Под ними написано старинными буквами: «Посмотрите на лилии». Это текст.

— Странный текст для церкви. Едва ли ваши прихожане с ним согласятся.

«Посмотрите на полевые лилии, как они растут? Ни трудятся, ни прядут» [20]. Разве от вас не ждут усердия и трудолюбия? А тут — на тебе — в публичном месте призывают бить баклуши.

Она задумалась над моим замечанием, но, судя по всему, решила, что ответа оно не требует.

— Человек, который написал нам по трафарету эти слова, приехал из Йорка,— сказала она.— У него была с собой книжка с разными изречениями, подобающими к разным случаям. Маме понравилось одно, оно к розам относилось — *«В тени прохладной рощи Силоама»* [21]. Это гимн. Но в конце концов мистер Доутвейт с папой решили: раз картина у всех на виду, пусть это будут лилии.

— Почему же? — спросил я.— Почему же не розы?

— Не знаю я,— отрезала она рассердившись и сменила тему: — А что касается вас, ведь вы тут совсем один, папа сказал, что я могу оставить вам граммофон, вот здесь, под скамьей, а когда я буду к вам приходить, смогу ставить вам пластинки. Хоралы и соло церковные.

---

[20] Евангелие от Матфея, 6, 28.

[21] Из стихотворения епископа Реджинальда Хебера (1783—1826).

— Прекрасно,— сказал я.— А теперь хватит болтать, мне пора работать. Поставь что-нибудь.

Она завела граммофон, и сочное контральто стало выводить:

Непорочный серафим,
Осени крылом своим...

Нетрудно было вообразить вздымающуюся грудь и горящие глаза при выведении вибрирующей заключительной рулады.

— Ох, как трогательно! — крикнул я через плечо, когда пластинка кончилась.— Как раз уместно! Теперь буду каждый день встречать двоих-троих ангелов.

— Да,— ответила Кейти.— Очень трогательно. Хотите еще раз послушать или на другую сторону перевернуть?

Она перевернула, прокрутила «О, ради крыльев голубицы», «Забытая струна», «Святой город». Она была честная девочка и умная. Если бы ее забросило подальше от Оксгодби, если бы она оказалась в хорошем месте и среди хороших людей, она могла бы найти своего Перселла [22], а может Таллиса [23], и оказалась бы в конце концов у Бёрда [24]. Nunc dimittis [25].

Она откинулась назад, ее веснушчатое круглое личико сияло. Все ясно: она решила завоевать меня и оценивала свои шансы — я наверху, побег практически невозможен.

Потом она приходила почти каждый день, иногда с младшим братом. У Эдгара были широко распахнутые, доверчивые глаза, говорил он исключительно в случае необходимости, чаще всего объясняясь с помощью острого локотка. Их матушка из их рассказов и с помощью наводящих вопросов выяснила, как они проводят со мной время, и обычно присылала что-нибудь из ее стряпни,— кроличий пирог, несколько пирожков с морковкой, две-три ватрушки. И потому за то время, что я там провел, восхищенному лондонцу было предложено меню северной кухни — яства, которые миссис Эллербек помогала готовить своей матушке, которая помогала готовить своей матушке, которая.... Иногда я делился своими сокровищами с Муном, и он заметил, что кое-что из раскопок нам перепадает.

Как бы то ни было, вдохновленный этими щедротами, я начал лелеять надежду, что продержусь здесь до Рождества, если погода не станет слишком холодной, а Кич слишком агрессивным.

Прошло, похоже, дней девять-десять, прежде чем пришла миссис Кич (жена священника). Я работал не строго по часам, спускался вниз, когда хотел есть. А в разгар тех жарких августовских дней я обычно обходился двумя ломтями хлеба и куском сыра уэнслидейла [26] и выходил поесть на воздух. По субботам и воскресеньям я покупал бутылку светлого пива, а в будни пил воду.

День, когда она пришла, выдался такой жаркий, что серый кот подпустил меня почти вплотную, и только потом спрыгнул с надгробного памятника Элиа Флетчеру в густую-густую траву, и побежал в куст ежевики. Я любил здесь сидеть над могилой Элиа за своей трапезой, поглядывая в ту сторону, где Мун разбил стоянку, отдаваясь всем существом лету, жадно впитывая летние запахи и летние звуки. Я уже чувствовал себя частицей здешних мест, а не сторонним наблюдателем, вроде случайного прохожего. Мне хотелось, чтоб люди в поле, завидя меня, признавали своим и говорили: «Этот парень — художник, работает тут у нас, на хлеб зарабатывает».

---

[22] Генри Перселл (1659—1695) — английский композитор.
[23] Томас Таллис (ок. 1505—1585) — английский композитор.
[24] Уильям Бёрд (ок. 1543—1623) — английский композитор.
[25] Ныне отпущаеши *(лат.)*. Ср. Евангелие от Луки, 2, 29.
[26] Сыр типа рокфора, желтый, с синими прожилками.

Я совсем осоловел, растянулся на каменной плите, прикрыв глаза носовым платком цвета хаки и, слегка прихрапывая (это уже наверняка), сладко заснул, Когда я проснулся, она стояла, прислонясь к серой оштукатуренной стене, и смотрела на меня. На ней было темно-розовое платье.

— Вы давно здесь? — спросил я.

— Минут десять, может быть... Не знаю.

Она робела. Широкополая соломенная шляпа скрывала лицо, поэтому определить, сколько ей лет, мне не удалось. Несколько мгновений она стояла молча, взгляд ее блуждал по церкви, потом она перевела его на свободный полет бабочки «красный адмирал», пока та не распласталась на могильном камне, пришпиленная солнечным лучом к лишайнику. Я слез с надгробия и прислонился к нему — спросонья все еще не понимая, что к чему.

— Вам удобно на колокольне? — спросила она.— Может быть, что-нибудь принести? Вы хорошо спите? Я могу дать дорожный плед, мы в это время года им не пользуемся. Мой муж сказал, что вы пешком сюда пришли. От железнодорожной станции, я имею в виду. Вы не могли много на себе унести, поэтому подозреваю, что вы спите прямо на полу. Вы, вероятно, догадались, что я миссис Кич, жена священника, Алиса Кич.

Я успокоил ее, сказал, что у меня с собой спальный мешок, еще есть пальто на всякий пожарный случай, а подушкой мне служит мешок с сеном.

В солнечных лучах вновь закружила бабочка. Какое-то мгновение она, казалось, собиралась сесть на розу, приколотую к шляпе миссис Кич, но передумала и улетела на луг. Жужжание пчел, перелетавших от цветка к цветку в поисках нектара, словно усугубляло тишину.

— Боюсь, вы сочли нас негостеприимными,— сказала она.— Мы-то все в своих постелях нежимся, а вы на голых досках.

Я ответил, что мне очень удобно на досках, я на таких условиях и поступал на работу. К концу дня я до того устаю, что мне не нужна пуховая перина, чтобы уснуть.

Я увидел показавшуюся в траве голову Муна: он выбрался на солнышко и начал медленный танец, разводя руки в стороны и подымая вверх. Я и раньше наблюдал его за этим занятием. Нет, ничего сногсшибательного он не нашел; он просто разминался после судороги.

— Все равно я принесу плед,— сказала Алиса и отошла от стены. Она сделала лишь несколько шагов, но оказалась совсем близко от меня, и я увидел, что она намного моложе Кича, ей не больше девятнадцати или двадцати, и еще я увидел, какая она красивая. Нет, не просто ничего себе, она была обворожительная. Шея в глубоком вырезе платья напомнила мне Боттичелли — не Венеру, а Примаверу. Отчасти благодаря дивному овальному лицу, отчасти благодаря непринужденной изящной позе. Я достаточно нагляделся на живопись и умел распознать красоту, и вот здесь, в захолустье, она явилась передо мной.

— А когда мы сможем что-нибудь посмотреть? — спросила она.

Я сказал, что это как составная картинка-загадка — лицо, руки, ботинок, кусочек тут, кусочек там. И вдруг незаметно все сольется в единое целое.

— По крайней мере, так должно получиться. Но не мне вам напоминать, что за пятьдесят лет многое могло исчезнуть. Не поверю, что до меня никто не проходился по этой фреске, и боюсь, найду участки голой штукатурки.

— О, но ведь это так интересно! — сказала она.— Не знать, что ждет тебя через минуту! Наверное, это все равно что пакет с рождественским подарком открывать. Я непременно принесу вам плед, а вы позовите меня посмотреть, как части превращаются в целое, обещаете? Не сердитесь, если я стану вам иногда докучать своим присутствием... хорошо, мистер Беркин?

Она рассмеялась обворожительным веселым смехом, как... да, как колокольчик.

Потом она направилась к воротам, а я направился к своим лесам. Я стал думать о Киче и его жене, о том, какие разные люди встречаются, знакомятся, а потом живут годами вместе, десятки сотен раз смотрят друг на друга через обеденный стол и когда одеваются и раздеваются, шепчут в темноте, вскрикивают в волшебной агонии любовных объятий.

— Ба, да тебя проведала прекрасная Алиса! — заметил Мун, когда мы встретились вечером.— Я видел ее на церковном дворе. Вам, верно, есть что сказать друг другу. Не находишь, что она просто обворожительна? Ну на что это похоже, такой драгоценный камень, чистейшей голубой воды, упрятали в бездонные пещеры Оксгодби! Согласись, это ужасно!

— Да, она правда красавица,— сказал я.— На самом деле, просто редкая красавица. Хотя сама, возможно, об этом и не подозревает.

— Чепуха! — воскликнул он.— Каждая женщина это знает. И такую подцепил Кич! Безобразие! Такое же безобразие, как и то, какое устраивает общество, запрещая всем другим мужчинам даже приближаться к заветной черте после подписания соответствующего контракта. Жуть!

— Может, она счастлива с ним.

— Да ладно тебе! — сказал он.— Ты же видел его. Чего там, ты же слышал его. Пошли в «Пастухи», пропустим по стаканчику за погубленную красоту.

Что ж, наверное, он был прав. Честно говоря, если Кич был действительно так отвратителен, как казалось с первого взгляда, невозможно было себе представить, каково с ним жить. Но, слава богу, Оксгодби не Багдад, муженек не мог заставить ее носить чадру, и потому другие мужчины могли останавливать свой восхищенный взор на его избраннице с глазами газели. Мы не торопясь шли по дороге, вдыхали запах сена, потом в сумерках проступили очертания стогов, и я думал о том, что любоваться Алисой Кич — уже чудо, буду жить надеждой, что она сдержит слово и станет наведываться посмотреть, как продвигается моя работа.

Вот уж поистине, Господи: краса Уффици [27] в Оксгодби!

Работа ладилась. Фреска моя так хорошо сохранилась, что я все больше проникался уверенностью, что ее сразу же, не прошло и сорокапятидесяти лет, покрыли побелкой. Почему? Священник обнаружил какую-нибудь погрешность канона? Местные богачи обиделись, вообразив сходство? Или староста-грамотей счел ее старомодной для своего прогрессивно мыслящего прихода? Думайте что угодно. Каждую неделю, уверен, где-нибудь в наших краях непременно вспыхивают жаркие споры о том, что кто-то хочет что-нибудь внести в сельскую церковь или из нее вынести.

И потом долгие столетия, каждые пятьдесят лет или около того, из-за копоти от свечей и лампад на фреску ложился еще один слой. И конечно, попозже старушка Бэнкдем—Кроутер внесла свою лепту, в порыве одного безумного утра вздувая столько копоти и грязи, что хватило бы на целое средневековое десятилетие. Ну, а когда я во всем этом разобрался, работа у меня пошла, и я сквозь годы и годы подбирался к фреске. Но может, это звучит слишком просто. Было трудно, а с каждым днем все легче.

В общем-то все сводилось к терпению. Первый ход — расчертить примерное пространство фрески на квадратные футы, а потом, как говорится, двигаться вперед, из одного квадрата в другой, расчищая лицо

[27] Знаменитая галерея во Флоренции, где собраны античные скульптуры и живопись.

или руку. Что бы ни говорил хитрец Джо Уоттерсон по этому поводу, а вернуть фреску, написанную пятьсот лет тому назад, к изначальному виду просто невозможно. В лучшем случае я смогу создать нечто приблизительное, нечто похожее.

Ну и вот (на минутку забегая вперед) так все и шло — день за днем я торчал на лесах, переходил из одного угла в другой, отходил и приближался, ползал на коленях, лежал на боку, а когда не хватало терпения забираться по приставной лестнице, вытягивался на цыпочках. Словно окно на замаранной стене с каждым днем открывалось на пару футов пошире. Вам ведь знакомо чувство, которое испытываешь, когда мучительно трудная работа продвигается, потому что все делаешь как нужно, работаешь в ритме и испытываешь вдохновляющую уверенность, что все само собой разрешится и в конце концов все будет прекрасно. Да, именно — я знал, что делаю, а это и есть профессионализм.

Желание вывести на свет божий сцену Апокалипсиса, запечатленную давным-давно умершим художником, захватило меня целиком. Огромная людская пирамида, расщепленная аркой! Сразу после первого налета на фреску я живо представил себе всю компанию: судья и его пристав, под ними три богача (смотри Нагорную проповедь) — сперва в пышном убранстве, затем в отблеске преисподней и, наконец, толпа: мирно вышагивающие направо в Рай или с воплями летящие в геенну огненную.

Даже когда я не работал, я неустанно думал об этой мощной цветовой стихии. Особенно первые две-три недели, когда меня отвлекал только Мун. Но потом неотвратимо, как бывает почти со всеми, сначала во время субботних партий в крикет, потом в часы воскресной службы в церкви уэслианцев, меня начала затягивать меняющаяся картина самого Оксгодби. Но странно, происходившее вокруг казалось мне сном. А реальностью было то, что происходило внутри тихой церкви, перед проступающей фреской. Все остальное проплывало мимо. Я уже сказал — как во сне. Но длилось это недолго.

Однажды Кейти Эллербек пришла пригласить меня на обед.

— Мама говорит, что она просит вас прийти к нам в воскресенье на обед,— выкрикнула она мне наверх.— Она говорит, что теперь наша очередь наступила,— к нам проповедник мистер Джаггер из Норталлертона приедет, а мы ему неровня, но она говорит, что вы двое быстро поладите. Хотите — можете долго не сидеть, мистер Джаггер как отобедает, его препроводят в залу спать до ужина. А хотите — можете пойти с Эдгаром и со мной в воскресную школу.

— Я староват для этого,— отозвался я,— для воскресной школы, я имею в виду. Хотя мне, может быть, и не помешало бы.

— А вы можете подождать во дворе, на лужайке есть скамейка. Или помочь мистеру Доутвейту, он вам своих шизиков подбросит. Ну, а потом можно будет вернуться к нам, поужинать, чаю попить и продолжить ваши беседы с мистером Джаггером. Зато ужин самому не придется готовить, да и сэкономите денежки. Мама говорит, вы все один бродите, как лунатик, вас нужно на люди вытащить. Только не надевайте своего пальто, если дождя не будет.

Она была очень четкая девочка, говорила как по писаному, так что в воскресенье я из кожи вон лез — старался выглядеть поприличнее, чтобы не подвести ее, пришел точно в назначенное время, и мы почти без промедлений уселись вокруг накрахмаленной скатерти. Мистер Эллербек затянул невыносимо длинную обеденную молитву. Я при всем старании не мог поверить, что обычно его сотрапезники позволяют ему в таких подробностях живописать щедроты Господа и собственную безмерную благодарность Всевышнему за то, что он обратил на него взор Свой; так что он старался, безусловно, ради коллеги, мистера Джаггера.

Я потом частенько вспоминал то давнишнее воскресенье и все думал, отчего это люди с пышными усами так мастерски декламируют молитвы. Ибо начальник станции явно находился в очень милых отношениях со своим Создателем (он обращался к нему как к закадычному бесценному другу), сам имея великолепные пышные усы. Тогда как молитва мистера Джаггера, которую он произнес перед чаем, была жалостная и скомканная. Я вспоминаю, что его-то усы были очень коротко стрижены.

Нам принесли жирные пышки с луковой подливкой, Эллербек подал сигнал к началу трапезы, заткнув крахмальную салфетку за стоячий воротник, и я, смекнув, что таков, должно быть, ритуал этих мест, последовал его примеру. Жарища была нестерпимая, пот со всех нас катил ручьями.

За столом у Эллербеков беседа не клеилась. Хорошо, что было чем заняться — мы дружно начали опустошать тарелки, в полной тишине, которую нарушал лишь грохот ложки Эдгара да чье-нибудь чмоканье или подавленная отрыжка. Прелюдией к главному и, как я обнаружил, заключительному блюду явилось виртуозное смачное соло на длинном ноже и вилке, которым Эллербек предварил церемонию разрезания отменного филея. Он исполнял свой номер со страстью и, как подобает подлинному артисту, замечал впечатление, которое производил на зачарованных зрителей, ибо, подмигнув, скромно пробормотал:

— Мой отец был мясником, мистер Беркин.

Но мистер Джаггер тоже оказался виртуозом и, не отставая от нас в поглощении еды, умудрился прочитать лекцию о мастерстве Томаса Харди, большинство нравственных повествований которого он не единожды, как заверил нас, перечел. Он был столь уверенный и знающий себе цену оратор, что достаточно было редким кивком подтверждать свой к нему интерес, поэтому я мог оглядеться и рассмотреть заставленную мебелью комнату.

Она, в основном, состояла из квадратного, приземистого стола, за которым мы сидели, буквально заполонивших узкий проход стульев, мимо которых домочадцам Эллербека приходилось каждый день протискиваться, печи-камина с черной решеткой и полированного буфета. На стене висели часы с маятником, гастрономический календарь, изображающий пожилую даму среди своих сокровищ в комнате, как две капли воды похожей на ту, где нас принимали, две огромные картины в импозантных рамах, из которых одна запечатлела осажденный гарнизон Лакноу [28] — солдаты в позах, изображающих отчаяние и (в отличие от зрителя) неведение, что близится подмога, а другая иллюстрировала разнообразные несчастья, причиняемые алкоголем. Оба полотна буквально набиты деталями, что располагало к долгим годам вдумчивого изучения.

Главным украшением комнаты была керосиновая лампа, спускавшаяся с потолка на четырех бронзовых цепях. Скрепя сердце я признал, что ее великолепие затмило мою красотку Бэнкдем—Кроутер. У нее было два краника и выключатель, с помощью которого можно было мгновенно прикрутить пламя, если оно начнет коптить, красивый розового хрусталя резервуар для керосина, простого стекла колпак и светонепроницаемый шар вокруг него, чтобы очаг Эллербека освещал ровный мягкий свет.

— Мне ее завещала моя тетушка Роза, мистер Беркин,— сказал начальник станции, воспользовавшись неожиданной паузой в гневных филиппиках мистера Джаггера по адресу Энджела Клера за его недостойные поступки по отношению к Тэсс д'Эрбервилль [29].— Это ее воля

---

[28] Лакноу — город на севере Индии, в 1857 г. англичане выдержали осаду Лакноу во время крупнейшего антиколониального восстания 1857—1859 гг., которое было жестоко подавлено.

[29] См. Томас Харди. «Тэсс из рода д'Эрбервиллей». М., 1970.

была, чтобы лампа ко мне перешла. Сейчас такую не купишь — бронзовая вся, даже цепи.

Мне захотелось воспарить и разглядеть ее поближе. С точки зрения технологии она, конечно, была гораздо примитивнее, чем моя церковная печурка, но в эстетическом плане она была классом повыше. Наблюдая, как я буквально разгораюсь от интереса к его лампе, не без оснований сочтя, что другой гость злоупотребляет всеобщим вниманием, мистер Эллербек пригласил меня наведаться в его станционную ламповую, за которую он был награжден специальной грамотой начальника железной дороги Англии, когда во время ежегодной инспекции со своими подчиненными остановился в Оксгодби.

— На неделе, конечно,— добавил он.— Я имею в виду — приходите ко мне.

— Районный управляющий по делам перевозок сказал папе, что он мог бы есть с пола ламповой,— сказала Кейти.

Я представил себе, как эти важные особы из Йорка, заткнув крахмальные салфетки за стоячие воротнички, пиршествуют (взяв напрокат в каком-нибудь ресторане первого разряда посеребренные приборы) среди ламп и канистр с керосином у мистера Эллербека, и даже забыл о висячей фамильной реликвии. А мистер Джаггер, молниеносно воспользовавшись нашими воспоминаниями о том, как награждали и поздравляли мистера Эллербека, тотчас вклинился в наши дружные ряды силами литературы и успел представить нам страдания бедной осужденной Тэсс, пока самого его по справедливости не заточили до ужина в гостиной.

Потом я покорно отправился в воскресную школу, куда, как я и опасался, директор, мистер Доутвейт (деревенский кузнец), загнал трех лоботрясов, которые (как он выразился) «нуждаются в особом внимании». Он тут же смылся, а я, тотчас обнаружив, что послание св. Павла в какой-то ближневосточный город не воспламеняет сердца моих подопечных, разрешил одному из них научить меня продергиванию соломинки в петельку от пуговицы, покуда второй серьезно расспрашивал меня о природе тех опасностей, которые, как его предупреждали, подстерегали его, едва он окажется в Лондоне. Я, должно быть, оправдал надежды кузнеца, ибо он завербовал меня на все оставшиеся воскресенья.

Когда мы брели назад на железнодорожную станцию, стало еще жарче.

— Давайте заглянем к Эмилии Клоу, она умирает от чахотки,— сказала Кейти.— Подарим ей васильки, которые Эдгар собрал для мамы.

Ее брат, поняв, что мольбы и угрозы не спасут его и с васильками придется расстаться, надеялся, однако, что удовольствие посмотреть на умирающую Эмилию окажется достойным его жертвы. Мы шли не торопясь под ветвями садовых деревьев, нависающими над живыми изгородями, наконец очутились у кирпичного домика фасадом к пыльной дороге и с трех сторон окруженного фруктовым садом, где стояли три-четыре денника.

Дверь была распахнута, прямо у входа была лестница, ведущая наверх.

— Мы принесли Эмилии цветов, которые Эдгар собрал для нее, миссис Клоу!— крикнула Кейти, и голос из глубины комнаты пригласил нас войти:

— А мы гадали, зайдет к нам кто по дороге домой из храма. Когда будете уходить, получите печенье с джемом.

— Я принесла тебе, Эмилия, твой дневник,— сказала Кейти.— Мистер Доутвейт проставил в нем букву «З», то есть заболела. «З» ведь еще обозначает звезду.— Она пробежала пальчиками по обложке.— Тебе надо еще только шесть звездочек получить, и тебе вручат премию,— сказала она.

— Или еще «З»,— прибавил Эдгар ободряюще.

— Я все думаю, какую мне книжку почитать,— сказала Эмилия.— Мне понравился «Забытый сад» [30]. Может, попросишь мистера Доутвейта посмотреть что-нибудь еще этого автора, когда он поедет в Йорк подарки покупать?

— У меня есть «Коралловый остров», а у Эдгара — «Дети нового леса».

— Не рановато ли? — спросил я.

— Ничего, потом понравится,— ответила Кейти.— Мне рассказывали там про двух девочек. Эмилия, это мистер Беркин, который поселился в церкви.

— Я слышала о вас,— сказала умирающая.— Мне хочется посмотреть, что вы там делаете, когда я выздоровлю, вы еще, надеюсь, не уедете, мистер Беркин.

Под окном росла яблоня, ветви вламывались в комнату. Сквозь листву пробивался золотистый свет. От жары примолкли птицы. Тяжесть летнего зноя придавила меня. Брат с сестрой неотрывно смотрели на бледную девочку, взрослому подобное любопытство непростительно.

— Кто сегодня был в церкви? — спросила она.— Скажи, кто был?

Она внимательно слушала, пока Кейти перечисляла. Еще в начале весны она небось бегала с кем-нибудь из них по оврагам, лазала по заборам.

— А какие гимны пели? — спросила она.— Мне нравится «Ты в своем укромном уголке, а я в своем»,— добавила она.— Это мой любимый, но для лета он не подходит. Он такой уютный, я сразу представляю себе зиму и темные ночи и как я спать ложусь, забравшись под одеяло с грелкой. Ой, как мне нравится твоя соломенная шляпка, Кейти! Дай примерить!

Красные ленты пламенели возле бледного лица. Она повернулась к зеркалу, и глаза у нее просияли.

— По-моему, мне идет,— сказала она.— Мне нравятся шляпки. В воскресной школе еще и потому весело, что туда шляпку надевать надо.

— Вот в другой раз придешь, и наша Кейти тебе ее даст,— дерзко сказал Эдгар: это, безусловно, была косвенная месть.

Эмилия не ответила. Как ни странно, она повернулась ко мне, и наши взгляды встретились. Потом мы проследовали вниз и полакомились печеньем с джемом. Когда мы снова двинулись в путь и Эдгар снова стал собирать васильки, Кейти сказала:

— Она знает, что умрет, да? Вы зайдете к нам выпить чаю? Мама велела, чтоб вы пришли.

Наступил день, когда я истратил свой последний шиллинг, а Кич и не думал раскошеливаться. Нет, он не забыл, не такой он был человек, он хотел, чтобы я его просил, вот отчего я бесновался. Но когда я отправился к деревенскому бакалейщику и обнаружил, что у меня даже пенса нет на «Дейли мейл», мне оставалось только сдаться.

Его дом оказался в роще. Конечно, его не строили в лесу: молодые фруктовые деревца, посаженные предыдущим священником, превратились в мощные, разросшиеся дерева, подлесок захватил лужайки и цветочные клумбы, когда-то здесь, очевидно, разбитые. Подъездная аллея превратилась в темный зеленый туннель, которым я пробирался, шаркая башмаками, вспугивая лесных голубей, взметавшихся с веток в небо. На повороте я наткнулся на зайца, удивленно воззрившегося на меня. Сойка пересекла аллею. Сойка! А ведь я только в книжках ее раньше видел. Да тут просто новый Рай!

---

[30] Роберт Баллантайн (1825—1894) — английский детский писатель, автор трех упомянутых книг. Интересно, что сюжет «Кораллового острова» был использован Уильямом Голдингом в романе «Повелитель мух».

Дом стоял на поляне, но дорогу вокруг него, служившую когда-то для экипажей, перегородил большой старый поваленный кедр, вздымающий кривые корни, как скалы, и защищающий огромный сад, поросший бурьяном. Когда-то белые кирпичи стен приобрели неприятный зеленоватый оттенок и казались сырыми, окна почти все закрыты ставнями, и квадратная строгость дома смягчалась лишь крыльцом с двумя колоннами. Приблизившись к нему, я увидел миниатюрный эстамп с блеклыми контурами гор и озера, отороченный красным плюшем,— вроде тех странных безделиц, которые викторианцы ставили на решетку нетопящихся каминов. Пока я стучался и дергал колокольчик, я тщетно пытался угадать значение столь неуместного здесь украшения.

Я еще несколько раз воспитанно подергал колокольчик, но ответа не последовало, и не будь я без пенса в кармане, я бы ушел. Но, в конце концов рассвирепев, я дернул изо всех сил. Проволока длиною почти в шесть дюймов показалась из прорези и стрельнула, как катапульта. В глубине дома забренчал колокольчик. Как дальний смех. Да, на минуту мне и правда показалось, что это смеются надо мной. Может, миссис Кич?

Со смутным чувством вины я огляделся. Было довольно неприятно, и я подумал, что, проберись ночью в дом искушенный читатель романов, он застал бы там полчище разбойников, явившихся отобрать зеленые глаза маленьких желтых божков, украденных беспутным братцем священника. Что же до самого дома, то в нем свободно могла разместиться семья из десяти человек вместе с кучером, поваром, горничными и прочее. Но яснее ясного — Кич не мог себе позволить даже садовника.

Открылась дверь, выкрашенная белой краской, и выглянула Алиса Кич. Глаза у нее были темнее и больше, чем они мне запомнились. Когда мы виделись с ней на церковном дворе, она была холодна и сдержанна, а тут у себя дома была нервна, и не успел я спросить, можно ли мне переговорить с ее мужем, как она выскочила на крыльцо и пустилась в довольно бурный монолог о здешней жизни, будто по ошибке приняла меня за епархиального чиновника, обследующего быт духовенства. Кажется, она была из тех робких людей, которые, если их заранее предупредить, умеют хорохориться, но если застать врасплох, совершенно теряют самообладание.

Поразительно! Мне, практически незнакомому человеку, она рассказала о мучительном ночном кошмаре — как деревья смыкают над ней ветви, сначала зловеще раскачиваясь, потом вырвав из земли корни, движутся, сходятся и только в последнюю минуту остаются за стенами дома. Она задыхается в тяжелом воздухе, и вот уже нечем дышать, как в камере сжатия. Мне передался ее ужас. Да, да, говорил я ей, я понимаю эти страхи, я так же мучился, когда взрывались большие мины, весь воздух в окопе сначала исчезает, а потом он на тебя обрушивается, дикое ощущение. Уверен, она не слышала меня.

Она наконец взяла себя в руки. Мне удалось вставить, что я хотел бы переговорить с ее мужем, и мы двинулись по каменным плитам довольно длинного коридора, минуя несколько непомерно огромных дверей... Она открыла одну из них. В комнате с двумя большими окнами, затененными внутри ставнями, был только крошечный камин и — ничего больше. Такой она была, очевидно, когда они въехали в дом, и такой останется, когда снова приедут автофургоны за мебелью. Мы шли по коридору, и она, прикасаясь к каждой двери, приговаривала:

— И эта тоже... такая же.

Столовая в конце коридора была вытянутая, с высоким потолком, с четырьмя окнами без занавесок, почти во всю высоту стены — от плинтуса до потолка. В любом нормальном доме первое, что бросается в глаза, это мебель, картины, зеркала, безделушки, дорогие сердцу хозяев. Но эта комната поражала своей пустотой. Пол был голым, не совсем, конечно, голым — кое-где лежали узкие половики. Три стены тоже были пустыми, а к четвертой был прислонен какой-то огромный

предмет, вроде внутреннего контрфорса. В обычной комнате это выглядело бы нелепо, а здесь казалось естественным. Понятия не имею, что это было. Может, барочный алтарь, трон восточного владыки, гигантское сооружение подмастерья-краснодеревщика. А может, ни то, ни другое, ни третье. Может, просто причуда. Интересно бы рассмотреть поближе — ведь, по-моему, почти все предметы имеют хоть какое-то назначение.

— Это свекор купил на распродаже. Никто не хотел брать. Он заплатил только за доставку. Надеялся хоть как-то комнату заполнить,— сказала миссис Кич.— Даже не знаем, что это такое. По правде сказать, мы думаем, тут недостает каких-то деталей.

Комната была построена для гигантов, и самого Кича я заметил в последнюю очередь, он сидел на жестком стуле у шаткого пюпитра — должно быть, играл на скрипке, которая теперь лежала на маленьком столике. Как ни странно, его совсем не смутил истерический монолог его жены о тяготах их быта, напротив, он внимательно слушал, будто сам тоже в первый раз все это слышал; мне показалось, что они закупорили свои неприятности до тех пор, пока не придет кто-нибудь со стороны. Я оторопел, ведь я и не подозревал, что в огромном доме может быть то же вопиющее убожество, что и в каморке, и только мысль о том, что у меня-то вовсе нет никакого дома, кроме временного жилья на колокольне, спасла меня от черной меланхолии.

И вдруг... Алиса замолчала, и они оба в ужасе стали смотреть на что-то позади меня. Не вру, у меня волосы на затылке встали дыбом, я через силу заставил себя обернуться, не на шутку испугался. И увидел... кота. Но крупнее и злее кота я в жизни своей не видывал. Он зажал в зубах трепетавшего певчего дрозда и злобно разглядывал нас через окно. Потом он спрыгнул назад в буйные заросли травы и вереска.

В результате Кич предложил мне продолжить осмотр дома.

На лестнице не было ковра, даже площадка первого этажа была голая.

— Пустая,— говорил священник, постукивая по дверям, которые он выбирал по своему усмотрению.

Ванная была огромная, в прошлом спальня. В углу стояла маленькая крашеная железная ванна, со ржавыми подтеками под обоими кранами. Там же стояли таз для умывания, естественно, подставка для полотенец, но все это подавляла цистерна, настолько огромная, что ее поддерживали не только железные скобы, вмонтированные в стену, но и два крашеных железных столба.

— В понедельник вечером приходит Моссоп,— объяснил Кич,— и набирает нам воды из колодца, что позади дома, нам хватает до четверга.

— Если экономить,— вставила его жена.

Никто не удосужился объяснить, как они управляются в остальные дни недели.

Мы перешли в другую большую комнату: в ней ничего не было, кроме алтаря под покрывалом для постели. Перед ним на полу лежали две подушечки для колен. В соседней комнате оказалось чуть побольше мебели — крошечный письменный стол и дешевый маленький книжный шкаф. На ломберном столике возвышалась груда стираного белья — ее приготовили гладить, у пустой каминной решетки стояла вешалка для одежды.

— Посмотрите! — воскликнула миссис Кич, показав на окно: на стекло огромными пятернями налипли фиговые листья.

— У Алисы вечно фантазии,— пробурчал супруг.

Этот утюг и груда белья поразили меня. Они притулились друг к другу в пустыне дома, ища утешения. Никому неохота маяться в одиночестве в таком гиблом месте, подумал я. Но вне этих стен супруги Кич совсем другие люди.

Кич показал на потолок.

— Чердак,— сказал он и с усмешкой добавил: — И еще тут целая анфилада погребов.

Мы спустились вниз, и мне предложили чашку кофе, но я ответил, что мне пора уходить. Честно — я дождаться не мог, когда вырвусь на воздух, дом навис надо мной тяжелой тенью. Нехорошо, что их сюда занесло. Но, похоже, оба готовы сбросить с себя его тяжесть, как плащ. Алиса Кич дома была нервная, одержимая, а вне его стен — очаровательная, собранная, уравновешенная. Что до ее супруга, то, пока мы снова не встретились с ним, мне было его очень жаль.

Она вышла со мной на полянку и остановилась у розового куста, буйно разросшегося над гравием.

— Сара ван Флит,— сказала она. Цветы были бледно-розовые, не махровые.— Старый сорт. Осторожно! Острые шипы. И все еще цветет. Вот увидите — до осени будет цвести.— Она улыбнулась.— Даже если вам не доведется нас больше навестить, вы сможете убедиться, я обычно Сару ван Флит к своей шляпе прикалываю. Вот, возьмите.

В конце дня, когда под нажимом Муна мы отправились к «Пастухам», я вспомнил, зачем я ходил. Но, как бы там ни было, на следующий день появился Моссоп с конвертом, в него были вложены две смятые фунтовые банкноты и счет, который мне надлежало подписать.

Эта роза, Сара ван Флит... Я все еще храню ее. В книге. В моем учебнике Баннистера—Флетчера, между прочим. Когда-нибудь, принеся книгу с аукциона, незнакомец обнаружит, листая страницы, цветок и удивится.

Как много было у меня времени тем волшебным летом! Изо дня в день с луга подымался туман, небо светлело, и проступали очертания изгородей, амбаров и леса, а потом наконец на фоне долины вырисовывалась длинная кривая линия холмов. Как фокусы на эстраде: «Сейчас вы ничего не видите, видеть-то нечего. А теперь смотрите!» Так было всякий раз, изо дня в день, и каждое утро, прислонясь к воротам, затянувшись первой сигаретой, я (хотелось бы думать) восторгался этим великолепным задником. Но нет, не похоже, я же не из восторженных. Или тогда был? Одно точно — я был бесконечно доволен, и, если я вообще о чем-нибудь думал, так о том, что хорошо бы все так и шло — никто бы не приходил, никто бы не уходил, осень с зимой застряли бы где-то за углом, лето в своем зените длилось бы всегда и чтобы мне тихомолком идти тропинкой своей (как до меня уже, кажется, писал кто-то) [31].

Дни по-прежнему начинались одинаково. Я кипятил чайник, поджаривал пару кусков ветчины и круглый хлеб, выливал остатки старого чая в заросли крапивы. Потом спускался и шел туда, где росла сирень (бросив исподтишка взгляд на косу), а потом брился, расположившись у надгробия Элиа Флетчеру, как за туалетным столиком. К тому времени Мун уже подавал признаки жизни — ждал, когда мы пропустим по кружке чаю. Мы взяли себе за правило не приступать к работе, пока не прозвонит звонок в начальной школе.

Зато, уж взявшись за дело, мы вкалывали до шести-семи вечера — с коротким перекуром. Взобравшись на леса, я начинал выслеживать свою дичь (если это не слишком художественно звучит), все сперва выверяя в уме, потому что в моем ремесле нет второй попытки. Да, ей-богу, я сидел скрестив ноги, как готтентот, и несколько минут обдумывал работу на весь день.

Ну и вот, пару дней спустя после моего визита к Кичам, когда я сидел в позе готтентота, как обычно, с шумом прибежала Кейти Эллербек.

— Эй вы там, мистер Беркин, привет! — крикнула она.— Я не собираюсь вам мешать,— сказала она и села на скамью под лучами солнца.

— Мне всегда так говорят, перед тем как и в самом деле начинают мешать,— сказал я.— Так что валяй, что там у тебя, а потом я продол-

[31] Ср. строки из «Сельского кладбища» Томаса Грея (1716—1771): «Они тихомолком брели по тропинке своей» (*перев. В. Жуковского*).

жу свои занятия. Почему ты не в школе? И почему сегодня школьный звонок не звонил?

— У нас каникулы,— закричала она.— На месяц.

— Слишком долго,— сказал я.— Но ты можешь маме помогать по дому.

— Мама говорит, что в ум никак не возьмет, как вы умудряетесь зарабатывать себе на жизнь,— сказала Кейти.— Она говорит, что не так уже много на церковных стенах замазанных картин.

— А мне много и не надо,— сказал я.

— Много чего?

— Много на жизнь. Ты ведь об этом говоришь?

— Да,— ответила она.— А почему бы вам не переменить работу и не остаться в Оксгодби?

А на что же в таком случае мне жить прикажешь? — спросил я у нее. Может, она считает, что ее папочка наймет меня носильщиком на станции?

— Нет,— ответила она.— Носильщику не надо такого образования, как у вас.

— Тогда на что я буду жить? — спросил я.

— Можно в муниципалитет пойти налоговым инспектором или в школу учителем — вы же учились в колледже.

В колледже, да не в том, ответил я.

— А я спрашивала у мисс Уинтерсгилл, она говорит: раз ты учился в средней школе, ты можешь быть простым учителем, если вобьешь себе в голову, что директором тебе не бывать.

И когда я заметил, что ей, видно, хочется, чтобы я остался в Оксгодби, она объяснила, что я очень понравился ее родителям, да и другие ее знакомые будут по мне скучать, потому что я произвел очень хорошее впечатление своими нововведениями в воскресной школе и тем, какие лишения я претерпеваю на колокольне.

— О, в таком случае я обдумаю твое предложение,— ответил я.— Учителем, говоришь? С палкой за шкафом? Нотации детям читать? Ты можешь себе это представить?

— Нет,— согласилась она.— Но я бы, наверно, привыкла. И вы тоже, если бы настроились. Папа говорит: любой человек на любой поступок способен, если настроится на нужный лад.

— Договорились! — сказал я.— По рукам. Я как следует об этом подумаю, я рад, что обо мне здесь высокого мнения. Когда-нибудь будешь хвастать: «Это я в детстве уговорила его поменять профессию, он всем обязан мне». Но пока что мне надо думать о своем жалованье, которое — чует мое сердце — мистер Кич со дня на день мне вручит.

Так мы болтали, а когда я после затянувшейся паузы посмотрел вниз, то увидел, что ее уже нет.

Но она подрубила корень, на котором зижделось мое чувство собственного достоинства: неужели мы должны отчитываться перед другими, даже перед достопочтенными Эллербеками, о нравственном смысле своего труда? Наша работа — это наша личная фантазия, наше укрытие, одежда, в которую мы прячемся. Но чтобы тебя дважды в неделю в чем-то уличали — это уж слишком, а меня уличили.

Алиса Кич тоже всегда оставалась внизу. Она осторожно приоткрывала дверь, садилась на скамью в заднем ряду и пряталась за широкими полями своей соломенной шляпки (с розой на ленте). В церкви была тишина, разве что изредка скрипели доски, когда я отступал на шаг посмотреть на свою работу, и хотя я был от Алисы футах в тридцати и стоял к ней спиной, мы беседовали непринужденно, как в небольшой гостиной. Нет, не в принятом стиле, так, только фраза, вопрос, ответ, восклицание. Да мне и не надо было смотреть на нее, по интонации я угадывал выражение лица.

— Как это вы занялись таким ремеслом, мистер Беркин? — (Лука-

вая улыбка на губах, притворно-невинный взгляд).— Я хочу спросить: как вы узнали про это ремесло? Это наследственное?

(Видела бы она моего папу в конторе фабрики туалетного мыла, укладывающего образцы мыла в кожаный саквояж!)

— Да, в каком-то смысле вы правы, миссис Кич. Как же вы догадливы. Мы занимались чисткой и мытьем.

— Как интересно! И вы ездили с отцом, чтобы узнать все тонкости?

— О нет, никогда. Он терпеть не мог ездить с кем-нибудь. Он страшно психовал. Домой возвращался всегда в жутком настроении. Не разговаривал ни с кем. Прямиком уходил в сад. Даже шапку не снимал. Порежет, порубит что-нибудь в саду, глядишь, успокоится. Мама вечно за свои розы дрожала. Самое страшное первые десять минут, чего угодно можно было ждать. Нрав, знаете ли, дело такое. У всех художников нрав.

(Я как раз обрабатывал трех братьев — смотри Матфея, V главу [32],— блаженно не ведающих о грядущем Суде. Плащ второго вельможи был великолепен — алый, с зеленым подбоем. Очень хороший алый цвет, правда, самый лучший, не жаль никаких денег — цинковый красно-кровяной, только не путайте с той краской, что некоторые болваны называют цинковой красной, то есть с красной земляной краской, которую возят кораблями с Понта Эвксинского [33], и не спрашивайте меня, где это. Красная земляная краска темнеет, не успеешь отвернуться, зато долго держится, и больше нечего сказать в ее пользу. Собственно, на сырых стенах только она и держится. Да, так насчет плаща того парня. Краска была на камеди, значит, не могла потечь. В Бойтоне, в Гиффордской часовне, в рубленом камне нашли раковину с этой спекшейся краской.)

Да, такова жизнь, никуда не денешься — за качество так или иначе надо платить. (Винни была высшего качества, и я заплатил сполна.)

— Мне отсюда плохо видно, мистер Беркин. Пожалуйста, скажите, вы сейчас что делаете?

— Я поправляю плащ на вельможе, как камердинер.

— Он очень грязный?

— Очень! От сальных свечей на него всякая дрянь садится. Вы, современные женщины, даже не знаете, как вам повезло.

(Ну как тут не завопить, удержаться... это слишком... но когда так вот... вдруг догадаешься, как было раньше. Я что имею в виду — найти дорогу назад, к средним векам, задачка не из легких. Они ведь это не мы — в маскарадных костюмах, без конца произносящие: «поелику, понеже, иже с ним». Они и утех особых не знали, чтобы отвлечь свои мысли от смерти и рождения, сна и работы, от молитв Всевышнему и его побиваемому сыну, когда совсем худо становилось. И в моем ремесле не вредно вдыхать запах свечей, дрожащих на сквозняке; ходатайствуя о душах грешников, увидеть, как их дым курился среди фигур, что ты расчищаешь, как сгущался под сводами нефа и оседал на рельефах, чернил камень так высоко, что не добраться.

Может, это покажется сентиментальной натяжкой, но я правда так думаю. Если представить всех, кто приходили и уходили с восхода до заката, падали ниц, склоняли головы, тыкали себе в лоб пальцами, только что вытащенными из кастрюль, их чумазые лица, неотрывно смотревшие на эту одну-единственную картину, чтобы завтра увидеть опять только ее, то кой-чего подбавляешь в свою работу, кроме соляной кислоты, и работаешь с настроением.)

— Мистер Беркин... мистер Беркин... это масло, или акварель, или что там еще, ради Христа?!

— Тут всего понемножку, миссис Кич. Во-первых, бистер по четыре шиллинга четыре пенса за фунт; во-вторых, мешок яри-медянки за две-

[32] Евангелие от Матфея, 5, 22—24.

[33] Название Черного моря в древности.

надцать пенсов; в-третьих, красная охра, три фунта по пенсу каждый; потом еще три пека муки... думаю, можно считать это темперой. Не забудьте еще саму стенку — она на вредный юг смотрит, так вот нижняя часть покрыта меловым раствором на снятом молоке, что прихожане пожертвовали, а наверху гашеная известь отсырела как раз настолько, чтобы ее схватило. Приблизительно так.

— Вы смеетесь надо мной. Я не такая дура. Мне моя тетя однажды подарила краски в день рождения, помню, там была дивная пурпурная краска.— И засмеялась, будто колокольчик зазвенел.

— Я не смеюсь над вами, миссис Кич. Спросите мистера Доутвейта, кузнеца, он знает, что это такое — здесь расплющить, там подбить, пока не получится вещица, которую не сыщешь ни в каких прейскурантах по скобяным товарам. Ученик моего покойного коллеги (за десять пенсов в неделю) пыхтел над мраморной доской, царапал себе пальцы, растирая испанские белила, багдадский индиго, корнуэлльский малахит, земляную зелень. Ему нужен был крошечный сосуд, чтобы разбить в нем маленькие яйца, говорят, они были не больше, чем у лесного голубя. Само собой, прежде чем прибавлять к белилам краску, он высасывал желток. А мой покойный друг орал ему вниз: «Эй, ты, лентяй, прибавь зелени! Какой зелени? На подкладку плаща, болван! Малахита! И смотри в оба — мы сдельно работаем. Мы должны в Беверли во вторник быть, одному Богу известно, как мы проедем по этим холдерским болотам».

— Бедняга!

— Счастливчик! Небось не раз мок на борозде. А в приходской школе его пороли. Во всяком случае, уж не вам отказывать ему в своем расположении — ведь он растирал краски на алтарной доске вашего мужа.

— Боже мой! Да откуда вы знаете, что делал этот бедняга?

— А я нашел немного красной краски в углублении на одном из крестов.

Вот так мы болтали. И после затянувшейся паузы я понимал, что она ушла.

До моей жизни в Оксгодби я только в детстве ходил в церковь. Оглядываясь назад, вспоминаю, что стал я неверующим лет восемнадцати, может, семнадцати; но отвернулся я от бога не в одночасье. Мои родители не были усердными прихожанами, хотя венчались, крестили меня и, я думаю, верили в загробную жизнь. Весной и летом отец с утра пораньше почти каждое воскресенье отправлялся на рыбалку. Он заглядывал обычно ко мне в спальню и говорил:

— Иду воздать благодарственные молитвы Создателю на берегу реки, присматривай за мамой.

На своей колокольне в Норт-Райдинге в воскресенье, когда Моссоп начинал надо мной звонить и я просыпался, хотя тут же закрывал глаза, а веревка ходила вверх-вниз и голова начинала кружиться, меня уносило в далекое прошлое. А потом я слушал, как евхаристия Кича ручейком льется с амвона. А вечерами я отсиживался на скамье у Эллербека с методистами, потому что, хоть меня и ждали каждое воскресенье у станционного начальника, я чувствовал себя обязанным отсидеть вечерню у уэслианцев-методистов, чтобы оправдать свой ужин. Честно говоря, я далеко не уверен, что поддался бы, если б это мне не нравилось. Да, это мне нравилось.

Тут дело шло куда веселей, чем у Кича. Прежде всего — каждый раз был новый проповедник: чиновники, лавочники, один раз даже торговец дрожжами. По большей части это была неотесанная публика — фермеры, работники, люди, бросившие школу лет в двенадцать-тринадцать. Убеждений они были твердых, что твой священник, но изъяснялись обычно на

диалекте, принятом за Килберном и Риво [34], проповедь они произносили на тарабарском наречии, языке, который перезабыли уже мои южные предки. Их английский порой бывал до того дик, что даже моя Кейти за фисгармонией и певчие — я видел их лица — прыскали в носовые платки.

Запомнился старичок, превозносивший собственное усердие: «Мы с супружницей дарогу зглины вылажили длинна дорога и грязна дорогата, дак саседка мне и говорит: «Я в храм не ходок ноне, в храм зачем глину тащить!» — «Не, говорю, ты баишься не за храм божий, а за паганы башмаки сваи, штош мне теперь на горбу тебя в храм волочь штоль!..»

Наши школы и Би-би-си, полагаю, выправили эти дивные ошибки, всех постригли под одну гребенку. А тогда, в конце лошадиного века, каждый проповедник Святого писания за образец себе кого хотел, того и брал. Действительно, так было и с мистером Эллербеком, который бросил школу в четырнадцать и стал деревенским проповедником, когда ему еще и двадцати не было. Кроткий, как овца, сдержанный, он только ступит, бывало, на амвон,— в нем просыпался родной отец, который, как выяснилось, был человек бешеный и безрассудный.

Впрочем, не совсем так, не то чтобы амвон сразу преображал его, он оставался довольно смиренным, пока исполнялись вводные гимны, только чуть преувеличен в своем скучно-уничижительном старании соответствовать одеждам восточного деспота. Но стоило ему отдаться волнам и стихиям службы, он принимался рычать и вопить точно сумасшедший, громыхая кулачищами по кафедре с такой силой, что подпрыгивал графин с водой. А его бедняжка жена сидела, низко-низко опустив голову, только дрожащие пальцы выдавали ее страдания. Слава богу, вернувшись на землю, он будто отряхивался от эпилептического приступа, даже не помнил, что с ним было.

После их вечерни было заведено собираться в гостиной станционного начальника, где стояла роскошная фисгармония, фантастическое сооружение, где что-то вылетало и что-то пряталось, что-то сжималось и что-то раскачивалось, рычажки, зеркала, подставки для цветов, подлокотники для певцов, обессилевших от эмоций, четыре бронзовых подсвечника, которые можно устанавливать так, чтобы выгодно освещать певца и песню, и все это великолепие венчалось инкрустированным парапетом, за которым благополучно красовалась фамильная посуда.

Как бы то ни было, после воскресной вечерни мы чувствовали себя непринужденно вокруг этого замечательного инструмента, и в перерывах между пением гимнов гостям предлагалось порадовать собравшихся сольным исполнением. В те давно прошедшие дни я воображал, что у меня небольшой баритон, и когда наступил мой черед, я исполнил то, что неизменно имело успех в казарме. Начиналось это так:

В небольшой пивной у Райна
Как-то случай был такой —
Три амбала веселились,
И вино лилось рекой.

Когда я закончил — в песне было шесть куплетов,— гости конфузливо глядели кто мне через плечо, кто на стертый половик у камина. В конце концов миссис Эллербек сказала:

— Очень мило, мистер Беркин. Но не та часть, где о выпивке речь идет. Это звучит так романтично, а ведь пьянство приносит столько страданий женам и детям!

Моя карта была бита.

Потом мистер Эллербек проводил меня до церкви.

— Не обижайтесь,— сказал он.— Миссис Эллербек как лучше хотела. Строго между нами, ее отец был страшный пьянчуга, никогда остановиться не мог. Там в уолдских краях их много таких — наверно, кровь датчан

[34] Города в графстве Йоркшир (север Англии).

взыгрывает. Да у него борода была длинная, светлая и глаза голубые. Подозреваю, что он меня недолюбливал. Вы ведь живете в Лондоне, и уверен, не знаете, как живут в Ист-Райдинге. Из одной спальни прямо в другую попадаешь, коридоров вообще нет. И ни за что не поверите: в последней есть лестница, очень крутая, без перил, а в конце ее дверь на сопливой задвижке. Из рассказов ее родичей я понял — ее папашка проснулся как-то ночью, горшок пошел искать, а хмель в голове гулял. Так он прямиком с лестницы сверзился, мужик-то тяжеленький был, дверь головой прошиб.

Господи! Что за картина! В полной тишине вдруг мощный рев, он летит, отбивая себе бока, хватаясь за воздух, прошибает дверь, а потом летит с ней в темную гостиную, может быть, прямым попаданием на стул, у которого ножки подкашиваются под папочкиной тяжестью. И — предсмертные стоны, и — семья в ужасе смотрит в остановившиеся голубые глаза.

— Да,— продолжал он,— я, безусловно, противник спиртного, ярый противник. Но не такой, как моя супруга.

Я стал внимательно присматриваться к миссис Эллербек. До этого она была просто приятное домашнее существо. А отныне — сами подумайте! Заточенная в двух-трех комнатах с бородатым великаном, который, когда напивался, становился сам на себя не похож, с матерью, старавшейся скрыть страх и презрение. А потом этот жуткий конец в кромешной тьме! Вспомнив мою идиотскую песенку, я пóтом холодным покрылся. И эта милая женщина провожала меня с легким сердцем: опустив руку в карман, я обнаружил пакет с мясными сандвичами.

А когда в следующий раз мы собрались вокруг фисгармонии, она великодушно дала мне возможность искупить свою вину.

— О, мистер Беркин,— сказала она,— нам так понравилась мелодия песенки, которую вы пели. Может, вы немного измените слова?

Во спасение души я так и поступил:

> В скромной чайной, что у Райна,
> Как-то случай был такой...

Только Кейти, кажется, поняла комизм ситуации, но она была великодушная девочка и никогда не припоминала мне ту историю.

И вот центр арки и левая часть почти отмыты. Знатным господам были оказаны особые почести: он даже писал их одежды сусальным золотом и, к моему удивлению, киноварью — губы и щеки сонмом окруживших их херувимов. На самом деле, стоило ему вспомнить о тех, кто готов раскошелиться на фреску, он становился без оглядки щедрым на дорогую красную краску и почти недоступное сусальное золото.

Но как только он приступил (как я сейчас приступал) к дрожащим перед пламенем или летящим в него вверх тормашками проклятым, он перешел на дешевый материал — красный земляной и окись железа. И одинаковые, собранные в одном месте, они не могли претендовать ни на какое сравнение с великолепным архангелом Михаилом, с его кровожадными руками, на одежду которого мастер не пожалел бесценной краски. Но тут он брал своей неистовостью — он воистину горел, когда писал эту сцену. В верхней части фрески он выполнил свою задачу как безупречный профессионал, и более того — он был мастер своего дела, и написанное его кистью было великим произведением. Но, дойдя до подножия пирамиды, он все поставил на карту — свое искусство и свое сердце.

Каждый день я расчищал по несколько дюймов бурлящего каскада костей, рук, ног, летящих в огненный водопад. Мне еще осталось несколько несчастных. Этих он особенно не прописывал, они были всего лишь «топливом». Кроме одного. И он, могу поклясться, был чей-то портрет — шрам в форме полумесяца на брови почти не оставлял сомнений в

моей правоте. Светлые волосы струились, как пламя факела, и он, как второй Симон Волхв [35], сломя голову устремился вниз. Его держали два демона с волосатыми ногами, один зажал ему правую руку, а его приятель резал ее ножницами.

Из того, что мне доводилось видеть, это была самая необычная деталь средневековой живописи, на сто лет предвосхитившая Брейгеля. И почему этой одной-единственной деталью он так вырвался вперед, опережая свое время?

Что в ней было такого?

Да, в тот памятный день я понимал, что прикасаюсь к шедевру, но не был готов признаться себе в этом — так жадный ребенок прячет самые вкусные конфеты в коробке. В течение дня я старался не смотреть на картину целиком, зато придирался к деталям. А к концу дня, когда солнце с запада ненадолго освещало стену со стороны моей капители, я отходил, нарочно не подымая глаз, и потом смотрел на фреску. Захватывающее зрелище. (Во всяком случае, у меня дух перехватывало.) Мощный водопад цвета, синие тона центральной, верхней частей, переходящие в буйство красного; как все подлинно великие произведения искусства, картина ошеломляла целым, только потом обольщала деталями.

Как-то вечером я настолько был заворожен, что не слышал, как по лестнице забрался Мун, и, увидев его подле себя, даже не удивился. Несколько минут спустя он заговорил, и мне ясно стало, что он тоже заворожен.

— Ты, конечно, понимаешь, что начнется, как только о ней прознают? — спросил он. Я кивнул.— Где-нибудь еще такая есть? Такого же класса?

Нет, ответил я, нету. Были когда-то. Но больше нет. В Кроутоне, Стоук-Орчарде, в церкви св. Олбана, в Грейт Хэрроудене — они все были великолепны в свое время, но не сейчас.

— Посмотри,— сказал он.— Посмотри на эти лица. Какие живые. Ну прямо настоящие живые. Вернее, были живые. Эти два ангела-пастуха с кнутами: клянусь — они танцуют. Потрясающе! Знаешь, почему-то это напоминает наш кошмар во Франции, особенно зимы. Особенно вечера, когда полыхало все вокруг, начинался обстрел, каждый думал, что будет ночью...

> Паки грядущаго со славою
> Судити живым и мертвым...

Я-то смотрел на это иначе. Не хотел так смотреть. Оксгодби был совсем иным миром, совсем иным. Для меня это была именно средневековая фреска, принадлежащая своему времени, и только. Да, все мы видим все по-разному, и нечего надеяться, что хотя бы один из тысячи видит так же, как ты. Я просто сказал ему: если фреска отличается от других, то потому, что ее писал один человек, а, скажем, в Чоулгроуве рисунок выполнил мастер, а краску накладывал его помощник. По-моему, он меня не слушал.

— До чего здорово,— сказал он.— Только мы двое знаем об этой картине, пока искусствовед из «Таймса» не вцепился в нее и не раструбил на весь свет, что это чудо иконографии, и ученые-паразиты не набросились на нее. Сейчас она только наша!

> И я, как вы, боюсь всегда —
> — И в трепете мой дух и плоть —
> Восстать в день Страшного суда
> И ждать, когда придет Господь...

Знаешь, в те времена я, думаю, смог бы обратиться в веру, в ней было больше толку.

[35] Самарянский волхв, принявший христианство и предлагавший деньги апостолам Петру и Павлу, «Говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго. Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою...». Деяния святых Апостолов, 8, 19—20.

— Еще Алиса Кич,— сказал я.— По-моему, она тоже знает.

Он испытующе посмотрел на меня и сказал:

— Может, между вами что завязалось? Хорошо бы. Нет, ничего? Жаль. Она зря пропадает с Кичем.

— Я на прошлой неделе разрешил ей приходить. Она, в общем-то, через день приходит, у дверей сидит и вполне толковые замечания отпускает.

— Правда? А ты? Ты никогда, кстати, не говорил мне — ты женат?

Я сказал ему про Винни и про то, что она смылась с другим. Не сказал только, что она наверняка спала с мужиками, пока я был за морем. И о том, что она уже и раньше меня бросала.

— Понятно! — сказал Мун.— Вроде мы уже достаточно друг друга знаем, и тебя мои расспросы не злят. Сам я так и не встретил свою женщину.

Мы помолчали.

— Тут кое-что, может, тебя заинтересует,— сказал я и показал на того, падающего.— Его забелили на несколько лет раньше остальных.

Мун подковылял ближе и стал пристально его изучать.

— Да,— протянул он.— Понимаю. Клянусь, он нарочно помечен этим полумесяцем, чтобы его узнавали. Но твой богомаз на такое бы не решился. Да, жаль! На эту загадку тебе не найти ответа, Беркин.

Он отвернулся и стал смотреть куда-то под потолок, верно забыв о падающем.

— Насчет этого рельефа под потолком,— сказал он,— я по-прежнему придерживаюсь теории, что он не in situ[36]. Ему там не место. Прапрапрадед старины Моссопа — думаешь, он растерялся в 1530 году? — срезал лучшие куски с алтаря и прилепил к потолку от греха подальше, пока не нагрянули новые вандалы. А раз уж речь о Моссопе зашла, что он думает о твоей фреске?

Я рассмеялся:

— Он не говорит, да и вряд ли он особенно о ней думает. Но тоже считает, что через месяц-другой прихожане даже не вспомнят о ней. Убежден, он думает, что, не успею я сесть в поезд, Кич снова велит ее замазать. Моссоп невысокого мнения о своих собратьях.

— Как же он уживается с Кичем?

— Да он это так объясняет: «Штоб ты знал, майстер Беркин, священники приходят и уходят, а нам дак здесь оставаться».

Мы спустились вниз, я сполоснулся у колонки на церковном дворе, и мы пошли к нему в палатку и вскипятили чай. Было около семи вечера, и такая тишина, что, заговори со мной кто в миле отсюда, я бы, кажется, услыхал.

Мы сидели и грелись на солнышке: он курил, а я думал об Алисе Кич. При том что я был увлечен своей работой, а она ведь была миссис Кич, я относился к ней просто как к очаровательной женщине, с которой приятно поболтать и на которую приятно смотреть под каким-нибудь предлогом. Но расспросы Муна все изменили, и у меня разыгралось воображение: я представлял, как мы идем с ней в какое-нибудь укромное местечко, ужинаем, я касаюсь ее руки, обнимаю ее, целую. Мы на мансарде, в окна льются звуки и запахи фруктового сада, а дальше стелятся луга. И мы поворачиваемся друг к другу в полумраке. Да, мечты...

— Господи, явился! — пробормотал Мун.— От него тоской так и тянет.

— Добрый вечер! — сказал Кич, но не получил ответа и скис.— Я мимо проходил. Ничего пока не нашли, Мун?

— Нет,— ответил Мун.

— А я ни на минуту не допускал мысли, что тут что-то можно найти. Бедняжка мисс Хиброн была не в себе перед смертью.

Мун не ответил. Кич растерянно смотрел на него.

---

[36] На месте (*лат.*).

— М-да-а,— протянул он нерешительно.— Пустая трата денег!

Мун смотрел вдаль.

— Возмутительно! — Это уже произнесено было с яростью, после чего он ретировался.

— И как прелестная Алиса его терпит? — сказал Мун.— Представь себе — по три раза в день встречаться за столом и выслушивать его блеянье. Да еще спать с ним.

— Может, он дома другой. Хочешь не хочешь, а я должен его выслушивать, я возделываю его виноградник.

— И о чем он говорит?

— Ну, во-первых, о церковной печке.

— Ты уже говорил. Давно ведь дело было, нельзя же об одном и том же.

— Не знаю. Правда, не знаю. Знаю, он говорит. А о чем — поди разбери. Такое впечатление, что ответа он не ждет. И на том спасибо.

Мун хихикнул.

— А ты странный тип, Беркин,— сказал он.— Ты-то какой дома, интересно? — (Я и сам призадумался.) — Но совесть у него есть? «Бедняжка мисс Хиброн была не в себе перед смертью». Уверен, она была очень даже в себе, в руках его держала, он до сих пор обижается. Моссоп говорит: она с самого начала знала ему цену... Пошли, покажу берлогу нашей благодетельницы...

Мы пошли вдоль ручья, перебрались через шаткий мосток, спустились по дорожке вниз, миновали слетевшие с петель, покрытые зеленой плесенью ворота и очутились на заросшей аллее. Здание ранневикторианской постройки было огромное, стены — в окнах и водосточных трубах. Оно стояло посреди розовых куртин в зарослях крапивы, среди низко стриженных лужаек, поросших бурьяном, среди кустов и деревьев, превратившихся в непролазную чащобу.

— Мисс Хиброн, по описаниям, очень напоминала свой дом,— пробурчал Мун.— Носила что ни попадя, спала не раздеваясь. Моссоп рассказывает: она покупала на толкучке несколько толстых юбок и носила по нескольку лет.

— Ну ты полегче,— заметил я.— Она у тебя получается какой-то оборванкой.

— Глаза совсем блеклые, думаю — серые. Волосы, говорят, красила в разные цвета, однажды в оранжевый выкрасила. Длиннющий тонкий нос. Чаще всего про ее зубы вспоминают. Лошадиные, а уж когда улыбнется... Моссоп говорит: когда хмурилась, было не так страшно.

Я смотрел на пришедший в упадок дом. Комнат тридцать, а то и больше. Длинные коридоры, лестницы, кладовые, погреба, мансарды, Бедняга! По ночам ей приходилось бродить со свечой и шарить в скрипучей тьме, когда сквозняк задувал пламя.

— Когда-то с ней сестра жила, мне говорили. Мисс Хетти. Ей место в психушке, но мисс Хиброн ни одного врача к ней не подпустила.

— А теперь полковник сам по себе?

Мун кивнул.

— А как ты к старости относишься, Беркин?

Это не был неуместный вопрос, могу сказать: Мун всерьез ждал ответа, моего мнения.

— Не могу себе представить,— сказал я.— То есть, не могу себе представить, что это меня ждет. Когда еще! А тебе интересно? Но ты и сам знаешь. Наверно, мало кто загодя думает про старость.

— Или про то, что дальше? — сказал он.

> Добро сотворяющий станет блажен,
> Содеявший зло попадет в адский плен.

— А, ладно тебе,— сказал я раздраженно.— Мы приходим и уходим. Меня это вполне устраивает. Мы здесь по найму на срок, и я принимаю все как есть. Чему быть — того не миновать.

Все дни в том августе погода стояла жаркая и сухая. Такая погода — как по заказу для каникул, но только богачи в здешних местах позволяли себе роскошь уехать, и даже поездка на неделю в Скарборо была целым событием. Все сидели дома, и всего развлечений — сельскохозяйственная выставка, передвижная ярмарка, пикник с соучениками воскресной школы, а кто со светскими амбициями, для тех еще теннис с огуречными сандвичами. У большинства местных не заведено спать в чужой кровати, под чужой крышей, они уверены, что ночевать у чужих все равно что среди воров. Так они жили испокон века, так жили их прaотцы, и от дома отлучались недалеко, чтобы лошадью или пешком к вечеру вернуться.

Я освоился с этим мерным ритмом жизни и работы, я обрел свое место, жил одновременно в настоящем и прошлом, я был совершенно доволен. Но сам я этого не знал, пока однажды Алиса Кич не сказала:

— Вы счастливы, мистер Беркин. Вы перестали сердиться. Это оттого, что работа хорошо продвигается?

Конечно, она была права. Во всяком случае, отчасти. Стоя на лесах перед великим произведением искусства, я ощущал родство с его создателем, мне приятно было сознавать, что я, в каком-то плане импресарио или волшебник, спустя четыреста лет возвращаю из тьмы его детище. Но была и другая причина. Дивные дни, здешние места, густые леса, дороги в буйной траве и лесных цветах. А к югу и северу от Вейла — низкие холмы, рубежи таинственной страны.

Теперь я каждое воскресенье обедал с Эллербеками. Может быть, они, посовещавшись, пришли к выводу, что я — приятный молодой человек, милый скиталец, заблудшая овца, которую пора вернуть в овчарню. Кто знает? Может, я им просто понравился и они поняли, что при мне они могут себя вести без всяких церемоний. Во всяком случае, я вспоминаю одну нашу трапезу в начале августа. С обедом было покончено (у них по воскресеньям сладкий пудинг не подавался), и мы пили чай, когда мистер Эллербек произнес с легкой интонацией святого мученика:

— Да, мать моя, сегодня мой черед служить в Бартон Ферри обедню.

— Тебя не должны были намечать,— возмущенно воскликнула его жена.— Ведь тебе служить вечерню в Молмерби. В разных церквах отслужить утреню и вечерню не очень-то легко, но обедню и вечерню в разных церквах! Это уж слишком! И Ферри!

— Эта несчастная Ферри! — сказал мистер Эллербек, не выказывая никакого энтузиазма.— Да, наш долг — помогать захолустным деревушкам и сельским церквам, средоточию их жизненных интересов.

— Ты устал, не щадишь себя,— сердито сказала миссис Эллербек.— В твои годы тебе бы полежать немножко, отдохнуть, а не мотаться по дорогам.

— И вечно ветер в лицо на дороге и туда и обратно, ты всегда говоришь,— вставила Кейти, окончательно укореняя отца в его кресле.

Понимая, что от меня тоже ждут сочувствия, я издал скорбное мычание.

— Может, Том пойдет вместо тебя,— нашлась миссис Эллербек, поворотясь ко мне и понимая, что я после ее великолепного обеда беззащитен.— Там будут два-три человека, не больше.

— Да,— подхватила бессердечная Кейти.— Чего бояться, правда, пап? Ты сам говорил, туда верзила-работник с фермы приходит, двоетрое ребятишек да Люси Сайкс — играет на органе. С вашим образованием, мистер Беркин, неужели вы не справитесь с этой жалкой кучкой?

Можно было подумать, что я чемпион в борьбе тяжеловесов.

Мистер Эллербек не бросился мне на выручку. Он только посмотрел на меня лукаво и ограничился замечанием:

— Что ж, не приходится спорить, у Тома ноги моложе моих.

— Можете взять папин велосипед,— сказала Кейти, переходя в наступление.— У него три скорости и цепь хорошо смазана маслом.

Атака была слишком бурная, мои рубежи тотчас пали, и мне оставалось только сделать вид, что я веду контратаку.

— Да я никогда ничем подобным не занимался,— протестовал я.— Проповедовать?! Молиться?! То есть, молиться вслух?

(Совесть требовала этого «вслух», потому что я молился достаточно красноречиво в своем окопе, когда нас поливали с бреющего полета. Но, решись я воспроизвести одну из тех весьма своеобразных молитв, она бы довольно странно звучала в любой церкви, не говоря уж о Бартон Ферри.)

— Можете рассказать им, чем занимаетесь,— сказала Кейти.— Им будет очень интересно, у них ведь ничего такого нет в Ферри.

— Но молитвы...— сокрушался я.

— Всевышний вложит слова в ваши уста,— сказал мистер Эллербек, оставляя свою нейтральную позицию ради полной победы.

Всевышний не вложил мне в уста ответа, и, поняв, что я полностью сдался на милость победителя, Эдгар (пристойно сохранявший нейтралитет) нашел мне пару зажимов для брюк.

До той минуты Эдгар мне очень нравился.

Бартон Ферри была в четырех милях от Оксгодби, по скучной дороге. Дома выстроились в шеренгу тылом к полям; широкий ров, куда стекала грязь из канав и труб, тянулся вдоль пыльной дороги до самого берега реки. Деревенька состояла из нескольких домиков, колокола на мощном столбе, к которому еще была прикреплена гребная лодка, а на лоскуте травы, испещренной утиными перьями, пристроилась кирпичная церковка, чуть больше просторной комнаты.

Я приехал загодя, но у дверей меня уже поджидала загорелая молодая девушка, отличная, здоровая, такой только детей рожать. Она была хорошенькая, но страшно робела, смотрела все в сторону, на реку и дорогу под горкой, пока я сбивчиво объяснял, что мистеру Эллербеку нездоровится и что я его неполноценная замена. Она ни слова не сказала по этому поводу, но не казалась огорченной, впуская меня в церковь и спрашивая, какие играть гимны. Я ответил, что это ей решать, но я буду ей признателен, если она выберет подлиннее и предпочтительно с рефреном после каждого стиха.

В церкви стояло от силы с полдюжины скамей, перед ними громоздилась огромная полированная кафедра, забравшись на которую, я с высоты своего положения обнаружил, что мне открылся дивный вид на реку из заднего окна. Гигантские часы над моей головой должны были принять участие в предстоящей службе — может, даже усилить внимание моих собратьев-богомольцев. Далее я постарался найти две главы подлиннее в Ветхом и Новом завете и заложил страницы. Громкое тиканье часов было куда медленнее стука моего сердца. Органистка не подавала признаков жизни, ее сильные смуглые руки лежали на коленях, голову она наклонила. Не думаю, что она молилась. Было невыносимо душно, я вспотел.

В двенадцать часов, ни секундой раньше, в церковь притопали двое веснушчатых мальчишек, красномордый работник с фермы и пожилой мужик и сгрудились подо мной, как овцы. Я провозгласил первый гимн, «О, тысячами языков воспоем хвалу великому Спасителю», который мы спели на удивление громко для такой небольшой компании. Последовавшая за ним молитва спотыкалась о зловещие паузы. Всевышний явственно не счел нужным услышать твердое обещание мистера Эллербека, данное от Его имени, вложить слова в мои уста. Тем не менее я сбивчиво продолжал требу, захлебываясь в мольбах простить меня за грехи — в которых и не признаешься и за которые, по моему ощущению, скорее был в ответе Он (я это о Пассендале), чем я,— и рассыпаясь в «Ты» и «Тебя», служивших мне отличной ширмой. Я никого и не обманул. Открыв один раз глаза, я увидел, что склоненные плечи органистки слегка подрагивают.

После того как мы прогромыхали четвертый гимн, «Венчай Его венцами многими», я твердо решил покончить со своим чудовищным перевоплощением, даже если у начальника станции и будут неприятности с церковным начальством.

— Слушайте,— объявил я весьма свирепо,— меня послали к вам, потому что никого другого не было, я в жизни никогда не служил и никогда не буду, я просто хочу сказать вам, что́ я делаю в Оксгодби, а если кому надо уйти или кто подремать захочет — бога ради.

Конечно, они сразу поняли меня и слушали внимательно, и дети даже руки подымали, задавали очень толковые вопросы. Потом мужик, оказавшийся их дедом, сказал, что отвезет их на своей двуколке и они увидят то, о чем я рассказываю.

Когда они разбрелись, я поблагодарил органистку и, пока она запирала дверь, прищепил на брюки зажимы.

— Может, зайдете к нам чаю попить? — сказала она.

— Спасибо, меня ждут,— ответил я, а сам подумал: «Почему бы и нет? Может, нам с ней встретиться как-нибудь?» (Мне очень плохо было без женщины.) И добавил: — Да я, в общем, с удовольствием, в такую жару не худо чайку попить. Эллербеки, уверен, не рассердятся.

Она жила в мансарде фермерского дома, окна выходили на дорогу. Темно-красные штокрозы облепили побеленную известью стену, бархатные бабочки лениво перебирались с цветка на цветок. Погода была в духе Теннисона — дремотная, теплая, неправдоподобно спокойная. Ее родители приняли меня очень сердечно. Они угостили меня тем, что в здешних краях называется легкой закуской — ветчиной прямо с крюка, яблочным паем и обжигающим чаем. Из разговора выяснилось, что я был Там (как они сказали), и это удесятерило их восхитительную заботу. Потом я заметил на пианино фотографию молодого солдата.

— Это наш сын, наш Пирс,— сказала миссис Сайкс.— Он сфотографировался в свой последний отпуск, в день своего девятнадцатилетия.

По их лицам я понял, что глупо спрашивать, что потом было с Пирсом. Но когда я собрался уходить, я подошел к нему поближе: коренастый парень, с открытым, красивым лицом. Отец, встав позади, смотрел на него через мое плечо.

— Он был славный парень, наш Пирс,— сказал он,— работяга. Никогда никому в помощи не отказывал, его тут все любили.

Я ехал домой, вдоль рва, по пустой дороге меж полей пшеницы, колыхавшейся, как море, и вдруг заорал:

— Скоты! Сволочи! Вас никто не просил начинать ее. Хоть бы кончили ее пораньше. Бог? Ха! Нету никакого бога!

Две лошади, щипавшие траву на лугу, вскинули морды и тихо заржали.

— Ну как ваши успехи в Ферри? — поинтересовался мистер Эллербек, вернувшись вечером из Молмерби.

— Я понял одно,— ответил я,— из меня священника никогда не получится. Боюсь, что ваше церковное начальство рассвирепеет и задаст вам перцу, когда вместе с подношениями от паствы посыплются жалобы на меня.

— Он ужинал у Люси Сайкс,— закричала Кейти.— Она пригласила его. Он притих, потому что в Люси влюбился.

— Она отличная, крепкая девка,— сказал мистер Эллербек.— И прекрасно играет на этом старом органе в Ферри. Благочестивая христианка к тому же. Мы пригласим ее на юбилей нашей воскресной школы, сможете повидаться.

Эллербекам, видно, и в голову не приходило, что я могу быть женат.

В Лондоне я изредка перебрасывался словечком с соседями с одной стороны площадки и раскланивался с теми, что по другую сторону, но встреть я кого-то на улице, кто еще жил со мной в доме, я бы его не

узнал. А тут за двадцать четыре часа после моего представления в Бартон Ферри уже все прознали, что я пил чай у Сайксов.

— Говорят, ты охотишься по округе за девчонками. Собрался осесть в Оксгодби? — с подковыркой спросил Мун.— Лучше помалкивай, что ты женат, тут у каждого второго охотничье ружье.

Даже Алиса Кич узнала об этом, но она выразилась более осторожно — в конце разговора, который начался с того, что она спросила, хотел ли я стать художником.

— Нет,— ответил я.— Никогда не думал. Не ловил себя на такой мысли. Я только знал, кем я ни за что не хотел стать. Машинистом, полицейским, налоговым инспектором или кем-то, кто должен торчать в море.

— А как насчет церкви? Из вас бы получился хороший священник.

— Господи! Ну уж вы скажете! Священника из меня точно бы не вышло. Это не мой стиль.

— Но вы умели бы слушать. Вы и сейчас слушаете другого. И вы понимаете, что значит быть тихим и спокойным. Вы ведь знаете, когда с вами разговариваешь, не надо подыскивать слова. Я имею в виду — чтобы не было неловких пауз. Вы всегда умели слушать? С детства?

— Мои сестры часто говорили, что у меня слишком большие уши, то есть, что я слишком здорово все слушаю. Простите меня, я знаю, вы не о том. Да, может, и с детства. Мама была тихая. Часами, бывало, сидела — шила или штопала — и ни словечка не скажет. Иногда сожмет губы и посмотрит на кого-нибудь из нас. А если у кого что-то в школе стряслось, она все выслушает, задаст пару вопросов, и в конце концов окажется, что ты сам уже и ответ нашел. Вы это имеете в виду?

— Да,— сказала она.— Именно это, жаль, что мне не довелось познакомиться с вашей мамой. Мистер Беркин, к вопросу о пасторстве. Я слышала, вы пользовались огромным успехом в Ферри.— Она сказала это, вставая со скамьи и собираясь уйти.— И что вы влюбились.

Она ушла прежде, чем я успел ответить, ее веселый смех летел ко мне в открытую дверь.

Да, она была права. Я влюбился. Только не в милую Люси Сайкс.

Вам, может, интересно, о чем я думал часами на лесах. Ну, само собой, о своей работе, об огромной фреске, которую я отмывал. Но еще о безымянном человеке, стоявшем когда-то на моем месте. Не столько о его технике, хотя, строго говоря, она меня занимала в высшей степени. К примеру, он отлично писал линии рук, особенно суставы пальцев и кисти. Его руки точно переговаривались друг с другом, слышали друг друга. Ноги ему меньше удавались. Но хватит об этом. По-настоящему околдовали меня его причуды. К примеру, когда он, отбросив канон, немного приподнимал линию рта или, отступая от него, украшал край одежды нотным орнаментом для собственного удовольствия.

И меня терзала тайна падающего. Симон Волхв? Человек, пытавшийся купить Духа Святаго? Его муки были подробнейшим образом документированы, церковь за этим проследила. Держись линии партии. А не то! Но если это знаменитый отступник, почему он написан с такой силой и почему его замазали намного раньше, чем всю фреску? Но почему, почему проваливается в преисподнюю именно этот человек? Знал его художник? Может, его узнали по портрету родственники и упрятали от чужого глаза, не успела фреска просохнуть? Увы, я опоздал на несколько сотен лет со своими вопросами.

— Ну как вы сработались? — любил спрашивать Мун, показывая рукой на стену.— Чувствуешь, как он дышит тебе в затылок, подталкивает, приговаривая: «Во даешь, Беркин! Во даешь!» Ты небось его уже как свои пять пальцев знаешь. Ну же, расскажи мне о нем. Кто он?

Кто он! Я даже не знал его имени. Мне кажется, мы не понимаем таких далеких предков. Они были просто другие. Наша идея личной

славы была им чужда. К примеру, мой богомаз и не знал ничего о художниках, живших до него, он и не думал, что кто-нибудь захочет узнать что-нибудь о нем. Ему в голову не пришло поставить свое имя на картине. Из сотни, да, по меньшей мере из сотни, фресок я знаю одну лишь подписанную — это фреска Томаса Молмесберийского в Эмпни Кручис.

Мысль, что спустя пятьсот лет после его смерти кому-то взбредет в голову внимательно изучать его фреску, показалась бы ему дикой. В его время здания перекраивались согласно моде каждые пятьдесят лет, и мой богомаз думал, что его работа проживет самое большее два поколения.

— Как он выглядел?

А это уже другое дело. Я не мог вообразить его лицо. Но он был светловолосый, борода прилипала к краске, они и сейчас сохранились, особенно к красной охре, которую он размешивал на льняном масле. Я не мог спутать его волосы с волосами от кисти — у тех длина другая: дюйм, ну от силы полтора. Для грубой работы — из свиной щетины, для тонкой идет волос серого барсука.

— М-да-а, весьма впечатляюще. А что еще может быть установлено относительно нашего почившего собрата?

— Писал правой рукой, был приблизительно твоего роста, ему приходилось на табурет залезать, чтобы дотянуться до высоты в шесть футов; если я не ошибаюсь, вот эти участки он писал на коленях, а то и лежа на боку. Вот, пожалуй, и все. Да, еще. Он, не исключено, жил в монастыре. Это только предположение, но эти его руки такие выразительные, как руки монахов, способные говорить в долгие минуты молчания. И последнее — он не доверялся ученику. Он почти все написал сам, кроме самого низа, нижней части преисподней. Посмотри, убедишься — тут грубая работа, просто подмалевка. Ума не приложу, почему он перепоручил это своему ученику, когда уже был у финиша.

— Это больше, чем я могу сказать о моих проклятых камнях,— сказал Мун. И ушел.

О да, это был его шедевр. Где бы он раньше ни работал, он просто готовился. Он здесь обливался потом, метался в постели, стонал, рыдал над ней. Эти истерзанные руки, пальцы в агонии.

Паки грядущаго со славой...

Я понял, почему последний ярд адского пламени писал не он. То была его последняя работа. С него было довольно, больше он не мог выдержать. И он вышел из игры. Но тогда так просто было не уйти, его вернули и заставили кончать. Он, наверно, умер за работой. Но и последние мазки его кисти были четкие и уверенные, и в конце он оставался мастером, как и в начале.

И я понял. Я повернулся, подошел к краю настила и посмотрел вниз на каменные плиты пола. Он свалился.

Великий Боже! Я скатился кубарем с лестницы и выбежал из церкви. Мун был уже около палатки.

— Он свалился! — Я вопил ему в спину.— Это была его последняя работа. Он свалился!

Мун повернулся и, когда до него дошло, ухмыльнулся.

— Ладно,— крикнул в ответ,— сам ходи поосторожней на лесах.

Алиса Кич пришла на следующий день часов в пять-шесть, но я заметил ее, только когда услышал шаги по лестнице.

— Поздно, теперь не остановите,— сказала она.— Я уже здесь.

Потом она какое-то время молчала. Я бы удивился, если бы она не молчала: вблизи, когда стоишь чуть ли не впритык к фреске, она устрашает, и Алису охватил ужас. Я слышал, как она переводит дыхание. Потом она сказала:

— Вы верите в адские муки, мистер Беркин?

Да, это мысль! Ад? Пассендаль был адом. Сплющенные тела, оторванные головы, унизительный страх, пронзительный, вопиющий страх, непередаваемый страх! Сплошное месиво! Но я-то понимал, что она спрашивает о библейском аде, о вечном аде. И я ответил:

— Когда как. Ад означает разное для разных людей и разное для одного и того же человека в разное время.

Она не подвергла мой ответ сомнению — клянусь, она читала мои мысли. Она знала их.

— Тогда как насчет земного ада? — сказала она.

Я сказал ей, что я видел его, жил в нем, но выход великодушно оставили открытым. Потом мы оба молчали, довольно долго, и я подумал, что можно сказать кое-что в пользу жизни в аду, потому что, когда выцарапываешься из кровавого месива, мир кажется светлее и лучше, чем запомнился. Мы старались забыть о тех, кто ушел на тот свет. Днем нам это удавалось. А по ночам, в темноте, они возвращались на время, но мы ничего не хотели знать о том, где они сейчас — они были в ином мире, в аду, если угодно.

А потом еще Винни. Это тоже был ад. Но я выкарабкался из этой ямы, и здесь, в Оксгодби, я ожил, так кровь снова бежит по онемевшим пальцам,— вокруг был мир новых людей, которые знали обо мне ровно столько, сколько я им рассказывал.

— Ну? — сказала она.

— Да,— ответил я.— Я был там, у меня в голове карта тех мест, мистер Мун не даст соврать! Нас все время туда посылали, и тот ад пострашнее, чем у этого парня.

Но уже когда говорил, я понял, что ее вопрос остался без ответа. Не об этом аде и не о библейском она спрашивала.

— Ох, простите,— сказала она.— Я глупый вопрос задала...

Я упустил момент. Мне бы протянуть руку, взять ее руку и сказать: «Вот он я. Что ты хочешь знать? Задай свой вопрос! Скажи мне. Пока я здесь. Спрашивай, пока не поздно».

Может, она и эти мои мысли прочитала, потому что, прошептав, что поздно и ей пора идти, она повернулась и спустилась вниз. Она прекрасна, подумал я. Робкая, пугливая, как дикий зверек. Как он поймал ее? Заманил в капкан? Одолел? Какая у них была первая ночь? Интересно, встал он сперва у постели на колени? Эти темные глаза смотрели в глубь гостиничного номера. Она, наверно, до того и не подозревала, что такое брак. Хотя, кто знает, без сомнения, она видела больше, гораздо больше в Киче, чем все мы. Тайна сия велика.

Я спустился следом за ней.

— Я оставила вам несколько свежих яиц,— сказала она.

После ее ухода я отправился к палатке Муна, и мы сели с ним на траву погреться на вечернем солнышке.

— Ну что? — спросил он.

— Я беседовал об аде с миссис Кич.

Он засмеялся.

— Ты часто о нем думаешь? — спросил я.

Он сжал губы, сморщил нос и стал разглядывать тыльную сторону ладони. Потом — уже совсем на него непохоже — посмотрел мне прямо в глаза.

— Часто,— сказал он.— Особенно по ночам, самое тяжкое время. Окно у тебя открыто, сам, наверно, слышал.— Он знал, что я не буду расспрашивать, выражать сочувствие.— Я сказал себе: со временем будет лучше — и мне уже легчает. Но мы стали другие. Мы все знаем. Мы теперь не такие, как все. Может, и наши жены знают. Конечно, они должны знать. А другие, конечно, все понимают. Я познакомился с одним парнем, который снова вернулся учителем в школу. Он, как ты, был связистом, один ползал в самой гуще с телефонным проводом, который тянулся назад в батарею. Он рассказывал мне, что первые четыре не-

дели в школе, стоило ученику стукнуть крышкой парты, он бросался на пол. Сначала ученики хихикали. Потом они уже не смеялись, только смотрели на него — кто в ужасе, кто с жалостью. В конце концов они стали делать вид, что не замечают. А я? Когда я был в этом кошмаре, я обычно думал: «Что ж, сейчас дело плохо, но стоит свистнуть в свисток, и все тут же изменится — будет полный порядок!» Но ведь так не бывает, верно? Это же надо постепенно изжить, и я все напоминаю себе, что я еще пока не того, а может, и навсегда таким останусь.— Мун засмеялся.— А ты?

Ответа не требовалось — пока он говорил, меня совсем измотал мой тик.

— Ничего, ты уже не такой страшила, а когда ты появился тут!..— сказал он. Я вспыхнул, но он продолжал: — Ты небось даже не замечаешь, но Оксгодби тебя помаленьку выравнивает.

Мы помолчали. В сумерках какие-то парни пришли на луг и начали резвиться, путейщик прошел на станцию, толкая впереди себя велосипед.

— Иногда я даже думал: хоть бы поскорее,— сказал Мун.— Бывало, мочи не было терпеть. Ну ты сам знаешь. Чувствовал — не выдержу, лягу под пули, не дожидаясь, пока подстрелят. Или просто не смогу выбраться из окопа. Столько в землю полегло, сейчас уже я их не так ясно помню... расплываются как-то.

А я думал о великой фреске над моей лестницей. У них совсем другой ад.

Взошла луна, легкий ветерок гнал тени деревьев над полем белого, как вода, ячменя.

— Слушай,— сказал Мун.— Надо переключиться. Черт подери, мы же не на галере. И нас не больно-то осыпают деньгами. Каждый день надо принимать как дивиденд с прошлого. Я договорился с Моссоном. Завтра у нас выходной.

И вот на следующий день мы бросили свои орудия труда и отправились в поле, где работал Моссоп. Стояла уже невыносимая жарища, ячмень склонил ломкие колоски, и, ей-богу, воздух прокалился, как от печки: когда просохла роса, поблескивая граблями, принялась за работу жатка — бодрая, веселая смена начала жать, а мы — копнить. Но, Господи, этот жуткий чертополох! Я не сразу научился перебрасывать снопы, пока не понял, что нужно их схватывать покрепче, потом прижимать колоски друг к другу и ставить по четыре-пять пар в копну. Мы возвращались, снова шли вперед по растрескавшейся земле во все раскалявшемся зное, и так до полудня, когда тень от снопа истончилась, как язычок пламени. Потом сели обедать («Бабоньки только вас и ждали») — пирог из кролика с картошкой вдохнул в нас жизнь и помог нам продержаться, пока в четыре часа нас не угостили сливовым пирогом и обжигающим чаем из термоса.

Закончили мы в сумерках, когда над темным ободком холмов проступила первая звезда. Кейти Эллербек ждала нас в густой придорожной траве у ворот.

— Не забудьте — завтра воскресная школа выезжает на пикник,— сказала она.— Мистер Доутвейт вас ждет, да и за вашими шизиками присмотреть надо.

Бесполезно было объяснять, что у меня и так сегодня весь день выходной. Она была безжалостна.

— А как насчет мистера Муна? — спросил я.— Ему тоже можно поехать на пикник?

Нет, нельзя. Это — награда тем, кто хорошо поработал, а Мун для школы ничего не сделал.

— Да и вообще,— сказала она,— он англиканин.

— С чего ты это взяла? Насколько я знаю, он не принадлежит ни к какой церкви.

— По его гнусавому выговору,— ответила она.— Не ошибешься!

— Ого,— вставил Мун.— По гласным я узнаю тебя? А как насчет милосердия. Разве не все христиане...

Она умела не допускать религиозных доводов, зная, несмотря на возраст, к каким неблагоприятным выводам могут они привести, и Муну не пришлось кончить фразу.

— Таковы правила,— отрезала она.— И к тому же мистер Беркин почти закончил свою работу, а вы не нашли то, за что вам заплатили.

— Мисс Сайкс из Ферри тоже приедет? — спросил Мун, переходя в контрнаступление.

— У них, кажется, свой пикник,— коротко сказала Кейти.— Не опаздывайте, мистер Беркин. Повозки подадут к восьми, ждать не будут.

На следующее утро я прикрепил к лестнице записку: «Буду вечером. Ходить опасно!» — и, сунув в рот хлеб с ветчиной, побежал через луг к дороге, где на обочине стояли мужчина с женщиной и двумя маленькими мальчишками. Я продолжал чавкать и пыхтеть, как вдруг за поворотом раздался цокот копыт — даже в тот век лошадей этот звук заставил мое сердце радостно забиться.

Вот они — утреннее солнце играло на черно-каштановых спинах, упряжь и медали сияли, как у генералов. В гривах ленты цвета государственного флага, сбруя блестит — этим волшебным созданьям суждено было свернуть с больших дорог на пахотные борозды. Неужели я уже тогда это знал? Думаю, нет, в Оксгодби и не подозревали, что их ждет. С детства они привыкли к звонкому стуку копыт в конюшне в ночные часы, к горьковатому запаху раскаленного рога на наковальне. Ну откуда им знать, что за несколько лет их друзья и спутники исчезнут навсегда?

Родители спина к спине усаживались в тележки на четырех колесах, а мальчишки с девчонками устраивались на дне, свесив ноги через борта. Наша компания катила во второй телеге, нас встретили весело, но предупредили, что жарищи не миновать и с пиджаками хочешь не хочешь придется расстаться. Мы двинулись, попрощавшись с отвергнутыми — по причине слабого здоровья или иного вероисповедания,— убежденные (как и они), что мы часть древнего сельского цикла и что наша поездка — знак: урожай почти созрел.

Что, я слишком рассусоливаю? Может, и так. Просто, бывает такое — человек и земля слиты в одно, и четко слышен пульс всего живого, а жизнь до краев полна надеждой, а будущее доверчиво бежит впереди, как эта дорога к холмам. Да, я же молодой был.

Мы подобрали Эллербеков у станции, ему как духовному лицу берегли местечко на скамье, справа от мистера Доутвейта в первой телеге, потом мы доехали до города, там царила несусветная толчея — все спешили на рынок, так что лошади наши перешли на шаг, и приходилось иногда останавливаться, уступая дорогу тем, кто разворачивался на булыжной мостовой. Жены фермеров стояли с корзинками, в которых лежали домашнее масло и яйца, и еще продавали яблоки ранних сортов, груши, гвоздику — все, чего у сельских жителей в избытке в садах и огородах. Я увидел мужчину, держащего на поводке бульдога, с пастью, перевязанной шнурком от ботинка.

— Можно отвязать шнурок, када собака не смогет! — кричал он.

От другого прилавка тянулся запах утрешнего хлеба, и я тут же вспомнил, что перекусил наспех, а есть хочется.

Потом мы переехали через мост и снова покатили полем. Кто-то меня подтолкнул и передал через плечо толстенный сандвич с мясом. Это оказался Моссоп, а миссис Моссоп ободряюще закивала мне: за мной установилась слава ненасытного обжоры.

— Что вы здесь делаете? — спросил я.— Вы же англиканин.

— Ну,— отвечал он,— я завсегда с ними ездию. Я ж их сызмальства знаю, да и на тот свет провожаю.

Для меня этот день навсегда останется лучшим летним днем — на небе ни облачка, канавы и обочины заросли травой, маки, кукушкины слезки, деревья под тяжестью листвы, фруктовые деревья, нависающие над заборами. А мы с грохотом пронеслись средь этой красотищи, повернули у дорожного указателя на Саттон-андер-Уайтстоун и подъехали к черепичным крышам Килберна, где плотник, возившийся в саду, окликнул своего знакомого в нашей кавалькаде, а тот ответил на его приветствие.

— Гляньте туда, мистер Беркин.

— Куда?

— Туда.

На крутом, заросшем травой откосе выступала огромная Белая Лошадь, увеличенное до гигантских размеров изображение, которое бродячие художники изготовляли за пару золотых для гордых владельцев лошадей во время соревнований в Грейт Иборе или распродажи в Беверли. В вытянутой спине и грациозной шее были увековечены лошади античного мира.

Мы очутились на общипанной овцами поляне высоко в холмах, от кустов черники и сухого вереска шел такой аромат, что першило в горле. От солнца некуда было спрятаться, но наступило обеденное время, женщины и девочки разложили сваренные вкрутую яйца и взмокшие сандвичи с помидорами, завернутые в промасленную бумагу, спеленутые салфетками. Не кто иной, как мистер Доутвейт («Вы потрудились на славу, дабы упрочить ваш авторитет среди уэслианцев») разложил из веток костер с подветренной стороны, и вот уже на нем кипели жестяные чайники. Потом он затянул коротенький хвалебный гимн, мы его пропели и сели за еду.

После этого мужчины сняли пиджаки, выставив напоказ подтяжки и тесемки от нижнего белья и, к удивлению собственных ребятишек, начали прогуливаться по лужайке и резвиться, как дети. В стороне уединились парочки, женщины сели в кружок и принялись судачить. Поели, попили, вздремнули, покуролесили с девками, глядишь — и день прошел, наступил вечер, и уже лошадей вели с пастбищ. Потом появилась первая звезда, а ласточки закружили над папоротником, и наши повозки загромыхали вниз, мимо Белой Лошади, через долину, домой — пикник воскресной школы окончился.

А когда мы приехали в Оксгодби, нам сказали, что днем умерла Эмилия Клоу.

Ах, эти дни... долгие годы я помнил, как счастлив я был там. Иногда, слушая музыку, я возвращаюсь туда — и ничего не изменилось. Долгий конец лета. Изо дня в день теплынь, голоса в наступавшей темноте, освещенные окна протыкают ночь, а на рассвете — шелест пшеницы, теплый запах созревших полей. И молодость.

Останься я там, был бы я всегда счастлив? Нет, думаю, нет. Люди уезжают, стареют, умирают, и радостная уверенность, что тебя за углом поджидает чудо, слабеет. Сейчас или никогда. Надо хватать пролетающее счастье.

Я только один раз уезжал из Оксгодби в Рипон. Конечно, я хотел побывать в монастыре, когда жил в тех краях, но сомневаюсь, чтобы я выбрался, если бы мистер Эллербек меня не заставил. А произошло это по той причине, что церковные попечители сообщили, что решили потратиться на новый американский орган [37], который заменит старенькую фисгармонию.

[37] В американском органе, в отличие от обычного органа, вместо труб различных размеров — язычки; размером он меньше.

— Вроде нашей общине новый орган обещаются купить,— сказала мне по секрету Кейти.— Ничего с нашими попечителями не сделается, не разорятся, им-то не приходится, как нам, вечно собирать деньги на жалованье священнику,— добавила она с горечью.— Им-то денежки от других текут.

— Мы очень будем вам признательны, если вы присоединитесь к нам, мистер Беркин, — сказал Эллербек.— Вы сразу отличите хороший орган от плохого, тут двух мнений быть не может, честно скажу — за наши деньги мы хотим купить самое лучшее. Мы вчетвером поедем — мистер Доутвейт, вы, Кейти и я.

Мы поехали поездом, магазин Бейнса «Пианино и органы» притулился в переулке за рыночной площадью. Выбор оказался большой — тридцать пианино, столько же американских органов, фисгармоний и простых органов.

— Принимайте гостей от уэслианских методистов Оксгодби,— сказал мистер Доутвейт, почему-то от возбуждения кланяясь.— Мистер Бейнс знает, что мы приедем, мистер Эллербек, он с нами, написал что мы будем в два пятнадцать.

— Мистер Бейнс здесь больше не работает,— сказал приятный молодой человек,— я новый владелец.— Он оценивающе оглядел нашу одежду и прибавил: — Вам, вероятно, орган с педалями [38] нужен.

Я скис, услыхав его лондонский акцент. Своим тоном он давал нам понять, в какую унизительную сделку его втягивают. После чего он повел нас быстрым шагом по проходу между выставленными, как на парад, инструментами.

— Это все показуха,— прошептала Кейти.— Они обдуривают людей всякими штучками — зеркальцами да бронзовыми подсвечниками. А самое главное — звук. Главное, чтоб хрипа не было, это значит, мехи испорчены.

Едва ли мое бурчание было достаточно любезно, потому что она продолжала сердито:

— А с ним надо вдвойне начеку быть, ведь он южанин.— Великодушная девочка не добавила: «Как вы».

Владелец магазина сыпал специальными, непонятными словечками, явно давая понять, что он мечет бисер перед свиньями, вслух этого не упоминая. Действительно, выбор был слишком уж богат; все равно что изголодавшегося человека посадить к столу, ломящемуся от яств — вот он умирает от голода и вот от возбуждения. Но он недолго ограничивался иносказаниями, скоро схамил в открытую:

— Вам что-нибудь подержанное, как я понимаю.

Мы пристыженно кивнули.

— Так и сказали бы,— сказал он с облегчением.— Вон туда ступайте посмотрите. Там подержанные, у богатых церквей покупаем. Может, что и подберете. Уж не знаю. Имейте в виду, гарантии мы не даем.

— Надеюсь, можно проверить один-другой? — спросил мистер Доутвейт почтительно.

Вопрос его остался без ответа — хозяин магазина уплыл навстречу более внушительным клиентам.

Как только удалилась эта важная персона, Эллербек стал самим собой. Глаза загорелись, в голосе зазвучали твердые нотки.

— Давайте глянем на цены,— сказал он, юркнув в загончик для презренных и отверженных. — Что толку смотреть дорогие. Давайте походим, а потом обменяемся мнениями.

Так мы и сделали.

Через пять минут он сообщил:

— Решено, можем покупать. Один из этих трех — вот этот, тот желтый и вот тот. Кейти, милочка, неси сюда табурет, давайте по очереди послушаем, как они звучат.

[38] Имеется в виду обычный орган с трубами, у которых одна клавиатура — ножная.

И Кейти, поправив свои длинные волосы и поплотнее нахлобучив шляпку, проиграла на каждом из трех органов «Все люди на земле», решительно и энергично выявляя их возможности. Пока она, как безумная, нажимала на педали, усиливая и умеряя звук, Доутвейт стоял скрючившись и прислонившись к трубам органа.

— Я не музыкант, мистер Беркин,— объяснил он, заметив мое удивление,— честно признаюсь, понимаю в мехах, никто не станет отрицать — это моя профессия.

Лично я сумел только заметить, что три претендента звучат примерно одинаково, да еще внес свою лепту в анализ происходящих испытаний, сказав, что один орган дрожит, когда на педали сильно нажимают, а второй чудно́ пахнет. Потому, когда остановились на третьем и решили его проверить с пристрастием, я почувствовал себя польщенным. В это время другие покупатели, судя по всему, решали аналогичную проблему, поскольку из чрева того, что объявлялось очень дорогим органом, неслись раскаты грома и пронзительные визги фанфар.

— Пойдите узнайте, долго еще они там шуметь собираются, мистер Беркин,— приказала Кейти, и я выплыл из закута с подержанными инструментами, обходя стороной места скопления музыкального орудия, и вынырнул на пустой пятачок, который предназначался для более солидных клиентов. И это оказались Кичи.

Я остановился, но прежде чем мне удалось трусливо нырнуть под укрытие пианиновых джунглей, Алиса Кич повернулась. В эту самую минуту, чтобы с пущим усердием продолжить свои пневматические исследования, мистер Доутвейт забрался на стул, тем самым объясняя мое присутствие в этом магазине. Алиса сверкнула глазами. Какое-то мгновение я был уверен, что она сейчас расхохочется. Может, и расхохоталась бы, но в эту секунду владелец магазина вновь обрушился на орган, и под прикрытием звукового шквала я ретировался.

— Они сейчас заканчивают,— солгал я.

А мистер Эллербек, развернув бумажный сверток, который он прихватил с собой, извлек на свет божий сборник уэслианских гимнов.

— Если хотим попасть на поезд в четыре часа семь минут, нечего мешкать. Давай, Кейти, споем триста восемьдесят девятый номер «Он спустился на тучах, чтоб грешников судить». Там все что надо.

И, работая коленями, подымая и опуская ноги, как спринтер, Кейти ответила контрударом.

— Думаю, этот нас устроит, мистер Доутвейт,— сказал начальник станции.— А как вы считаете, Том? Но пока мы не вынесли окончательного решения, давайте послушаем, как он звучит во время пения, ведь вы только дважды слушаете его без пения — при входе и выходе. Итак, сто девятнадцатый номер, Кейти, «Достойный Агнец».

И тут они начали — Кейти вела неожиданно сильным сопрано, несколько утрированный тенорок Эллербека почти гармонировал с basso profondo[39] кузнеца (скрестившего на плаще свои мощные лапищи), а я изучал потолок, гадая, что Алиса Кич подумает о нашем грохоте.

Агнец предостойный,
Агнец предостойный,
Агнец предостойный распят за нас.
Распят за на-а-ас,
Распят за на-а-ас,
Агнец предостойный распят за нас.

Звук был оглушительно-великолепный, и они уже к третьему стиху приступили, как их оглушил вопль маньяка — это был владелец магазина, потерявший голову от бешенства.

— Эй, вы! — орал он.— Прекратите сейчас же! Спевками заниматься здесь надумали! Мои покупатели сами себя не слышат.

Трое певчих стыдливо примолкли.

---

[39] Глубокий бас (*итал.*).

— Мы этот берем,— сказал Эллербек.— Перевезти его я попрошу по железной дороге.

Мистер Доутвейт с обескураживающим изяществом снова принял импозантный вид.

— Скидка полагается, если платить наличными? — спросил он, вытаскивая пачку замусоленных банкнот и кошель с серебром.— Думаю, два фунта можно скостить, раз наличными платим.

Время — деньги для делегации из Оксгодби, и они помчались на поезд, отходивший в четыре часа семь минут, бросив изумленного хозяина магазина и волоча упирающуюся органистку. А я остался, чувствуя, что мне обязательно надо побывать в монастыре. Я спустился с холма. Кроме древнего церковного служителя, бродившего там, в каменном лесу не было никого, и я целый час гулял с ним по монастырскому двору и не уставал восхищаться.

Потом я дотащился до рыночной площади, перекусил сладкой булкой с маслом у бакалейщика в комнатке за лавкой. Меня угостили замечательным чаем — горячим, свежезаваренным. Я и булку запомнил, из отборного зерна, первосортная булка. Сейчас в Лондоне, если повезет, иногда попадается такой же хлеб. Приятно было есть в той комнатушке, чувствуешь себя как дома, сидишь себе расслабившись — никто не подскочит, из-под носа ничего не выхватит, стул из-под тебя не выдернет. Я совсем раскис, проходив целый вечер, думал, как здорово, что меня попросили выбрать орган, терялся в догадках, что подумала Алиса Кич, и надеялся, что вдруг, как это ни дико, она заглянет сюда на чашку чаю или поедет домой одна поездом в шесть часов двадцать минут.

Я закурил. Зашел посетитель, но я не оборачивался, пока он не заговорил.

— Ну надо же! Ты что, здесь живешь?

Я сперва не узнал его.

— Мелбурн,— сказал он,— сержант Мелбурн.

Тут я его узнал, был он неплохой парень. Он вроде был доброволец Китченера [40], не то что я, мобилизованный. В последний раз я видел его в Бапауме, в доме без крыши.

— Последний раз мы с тобой виделись, когда тебя увозили,— сказал он мне.— Что это было, контузия? Ты связистом был, да? Не много вашего брата уцелело.

Он подошел к моему столику и поведал мне, что стал коммивояжером, торгует скобяными изделиями, имеет неплохие связи в северо-восточных районах. А я рассказал, чем я занимаюсь. Его удивило, что до призыва я учился в лондонском архитектурном училище.

— Вот бы не подумал на тебя,— сказал он.— Считал, что ты какой-нибудь чиновник.

Тут я сказал про Муна.

— Мун! — воскликнул он.— Коренастый, красномордый, говорит с фасоном? — Он понял по моему лицу, что угадал, и рассмеялся.— Они из него кишки вытряхнули в тюряге,— добавил он.— Таким, как он, всегда хуже всех достается. Капрал, который зуб на него имел, донес, что военная полиция застукала его с ординарцем.

Мне точно пощечину влепили, но, думаю, он даже не заметил.

— Они его просто обосрали на суде. Распинали. «Развращение молодежи», «Опозорил звание офицера королевской армии»... и прочая хреновина. Его Военный крест [41] только портил дело.

— Он не говорил про Военный крест.

— Его с ходу наградили. Снял одного парня с проволочного заграж-

---

[40] Армия добровольцев, созданная в начале первой мировой войны по инициативе военного министра Англии графа Китченера, существовала до введения воинской повинности.

[41] Орден, которым награждали за храбрость уоррант-офицеров (военнослужащих в сухопутных войсках и ВВС, это звание следует по старшинству за категорией сержантского состава), лейтенантов и капитанов. Учрежден в 1914 году.

дения. Услышал крик и вернулся, хотя мог бы сообразить, что парню кранты. Пед несчастный! Такой уж уродился.— Потом прибавил: — Зря я тебе это рассказал. А ты помалкивай, не говори ему, что меня видел. Здорово, что я на тебя налетел. Вряд ли еще когда доведется.— Он взмахнул рукой и ушел.

Известие, что Мун гомик, не очень расстроило меня, хотя я не мог уже выкинуть это из головы. Мысль о гордом и независимом человеке, которого заталкивают, как скотину, в военную тюрьму, и он оказывается в лапах мерзкой шайки, которая непременно найдет способ его подмять,— вот что приводило меня в ужас.

Конечно, на этом дело не кончилось. Не спрашивайте почему, но с того дня Мун знал, что я знаю. На следующий день он сказал ни с того ни с сего:

— Секс! Это же кошмар! Сущий дьявол! Он искушает нас, портит. Может, это и есть тот самый ад, о котором ты спрашивал, Беркин?

И с тех пор отношения наши изменились.

Вот уже несколько дней, как я снова изучал северную часть фрески, самую крайнюю ее часть, где изображены ликующие праведники, чьи добродетели перевесили их прегрешения на весах архангела Михаила, и теперь они устремляются ввысь, где их ждет вечное блаженство. Самодовольное, скучное это было сборище, ни одной живой черты лица, не то что у их собратьев, обреченных на мучения. И одеты как-то скучно, серафическая синева одежды, должно быть, начала выцветать в первые же двадцать лет.

В общем и целом работа моя была почти закончена, смойся я прямо сейчас, никто бы ничего не заметил, даже старина Джо Уоттерсон, если только не потребовал бы лестницу. Но для собственного удовлетворения я должен был собрать все воедино, прибавить кое-где света, не убирать кое-где всю копоть — оставить ее, скажем, чтобы выделить руку или ногу или еще оттенить волосы и лицо. В нашей профессии нет такого прибора, который бы свистел, когда ты снимешь всю копоть и грязь безжалостного времени. Так что мне приходилось опираться на доброе старое правило: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Самое трудное осталось позади, теперь я был в тихих водах. Теплые долгие дни, точно сговорившись, держались весь август. В палисадниках перед домами цвели душица и розы, маргаритки и турецкая гвоздика, а по ночам все утопало в тягучем аромате. Вейл, тяжелый от листвы, недвижный ранним утром, знойным днем темнел пещерами теней, глушил стук бегущих на север и на юг поездов.

Лето! Лето моей молодости! И моей любви! И даже еще лучше — моей тайной любви, которую я оберегал и нежил. Это странное чувство, редко его испытываешь больше чем раз в жизни. В книгах его довольно часто изображают как муку, но я ничего такого не ощущал. Может, позже, но не тогда.

Я был женат. Винни ушла к другому, мы оба не особенно убивались. Она предусмотрительно оставила дверь приоткрытой, чтобы в случае чего шмыгнуть назад. И вот Алиса Кич. Я был уверен, что она была глубоко верующей: замужество для нее в самом деле означало «...что Бог сочетал, того человек да не разлучает»[42]. И не забывайте — был 1920 год, мы жили в другом мире.

Так все и шло, так и будет идти, пока я не уеду. Потом год-два мы будем обмениваться на Рождество вежливыми открытками, а потом нас будет уносить друг от друга все дальше и дальше. Но сейчас она была здесь и, не ведая того, принадлежала мне. Мне хотелось так думать.

Она приходила теперь каждый день, без сомнения понимая, что скоро мы с Муном уедем и Оксгодби опустеет. Мы стали болтать более непринужденно. Она узнала о Винни, о том, какая бестолковая была

[42] Евангелие от Матфея, 19, 6.

у нас жизнь, та, что, видно, пошла прахом. Мы даже о ее парне поговорили и о том, что, как это ни смешно, он по-прежнему мне очень даже нравится.

— Не понимаю, как можно над этим смеяться, мистер Беркин,— сказала она.

— Два месяца назад я ни за что бы не смеялся,— ответил я.— Это все Оксгодби. Если ей понадобилось уйти к нему, почему бы нет? Я ей не тюремщик. Мы толком не знали друг друга, когда поженились. А кто знает? Если уж серьезно, кто как следует знает друг о друге все даже после двадцати лет совместной жизни? Мы ведем себя так, как считаем нужным, потому замужество — это как та игра в отгадку, где один что-то загадывает, а другой может говорить только «да» и «нет», верно? Ну а если другой не утруждает себя отвечать ни «да» ни «нет» —игра стопорится.

Но она не поддержала эту тему. Она рассказала о своих школьных годах в Гэмпшире, о том, какие близкие отношения у нее были с отцом, она всюду с ним ездила, потом он умер, а через год вышла замуж. И на этот раз я изменил тему.

Помню, как она пришла ко мне на следующий день после моей поездки в Рипон. У меня не выходило из головы то, что я узнал про Муна.

— Вы, по-моему, меня не слышите, мистер Беркин! — крикнула она.— Хотите, я вам спою?

И она начала, великолепно имитируя грубый йоркширский выговор:

Распят за на-а-ас,
Распят за на-а-ас,
Агнец предостойный распят за нас...—

не выдержала, захихикала, потом — дивные переливы смеха.

— Тише,— сказал я.— Сейчас самое трудное. Надо сосредоточиться.

— Значит, вы не работаете?

— Конечно, работаю. Я смотрю на нее. Нельзя спускать с нее глаз, как бы чего не вышло. Возьмет и снова исчезнет, и ваш муж не успеет удостовериться, что деньги его потрачены не зря.

— Не надо, пожалуйста! — сказала она.

— Вы правы, простите! Глупость сморозил!

— Мой муж...— начала она и немного помолчала. Снова начала:— Артуру в деревне нелегко. Он очень искренний. Он считает, что подальше к югу мы лучше бы прижились. В Сассексе у него брат и сестра...— Это был крик о помощи.— Мне нравятся местные жители,— продолжала она,— но не уверена, что они нас любят. Мы здесь чужие.

— Ну что вы,— сказал я.

— Думаете? Правда?

— Я уверен, многие будут жалеть, если вы решите отчалить.

— Отчалить?

— Ну так говорят, когда семья переезжает. Очень милое слово. А у уэслианцев вы просто успехом пользуетесь,— сказал я, чувствуя, что она нуждается в поддержке.— Миссис Эллербек говорит, что вы очень привлекательная. Ну что вы на это скажете? Услышать такое от другой женщины?!

— Привлекательная! — повторила она, будто ей подобное и в голову не приходило, будто ей никто этого не говорил.

Я подошел к краю настила и посмотрел вниз.

— Вы в самом деле привлекательная,— сказал я.

— Привлекательная? — повторила она беспомощно. Многие женщины не удержались бы от этого вопроса, заходя не слишком далеко, но достаточно далеко, оставляя путь к отступлению, чтобы уйти целой и невредимой.

Ладно, Алиса Кич, по-моему, на тебя надо поднажать. Ты тоже можешь лежать в темноте без сна.

— Многие мужчины назвали бы вас не просто привлекательной,— сказал я.— Они назвали бы вас красивой. (Я удержался, не сказал «я».)

— О,— сказала она и испуганно глянула в поисках защиты на Летицию, выкарабкивающуюся из катафалка, зная, что спасение — вне этих стен, но не зная, как достойно отступить. Тогда она мобилизовала все силы и нанесла ответный удар.— А вы? — сказала она.

— Я! Ну я не художник, но мне в архитектурном дали диплом со стопроцентной гарантией, что я распознаю Красоту, едва на нее упадет мой взор. Так что, будучи профессионалом, могу заверить вас — да, вы красивы. Очень.

И позволь она себе зайти чуть-чуть подальше, подай мне знак, я бы тут же перечислил все ее чары — подробнейшим образом! — ибо кровь моя кипела. Delectissima, amantissima!

Но вмешалась судьба в идиотском обличье Моссопа.

— А-а, мистер Беркин!— завопил он.— Слыхать, к концу подобрамши, а насчет платы как?

— Вам перевести, миссис Кич? — крикнул я вниз.

Но она ушла.

Vale!

Не знаю, что сказала Алиса Кич своему мужу, но день он свой начал с прихода в церковь, где я его застал, вернувшись после завтрака с Муном.

— Моссоп говорит, работа закончена,— сказал он, не дав мне переступить порог.— Да я убедился, что закончена. Очень хорошо. Итак, душеприказчики поручили мне провести окончательный расчет. В конверте деньги. Тридцать фунтов пятнадцать шиллингов, как договаривались.

Раньше была белая, слепая стена, а теперь не слепая. Раньше торчали леса, у него на колокольне жил кто-то, кому пора сматываться. Господи, что ему было до мук творчества. Мы — давно умерший автор фрески и я, претерпевший столько, чтобы его фреска снова проступила на свет божий... Мы оба ровным счетом ничего для него не значили. Вот почему я сказал ему, что леса мне понадобятся еще на несколько дней.

— Но ведь работа закончена,— сказал он.— И расчет произведен.

— Это вы сказали, что закончена,— ответил я.— И я не просил производить со мной расчет.

— Вы брали несколько выходных,— сказал он.— Целый день провели в поле во время жатвы, другой — с уэслианцами, да и еще несколько раз я наведывался, а вас тут не было.

— Послушайте,— сказал я резко.— Мне платят не сдельно — и это вам крупно повезло, а не мне. Работа не кончена.

— Я велю разобрать леса,— сказал он упрямо.

— Правда? — сказал я.— В таком случае я поставлю в известность душеприказчиков, что вы мешаете мне выполнить условия контракта, и, без сомнения, это будет для них спасительным предлогом не тратить на вас ту тысячу фунтов, что мисс Хиброн оставила церкви — условно.

Он понял, куда я гну, а я этого и добивался.

— Я не хочу ссориться с вами, мистер Беркин,— сказал он.— Вы ведь недолго здесь задержитесь, хотите, чтобы леса еще несколько дней постояли, пусть постоят. Не сомневаюсь, вас не затруднит сообщить, когда я смогу попросить подрядчика разобрать их.

Мы молча смотрели друг на друга в течение нескольких минут. Я успокоился, хотелось только, чтоб он поскорее ушел. Но когда он заговорил, как это ни странно, он в точности повторил слова своей жены.

— Мне нелегко,— сказал он.— Я не всегда был таким, ну, каким я, может, кажусь.

Я старался прикинуться, что не понимаю, о чем он, но мне не удалось, зато удалось изобразить изумление тем фактом, что находятся типы, которые не видят, какой он отличный, энергичный праведник, чтимый приходом и достойный славного восхождения к лику святых и даже выше. Снова я потерпел неудачу, потому что он улыбнулся. Бледненькой такой улыбочкой, но все же.

— Я знаю, что вы обо мне думаете. И Мун тоже. Просто хотите так обо мне думать, верно? Вы себя настроили.

Мне стало, мягко говоря, неловко. Отчасти оттого, что всегда неудобно, когда кто-то, кого не очень-то любишь и даже очень недолюбливаешь, пытается обжаловать вынесенный ему приговор. А отчасти потому, что он был прав: мы действительно отвели ему роль мрачного кассира и только и ждали, чтоб он ушел и подольше не показывался.

— Мне нелегко,— повторил он.— Англичане не глубоко религиозные люди. Даже из тех, кто часто ходит в церковь, многие делают это по привычке. Они причащаются легкомысленно и небрежно, я еще не видел человека, у которого бы волосы дыбом вставали от мысли, что ему предстоит вкусить крови своего умирающего Господа. В День осеннего Благодарения или на всенощную под Рождество в церкви очень много народу, но это лишь языческое прощание с уходящим сезоном, не более. Я им не нужен. Меня ждут только на крестинах, свадьбах, похоронах. Особенно на похоронах, я для них подрядчик, который благополучно их переселит на другое место жительства.— И он горько засмеялся.— Я наскучил вам, мистер Беркин,— сказал он.— Вам тоже я не нужен. Вы вернетесь туда, откуда приехали, здесь вам открылось то, что глубже веры, то, о чем вы не можете говорить, но чего никогда не забудете, то, что составляет суть религии. И при всем при том, пока вы были здесь, стоило мне подойти к вам, вы сообщали, что погода прекрасная, кивали, говорили, что работа продвигается и что вы чудно устроились. Вы только и ждали, когда я уйду.

Вечером, по дороге из «Пастухов», я рассказал Муну, что приходил Кич.

— Да, я его понимаю, старик,— сказал Мун.— В конце концов, там его рабочее место, а ты треть площади занял. И к тому же он прав, ты ведь уже закончил...

Он не дал мне возразить.

— Ладно тебе. Конечно, закончил. Прекрасно знаешь, что, если бы захотел, в полдня бы управился. Достаточно на тебя посмотреть, не говоря о стене. Неделю целую кружишь, как пес какой хвост задрамши (даже Моссоп просек). Так и каждый бы на твоем месте, кто семь потов спустил, а трудную работу вытянул. Но вовсе не эта работа у тебя на уме. И не можешь же ты ее растянуть навеки.

— Я не нуждаюсь в твоих наставлениях,— сказал я.

— Да бога ради,— сказал он раздраженно.— Я и не собирался тебя учить, сам знаешь, вредный ты тип. Я ведь про Оксгодби, про твоих друзей, про изумительное лето, про твою великолепную работу. И мало ли про что. Отхватил вкусный пирог — и радуйся, чего без конца пережевывать. Грустно, но что поделаешь! Вот увидишь, только завернешь за угол — и открывается новый вид, может, даже получше.

Он испытующе смотрел на меня.

— Слишком хорошо окопался, а? Эллербеки... Алиса Кич...

— Ну а ты?— спросил я.

— Да и мне давно пора мотать. Я даю тебе пару дней, чтобы оглядеться. Между прочим, не сегодня завтра осень наступит — я носом чую: лето еле теплится.

— Но ведь ты не сделал того, за что тебе заплатили.

Он засмеялся:

— А сделал бы, мы бы не познакомились, верно? Я сделал то, за-

чем лично я сюда приехал, осталось только все описать, а уж это в другой раз. А теперь, без шуток, наступил черед Пирса, уверен на сто процентов, что незабвенная мисс Хиброн на ветер свои деньги не выбросила.— Он усмехнулся:— Честно говоря, я выжидал, пока у тебя уже не будет предлога не помогать мне. Завтра или никогда, старина. Спокойной ночи.

Перед тем как лечь спать, я встал у окна. Мун прав: первое дыхание осени было разлито в воздухе — и щедрое чувство, стремление схватить, удержать ускользающее, пока не поздно.

Наутро он разбудил меня криком, что пора завтракать. И когда мы ели, он показал мне то, что он назвал Волшебной палочкой Доутвейта,— длинный стальной прут, очень острый на конце, который ему сделал кузнец. И мы отчалили с молотком для подковки лошадей и картонной коробкой.

— Простых людей отправляли на тот свет в саване,— сказал он.— Из чистой шерсти, о чем указано в парламентском акте, чтобы поддержать торговлю. Но мой старик тянул на каменный ящик. Вот почему нам нужна Волшебная палочка Доутвейта: будем делать шурф.

Он все предусмотрел, и мы заняли самые выгодные позиции — у впадины на лугу, о которой он мне говорил в первый день нашего знакомства, в расстоянии шага от стены с юга.

— Ближе к алтарю они его положить не могли, я все промерил. Да, человек живет надеждой. Твоя очередь! Вставай на коробку и не гни мне мою палочку.

Знаете, как здорово наблюдать профессионала за работой, если умеешь смотреть?! То есть — как здорово понаблюдать за тем, кто свое дело знает. Потом ты на него смотришь другими глазами. И таким я Муна видел первый раз. Как ни странно. Он не делал ни одного лишнего движения. Первый ход! Он поручил мне дурацкую работу: я должен был вбивать его прут до тех пор, пока он не войдет, как Мун выразился, в зону вероятности. Потом он стал, чуть осторожнее, вбивать прут и после каждого удара прикладывал ухо к земле, прислушивался к вибрации.

— М-м-д-а,— сказал он.— Боюсь, это гораздо глубже, чем хотелось бы.— И снова стукнул. Прут задрожал со скрипом.— Ладно, давай помечу его мелом на уровне земли, потом вытащим его и попробуем рядышком, во все стороны.

На фут западнее прут прошел глубже отметки, не задрожав, не заскрипев. На фут к востоку мы снова уткнулись в камень, потом попробовали еще на фут восточнее.

— Просто отлично, старина,— сказал Мун, потирая руки,— это лишний раз доказывает, как крепка память народная, пусть это будет тебе уроком: Моссопов надо уметь слушать. Дело в том, что я беру лопату, а тебе, в знак моего уважения, поручаю срыть первый слой. В пиратских историях никогда не знают наверняка, нашли ли клад, пока не увидят его. Но я с полной уверенностью заявляю тебе и всему ожидающему человечеству, что Пирс лежит на глубине лопаты.

— Ну что, дрожишь от волнения? — спросил он.— Роешь ведь там, где рыли пятьсот-шестьсот лет тому назад! Нет? А я человек простой, считаю, что это так же увлекательно, как расчищать твою стенку. Ну, конечно, конечно, это я загнул. Ты, как прочие, так воспитан, что ждешь от жизни пышных сюрпризов. А мы, землеройщики, люди неиспорченные, малейшее отклонение в оттенке почвы — и в нас взыгрывает адреналин. Остановись, мой друг, даже ты мог бы заметить, что ты швыряешься землей, которая должна бы находиться на три штыка глубже. Великолепно!

Очень трудная была работенка, и я был весьма доволен, когда Мун опустил прут в яму и велел мне вылезать.

— Ты проявил себя истинным английским тружеником,— сказал он.— Моссоп сказал мне по секрету, что скоро перестанет рыть могилы, что входит в круг его обязанностей,— в связи с ревматизмом, уменьшением числа клиентов и нищенской оплатой. С его поддержкой и с моей рекомендацией, считай, место твое, только попроси. До седых волос в Оксгодби проживешь.

Он залез в яму, встал на четвереньки и начал, осторожно просеивая землю, складывать ее в мешок из-под плотницких инструментов, который я время от времени должен был поднимать. Просеет — сложит, просеет — сложит.

— Давай пошевеливайся,— торопил я его.— Мы тут, чего доброго, целый день проторчим; в конце концов, если очень повезет, найдем кости старого мерина.

— А мы и будем целый день,— ответил он.— Сюда примерно все и попадало. Ну же, поднапрягись, представь — вот твой мужичок по дороге домой из лесу с дровами, вот он остановился, огляделся. А вот гляди! Что-то из кармана у него и выпало. А чуть пониже — скорбящий брат над могилой бросил последнюю горсть земли, в знак последнего прощания. Кто-то же его любил! Кому как не тебе — ведь ты недели провел с ними наверху — следовало бы жить средневековьем!

Так мы сидели в своей яме, пока не выбрались на солнышко перекусить хлеба с сыром и вздремнуть. Потом снова вниз. По дороге домой с поля завернул Моссоп и с недоверием глянул в яму. Мун объяснил, что роет себе могилу, поскольку абсолютно уверен, что умрет в ближайший выходной, а Моссоп, заметив, что мы, южане, немного того, с придурью, пошел своей дорогой. Кейти Эллербек пришла, преподобный Дж. Г. Кич пришел, с полдюжины парней приходили, мистер Доутвейт заглядывал, притащилась безумная миссис Хигарти, волоча свой разваливающийся стул-коляску. Но они увидели только дыру, которая уходила все глубже и глубже, и удалялись в печали.

Когда Мун нашел, как он клялся, костяную пуговицу, мы сочли, что это знак небес о том, что пора поесть пирожков со смородиной, которые мне прислала миссис Эллербек.

— Пятнадцатый век!— кричал он.— Мы у цели!

Но пока он не выкурил трубку, он не спешил.

— Ладно!— сказал он.— Спокойно! Что бы там ни лежало, оно лежало достаточно долго и никуда не убежит в ближайшие двадцать минут.

Было около шести вечера, когда он дал сигнал к последней пробе, выбросив наверх в мешке свои башмаки и носки; он уже не мог совладать с волнением и просеивал землю с такой скоростью, так фантастически быстро, что камень буквально бросился в глаза. Резная рукоятка, изящно вправленная в каменные завитушки, на выпуклой крышке, в изголовье — рука, держащая причастную чашу, на краю облатка.

— Думаю, здесь должно быть имя!— крикнул Мун.— Я сотру грязь. Нет, лучше вымою. Вылезай, неси мне чайник.

Смочив и промыв камень, он задумался, раскачивая головой.

— Ну?— спросил я.— Говори же! Это Пирс или нет?

Не отвечая мне, он вылез и сказал:

— Имени нет. Было бы просто невероятно, если бы оно тут оказалось. Просто «Miserrimus» — «Я, несчастнейший изо всех людей», так, наверно, можно это перевести. Господи, они действительно имели зуб на беднягу. Но почему, почему, почему? А, да что там. Боюсь, мы никогда не узнаем ответа.

Потом он принес фотоаппарат и сфотографировал свою находку во всех ракурсах.

— Для печати!— вскричал он.— На тот случай, если мне понадобится работа в университете. Им плевать, какой ты специалист, главное, чтоб опубликовался...

— Слушай,— продолжал он.— Давай-ка заглянем внутрь, потом

уж ты слетаешь к полковнику, заставишь его подписать счет за своего предка. Осталось только поднять крышку на несколько дюймов. Мы вдвоем справимся.

Мы спустились в яму, я толкал, а он тянул на себя, пока огромный камень не поддался. Мы заглянули внутрь. Ничего пугающего или даже печального нет в давно умершем, просто разрозненные коричневые кости и немного пыли. А на что еще мы могли рассчитывать спустя пятьсот лет?! И все равно это страшно возбуждает — шутка ли, первыми увидеть то, что так долго было скрыто, и Мун, приблизившись вплотную к отверстию, легонько дунул. Поднялось облачко пыли.

— Саван!— пробормотал он.— Потом он сказал:— Назвался груздем, полезай в кузов. Давай вдвоем поднатужимся и поставим ее к стенке ямы.

Так мы и сделали, крышка тронулась с места, мы передвигали ее дюйм за дюймом, пока не увидели разрушенный скелет. Присев, мы стали его разглядывать.

— В прекрасном состоянии! Просто первый сорт,— шептал Мун.— Наверно, воздух не поступал. Но посмотри-ка на третье ребро.— Он еще ниже нагнулся и дунул.— Ага!

Из-под ребра выскользнуло что-то металлическое, он осторожно выудил с помощью карандаша цепочку.

— Да, да, полумесяц! Так вот почему его не разрешили хоронить в церкви. Он был мусульманин. Схвачен в плен во время похода и потом обратился в другую веру, чтобы спасти свою жизнь! Господи! Представляешь, что поднялось, когда он снова появился в Оксгодби! Интересно, что скажет на это полковник? — И он насмешливо посмотрел на меня.— Да, жаль! Но, как говорится, не тронь лихо, пока спит тихо, особенно если тихо спит еретик.

Он освободил цепочку, разомкнул одно звено и завернул ее в носовой платок. Потом выбрался из ямы, вытащил стальной метр и, как ученику портного, велел мне выкликать размеры.

— Ну, теперь слетай к Кичу,— сказал он.— А я — к полковнику, мы устроим показ номер один. Потом мы положим на место цепочку и тем самым сохраним Пирсу его репутацию такой же незапятнанной, какой она была. Но сначала мы заберемся по твоей лестнице наверх и глянем на его лицо, пока оно не исчезло снова.

Знаете, до той минуты мне и в голову не приходило, что этот мешок с костями — мой падающий человек.

На следующий день была суббота, и теперь, поскольку с Муном мы кончили, я решил завязывать и со своей работой. Я послал записочку, что не смогу судить в Стипл Синдерби, и, поработав все утро, спустился вниз около двух часов дня. Я жевал хлеб с сыром на дворе, втайне надеясь, что Мун где-то поблизости. Но он так и не появился, а потом оказалось, что он уехал в Йорк утренним поездом.

Устроившись на надгробье Элиа, я поел и выкурил сигарету, а потом заснул, вытянувшись на теплом камне и подложив руку под голову. Проснувшись, я увидел Алису Кич, которая, должно быть, уже давно пришла, потому что она улыбалась.

— Я так и поняла, что найду вас здесь,— сказала она,— когда не увидела вас с нашими игроками в крикет у «Пастухов». Я принесла вам яблок. Это — пиппин, они тут хорошо плодоносят, я помню, вы говорили, что любите твердые яблоки.

Поговорили о яблоках. Похоже, ее отец был в них большой знаток. В Гэмпшире у них был огромный фруктовый сад, он там выращивал очень много разных сортов, он и ее научил в них разбираться.

— Прежде чем откусить, он, бывало, понюхает яблоко, покрутит в ладонях, потом руки понюхает. Потом постучит по яблоку, ощупает,

как слепой. Иногда и мне давал с закрытыми глазами откусить и определить, какой сорт.

— Надо было отличить д'Арси спайс от Кокс оранж?

Она засмеялась.

— Нет, это совсем просто, все равно что соль от перца отличать. Я о яблоках, очень похожих по форме, вкусу и запаху. Вроде, ну, скажем, Козет рейн и Душистый ранет. Я специалист по яблокам. Я, по-моему, только один экзамен могла бы сдать — по яблокам.

И вдруг ни с того ни с сего она спросила, можно ли ей посмотреть, как я живу, и мы поднялись.

— Ах, вот откуда вы шпионили за нами во время воскресной службы? — сказала она, просовывая голову за мою капитель и заглядывая вниз.— Какое мы, должно быть, представляем вдохновляющее зрелище!

Я сказал ей, что она была в полной безопасности — я видел только ее шляпку.

— Светлую, соломенную,— сказал я.— Это моя любимая. Особенно когда вы розу к ленте прикалываете.

— Розу! Позвольте напомнить вам, сэр, что Сара ван Флит — не какая-нибудь заурядная роза. Жаль, что поздно сказали. Если бы я знала, я бы каждое воскресенье ее надевала. Артур, по-моему, и не замечает, что я ношу.

Потом она повернулась и подошла к противоположному окну. Какое-то мгновение стояла молча. Потом спросила:

— Значит, мистер Мун нашел все-таки?

А почему бы и нет?— подумал я. Все равно это будет опубликовано. Я рассказал ей о его успехах и наклонился, чтобы показать то место, где стояла англосаксонская церковь. Она тоже повернулась и коснулась меня грудью. И хотя мы оба смотрели через луг, вперед, она потом отодвинулась от меня не так быстро, как могла бы.

Мне бы руку поднять, обнять ее, повернуть к себе, поцеловать. Такой уж был день. Она потому и пришла. И все бы было по-другому. Моя жизнь, ее. Мы сказали бы друг другу все, что накопилось, а потом, может, отошли бы от окна и легли бы вместе на мою самодельную кровать. А потом мы уехали бы, может, ближайшим поездом. Сердце мое бешено стучало. Я не дышал. Она прислонилась ко мне, ждала. А я не пошевельнулся, не сказал ни слова.

Она отстранилась и вымолвила нетвердо:

— Спасибо, что показали. Мне пора бежать. Артур будет беспокоиться, не стряслось ли чего со мной. Нет, пожалуйста, не провожайте.

И она ушла.

Я часа два, наверно, сидел один, на полу, прислонясь к стене колокольни. Слыхал, как Кейти Эллербек звала меня снизу, но не ответил, и та ушла.

На следующий день, в воскресенье, она не пришла в церковь, а у меня не было сил видеть Муна, священника или Эллербека, и я пошел в поля, но не по тропкам, а где через калитки, где через ограды, брел на запад. Я никогда здесь не был раньше. В воздухе стояли тепло и спелость. Осень горела над Вейлом, березы пылали, как факелы, спала дымка зноя и проступили отчетливые контуры кустов, деревьев, коров, пасшихся у края поблекших полей. Хоть мне и не хотелось с этим смириться, но я знал, что все это мимолетно.

Чудесные дни подходили к концу.

Я вернулся в темноте, так поздно, что в окнах погасли огни. И все равно я знал, что мне не уснуть, я повернул за палаткой Муна и пошел по подъездной аллее-туннелю к дому священника. Я вышел на дорожку вокруг дома и остановился перед домом; над деревьями встала луна, заливая всю сцену светом. Окно спальни было открыто, и на минуту

мне показалось, что возле него стоит Алиса в ночной рубашке, что она увидела меня и машет рукой.

Нет, это просто была занавеска, подхваченная ночным ветерком.

Не знаю, на что я надеялся, сколько там стоял, не помню, как вернулся на колокольню, как лег спать. Я иногда думаю: может, все это мне приснилось?

Утро следующего дня я просидел у себя на верхотуре — прямо на полу, привалясь к одной стене, уставясь в противоположную. Один раз меня позвал Чарльз Мун, то и дело в церковь кто-то заходил (но не она). К вечеру я взял себя в руки. Что ж, подумал я, существует же для большинства из нас вторая попытка, может, она меня ждет там, а я здесь сижу.

Но, подойдя к аллее, я с трудом заставил себя идти дальше, остановись я — тут же повернулся бы и ушел. И вот наконец я на этом уродливом крыльце, в шаге от дверей, дыхание перехватило, будто бежал.

Почему всегда знаешь, что в доме никого нет? В этом доме никого не было, я это знал. Еще до того, как никто не ответил на мой стук, еще до того, как я наклонился к прорези, куда бросают почту, и заглянул внутрь, в такую непроглядную темень, что только по памяти смог восстановить каменные плиты коридора, закрытые комнаты, голые ступени лестницы.

Их там нет, подумал я. Они уехали. И я отошел от двери.

Потом вспомнил о колокольчике, о его тонкой ручке, выглядывающей из отверстия в дверном косяке, о ржавой проволоке, уползающей в темноту и молчание. Я дернул за нее, услышал сначала скрежет, потом вдалеке, в глубине пустого дома, звякнул колокольчик — он нарушил тишину и через мгновение стих. Да, там, где-то высоко на стене, он, верно, еще дрожит, как живое существо.

Не пойму, что случилось со мной? Обезумев, схватил ручку и начал дергать ее без передыху — по коридорам, закоулкам, лестницам, отдаваясь эхом, прорезая темный и пустой дом, зазвенел колокольчик, как переливы ее смеха. Но я уже знал: этот смех доносится до меня из прошлого — чистый, веселый и все-таки мучительно грустный. Это был самый тяжкий момент в моей жизни.

Я дергал и дергал проволоку, неистово, отчаянно. Не помню, долго ли, но когда, наконец, я пошел прочь, я знал — мне ее больше не увидеть.

Я кое-как промаялся до конца дня, а ночью поднялся ветер, хлестал по ветвям рябины, налетал на церковную башню с такой силой, что впервые за те дни, что я там жил, надо мной загудел колокол. Слабенький, тощий звук слетал с его краев. В полузабытьи я гадал, к чему б это звонит колокол, а утром мне это припомнилось просто как ночной звук.

Наступил один из удивительных светлых дней, какие выпадают после непогоды. Деревья совсем облетели, чернели голыми остовами, а листья лежали кучами возле изгородей домов. Дети играли листьями, подбрасывая пригоршнями в воздух, повизгивая, как купальщики на море. Я увидел крышу, стены и сады, раньше от глаз прятавшиеся. Это было так же странно, как в первый раз увидеть карту местности, которую ты вроде бы знал и вот обнаруживаешь новые углы и дыры.

Я долго смотрел вниз из окна. Лето и осень ушли. За ночь год перевалил в другой сезон. Во дворах и садах люди прибирались, жгли мусор, подрезали кусты, укрепляли заборы, вычищали сточные канавы. Они выходили, подчиняясь естественному ходу вещей, как ласточки пристраиваются на телеграфных проводах, а ежи внюхиваются в листву под живой изгородью, устраиваясь на зимнюю спячку. Они поступа-

ли так же, как их предки, мужчины и женщины на моей фреске — готовились к зиме, как к атаке врага.

В то утро я получил свое первое письмо. Бог ее знает, откуда она разузнала мой адрес — письмо от Винни, она звала меня вернуться домой. Там много чего было понаписано, но смысл сводился именно к этому — она звала меня домой. У меня не было иллюзий. Она снова сбежит, а потом снова вернется. И никуда я не денусь.

Прочитав послание, я сложил свои пожитки, все, кроме моего сногсшибательного пальто. Я оставил его на гвозде для Моссопа, оно ему определенно приглянулось, он не раз им восхищался, а мне больше нечего было ему подарить. Потом я спустился и оглянулся. Старушка Бэнкдем — Кроутер сейчас отдыхала, может, как раз и наступила пора раскочегарить ее и уйти — средь грохота, дыма и искр? Потом я прошел под южную арку посмотреть в последний раз на последнее «прости» неутешного мужа Летиции:

"Ah, amantissima et delectissima. Vale".

И подумал: верно, к лучшему, что ты так рано удалилась, едва ли все это длилось бы долго.

Последнее, на что я бросил прощальный взгляд, остановившись под лесами, была фреска, полускрытая тенью. По правде сказать, ничего особенного не чувствовал. Наверно, не больше, чем каменщик, перед тем как уйти и класть стены нового дома. Раньше тут была серая стена, а теперь — фигуры и краска.

Я надел рюкзак и вышел во двор. Хотя шел уже десятый час, трава стояла мокрая от росы, а в воздухе висела паутина, согнанная ветром с кустов и вереска. Все как прежде — поле, высокие леса, даже свернувшаяся кошка. Она злобно посмотрела на меня, когда я скинул петельку с ворот, чтобы пойти через луг попрощаться с Муном перед тем, как отправлюсь на станцию и к Эллербекам. Потом (не пойму отчего) безразличие мое прошло, и я понял — что бы ни происходило со мной в эти месяцы в деревне, я прожил их рядом с великим художником, тайным товарищем, делившим со мной долгие часы трудов в полусвете над аркой. И я вернулся и снова поднялся по лестнице — взглянуть в последний раз. И, стоя перед огромным пространством цвета, я чувствовал знакомое, покалывающее волнение и уверенность, что наступит день и час, и кто-то неведомый вот так же будет стоять тут и все поймет.

Так же кто-то приходит в Молверн, тихий Молверн, и останавливается, сраженный мыслью, что Эдуард Элгар [43] ходил этой дорогой давать уроки музыки, или же, глядя на Кли Хилс, думает, что Хаусман тоже стоял когда-то на этом месте, тоскуя по своему краю утраченной радости. И в такие минуты у кое-кого из нас всегда будет бешено биться сердце, потому что мы будем думать: бесценное мгновение ушло, и нас там нет.

Как бы мы ни просили, нам никогда не вернуть того, что казалось нашим навечно — то, как все это выглядело, одинокая церковь в поле, постель на полу колокольни, голос, который не забыть, любимое лицо. Все ушло, и остается ждать, когда уйдет боль.

Все это случилось давным-давно. Я не был там больше, не писал, никого не встречал, кто рассказал бы мне, что новенького в Оксгодби. И в памяти все как было, когда я уходил,— точно опечатанная комната, комната прошлого, недвижная, тихая, и чернила давным-давно высохли на оставленной ручке.

Но ни о чем таком я и не подозревал, когда снимал петельку с ворот, чтоб уйти через луг.

Стоккен, Престейн
Сентябрь, 1978

[43] Сэр Эдуард Элгар (1857—1934) — английский композитор.

ЙОРДАН РАДИЧКОВ

Образ и подобие

ХРОНИКА

Перевод с болгарского Н. ГЛЕН

Действующие лица:

1. Король Ричард III.
2. Дровосек, позже — король.
3. Серая тога, королевский советник.
4. Белая тога, королевский советник.
5. Оранжевая тога, королевский советник.
6. Голубая тога, королевский советник.
7. Желтая тога, королевский советник.
8. Зеленая тога, королевский советник.
9. Боженька, гончар.
10. Сатана, кочегар, подручный Боженьки.
11. Первый верноподданный.
12. Второй верноподданный.
13. Первый переносчик земли.
14. Второй переносчик земли.
15. Садовник (королевский садовник).
16. Женщина, которая едет на воды.
17. Девушка, племянница Женщины.
18. Недовольный подданный.
19. Калека.
20. Горбатый подданный.
21. Глухонемой подданный.

Группа хлебопеков, группа дровосеков, группа китайцев, группа мусульман, группа негров. Солдаты, подданные, глотатели огня, фокусники, торговцы, укротители змей, барабанщики, знаменосцы, негритянский балет.
Еще участвуют: Королевский трон, Глобус, Гончарный круг, Глиняный кувшин и только что посаженное Деревце.

Сцена первая

Авансцена. Занавес закрыт. С одной стороны появляется оборванный Дровосек, который дергает тянущуюся за ним веревку. Он останавливается и начинает из клочка газеты скручивать цигарку.

Дровосек. Эй, коняга!.. Вишь жарит до чего, глядишь, еще и дождь в дороге нас застанет! И лесосека чертова далеко!.. Когда еще туда мы доберемся!.. А я охапки сена с собой не прихватил. Господские косари такого сена накосили, такие стога наметали! А я, бедняк, да и дурак в придачу, одной охапкой сена господского и то не поживился! *(Вытаскивает огниво и кремень, бьет огнивом по кремню.)* Но где уж мне, коняга, поспеть и за дровами, и за сеном! Небось, руки-то две, не сто пар рук!.. Ах, чертов трут! Варил его в моче, в золе варил, и все равно никак! А ну, коняга, н-но! Довольно прохлаждаться! Н-но! Н-но, дорога впереди длинная!

Король Ричард (*выбегает с другой стороны*). Коня! Коня мне дайте! Корону за коня!

Дровосек. Ваша светлость, из чьих будете? И что с вами стряслось?

Король Ричард. Я король Ричард... Предлагаю королевство за твоего коня!

Дровосек. Но, Ваша светлость, я за дровами еду, на лесосеку! Если я уступлю вам коня, мне придется дрова на своем горбу тащить. Без коня мне и на хлеб себе не заработать!

Король Ричард. О боже!.. Несчастный, что ты говоришь! Какие дрова собираешься ты тащить на своем горбу, когда все королевство вместо тебя будет рубить дрова!.. Не упускай своего счастья, бедный человек, отдай коня! За эту клячу я королевство уступлю тебе!

Дровосек. Ваша светлость, извините за любопытство! Вы давно этим обменом занялись?

Король Ричард. Уж и не помню, с коих пор скитаюсь! Охрип совсем, пока пытался за королевство получить коня, и все без толку, безумцем всюду меня провозглашали. «Вот как? — в глаза мне говорили наглецы.— Цена-то сходная, да, к сожаленью, ни одного коня в конюшне нет». И всякие болваны смеялись надо мной, хотя они-то сами, когда одни, когда с дружками, десятки королевств уж разорили. И продавали их не то чтоб за коня, пустые головы и сукины сыны, а продавали, глазом не моргнув, за чечевичную похлебку, за одну тарелку. За табака понюшку продавали, за ничего, за шиш, по прихоти ничтожества любого, именовавшего себя величеством, но ни один из этих прохиндеев не пожелал доселе королевство мое взять за коня... Счастливый жребий тебе, бедняк, достанется, если отдашь мне своего коня. Счастливый жребий — ведь королевский герб вместо заплаты твою одежду будет украшать... Дай мне коня, отдай же, уступи! Избавившись от этой тощей клячи, по-новому ты заживешь! Ведь вы же оба, ты и конь, замучились совсем!

Дровосек. Вы правы, Ваша светлость, так оно и есть!.. Возьмите моего конягу, раз до того вам захотелось. Не забывайте подсыпать овса ему в торбу, и, я ручаюсь, он будет верно вам служить. Желаю вам удачи с моим конем! *(Подает ему веревку.)*

Король Ричард (*берет веревку*). И тебе, бедняк, удачи с короной королевской... До свиданья!

Дровосек. До свиданья! Счастливого пути! (*Слышится конское ржание, удаляющийся стук копыт.*) Королевство за коня... Неужто в самом деле?.. Может, мне приснилось?

Слышатся тихие звуки шарманки. Дровосек поворачивается, готовый идти на сцену.

Сцена вторая

Медленно открывается занавес, звучит шарманка. В глубине, в центре сцены — королевский трон, слабо освещенный. Через спинку переброшена королевская мантия, с одной стороны к трону прислонен скипетр, на сиденье лежит корона. Ступая на цыпочках, Дровосек делает два-три шага и оглядывается. Крестится.

Дровосек. Я — король!.. Не может быть!

Делает еще несколько шагов, все так же на цыпочках. Идет по сцене в одну сторону, осторожно заглядывает за кулисы, возвращается, идет в другую сторону, тоже заглядывает за кулисы.

Дровосек. Эй, есть тут кто-нибудь?.. Никого!.. Не обманул ли меня тот незнакомец? *(Осторожно приближается к трону.)* Нет, не обманул! Похоже, это и есть королевский трон... Да, да! Ну просто трон, и все тут!

Обходит трон, прячется за него, потом высовывает голову из-за трона. Освещение усиливается. Он оглядывается, выходит из-за прикрытия, стучит по трону пальцем. Вздрагивает, отступает назад, крестится. Снова оглядывается, собирается с духом и снова подходит к трону. Протягивает руку к скипетру. Осторожно берет его и держит как палку. Опирается на него, закидывает на плечо, потом за спину, придерживает его сзади двумя руками. Словом, держит скипетр так, как любой дровосек держал бы дорожную палку. Кладет скипетр и берет мантию. Закутывается в нее.

Дровосек. Неплохая бурка. Тонковата, правда, но здесь не дует!

Прохаживается перед троном, снова останавливается. Подходит к трону вплотную, поворачивается спиной и садится, но садится на самый краешек, так что тут же съезжает на пол. Мантия падает с него, он поспешно вскакивает и испуганно таращится.

Дровосек. Хорош король, ничего не скажешь!

Двумя пальцами поднимает мантию, как будто держит за хвост дохлую мышь, и вешает на ручку трона. Поворачивается к трону спиной и снова садится, но так, чтобы в любую минуту можно было вскочить. Постепенно усаживается удобнее, хотя все еще на краешке трона. Освещение усиливается. Дровосек пытается сесть поглубже и поудобнее, но вдруг приподымается, оглядывается и вытаскивает из-под себя корону — оказывается, он нечаянно сел на корону. Надевает ее на голову и тут же снимает. Охваченный воодушевлением, вскакивает с трона.

Дровосек. Я король!.. Поверить страшно!

Снова садится, легонько отодвигает корону, осторожно надевает ее, снова снимает, накидывает на себя край мантии. Берет скипетр, ставит его между колен, старательно надевает корону, закутывается в мантию, берет в одну руку скипетр и принимает почти королевскую позу. Осваивается на троне, усаживается поудобнее. Оглядывается и ощупывает себя. Звучит шарманка. Сцену заливает яркий свет. Все на ней пестро, ярко, раскрашено во все цвета радуги.

Дровосек. Я король!.. Видать, тот человек меня не обманул! Встречаются еще на свете честные люди! (*Поправляет на себе мантию, стучит скипетром по полу. Кричит.*) Эй, есть тут кто?.. Никого!.. Я король?.. Это правда? Если я король — где же моя свита? Где царедворцы? Где мои советники? (*Шарманка звучит все громче.*) Господи, а вдруг это музыка в честь моей коронации? Эй, кто тут есть, я, король, спрашиваю: где царедворцы, где моя свита? (*Встает, смотрит вперед.*)

Занавес

Сцена третья

Король (*один, стоит перед троном*). Корона, королевский скипетр, трон!.. Целое королевство за коня — неплохо! Все получилось как в сказке! Теряешь коня, зато получаешь целое королевство, получаешь трон!.. С одной стороны, хорошо, а с другой — ничего хорошего, потому что королевство у меня теперь есть, зато коня нету. Ничего не поделаешь, кругом хорошо никогда не бывает!.. В одном выиграешь, в другом тут же и проиграешь. Вся хитрость в том, чтоб дальше не проигрывать!.. Осмотрю-ка я для начала свое королевство, я ведь о нем понятия не имею. Королевство, верно, не больно процветающее, коли мне так легко досталось. Запущенное, видно, королевство!.. Но кто же все-таки мне его покажет?

Входят шестеро придворных в разноцветных тогах — серой, белой, желтой, голубой, оранжевой, зеленой. Кланяются.

Серая тога. Мы к Вашим услугам, Ваше Величество!

Король. Кто вы такие, смею вас спросить?

Серая тога. Мы совет тог, Ваше Величество! Ваши советники, ваши министры, первые помощники или просто тоги.

Король. Почему у вас разные тоги?

Серая тога. Цвета наших тог — это цвета королевства, Ваше Величество! Наше королевство расцвечено по образу и подобию наших тог. Наше королевство — самое разноцветное на свете! Поэтому другие королевства нам завидуют и непрерывно нас охаивают.

Желтая тога. Какому королевству соседи не завидуют теперь, какое — не охаивают! Тьфу, надоело!

Зеленая тога. Королевства сами в сплетниц превратились. И сплетничают с таким сладострастием, что слушать тошно!

Оранжевая тога. Ничего тут не попишешь!.. Коль наше королевство всеми красками сверкает, понятно, что другие нам завидуют!

Белая тога. Как не завидовать! У них всего-то и увидишь два цвета, ну самое большое — три, да и они так выцвели, что трудно различить, где бежевый, кирпичный где, а где, к примеру, терракотовый!

Голубая тога. В их положении и мы бы зависть испытали. Зависть — это благо, которым пользуются все. Проявим благородство и будем снисходительнее к тем, кто так бесцветен!

Король. Мне нравится все то, что я услышал. В самом деле, не могут королевства быть одинаковыми, ведь и цвет один другому не подобен, и каждый цвет по-своему хорош. Мне нравится, что в нашем королевстве собрались все цвета. Они друг друга дополняют и даже помогают один другому!

Серая тога. Мы много средств на это тратим, Ваше Величество, но, видите вы сами, не отступаемся. Внести флаг Его Величества!

Церемония внесения флага. Знаменосец, барабанщики, солдаты. Флаг вносят и укрепляют в глубине сцены, сбоку от трона. Отныне флаг будет находиться там постоянно. Знаменосец, солдаты и барабанщики выходят.

Король. Благодарю за флаг, советники!.. Теперь продолжим, мне страшно хочется поближе и поскорей познакомиться с моим королевством... Вон там на холме, к примеру, что это так скрежещет и стучит? И почему оно в дыму?

Белая тога. Это, Ваше Величество, наша мельница! Поскольку в нашем королевстве постоянно дуют ветры, мы решили этим воспользоваться и построили на холме ветряную мельницу, чтобы она молола зерно для нашего королевства. А дым, про который вы спрашиваете и который окутал весь холм, это не дым, а мучная пыль. Там ваши подданные снуют, таскают мешки, но из-за мучной пыли их не видно. Эта часть королевства постоянно окутана мучной пылью. Там, где мелют, без мучной пыли не обойтись!

Король. Мучная пыль всюду проникает, и после нипочем ее не выбьешь. Не знаю, пробовал ли кто из вас выбить мешок из-под муки!

Белая тога. Да, Ваше Величество, пробовали!

Король. Раз пробовали, значит, замечали, что сколько ты его ни выбивай, а дочиста не выбьешь.

Белая тога. Да, Ваше Величество, не выбьешь, так и есть!

Король (*смотрит из-под руки*). Крылья у мельницы вон какие щербатые. Доски отошли, да и вся мельница больно громко скрежещет и стучит!

Белая тога. Скрежещет, Ваше Величество, и стучит, вы правы. В разор пришла. Крылья поломаны, доски потрескались и отошли, да и вся шатается, словно зуб гнилой. Однако же, благодарение богу, еще работает и мелет зерно для нашего королевства!.. А ведь что было с ней — пристранствовал к нам в королевство один рыцарь, то ли сумасшедший, то ли так, чокнутый, принял нашу мельницу за своего врага и помчался прямо на нее с копьем наперевес! Щепки так и полетели. Сумасшедший, Ваше Величество! А потом зацепился вместе с лошадью своей за крыло и не один день провисел наверху. Солнечный удар его там хватил, и он все нес околесицу. Помольщики едва его на землю спустили вместе с лошадью. И пока его снимали, он все грозился, что снова кинется в бой с ветряной мельницей. Уж и доставил нам хлопот рыцарь этот чокнутый... То ли дон какой-то, то ли кихот, черт его знает!

Серая тога. Мне думается, он и дон, и кихот!

Король. Как бы только это не повторилось!.. Надо забор поставить крепкий и сделать надпись, что донам и кихотам вход воспрещен! Мельницу пусть охраняют и днем и ночью, и посмотрите там, нельзя ли ее смазать! Что она, всегда вот так скрежещет и стучит?

Белая тога. Всегда, Ваше Величество! Или почти всегда!

Король. Она все королевство обскрежещет!.. И почему вы терпите все это?

Серая тога. Поначалу трудно было, потом привыкли. Прогнали мы тогда этого чокнутого и потихоньку-полегоньку стали к стуку да скрежету привыкать. Подданные тоже постепенно привыкли. Для нас самое важное, чтобы подданные привыкли!.. Мы так полагаем, Ваше Величество, что если прекратить вдруг этот стук и скрежет, то как бы подданные протестовать не начали. Они ведь уже привыкли слушать, как скрипит мельница нашего королевства.

Король. Это хорошо, что ветер у вас мелет зерно для королевства, что вы ветер на ветер не бросаете! А еще какая-нибудь польза от ветра есть?

Оранжевая тога. А как же, Ваше Величество, конечно есть. У нас ветер не только зерно мелет, но и королевство проветривает. У нас дыма да пыли сколько хочешь, так что ветру работы предостаточно! Кроме того, ветер сушит белье у наших подданных. Проветривать мы стараемся каждый город и каждую деревню, а когда нам не удается использовать ветер для работы, мы заставляем его дуть в печные трубы.

Король. Зачем же ему в трубы дуть?

Оранжевая тога. О-о-о, Ваше Величество, получается просто чудесно!.. Когда в трубу ветрище задувает, труба гудит и воет, точно дуда или другой какой духовой инструмент. Гудит ветер во всех трубах нашего королевства, подданные слушают, и музыка их души возвышает. Если мы хоть как-то облагородили своих подданных, то должны быть благодарны ветру. При сильном ветре трубы гудят так громко, что королевство становится симфонией. Многие делегации из королевств иных нас спрашивают, как это мы воспитываем музыкально своих подданных и как наше королевство симфонией становится, но мы храним тайну.

Серая тога. В прошлом месяце одна такая делегация приезжала к нам, интересовалась. И Международная организация, Ваше Величество, также насчет ветра любопытство проявляла.

Оранжевая тога. К сожалению, есть у нас в королевстве, Ваше Величество, и несколько ветрогонов. На них, видно, ветер как-то по-особому действует и вместо того, чтоб облагораживать, в ветрогонов превращает!

Король. Ветер вы по-умному к делу приспособили! Если мы хотим, чтоб королевство наше и дальше процветало, нам надо все дары природы к делу приспособить! Какие еще дары природы есть в нашем королевстве?

Желтая тога. Что касается даров природы, Ваше Величество, то королевство у нас, сами видите, хоть и ветреное, зато и равнинное, и топкое, и, прошу прощения, местами просто болотистое. Кое-где холм можно встретить в качестве дара природы, немножко леса, несколько рек, но текут они по старинке — сплошные излучины. Земля у нас есть для земледелия подходящая, сеем больше кукурузу, скотоводством тоже занимаемся — овец держим, коз, коров. По части возвышенностей у нас бедно. Вот эта возвышенность, к примеру, не слишком высоко возвышается. Из соседних королевств ее даже и не видно. Соседние королевства иногда над нами посмеиваются. Вы, говорят, в ложбине притулились!.. Еще у нас есть пастбища, целебные травы, плоды дикорастущие, немножко земноводных, пресмыкающихся малость. И пашни тоже есть, все больше вдоль границы, но ничего особого в них нет, у соседей по ту сторону границы точь-в-точь такие. К дарам природы я б отнес еще и виноградник. Правда, винограда королевство мало получает — дрозды чуть не весь урожай склевывают.

Король. Надо пугала поставить!

Желтая тога. Смотри-ка, а мы не догадались!

Король. Поставьте и доложите!.. А больше ничего нет в нашем королевстве, что вызывало б общий интерес?

Желтая тога. Известный интерес мы вызвали, прошу прощения, с помощью одной женщины и одной сороки, Ваше Величество! Женщина весила двести пятьдесят килограммов, а сорока была совершенно белая. Мы показывали и ту и другую и объездили с ними немало заграничных королевств. Подданные этих заграничных королевств так толпами за нами и ходили, глазели, языками щелкали, всячески любопытствовали и расспрашивали, как же это мы живем, коль в нашем королевстве полно таких чудес. Вот так, благодаря толстухе и сороке

белой, люди и узнавали разные подробности о нашем королевстве. О мельнице, к примеру, и о ветре — о том, как он приводит ее в движение и мелет для королевства нашего зерно. Что ж до целебных трав, плодов дикорастущих и пресмыкающихся, то интереса было гораздо меньше!

Король (*встает с трона, прохаживается взад-вперед. Останавливается*). Это очень, очень важно, мои советники-министры, чтоб королевство вызывало интерес. Если соседние королевства не привстают на цыпочки, чтобы тебя увидеть, и не вытягивают шеи, это все равно как если бы тебя и не было на свете! Королевство, которое остальные королевства не замечают,— мертвое королевство!.. Это не значит, что мы должны на головах ходить, чтоб нас заметили, но и сидеть сложа руки тоже не годится. (*Садится.*)

Желтая тога. Да, в самом деле важно вызвать к себе интерес, Ваше Величество! Но что нам делать, если женщина, весившая двести пятьдесят килограммов, умерла от ожирения, а с одной только сорокой королевства не станешь объезжать. А потом и сорока померла. Сороки есть в королевстве, и немало, но — самые обычные. Отсюда видно, как они возле амбара с кукурузой все хлопочут. Как видите, первый шаг к тому, чтоб нас заметили другие, был сделан, и другие нас действительно заметили, но сатана подставил ножку нашему почину!

Серая тога. Дьявол нам первым ножку подставляет, Ваше Величество! Не знаю, почему из всех королевств он нас облюбовал.

Король. Дело известное: где тонко, там и рвется!.. С сатаной ох как непросто совладать! Надо подумать хорошенько, что дальше делать. Не будем же мы плестись в хвосте у других королевств!.. А какие-нибудь подземные дары природы у нас есть?

Зеленая тога. Есть, Ваше Величество! Тут почти у каждого подданного есть собственный колодец. Где ни копни, вода повсюду брызжет. Водяные духи и бесы водяные по всей нашей территории водятся во множестве, так что на каждого нашего подданного приходится по крайней мере десяток водяных. Да, по части водяных у нас большой порядок!.. Бог нам тут здорово помог, и потому иные королевства нам завидуют.

Король. Бог?.. Разве водяные — это дело божьих рук?

Зеленая тога. Нет, конечно, это просто так говорится. Что же до водяных, они плодятся сами по себе. Климат, видно, для них благоприятный. Есть места, особенно в болотистых районах, где их не меньше, чем головастиков. Там, Ваше Величество, даже трудно сосчитать, сколько водяных приходится на душу населения.

Король. Это может заинтересовать ученых.

Зеленая тога. Симпозиум можно созвать. Ученые страх как любят симпозиумы, на которых самыми научными методами уточняют, по скольку водяных приходится на душу населения. А не симпозиум созовем, так форум либо какую Международную комиссию к себе заманим.

Серая тога. Одними водяными королевство не прославить! Хоть водяные водятся в болотах наших и колодцах в изобилии, этого мало, чтоб мир лицом к нам повернулся или, как справедливо Их Величество отметили, чтоб мир стал привставать на цыпочки и вытягивать шеи, стараясь нас увидеть! С одними водяными достигнуть этого нельзя.

Белая тога. Нельзя, поскольку и водяные духи, и водяные бесы невидимы. Как бы королевства ни тянули шеи, им все равно их не увидеть!

Оранжевая тога. В наше время, прошу прощения, и видимое трудно заметить, что ж тут говорить о невидимом!

Желтая тога. Мы могли бы сделать их видимыми, выкрасив их в цвета нашего королевства.

Голубая тога. Как это — выкрасив! Выкрасишь водяного,

и он тут же перестанет быть водяным! Вся их таинственность и вся загадочность в том и состоят, что они невидимы. Если мы их выкрасим и они станут видимыми, как мы, ни один ученый и ни один симпозиум не станет ими заниматься. Ученые как соберутся на симпозиум, им тут же невидимое подавай!.. Именно оно их привлекает. Какой порядочный ученый станет тебе нынче видимое разглядывать? Видимое пусть простой народ рассматривает, не такой образованный. А простых людей, не больно образованных, у нас и своих хватает, зачем нам их через Международную комиссию зазывать? Весь вопрос в том, Ваше Величество, чтоб нам сохранить этот дар природы, водяных то есть, а также сохранить несколько русалок, которые недавно прибыли из соседнего королевства и приохотились купаться в нашем королевстве.

Король. Эти дары природы надо сохранить! Что же до русалок, поставьте стражу и запретите доступ к местам купанья. Ведь стоит подданным пронюхать, они повадятся туда ходить и глазеть, как купаются русалки! И тем самым спугнут их и прогонят!

Голубая тога. Поставим стражу, Ваше Величество! Подданные и в самом деле могут их прогнать, как они прогнали из моря морских сирен.

Король. А море далеко отсюда?

Голубая тога. Столь же далеко, сколь и близко, Ваше Величество!.. У нас вообще все, о чем ни спроси, столь же далеко, сколь и близко. Вначале все кажется доступным, близким, ну просто руку протяни — и ты дотронешься! Но проходит время, и то, что близким казалось, становится все более далеким, все более недостижимым. Даже к самой близкой цели устремишься, а она таинственно отодвигается. Как будто ведьмы и злые колдуны околдовали нас. Хотя в волшебников и ведьм никто у нас не верит!.. И ладно б только это, но все соседние королевства ну так и норовят нас поприжать. Каждый раз, как начинают сеять, они стараются хоть бороздку у королевства да урвать. И когда от камней очищают, все камни перебрасывают к нам... Так вот и живем, Ваше Величество, в нашем королевстве!

Король. Небогато, небогато!.. Ветряная мельница, мелево, толстая женщина, водяные духи и бесы водяные, которые водятся, как вы утверждаете, в изобилии... Пашни, пресмыкающиеся, пастбища, кукуруза, несколько русалок, виноградник, холмы и — сорока!.. Маловато у нас даров природы! Далеко мы с ними не уйдем и славы не добудем! Допускаю даже, что наше королевство околдовано, но мы, собрав все наши силы, разрушим злые чары, и если будет нужно, то королевство на руки возьмем и на руках перенесем в другое место, подальше и от соседей алчных, и от ведьм!

Серая тога. Ваше Величество! В этих словах нам видится величие!

Король. О-о-о, не будем торопиться! Слова не должны обгонять дела! Это пойдет на пользу и делам, и самим словам!.. Да, чуть не забыл спросить — много ли слов употребляют в нашем королевстве?

Серая тога. Мы употребляем их, Ваше Величество, по потребности! Когда где-либо образуется зияние и его нечем заполнить, мы заполняем его словами! И соседние королевства точно так же поступают. И Международная организация рекомендует, если между какими королевствами возникают трения и трещины, то эти трещины надлежит словами заполнять. Международная организация и комиссии создала, которые в случае нужды спешат к трещинам и там на месте заполняют их словами... Вот как, Ваше Величество, обстоит дело со словами!.. Бегущие на ристалище бегут все — говорит апостол Павел. А теперь от имени королевского совета я попросил бы вас соблаговолить посадить деревце! Оно будет самым молодым деревцем в нашем королевстве.

Король. Я посажу деревце с великим удовольствием! Говорят, что, если человек посадил хоть одно дерево, он не напрасно прожил свою жизнь.

Серая тога. Мы тоже слышали что-то подобное. (*Кричит.*) Деревце для Его Величества!

Входит Королевский садовник с деревцем и лейкой в руках. За ним — два помощника садовника с большой деревянной кадкой для посадки деревца. Они ставят кадку перед королем и уходят.

Королевский садовник. Разрешите представиться, Ваше Величество! Имею честь быть королевским садовником!.. Сад наш полон цветами. Они цветут зимой и летом, они окрашены во все цвета. Как королевство наше цветет и переливается всеми на свете цветами, так и королевский сад, Ваше Величество, тоже цветет и переливается всеми цветами! Многие королевства завидуют нам и спрашивают, в чем здесь секрет. А секрета никакого и нет. Просто в хороших королевствах цветы цветут, а в плохих королевствах — вянут. Так, Ваше Величество, в саду у хорошей и доброй женщины цветы растут и цветут пышным цветом, а у плохой и злой женщины цветы вянут!.. Пожалуйте сюда, Ваше Величество! (*Подводит короля к кадке, подает ему деревце.*) Это дерево очень редкого вида, Ваше Величество. Мы, королевские садовники, в своей среде называем его королевским видом!

Серая тога. Прошу вас, Ваше Величество, на одно лишь мгновение придержать деревце, пока королевский фотограф не запечатлеет это мгновение!

Король позирует с деревцем.

Королевский садовник. А теперь, Ваше Величество, соблаговолите его полить! Если деревце полить, оно быстро примется! (*Подает королю лейку.*)

Серая тога. Ваше Величество! Еще одно мгновение, чтобы фотограф запечатлел и это мгновение!

Король. Но почему фотограф должен фотографировать только меня!.. Давайте сфотографируемся все вместе! Групповой портрет еще лучше запечатлеет это мгновение!

Все фотографируются — в центре Королевский садовник придерживает деревце, Король поливает его из лейки, а с обеих сторон расположились королевские советники. Все широко улыбаются. Звучит шарманка.

Сцена четвертая

Дворец. Король, его советники. Все толпятся перед большим глобусом. С разных сторон к глобусу приставлены стремянки, чтобы советники могли забираться на них и рассматривать глобус.

Король. Я попросил доставить шар земной, чтобы познакомиться с ним ближе и посмотреть, нельзя ли подыскать для королевства нашего местечко поудобней. С хорошим климатом, на солнечную сторону, с приятными соседями, с богатою природой... Вон тот участок не подойдет, как вы считаете?

Серая тога. О-о-о, Ваше Величество, здесь ну никак нельзя! Здесь старая Европа расположилась. Она и так битком набита королевствами, иглу и ту не всунешь! Ну прямо как чулан набита! В ней полно старых пелерин и бот резиновых, солдатских касок, сапог, мундиров генеральских, накидок, ветхих зонтиков, оставшихся от тетушек и бабушек, полно брюк-галифе и кринолинов, полно и войн и предрассудков. Войны там случаются так часто, что невозможно вычислить, по скольку их приходится на душу населения. И теснота такая, что королевствам и присесть-то негде, так и стоят навытяжку!

Король. В такой чулан нам нечего и лезть. Поищем лучше, где будет попросторней!.. Вот там, повыше, что это такое?

Голубая тога (*лезет вверх по стремянке, говорит сверху*). Здесь скандинавы живут. Очень уж на отшибе этот край, Ваше Величество, к тому ж он слишком полуостровной и дикий. И солнца мало! А из-за того, что солнца мало, подданные все светлые, словно белые мыши. В лесах множество троллей и колдунов. Зимы длинные, дни короткие, ночи длятся целую вечность, и все окутано мраком.

Король. Тогда поищем пониже, поюжней, там, где тепло. Вот здесь, к примеру, славное местечко, уютное, по-моему.

Голубая тога (*спускаясь ниже, смотрит туда, куда показывает король*). Ваше Величество, лучше здесь не останавливаться. Местечко это — пороховой погреб Европы. Разумный человек станет разве сидеть спокойно на пороховом погребе? Для этого безумцем надо быть!

Король. Здесь никто и не живет? И королевств здесь нету?

Голубая тога. Как не быть, Ваше Величество! Несколько маленьких королевств теснятся здесь. Схватились за грудки и ждут, когда взлетит все на воздух. Европа по-европейски заботливо на них поглядывает, огню погаснуть не дает и тоже ждет, когда они взлетят на воздух.

Король. Как называется это место?

Голубая тога. Балканский полуостров, Ваше Величество! Королевства набиты горами, по-ихнему балканами, а по балканам постоянно бродит дикое балканское варварство.

Король. Все ясно — на эти горы стремиться мы не будем! Вы сказали, их называют пороховым погребом, но я не вижу, откуда поджигается фитиль.

Голубая тога. Фитиль, Ваше Величество, поджигают с разных сторон — раз с одной стороны, разок — с другой.

Король. Так я и думал!.. Ну что же, поглядим в других местах! Что это за черта там посередке?

Желтая тога (*поднимается по стремянке на две или три ступеньки*). Это, Ваше Величество, не черта, а стена. Великая китайская стена.

Король. Вот как?.. На что же королевству стена такая?

Желтая тога. Эта стена возведена королевством, чтобы защищать королевство от внешних воздействий.

Король. Интересно!.. Можно посмотреть ее поближе?

Желтая тога. Сейчас, Ваше Величество, только стремянку принесут. (*Кричит.*) Стремянку для Его Величества!

Двое стражей приносят стремянку, прислоняют к глобусу и придерживают.

Желтая тога. Пожалуйста, Ваше Величество!

Король (*поднимается по стремянке, ощупывает стену, стучит по ней*). Стена, действительно стена. Лестницы, бойницы, башни — построено на совесть! Значит, эта стена защищает от внешних воздействий. А что, жизнь самого королевства она тоже охраняет?

Желтая тога. Охраняет, Ваше Величество! Благодаря ей не только никто не входит в королевство, но никто из него и не выходит.

Король. Нет, не нравится мне здесь!.. Посмотрим с другой стороны. Там словно бы и солнца больше.

Зеленая тога. Это уже Африка, Ваше Величество!.. Жаркое местечко!.. Будьте добры, поверните немного земной шар! Так... еще чуть!.. Вот так, чтобы Его Величеству было лучше видно!.. Это самая настоящая черная Африка. Без передышки печет здесь солнце, поэтому все подданные черны как угли. Думаю, селиться здесь не стоит, Ваше Величество! Лично я бы не рекомендовал. Иные процветающие королевства держат здесь свои колонии, но сами не живут.

Король. В соседстве с колониями селиться мы не будем!.. Поищем соседей познатнее!.. А это что за дым, уж не пожар ли?

Зеленая тога. Нет-нет, Ваше Величество! Это Индия. Там принято кремировать умерших, поэтому там постоянно горят костры и дым клубится. Еще там много змей, факиров много, обезьян, и все животные — священные!

Король. Нет, от дыма этого подальше! Королевство, подобное нашему, должно располагаться в светлом месте!.. Вот там, повыше, нам не подойдет? Чисто, светло, и сверху все как на ладони!

Белая тога (*показывается на верху глобуса, на лицо надвинут капюшон, шея закутана шарфом. Воет метель*). Здесь ужасно, Ваше Ве-

личество! Бело-то здесь бело, кругом снегá, но пурга такая, что я боюсь, как бы меня не унесло. Здесь Северный полюс, Ваше Величество! Все сковано льдом, все снегом засыпано. И ни живой души! Впрочем, нет! Вон что-то шевелится!.. Медведь! Белый медведь, Ваше Величество! (*Кричит.*) У-у-у!.. У-у-у!.. Удрал, за льдиной спрятался! А больше ничего не шевелится!.. Если вам достаточно этих сведений, я спущусь, Ваше Величество! Не то как бы здесь не окоченеть!

Король. Спускайся, да поосторожней, не поскользнись!.. Нам ясно — в снега перебираться мы не будем! (*Слышно, как что-то шлепается, потом вскрик: «Ох!»*) Что там шлепнулось с другой стороны? Кто охает так громко? Что-нибудь случилось?

Белая тога (*прихрамывая, выходит из-за глобуса*). Я, Ваше Величество, на полюсе поскользнулся и слетел!

Король. Я же предупреждал, что надо быть поосторожней!

Белая тога. Предупреждали, Ваше Величество, но вот поди ж ты! Поскользнулся!

Серая тога. Их Величество постоянно нас предупреждает и предостерегает, и несмотря на это мы постоянно скользим и падаем.

Белая тога. Я этот урок запомню!

Король. Но где же нам поискать себе местечко? Что это за безбрежность раскинулась?

Серая тога. Это, Ваше Величество, Россия. Поскольку земной шар закругляется, краев этого королевства мы не видим. Безбрежное королевство!.. Говорят, когда в России идет дождь, соседние королевства натягивают сапоги!

Король. А часто ли идет там дождь?

Серая тога. Да, то польет сильнее, то так, накрапывает!.. В этом королевстве, Ваше Величество, если в одном конце солнце всходит, то в другом уже заходит, и если на севере снегопад, то на юге жара невыносимая. Словно у костра сидишь — спереди печет, сзади холодом прохватывает!.. Мы когда-то отправляли туда наше посольство, так оно потом рассказывало, будто подданные этого королевства подносят своим гостям борщ в кастрюлях величиной с Каспийское море. Там, Ваше Величество, все громадное, и даже бороды у подданных, как тайга, густые!

Король. Вблизи такого королевства жить опасно. Оно ведь может придавить нечаянно, во сне или когда захочет почесаться... Как, часто оно чешется?

Серая тога. Да, Ваше Величество, частенько!

Король. Ну что ж, продолжим поиски!.. А куда делись советники?

Серая тога. Пошли, Ваше Величество, посмотреть, что с той стороны. (*Кричит.*) Ну, что там, что вы копаетесь?.. Куда вы подевались?

Голос Голубой тоги. Погоди, тут у меня нога застряла!

Серая тога. Где? В чем?

Голос Голубой тоги. Да в Кордильерах.

Серая тога. Осторожней надо было ступать! Их Величество ждут известий, хотят узнать, удобно ли там, где вы ищете, а у вас ноги застревают черт-те в чем!

Желтая тога (*появляется из-за глобуса*). Жутко неудобно. Тут, оказывается, Америка.

Король. Та самая Америка, с которой у других королевств столько хлопот?

Желтая тога. Да, Ваше Величество! Прошли бы вы сюда, вы бы увидели, как это королевство, точно дамоклов меч, над глобусом нависло. Наглость, оружие и сила правят здесь королевством! (*Слышна стрельба.*) Ложитесь, Ваше Величество! Стоять опасно! (*Бросается к королю, валит его на землю, закрывает своей тогой. Стрельба прекращается, король встает.*)

Король. Это в нас стреляли?

Желтая тога. О нет, Ваше Величество! Стреляли в индейцев и в бизонов. А пули, что здесь свистели, залетели рикошетом. В этом королевстве стреляют постоянно. Полная свобода царит, и каждый может стрелять в кого угодно. Здесь подданные даже в короля стреляют. Как застрелят короля, стреляют в его убийцу. Застрелят убийцу короля, стреляют в убийцу убийцы короля. Если убийцу убийцы убийцы короля убьют, стреляют в нового убийцу! Недаром, Ваше Величество, это королевство называют королевством неограниченных возможностей!

Король (*идет вдоль глобуса, заглядывает за него*). Если смотреть отсюда, видишь, что это королевство вниз головой висит. И подданные тоже постоянно так висят?

Голубая тога (*показывается из-за глобуса*). Уф, наконец-то вытащил ногу из Кордильер!.. Да, Ваше Величество, вы совершенно справедливо заметили, что здесь все вниз головой и вверх ногами. А всему причиной шар земной. Поскольку земной шар круглый, а не плоский, как полагали в былые невежественные времена, то часть королевств стоит нормально на ногах, а остальные висят вниз головой!

Король. Должно быть, неудобно!

Голубая тога. Еще бы!

Король. Явно там больше искать не стоит!.. А тот вон край мы осмотрели?

Оранжевая тога. Нет, но если хотите, то и туда мы бросим взгляд. Там среди песков разбросаны мелкие королевства. Они зовутся шейхства, эмираты, халифаты, встречаются средь них джамахирии, однако куда больше, как вы и сами можете увидеть, там гаремов.

Король. А что среди песков там так сверкает?

Оранжевая тога. Это сабли подданных, Ваше Величество. Они постоянно размахивают обнаженными саблями, охраняя таким образом свои гаремы. Ведь они ревнивы до крайности, от ревности кого хочешь прирежут.

Желтая тога. Очевидцы утверждают, что лицо подданной там невозможно увидеть!

Оранжевая тога. Это потому, что оно скрыто фатой. Но не только лица подданных женского пола скрыты от взгляда. В этих местах, Ваше Величество, все так завуалировано, что и лица королевств не разглядишь!

Король. Нет, это не про нас!.. Куда же нам идти?.. Быть может, в океан переместимся?

Зеленая тога. У океана то преимущество, что наше королевство будет удалено от любых соседей. Но у океана есть и недостаток — он слишком мокрый.

Белая тога. И бури случаются, и тайфуны. Как мы во время бурь и тайфунов будем с остальным миром связь поддерживать?

Король. Что же, по-вашему, выходит? Выходит, для королевства нашего удобного нет места? Разве что попробуем внутри земного шара местечко отыскать!

Серая тога. Внутри, Ваше Величество, очень темно, царит там вечный мрак. И расположилось там огромное кротовье королевство. Его подданные роют землю день и ночь, и если вы хорошенько осмотрите глобус или его пощупаете, вы заметите, какой он пупырчатый!

Король (*осматривает глобус и проводит по нему рукой*). В самом деле пупырчатый!

Серая тога. Это все от кротовьих кочек, Ваше Величество. Кроты подземного королевства роют землю и без устали выталкивают ее наверх. Чрезвычайно трудолюбивые подданные, но от труда их остаются лишь эти кочки!

Король. Что ж делать нам тогда? На старом месте оставаться?

Голубая тога. Поскольку идти нам некуда, придется оставаться, Ваше Величество! Тесно, мы все это видим, жмут нам наши сапоги!.. Но разве только нашему королевству тесно?.. Стоит взглянуть по

сторонам, и мы увидим, что всем королевствам тесно, всем сапоги хоть где-нибудь да жмут! Западные королевства постоянно на восток смотрят, восточные уставились на запад, северные заглядываются на юг, южные — на север. Чужой каравай всегда больше своего кажется!

Король. Ну ладно, остаемся, но сложа руки не можем мы сидеть!.. У королевства нашего даже эмблемы еще нет! Комиссия по эмблеме ведь назначена?

Серая тога. Комиссия работает, Ваше Величество, работает без передышки! Она, может, больше всех в королевстве работает.

Король. Я замечаю, что, если мы хотим, чтоб дело не двигалось с места, самый верный способ — назначить комиссию! Вы не находите, что наше королевство до краев полно всяких комиссий?.. Бросишь камень в собаку, а попадешь в комиссию!

Зеленая тога. Насчет камня и собаки вы очень образно определили и очень верно, но у нас нет другого выхода! Повсюду так! Наши подданные ведь ездили в другие королевства обмениваться опытом.

Король. И что?

Зеленая тога. Повсюду одно и то же!

Желтая тога. И в Международную организацию посылали — и там то же самое! Есть такое мнение, Ваше Величество, что в будущем мир будет состоять не из королевств, а из комиссий!

Король. Не понимаю, какие такие трудности преодолевают эти трудолюбивые комиссии!

Оранжевая тога. Полное единодушие преодолевают, Ваше Величество!.. А что до эмблемы, вы совершенно правы: как можно скорей надо обзавестись эмблемой! Эмблема каждому подданному нужна!

Белая тога. Так-то оно так, но другие королевства уже порасхватали все эмблемы, нам ничего мало-мальски приличного для эмблемы не оставили!

Голубая тога. Самое восточное королевство прибрало к рукам солнце! Оно утверждает, что солнце раньше всех у них восходит!

Серая тога. И звезды к рукам прибрали!

Зеленая тога. И месяц в покое не оставили! Точнее — полумесяц... Все небо обобрали!

Желтая тога. Королевства испытывают все более острую потребность в эмблемах! Одно королевство, Ваше Величество, расположенное на краю света, сделало своей эмблемой лист дерева! Я думаю, что с этим нам спешить не стоит!

Король. Эмблемы у нас нет, ветряная мельница на ладан дышит, поля бесплодны! Как нам выбраться из этой пади-ложбины, где бог знает сколько водяных на душу населения приходится?

Оранжевая тога. Я предлагаю, Ваше Величество, устроить наше королевство в два этажа. По каким только королевствам я не ездил, а двухэтажных королевств нигде не видел и даже не слышал о таких!

Белая тога. Разрешите мне, Ваше Величество, возразить против этого предложения! Двухэтажное королевство устраивать нет резона. Как станут подданные жить в таком королевстве? Одна половина на втором этаже будет все время топать и шум поднимать, а другая половина с нижнего этажа будет то и дело шикать: «Ш-ш-ш» и «Тихо вы там!»

Король. А вы что предлагаете?

Белая тога. Я предлагаю: пусть наше королевство будет белым. До сих пор ни одно королевство не было чисто белым!

Желтая тога. Почему непременно белым, а не золотисто-желтым?

Зеленая тога. Позвольте тогда и мне спросить: почему золотисто-желтым, а не зеленым?

Голубая тога. А если наше королевство станет голубым, подобно будет голубому небу и с ним сольется?

Серая тога. Ваше Величество, тут каждый на себя тогу тянет, на своем цвете стоит. Полагаю, что мы не можем с этим согласиться!.. Лучше бы, пожалуй, подумать не о цвете королевства, а о том, чтобы придать ему другую форму!

Оранжевая тога. Вы что ж, хотите сделать наше королевство круглым?

Желтая тога. Или квадратным?

Зеленая тога. Или зигзагообразным?

Белая тога. Или треугольным?

Голубая тога. Или спиралевидным?

Король. Не думаю, чтоб это помогло! Будет ли королевство наше белым или круглым, особого значения не имеет. Хоть белое, хоть круглое, а из ложбины, где оно засело, ему не выбраться. Вопрос весь в том, как нам ложбину эту приподнять! Взяться бы всем дружно, мы королевство наше б приподняли и превратили бы ложбину в гору!

Оранжевая тога. Чудесно сказано, Ваше Величество! Но как нам это сделать? Как нам болота эти, пашни в вершину превратить?

Король. Да проще ничего и быть не может! Если мы начнем на одной половине королевства копать землю и перебрасывать ее на вторую половину, то постепенно, изо дня в день, вторая половина начнет расти. Вот так все королевство наше уж не ложбиной будет, а вершиной! Обзаведемся собственной вершиной!

Серая тога. Мы, Ваше Величество, можем только приветствовать вашу идею насчет собственной вершины!.. Это возвысит нас в глазах всех прочих королевств!

Все *(хором)*. Великолепно, Ваше Величество! Собственная вершина!

Король. Наряду с вершиной нам, однако, надо обратить внимание на подданных! Объезжая королевство наше, я заметил немало недовольных подданных. Не будем забывать, что каждый испытывает потребность хоть изредка сказать, что он, мол, недоволен! Один — своею жизнью, другой — супругой, жена, конечно, недовольна мужем, кто-то еще — друзьями, а кто-то там еще — судьбой! И прочее, и прочее!

Серая тога. Ваше Величество, разве есть на свете королевство, где бы все подданные были довольны!

Король. Такого королевства нет, но раз есть недовольные, должно быть место, где подданные могли бы свое недовольство высказать. То ли говорильню какую надо открыть, то ли недовольню, но что-то ведь должны мы предпринять!

Оранжевая тога. Насчет недовольни — чудесная идея! Мы первые среди прочих королевств обзаведемся собственной недовольней!

Король. Теперь без лишних слов за дело надо браться! *(Оглядывает земной шар.)* Должен признаться, я не подозревал, что шар земной так перенаселен!.. Можно сказать, что он кишмя кишит королевствами! *(Прислушивается.)* Вы слышите?

Серая тога. Что именно, Ваше Величество, нам следует слышать? *(Прислушивается, остальные тоги — тоже.)*

Король. Не слышите, как откуда-то доносится: хруп-хруп?

Серая тога. О-о-о, Ваше Величество, это хрупанье исходит из земного шара. Поскольку королевства присосались к земному шару, каждое спешит кто сколько может от шара откусить. Так и червяк — хруп-хруп!— съедает яблоко. Рано или поздно весь земной шар схрупают, как червь — яблоко, а огрызок выкинут на дорогу!

Король. Но куда же, черт побери, денутся подданные всех королевств после того, как они превратят земной шар в огрызок?

Голубая тога. Расселятся по другим мирам! Вселенная, Ваше Величество, так велика, что не то что каждое королевство, а каждый подданный с земного шара получит собственную звезду. Подданные всех королевств знают, что они здесь гости, что они на Земле лишь временные жильцы, поэтому они с такой охотой и хрупают ее и обгры-

зают. Пройдет немного времени, и от земного шара останутся лишь жалкие объедки. Подданные, подобно грызунам, его сгрызут и обглодают! Рано или поздно, Ваше Величество, но это произойдет!

Король. Пусть лучше поздно, когда нас уже не будет!.. Вынесите отсюда земной шар, нам больше незачем его рассматривать! (*Снова прислушивается.*) Следует заметить, однако, что хотя королевства и подданные хрупают и глодают земной шар, точно червь яблоко, они хрупают и глодают с известной осторожностью.

Голубая тога. Вы совершенно правы, Ваше Величество! Иные, я б сказал, даже застенчиво кусочек за кусочком отгрызают! Смущаются, но отгрызают! Когда все вокруг тебя хрупает, и ты волей-неволей хрупать начинаешь!

Входят солдаты. С помощью тог они выкатывают со сцены глобус. Часть солдат и членов королевского совета выносят также лестницы.

Король. Осторожно, моря не расплещите!

Серая тога. Мы, Ваше Величество, хотим поставить его перед дворцом. На наш взгляд, он будет прекрасно там смотреться!

Король. Раз ни для чего он больше не сгодился, пусть хоть дворец собою украшает! (*Серая тога поворачивается и идет догонять остальных.*) И полегче там, чтоб он у вас под горку не покатился, не то еще какого подданного может задавить! (*Расхаживает взад и вперед. Звучит шарманка.*) Явно придется на этом месте оставаться! (*Останавливается перед посаженным им деревцем.*) А ну-ка гляну, как мое деревце — еще не принялось? (*Выдергивает его, смотрит на корни, сует обратно в кадку.*) Нет, еще не принялось!

Занавес

Сцена пятая

Дворец. Король сидит на троне. Идет королевский совет.

Серая тога. Ваше Величество! С вашего разрешения послушаем показания подданной!

Король. Надо хоть раз послушать, что подданная скажет! Нельзя одних только подданных мужеского полу выслушивать!

Серая тога. Пусть подданная войдет!

Стражи вводят Женщину с узлом. За руку она ведет Девушку.

Женщина. Бог в помощь, король честной!.. Вот и мне выпала честь повидать короля!.. Бог в помощь вам всем!.. А ты молчи, при короле глупости не смей болтать!

Девушка. Да я, тетенька, молчу!

Король. Спаси бог!.. Извините, что мы с моими советниками помешали вашему путешествию. Вы, верно, далеко собрались — вон сколько багажа тащите. Мы, даже когда на войну идем, и то меньше багажа берем!

Женщина. На минеральные воды мы отправились с племянницей. А багажа у нас не так уж и много! (*Показывает узел.*) Так для чего же, король честной, вооруженная стража меня остановила?

Король. Мы остановили вас, чтобы вы дали показания королевскому совету.

Женщина. Мы королевству не только показания, а все, что можем, с радостью дадим! Для нас большая честь королевству подсобить. Какие вам нужны показания?

Король. Вы, наверное, знаете, что не так давно в реке, недалеко отсюда, русалки появились. Сбылась заветная мечта наших подданных — и наше королевство обзавелось русалками!

Женщина. Как же, наслышаны!

Король. И верно, слышали, какие они робкие?

Женщина. Слыхали кое-что.

Зеленая тога. Ваше Величество, они боязливей, чем косули!

Женщина. Еще бы! Дикий они народ, потому и боязливы. (*Племяннице.*) Не зыркай глазами по сторонам!

Девушка. Да я, тетенька, не зыркаю!

Король. Русалки эти королевству вреда не причиняли. Они в реке купались и отдавались ласкам воды прохладной.

Белая тога. У нежного пола, Ваше Величество, большая слабость к воде. Быть может, это потому, что всякая вода ласкает тело, а женский пол куда как любит ласку! Это у них естественное влечение.

Женщина (*оживляясь*). Да-да, у нас к воде слабость!.. У нас к ней, король честной, естественное влечение.

Король. По-моему, советник мой имел в виду русалок!

Женщина. Да, у них тоже к воде слабость. У нас у всех к воде слабость и естественное влечение, потому как мы нуждаемся в ласке. Для того мы и ездим на воды. Что же до мужиков, король честной, они к воде никакой слабости не питают, а уж о естественном влечении и говорить не приходится. Мужика на воды отправить — да никогда он этого не допустит!.. Мужик воду терпеть не может, он ноги и те редко моет! Мужик — это такой дикарь, что с ним приходится как с медведем бороться, пока его выкупаться заставишь. Ну никакого у него естественного влечения!

Король. Вы, я вижу, не слишком высокого мнения о моих подданных?

Женщина. Да я о своем мужике говорю, король честной, а не о подданных! Он хоть и подданный, но мне-то он муж! Бывает, король честной, он на меня набросится и давай орать: «Ты у меня помалкивай, потому как я подданный его величества и все наше славное королевство за мной стоит!..» Я помалкиваю, как он велит, однако же говорю: «Ты, может, и подданный, но мне ты муж!..» Разве не так? Пускай у него никакого естественного влечения нету, но мне он все равно муж!

Король. Так оно и есть! Для вас мужик ваш — муж, но для королевства он подданный!.. И королевство не может к своим подданным быть безразлично! Оно над каждым бдит! Что же до спора, который вы промеж себя ведете, тут вы сами разбирайтесь, что к чему и что зачем!

Женщина. Пытаемся, но, как здесь уже сказали, мы нежный пол, вот нам и достается! Эти ваши подданные, может, как подданные вас и устраивают, но дома ни на что не годятся! Гроша ломаного не стоят!

Король. Этот вопрос здесь обсуждению не подлежит! Мы призвали вас в качестве подданной...

Женщина. Могу и подданной быть! Я этого не боюсь!

Король. ...призвали вас как подданную, чтобы вы дали королевскому совету показания о русалках.

Женщина. Я и дам!.. От показаний я не уклоняюсь!

Король. Верно ли, что вы организовали группу подданных нежного пола, что вы пошли на реку, где купались русалки, поносили их и кидали в них камнями, прогоняя с реки?

Женщина. Именно так все и было!

Король. Что же вас побудило, что заставило вас так грубо, я бы сказал — так непристойно, обойтись с этими хрупкими и боязливыми созданиями?

Женщина. Это наши мужья нас побудили и заставили!

Желтая тога. Ваше Величество, извините, что я вмешиваюсь. То, что утверждает ответчица, ни с чем не сообразно!.. Какой мужчина в нашем королевстве заставит свою жену бросаться камнями в русалок? Разве только сумасшедший или дурак какой!

Женщина. Да, это они нас побудили и нас заставили! Совсем сдурели и этим самым нас побудили и заставили!

Король. Как заставили? Велели вам идти на берег и камнями швырять в русалок?

Женщина. Нет, не велели, но побудили и заставили!.. Они, король честной, побудили нас и заставили, потому как, прослышав, что в реке купаются русалки, туда все шастать стали и смотреть на этих голых. И мой мужик туда же, он тоже стал на реку шастать и смотреть, как голые купаются русалки.

Зеленая тога. Ваше Величество, в этом нет ничего дурного и предосудительного! Думаю, что никто в королевском совете не видит здесь ничего дурного и предосудительного.

Голубая тога. Это не может быть поводом, чтобы бросаться камнями в купальщиц!.. Раз наши подданные смотрят и любуются купальщицами, давайте их поносить, улюлюкать и гнать из нашего королевства! Так, что ли?

Женщина. Мы не из-за того, что они смотрят! Пусть бы смотрели на здоровье! Разве кому запретишь смотреть?.. Не запретишь!

Король. Тогда почему же вы их прогоняли?

Женщина. Мы их прогоняли, король честной, потому что мужики насмотрелись, как они купаются в реке, да еще совсем голые, и начали нас сопоставлять. Торчит целый день на реке, как пришитый, глаза на них пялит, носом шмыгает, а как домой придет, хочет и тебя раздеть догола и сопоставлять... Еще чего — сопоставлять нас вздумал!.. Ведь это ж нам обидно! Мы разве мужика сопоставляем?.. Да если мы возьмемся его сопоставлять, на нем живого места не останется!.. Кто посмеет нас упрекнуть, что мы бросили работу, столпились на берегу и смотрели, как там какой-нибудь русал нагишом купается, а потом вернулись домой, раздели мужа и принялись его сопоставлять? Никто нас не посмеет упрекнуть!.. Мы, может, такие-сякие и даже нежным полом нас можно обозвать, однако держимся мы стойко и никого не сопоставляем!.. Да еще на воды ездим. И зачем мы туда ездим, зачем в минеральной воде мокнем, ровно конопля? Да ради наших мужиков и мокнем!

Оранжевая тога. Ваше Величество, разрешите задать свидетельнице вопрос!

Король. Пожалуйста!

Женщина. Пожалуйста!

Девушка. Пожалуйста!

Женщина. Ты помалкивай! Будет тебе в присутствии короля глупости болтать!

Девушка. Да я, тетенька, молчу!

Оранжевая тога. Я хочу спросить свидетельницу, с каких пор ее муж начал ее сопоставлять? Раньше это бывало?

Женщина. Раньше этого никогда не бывало! Раньше мы были молодые, времени не было сопоставлять, да и русалки тогда еще не появились.

Король. Разве королевские сторожа не предупредили вас, что никто не имеет права прогонять русалок, кидаться в них камнями и поносить их?

Женщина. Предупреждали!.. На то они и сторожа! Но мы сказали им, что, может, мы и не имеем права прогонять русалок, но зато и наши мужья права не имеют нас сопоставлять! Если каждый муж начнет свою жену сопоставлять, то до чего наше королевство докатится!

Король. Раз так, и вы платите монетой той же, сопоставляйте!

Женщина (*застенчиво*). О-о-о, что вы такое говорите, король честной! (*Девушка восклицает: «О-о-о!»*) Ты помалкивай, нечего в присутствии короля глупости болтать!.. Начни мы сопоставлять, то, между нами говоря, король честной, наши мужики даже и для сопоставления не годятся! Только пусть это останется между нами, пусть эта тайна не выходит за пределы нашего королевства! Ведь если посмотреть по сторонам, у каждого королевства есть свои тайны, особливо в этой тай-

ной области. Без тайны разве можно? Если нет ничего тайного, и явного не будет!

Король. Женщина, опасные я слышу речи!

Женщина. Наоборот, король честной! Для нас, женщин, они совершенно безопасные!

Серая тога. Извините, Ваше Величество, но здесь уже не сопоставляют!

Зеленая тога. А скорей противопоставляют или даже выставляют в дурном свете!.. И следует спросить — кого?

Белая тога. Как кого? Всех нас!.. То есть, я хотел сказать — всех наших подданных!

Король (*встает. Вместе с ним встают и министры-советники*). Хорошо, женщина, хорошо! Мы вас выслушали! Для королевского совета этих показаний достаточно! Вы с вашею племянницей свободны.

Женщина (*стражникам*). Не дотрагивайтесь до меня! Я вам не подданная! Я женщина и отправляюсь на минеральные воды вместе с моей племянницей! (*Идет было к выходу, но останавливается.*) Сопоставлять они нас будут! Целыми днями пялят глаза на журавушек этих, на русалок, да только вечером не с ними ложатся, а к нам приходят, к синицам. Журавль-то в небе, а синица в руках! А как с нами поспят, глядишь, и опомнятся, на землю спустятся и естественное влечение приобретут! (*Племяннице.*) Замолчи ты, наконец!

Девушка. Но, тетенька...

Женщина. Замолчи, я тебе сказала! В присутствии короля нечего глупости болтать! (*Обе выходят.*)

Король. С такими подданными королевство наше не пропадет! Я думаю, и каждый подданный гордиться может такой женой!

Серая тога. Гордиться — да, Ваше Величество, но, извините, спать с ней — это уж увольте!

Король. Хватит!.. Это вопрос частный, решайте его в своей семье!.. Совет закрывается!

Министры-советники выходят. Король встает с трона, прохаживается, останавливается около кадки с деревцем.

Король. А ну-ка гляну, как мое деревце — еще не принялось? (*Выдергивает деревце, звучит шарманка, король смотрит на корни.*) Нет, еще не принялось! (*Сует деревце в кадку.*) Не принимается!

Занавес

Сцена шестая

Занавес закрыт, действие происходит на авансцене.

Второй переносчик земли (*с полным мешком за спиной*). Доброго здоровья, браток... (*Скидывает мешок на землю.*)

Первый переносчик земли (*идет, посвистывая, сжимая под мышкой пустой мешок*). И тебе того же, браток... Что, землю тащишь?

Второй преносчик земли. Землю. И ты, браток, повинность эту отбываешь?

Первый переносчик земли. И я, браток! (*Показывает ему пустой мешок.*) Был уж наверху, теперь спускаюсь вниз, мешок землею заново наполнить.

Второй переносчик земли. Куда ни посмотрю, все землю тащат! От мала до велика — так и ползут, так и ползут наверх!

Первый переносчик земли. Надо королевство из ложбины на вершину переместить, вот все и тащат землю, вершину насыпают. Вершину возвести не так-то просто!

Второй переносчик земли. Чего-чего, земли у нас хватает!.. Ну, счастливо тебе вершину одолеть, браток! И не слишком надрывайся! Такую гору за день или за два не насыплешь.

Первый переносчик земли. И тебе, браток, счастливо!

Я знаю, в этом деле поспешишь — людей лишь насмешишь!.. Надеюсь, мы теперь с тобой встречаться будем! *(Вскидывает на спину мешок, пошатывается.)* Ох, чертовы мешки — попробуй потаскай!

Они расстаются, первый переносчик снова принимается насвистывать.

Сцена седьмая

Дворец. Король дремлет на своем троне. Тихо входят Первый и Второй верноподданные. У каждого в руке по палке. У Второго — на спине большой мешок. (Если мешок очень тяжелый, его могут нести двое, поддев его жердью.) Ступая на цыпочках, они подходят ближе к трону, останавливаются и начинают тихо кашлять, надеясь таким образом разбудить короля.

Король. Кто там?

Первый верноподданный. Это мы, славный король!

Король. Кто вы?

Первый верноподданный. Ваши верные подданные, славный король!

Второй верноподданный. Верноподданные, славный король!

Король. Что вас привело? Случилось что, раз вы будите меня в такой поздний час?

Первый верноподданный. Мы, славный король, пришли из глухого края, приткнувшегося у самых границ королевства. Край у нас не просто глухой, он еще и дикий!.. Болота, трясины, чащобы — не продерешься! *(Второй при каждом слове кивает, подтверждая сказанное.)* Но мы-то живем там постоянно, так что пообвыкли уже, притерпелись. Все равно как дома живем... По мере надобности и в соседние королевства захаживаем. Вокруг полным-полно соседних королевств.

Второй верноподданный. И вокруг полно, и около! Но и там чащобы, и там трясины, и там не продерешься!

Король. Зачем же вы захаживаете в соседние королевства? Нашего королевства вам разве недостаточно?

Первый верноподданный. Вполне достаточно, славный король! Мы в соседние королевства забредаем не потому, что нам своего недостаточно, а потому, что коз продаем и перекупаем. И вот бродим мы туда-сюда по трясинам и чащобам и примечаем, славный король, что вместе с нами идеи какие-то бродят и скитаются по болотам.

Король *(оживляясь)*. Идеи? Какие идеи?

Второй верноподданный. Всякие, славный король!

Первый верноподданный. Бродячие, славный король!.. Постоянно бродят, скитаются и норовят по возможности в самую середину королевства забрести... Мы, однако, стоим на страже! Понаставили разных капканов, выкопали ямы и ветками их прикрыли, а там, где это невозможно, сами стоим на страже. И когда криками, когда камнями собственноручно заворачиваем их назад, в трясины и чащобы.

Второй верноподданный. Туда заворачиваем, где не продраться и не пройти. В самые, значит, непроходимые места заворачиваем!

Первый верноподданный. Ну что ты такое говоришь королю! Они ведь как раз непроходимые места и любят!.. У нас есть места до того непроходимые, что ни для чего другого не годятся — разве только какую идею приютить! Идее только того и надо — чтоб вокруг непроходимость была!

Второй верноподданный. Ну не скажи! Идея и на тропинки выходит! И очень даже далеко может зайти! В одно соседнее королевство, ну совсем рядышком с нами, забрела одна идея — фу-ты, ну-ты! Мы так и не поняли, что это была за идея, но она это королевство враз уконтропупила.

Король. Подумать только! Неужели это возможно?

Первый верноподданный. Да это, славный король, совсем

маленькое было королевство! А коли королевство маленькое — много ли ему надо? Вот одной идеи и хватило!

Второй верноподданный. Чтоб его уконтропупить!

Первый верноподданный. Ну да! Мы как увидели такое дело, тут же решили смотреть в оба, чтоб ни одна идея не прокралась! А в одном другом королевстве, где мы коз перепродавали, так там, славный король, ну прямо не королевство, а проходной двор. Откуда хочешь, заходи, куда хочешь, выходи! Так вот в это расхристанное королевство зашла одна идея — рот до ушей, и языком чешет не переставая!

Второй верноподданный. Точно, рот до ушей, а ноги — колесом.

Первый верноподданный. Другую такую уродину кривоногую и вообразить нельзя, славный король! И как только вошла в то королевство, так тут же плодиться начала! Боже упаси!

Второй верноподданный. Теперь это королевство кишит идеями, однако же все до одной кривоногие!

Король. А что, идеи всегда кривоногие?

Второй верноподданный. Нет, славный король, не всегда. И с прямыми ногами попадаются! И пухленькие! И горбатые встречаются, и хромые, и парнокопытные — те все время топочут. И такие бывают, что на мягких лапках, точно кошки, крадутся... Каких только идей не встретишь!.. Дикий народ, он и плодится! Но мимо нас им трудно прошмыгнуть, мы постоянно на страже!

Второй верноподданный. Как дубинку увидит, так назад и повернет! (*Показывает дубинку.*)

Первый верноподданный. Дубинки всякая тварь боится!.. Но одной дубинкой тут не обойдешься. Идеи иной раз попадаются хитрющие, в подземные норы забираются. На вид прыщавые, точно жабы, однако рыла у них, как у свиней, и они знай землю роют. Подземные лазы прорывают и прячутся в своих темных норах. Свет туда совсем не проникает. Если за ними не уследить, одна такая идея может подрыть снизу целое королевство!.. Сверху смотришь, вид у королевства вполне цветущий, а как глянешь снизу — ан эта прыщавая и свиноподобная идея все разрыла и раскопала. Притаилась внизу в своей норе и ждет, когда королевство на нее рухнет.

Второй верноподданный. Страшное дело!

Король. Вот уж не подозревал, что так бывает! Неужели какая-то ничтожная прыщавая идея, к тому еще свиноподобная, может подрывать целое королевство?

Первый верноподданный. Еще как, славный король! Она его не только что подрывает, она его и подорвать может! Мы как увидели, что идея подрывает наше королевство снизу и с одного бока, решили, что мы это дело так не оставим. Засучили рукава и принялись нору обкуривать. Навалили мокрой соломы, валежника, листвы, потому как этот материал самый едкий дым дает, подожгли и так надымили, что сами прокоптились и стали похожи на барсуков. Дым глаза нам ест — страсть, и в носу свербит, и чих разбирает, но мы удержались! И вот когда мы как следует обкурили нору, то услышали, как там кто-то чихает, и кашляет, и ногами топочет. Не выдержала дикая эта идея едкого дыма, ринулась как безумная наружу, но мы-то выход из норы перекрыли мешком, она прямо в мешок и влетела!

Второй верноподданный. Вот она, славный король! (*Сбрасывает со спины мешок.*)

Король (*встает с трона, подходит к мешку*). Неужто вы принесли в мешке ту самую бродячую идею?

Первый верноподданный. Разумеется, принесли! Мы ради этого ее и выкуривали и отшагали всю дорогу безо всякого отдыха. Наша сокровенная мечта — подарить ее вам, чтоб вы посмотрели, что в королевстве нашем водится!

Король. Дайте, дайте взглянуть! Своими рассказами вы прогнали мой сон и разожгли мое королевское любопытство.

Второй верноподданный. Пожалуйте, славный король! Вот с этой стороны! (*Развязывает мешок.*) Вы только посмотрите, какая она прыщавая и свиноподобная! Она, верно, даже прыщавей, чем жаба, и больше похожа на свинью, чем любая свинья... Одно слово — идея! Копается, роет, подрывает!

Король. Любопытно!.. Чрезвычайно любопытно!

Первый верноподданный. И подданные так говорят, славный король. Мы по дороге, когда на постоялых дворах останавливались, показывали ее всем подданным. И подданные единодушно говорили нам, что наша затея с идеей и с мешком чрезвычайно любопытна. Они восхваляли нас, восклицая: «Мы восхваляем вас, потому что вы лично покажете идею нашему премудрому королю, и он лично увидит ее своими глазами, и самолично убедится!» Некоторые подданные хотели потрогать идею пальцем, потому как видели идею впервые в жизни, однако трогать ее мы никому не разрешили. Мало ли что взгляд у ней блаженный! Никто не может угадать, когда ей вздумается оскалить зубы. Поэтому и царедворцы и свита тоже пусть только смотрят, но не трогают! А показать идею им надо непременно, чтоб и царедворцы, и свита видели, что́ для королевства нашего полезно, а что́ — нет. Особенно если показывать и тут же приводить в пример соседей, как мы вам привели в пример то расхристанное и запущенное соседнее королевство.

Король. Своим подарком вы тронули меня и взволновали. Я усмотрел в нем вашу преданность нашему королевству.

Первый верноподданный. О, славный король! Если мы преданы нашему королю лично, то вдвое больше мы преданы самому королевству!

Второй верноподданный. Не вдвое, а даже втрое!

Король. Такие подданные нам и нужны!.. Чем я могу за дар ваш отблагодарить?

Первый верноподданный. О-о-о, ничем, ничем, славный король! С нас хватит и того, что вы приняли наш подарок!.. Но если бы вы соблаговолили сфотографироваться с нами, большей награды для нас и быть не может!

Король. Сфотографируюсь, и с удовольствием. Я постоянно снимаюсь с моими подданными. Это нас сближает, хоть кое-кто как будто несогласен с этим.

Первый верноподданный. Несогласны одни невежды, славный король, не обращайте на них внимания! Вы когда-нибудь видели фотографию, на которой король снялся с невеждой? Не видели, ведь правда?

Второй верноподданный. И никогда никто такого не увидит!

Король. В фотографии особый смысл таится. Я снимаюсь по самым разным поводам и с подданными, и с чужеземцами. Порой это выглядит будничным, неинтересным. Обыкновенная фотография — что в ней? Да, это так! В момент, когда у аппарата щелкает затвор, мы в буднях, но в следующий миг сами эти будни становятся историей! К сожалению, у нас еще не развито чувство исторического мгновения. Я рад, что вы так высоко оцениваете фотографию!.. Так давайте же сфотографируемся!

Король становится между Первым и Вторым подданными. Сверкает вспышка.

Второй верноподданный. Идею забыли!

Король. О да, и впрямь забыли мы идею!

Король и подданные снова позируют, при этом Второй подданный кладет посреди сцены завязанный мешок. Вспышка. Подданные, кланяются Королю и, пятясь, двигаются к выходу. Так, пятясь, они и уходят со сцены, непрестанно благодаря Короля.

Первый верноподданный. Благодарствуем, славный король!

Второй верноподданный. Спасибо вам, славный король!

Король. И я благодарю вас!

Оставшись один, Король обходит вокруг завязанного мешка, оглядывает его, слегка пинает. Тихо звучит шарманка. Завязанный мешок начинает шевелиться, издавая звуки — что-то вроде: «Жуки-жаки, жяки-жюки...» Король отступает, пятясь, не сводя глаз с шевелящегося мешка. Мешок надвигается на него, король пятится, потом поворачивается и бежит со сцены. Мешок продолжает двигаться, сжимаясь и распрямляясь, добирается до трона и залезает под трон, не переставая издавать те же звуки: «Жуки-жаки, жяки-жюки... Жуки-жаки, жяки-жюки... Жуки-жаки, жяки-жюки...» Забравшись под трон, мешок умолкает... На сцену снова вбегает Король, сопровождаемый вооруженными стражами. Увидев, что идеи нет и сцена пуста, они, вместе с Королем, в недоумении разводят руками. Свет гаснет.

Занавес

Сцена восьмая

На авансцене — Женщина, которая отправлялась на воды, вместе с Девушкой. У обеих в руках по узлу.

Женщина. Пока мы с тобой окунали задницы в минеральную воду, смотри, сколько здесь народу собралось!

Девушка. Ужас сколько народу! Как на мельнице!

Женщина. Никакой мельницы я здесь не вижу!

Девушка. Я про толпу, тетенька, толпа собралась, как на мельнице, а не то чтоб я мельницу видела. Ведь когда такая толпа собирается, так обычно и говорят: гляди какая толпа — как на мельнице!

Женщина. А-а, ты про толпу? Так и я тебе про то же говорю: народу-то сколько! В наше время такого не бывало!

Девушка. В ваше время, тетенька, подданных меньше было, потому и толпы не было. А теперь, куда ни погляди, всюду подданных полно!

Женщина. Видать, и правда, все дело в подданных! Не было бы подданных, и толпы бы не было! Однако же, с другой стороны, если б не было толпы, где бы тогда подданные толкались?

Девушка. Верно, тетенька, кабы не толпа, подданным и толкаться бы негде было!

Женщина. Вот и дотолкались до этой толчеи!

Девушка. Верно, тетенька, но как же не быть толчее, когда все в королевстве толкаются! Не видишь разве — откуда бы кто ни шел, не успел подойти, а уже вперед проталкивается.

Женщина. Ясное дело, проталкивается! Другие толкаются, что ж ему-то остается!.. С одного боку не протолкнется, так с другого боку полезет толкаться! Видала, на водах-то что творилось — вот уж где толкучка, вот уж где толчея! Такая толчея, что в бассейне кроме как стоя и не искупаешься!

Девушка. И лежачие тоже попадались, тетенька, но больше было стоячих.

Женщина. Которые нахальные, те и лежали! А мы, которые не нахальные, мы-таки стояли!.. В наше время такого не бывало.

Девушка. В ваше время, тетенька, все подданные по домам сидели — ты ведь сама мне рассказывала. А нынче кто тебе станет дома сидеть? Ни один подданный не захочет! Дома-то сидеть скучно, тетенька! Дома разве что увидишь?

Женщина. Ничегошеньки дома не увидишь!.. Потому подданные и высматривают, нет ли где толпы, нет ли толчеи какой, чтоб им тоже в толчее потолкаться, посмотреть, что за толчея такая!

Девушка. Верно, тетенька, но выходит так, что и мы в стороне от толчеи не останемся!

Женщина. Не останемся-то не останемся, но хоть бы понять, из-за чего народ толкается.

Девушка. А разве когда поймешь, из-за чего народ толкается?

Женщина. Пойдем тогда и мы потолкаемся! Не станешь толкаться, толпа тебя самого вытолкнет!

Девушка. Толпа на то и толпа, тетенька, все для того и толкаются, чтоб соседа вытолкнуть. Иначе и толкаться бы не стоило.

Женщина. Чего ж мы тут болтаем? Пойдем скорее!

Девушка. Тетенька, можно, я тебя спрошу?

Женщина. Спрашивай!

Девушка. Вот если нас кто встретит, да увидит, какие мы купаные, да скажет: «С легким паром!» — мне сказать ему в ответ: «Спасибочки!»?

Женщина. Господи, с тобой рехнуться можно!.. Незнакомому человеку — и «спасибочки»!

Девушка. Да нет же, тетенька, я просто так, оттого что мы такие купаные!

Женщина (*подталкивая девушку*). Иди, иди! (*Крестится, передразнивая девушку.*) «Спасибочки»! Боже сохрани!

Занавес открывается

Сцена девятая

Открывается занавес. На сцене — большая, непрестанно движущаяся толпа. Подданные со всех концов королевства толпятся в ожидании торжества по случаю открытия Недовольни. Мужчины, женщины, солдаты, монахини, торговцы, чужеземцы со всех четырех сторон света, китайцы, негры, индейцы, эскимосы, другими словами — все пестрое человечество. В глубине сцены — помост, с двух сторон на него ведут ступеньки. У ступенек стоят на страже по два солдата с копьями. На переднем плане индийский факир играет на дудочке и укрощает змею. Женщина и Девушка проталкиваются сквозь толпу. Крики, гам, визг свистулек. Глотатели огня, глотатели шпаг, фокусники, акробаты... Шум стихает, по сцене проходят члены королевского совета под предводительством Серой тоги. Они поднимаются на помост. Серая тога выходит вперед.

Серая тога. Дорогие подданные! От имени и по поручению Его Величества короля объявляю Недовольню открытой! Его Величество надеется, что каждый подданный нашего королевства воспримет Недовольню как огромное достижение и оценит ее по достоинству. Поздравляю подданных с замечательным подарком! (*Кричит.*) О-го-го!

Толпа отвечает ему троекратным «О-го-го!». Советники кланяются и расходятся на две группы, при этом трое спускаются с одной, а трое сходят с другой стороны Недовольни. Затем они отступают назад и становятся по обе стороны Недовольни, лицом к толпе. Первым к Недовольне направляется Недовольный подданный. Он стремительно поднимается на помост, становится спиной к толпе и начинает кричать.

Недовольный подданный. Я недоволен! Я недоволен! Я недоволен! (*Поворачивается, ошарашенный, лицом к толпе, ощупывает себя, заглядывает себе за пазуху, хлопает себя ладонью по лбу. Подпрыгивает и радостно вопит.*) Я доволен! Я доволен! Я дово-о-олен!

Сразу вслед за Недовольным подданным на помост поднимается группа Хлебопеков в белых фартуках и белых колпаках. В руках у них большие караваи. Поворачиваются спиной к толпе.

Хлебопеки (*хором*). Мы недовольны! Мы недовольны! Мы недовольны! (*Поворачиваются лицом к толпе, кричат.*) Мы довольны! Мы довольны! Мы довольны!

Спускаются по ступенькам, угощают толпу, предлагая отламывать куски от караваев. На их место поднимается группа Дровосеков с топорами на плечах.

Дровосеки. Мы недовольны! Мы недовольны! Мы недовольны! (*Поворачиваются лицом к толпе.*) Мы довольны! Мы довольны! Мы довольны! (*Спускаются, приветствуя топорами толпу.*)

На помост, опираясь на костыли, с трудом взбирается Калека. Стоя на костылях спиной к толпе, кричит.

Калека. Я недоволен! Я недоволен! Я недоволен! (*Поворачивается к толпе, нерешительно улыбается, поднимает один костыль, делает шаг, поднимает и другой костыль, делает еще шаг, сует оба костыля под мышку, ощупывает ноги — они совершенно здоровые. Калека*

бьет себя кулаками в грудь и кричит.) Я доволен! Я доволен! Я доволен! (*Спускается по ступенькам, подпрыгивая, как мальчишка, и размахивая костылями.*)

По толпе проходит шепот, каждый шепчет что-то на ухо другому. Вслед за Калекой на помост поднимается Глухонемой, который жестами выражает сначала свое недовольство, а затем — довольство. За ним поднимается Группа китайцев. Каждый из них держит перед лицом брюзгливую маску.

Группа китайцев. Тя-нан-мын! Тя-нан-мын! Тя-нан-мын! (*Поворачиваются к толпе, теперь каждый держит перед лицом улыбающуюся маску.*) Нан-мын! Нан-мын! Нан-мын! (*Спускаются, широко улыбаясь.*)

Группа мусульман (*поднимается на помост под предводительством имама. У каждого в руке — кувшин. Садятся, поджав по-турецки ноги, спиной к толпе. Имам читает молитву, мусульмане моют руки, поливая себе из кувшинов, три раза кланяются до земли и хором восклицают*). Мы недовольны! Мы недовольны! Мы недовольны! (*По-прежнему сидя по-турецки, поворачиваются лицом к толпе и кричат.*) Мы довольны! Мы довольны! Мы довольны! (*Имам снова читает молитву, все трижды кланяются, моют руки, поливая себе из кувшинов, и, медленно спустившись по ступенькам, смешиваются с толпой.*)

Горбатый подданный (*поднимается в Недовольню, сильно склоняясь вперед. Становится спиной к толпе, при этом видно, как высоко торчит его горб. Кричит.*). Я недоволен! Я недоволен! Я недоволен! (*Поворачивается лицом к толпе, ощупывает спину, ищет горб, но горба нет. Радостно кричит.*) Я доволен! Я доволен! Я доволен! (*Спускается, насвистывая.*)

Группа негров (*вступают на помост Недовольни, танцуя и выкрикивая время от времени хором: «Йе-е-е!» Танцуют динамичный африканский танец, в котором словно бы содержится заклинание, и через равные промежутки времени выкрикивают.*) Мы недовольны! Мы недовольны! Мы недовольны! Йе-е-е! (*Поворачиваются лицом к толпе, продолжая свой динамичный танец, хлопают в ладоши и кричат.*) Мы довольны! Мы довольны! Мы довольны!.. Йе-е-е!

В их танец вплетается музыка. Не спускаясь с помоста, они хлопают в ладоши и жестами приглашают толпу присоединиться к их танцу и возгласам «Йе-йе-йе-е-е!» Толпа постепенно подчиняется ритму их танца и возгласов и тоже начинает танцевать. В глубине сцены члены королевского совета (тоги), стоя, подняв руки над головой, хлопают в ладоши.

Занавес

Сцена десятая

Дворец Министры-советники стоят. Трон пуст. Кукарекают петухи.

Оранжевая тога. Вот уж первые петухи поют, а Его Величества все нет!

Желтая тога. Впервые наш совет сзывается так поздно! Что может быть причиной?

Голубая тога. Наверно, что-то очень спешное!

Зеленая тога. Королевские дела всегда спешные. В девяноста девяти случаях из ста они или спешные, или чрезвычайные!

Белая тога. Не будь они чрезвычайными или спешными, они были бы слишком будничными и незначительными!

Входит Серая тога, подходит к трону, кланяется ему. Остальные тоги тоже кланяются трону.

Серая тога. Его Величество просит извинить его за то, что он так поздно созывает совет! Но известные обстоятельства, связанные с вершиной, требуют чрезвычайных мер.

Зеленая тога. На вершине случилось что-то неприятное?

Серая тога. О нет, как раз наоборот! Вершина вверх стремительно растет, не видеть этого нельзя. Но чем выше она растет и нас с собою вместе подымает, тем дороже она нам обходится!

Желтая тога. Обычный парадокс! Не вижу в нем для паники причины!

Серая тога. О панике и речи нет! Однако окрестные королевства с завистью следят за каждым нашим шагом. И они бы возрадовались, если б мы остановились на середине нашего пути — тяжелого, но славного! Нет, мы не остановимся, вы знаете! (*Слышны восклицания: «Знаем!», «Это исключено!», «Как так — остановиться посередке!», «Это невозможно!», «Да, да!», «Что вы говорите!»*) Но как члены королевского совета вы должны знать, что мы испытываем известные трудности.

Белая тога. Не понимаю, какие тут могут быть трудности! Земли в королевстве достаточно, чтобы насыпать эту вершину!

Оранжевая тога. И переносчиков земли достаточно!

Голубая тога. Сколько в королевстве нашем подданных, столько и переносчиков земли.

Серая тога. Трудности не в том, что нет земли! И не в том, что не хватает переносчиков. Казна оскудевает из-за многоцветья нашего королевства. С каждым днем цвета все больше растут в цене. Вершина требует средств, бесспорно, но и цвета того же требуют!

Желтая тога. Какой же цвет вы с Их Величеством или с казначеями имеете в виду?

Серая тога. Все цвета без исключения.

Белая тога. Но есть ведь и цвета, которые приносят прибыль! Возьмите, скажем, белый цвет — не только что не в тягость он казне, напротив, от него казне барыш.

Зеленая тога. Барыш — зимой, когда все было белым. А летом от него убыток! Летом зеленый цвет приносит прибыль!

Желтая тога. А осенью какой? Тут спора нет, все ясно — желтый!

Оранжевая тога. Да и оранжевый никак уж не в убыток.

Голубая тога. Да, но в остальные три сезона расходы на себя брала казна!

Оранжевая тога. Раз о расходах речь вы завели, казна нередко и за голубое платит! При солнечной погоде голубизна небес нам ничего не стоит, но в дождь, в туман кто будет за нее платить?

Желтая тога. Как кто? Казна, конечно!.. Но если все цвета такой убыток приносят королевству, за счет чего оно себя содержит?

Серая тога. Не ясно разве? Серый — вот цвет, что может сквозь все превратности пройти! Он постоянно, неустанно приносит прибыль! А нынче, когда все цвета все более убыточны и, точно жернов, на шее королевства повисают, серый цвет все более доходен... Его Величество, после долгих колебаний вняв советам, решил отныне объявить серый цвет основным цветом нашего королевства.

Белая тога. А остальные цвета?

Серая тога. Остальные временно отменяются!

Зеленая тога. Не перебор ли выйдет с серым цветом?

Голубая тога. Не станет ли наше королевство слишком серым?

Желтая тога. Я опасаюсь шинельно-серого оттенка!

Оранжевая тога. Хотите вы сказать: цвета солдатской шинели?

Серая тога. Оттенков серого не счесть — от молочно-серого до серо-буро-малинового. Когда я шел сюда, Его Величество сказал мне: «Быть может, мы остановим свой выбор на благородном мышином цвете! Раз обстоятельства нас вынуждают на время перейти на серый цвет, то пусть по крайней мере он будет благородным!..» Но вот и Его Величество!

Медленно входит Король. Он немного сгорбился и заметно постарел. Советники кланяются. Король подходит к трону и останавливается перед ним.

Король. Что-то от этого трона я распрямиться не могу!.. Меня он утомляет! (*Поворачивается к тогам.*) Я слышал ваши последние слова. Благородный мышиный цвет — и в самом деле звучит неплохо! (*Говорит медленно.*) Но пока я шел сюда, мне вспомнился еще один оттенок.

Все (*хором*). Какой, Ваше Величество?

Король. Есть, помнится, на свете цвет, что называют «лондонский туман». Как вам покажется, если все королевство наше мы окрасим в цвет лондонского тумана?

Все (*хором*). Чудесно, Ваше Величество!

Король. Или благородно окрасим его в благородный мышиный цвет?

Все (*хором*). Чудесно, Ваше Величество!

Король. Благодарю совет за то, что так единодушно он принял серый цвет! Этот серый цвет, достойный цвет и скромный, нас очень скоро на вершину приведет! (*Стучит скипетром.*)

Входят двое придворных. Они снимают с Короля мантию и выворачивают ее наизнанку. С изнанки она серая. Накидывают на плечи короля серую мантию. Затем они выворачивают чехлы с королевского трона. С изнанки они серые. Трон становится серым. Входит барабанщик, за ним знаменосец с пестрым флагом. За знаменосцем идут два ассистента. Знаменосец заменяет пестрый флаг серым и выходит в сопровождении барабанщика и ассистентов. Члены королевского совета, словно по сигналу, снимают тоги, выворачивают их наизнанку и снова надевают — все тоги оказываются серыми. Только Серой тоге не приходится переодеваться. Поют петухи.

Король. Вторые петухи уже поют? Как быстро мчится время! Пока еще не рассвело, давайте поспешим сменить цвета. Где наши стражи?

Серая тога. Они здесь, Ваше Величество, ждут ваших приказаний.

Король. Тогда пусть начинают!

Со всех сторон входят и вбегают стражи. Часть их скатывает яркий полосатый ковер и переворачивает его. С другой стороны ковер серый. Его расстилают на полу. Другие стражи поворачивают или меняют стены. Скрипят какие-то механизмы, одна группа поднимает потолок дворца (или небо), заменяя его серым потолком. Тихо звучит мелодия шарманки. Члены королевского совета, притворяясь удивленными, наблюдают за всеми переменами. Слышны возгласы: «Чудесно!», «Вы только посмотрите!», «Великолепно!»

Король. Мне думается, что наше королевство стало более уютным! Уж слишком пестрым было оно раньше.

Серая тога. И более уютным оно стало, Ваше Величество, и дешевле будет обходиться!

Король (*смотрит из-под руки*). Я вижу, как серый цвет ползет наверх к вершине!

Белая тога. О да, Ваше Величество, ползет, переливаясь! То благородный цвет мышиный виден, то лондонский туман!

Все вслед за Королем смотрят из-под руки в ту же сторону, что и Король. Стражи тоже перестают работать и приставляют к глазам ладони, но смотрят в разные стороны — кто куда смотрел до этого. Сверкает фотовспышка. Поют петухи.

Король. Поздравляю всех с нашей новой победой! Ну вот и третьи петухи пропели!.. Да возвестит их пенье начало серой эры в жизни королевства! Это событие исторического значения!

На сцену вбегает Королевский садовник с огромным серым цветком. Цветок так велик, что Садовник едва охватывает его двумя руками.

Садовник. Ваше Величество, прошу простить меня за вторжение, но сердце не дает мне ждать! В саду только что расцвел этот прекрасный цветок! Настоящий тысячелетник, Ваше Величество! Берег его я как зеницу ока и с трепетом я ждал, когда ж он рацветет!.. И вот, едва пропели третьи петухи, цветок тысячелетника раскрылся. Прекрасный цветок, Ваше Величество, изумительный цветок! Я назвал его, ни секунды не колеблясь, королевским серым... Ведь цвет цветка, Ваше

Величество, самый серый из всех серых, какие мне видеть доводилось! Самый великолепный серый! (*Падает на колени.*) Неподражаемо серый!

Король (*поднимает его*). Благодарю вас за этот чудный цвет! Посадите цветок перед моим дворцом, пусть подданные видят, какие в королевстве нашем цветут цветы!

Садовник. Сию секунду, Ваше Величество. (*Кидается бежать.*) Ах, какой прекрасный серый цветок! (*Убегает со сцены.*)

Король. Интересный тип этот садовник! Принес мне давеча в дворцовый зимний сад какую-то траву — мол, «волосы Венеры» она зовется. И если, говорит, траве дать подрасти, она раскинется вокруг ну совершенно как у той Венеры. Если же засеять ею все королевство, то, когда вершину мы закончим, она, мол, покроет ее склоны венериным ковром.

Белая тога. Весьма оригинальная идея, Ваше Величество!

Король. Да, оригинальная, но, когда я разглядел траву вблизи, она оказалась обыкновеннейшей пампасской травой, любимой пищей гиппопотамов!.. В пампасах эта трава растет повсюду, вот как у нас растет пырей, любимая пища любой свиньи!

Серая тога. Свинья ужасно любит пырей, Ваше Величество!

Оранжевая тога. Помню, когда я жил в деревне, у нас была свинья, и она действительно любила пырей!

Зеленая тога. Кто ж из нас не жил в деревне и не держал свиней!

Желтая тога. Свинья не просто щиплет пырей, Ваше Величество, она вырывает его с корнем! У ней такое мягкое рыло, можно даже сказать, нежное рыло, однако именно этим мягким и нежным рылом она разрыть способна самую твердую землю, были б только в ней пырея корешки! Наблюдал не раз я, с усердием каким, с каким восторгом взрывает она землю! К большому сожаленью, с таким усердьем и восторгом работать люди не умеют!

Голубая тога. Мне кажется, свинья на все восторг свой обращает. На то она ведь и свинья, чтобы восторженно любить все сущее!

Белая тога. Его Величество сказал, что пырей — любимая еда свиньи, не просто так, чтоб это подчеркнуть, а чтобы сопоставить пырей с травой пампасов и с гиппопотамом!.. Неправда ли, Ваше Величество, именно так следует толковать ваши слова относительно этих трех предметов?

Король. О-о-о, мне уже трудно вспомнить, о трех ли иль о четырех предметах шла речь. Я что-то приустал и вас покину!

Серая тога. Еще бы не устать, Ваше Величество, после такого исторического события!.. Идите отдохните, а мы еще поспорим, что именно и как вы изрекли! И полной ясности добьемся!

Король. Спор есть гимнастика ума! И поразмяться вам полезно, но только знайте меру!.. Ведь третьи уж пропели петухи! (*Уходит, вместе с ним в разные стороны уходят стражи, вывернувшие наизнанку королевство и показавшие его истинный серый цвет.*)

Зеленая тога. Я не согласен с тем, что травы сопоставлялись столь произвольно! Пусть между ними существует близость — в обоих случаях мы говорим о травах,— но надо посмотреть, имеет ли эта близость хоть какое-то касательство к гиппопотаму!

Голубая тога. Его Величество сказал нам, что пампасская трава — любимая еда гиппопотама, и в этом смысле сопоставил пырей с пампасскою травой, а вовсе не траву с гиппопотамом!

Оранжевая тога. Я думаю, Его Величество хотел привлечь наше внимание к своему садовнику, а вовсе не сопоставлял его с пыреем или с травой пампасов! И уж тем более он не желал сопоставлять его с гиппопотамом или со свиньей домашней. Когда я жил в деревне, помню, была у нас свинья, и в самом деле она...

Зеленая тога. ...да кто ж из нас не жил в деревне и не имел свиньи! Спор наш совсем ведь не об этом!

Серая тога. Ох, надо же выслушивать друг друга! А будем так перебивать — и до утра не разберемся в том, что наш король сказать изволил!.. Кто может что-либо дополнить?

Желтая тога. Я думаю, Его Величество сопоставлял траву пампасов и пырей, а сопоставление между гиппопотамом и травой пампасов должно было лишь прояснить картину.

Белая тога. В каком смысле?

Желтая тога. В том смысле, что, как гиппопотам безумно любит траву пампасов и ею кормится, так и свинья любит пырей и кормится пыреем!

Серая тога. Что до пырея, полагаю, мы уже достаточно о нем поговорили, и незачем нам снова и снова возвращаться к этой вульгарной траве. Хочу обратить ваше внимание на тот факт, что Его Величество, сопоставляя разные предметы, сближал одно с другим, мы же непрерывно их удаляем и отдаляем друг от друга! Таким образом мы не сближаемся, а, напротив, удаляемся как от сопоставления Его Величества, так и от смысла самого сопоставления!

Белая тога. А я настаиваю на сопоставлении между травой пампасов и пыреем в том смысле, в каком его привел Его Величество, а не в том смысле, который ему противоположен!

Голубая тога. Кто же говорит о противоположном! Мы именно о сопоставлении уж битый час и говорим!

Оранжевая тога. Верно, говорим, но говорим не о сопоставлении гиппопотама с пампасскою травой, а о сопоставлении пампасской травы с пыреем!

Желтая тога. В таком случае что же нам делать с гиппопотамом и свиньей? Их как нам сопоставить?

Зеленая тога. Я думаю, сопоставлять нам следует, исходя из мудрых слов Его Величества! То, что сказал он, предельно ясно. И сколько бы мы здесь ни толковали, нам большей ясности добиться не дано!

Оранжевая тога. Я думаю, что ясно все было с самого начала, когда Его Величество, вслед за травой пампасов и гиппопотамом, упомянул пырей и нашенскую, домашнюю свинью. И все же не могу я не отметить, что, когда я жил в деревне, у нас была свинья и она действительно любила пырей!

Серая тога. Я думаю, что этих толкований того, что Их Величество сказали про траву пампасов и про пырей, вполне достаточно! Если больше никто не хочет высказаться, закроем заседание. Желающие есть?.. Нету! Я закрываю королевский совет!

Члены королевского совета уходят парами, при этом каждый что-то говорит соседу или оживленно жестикулирует. Последними выходят Оранжевая и Зеленая тоги.

Оранжевая тога. И все-таки я помню, что, когда я жил в деревне, у нас была свинья и она действительно любила пырей!

Зеленая тога. Да кто ж из нас не жил в деревне и не держал свинью!

Оранжевая тога. И все-таки я настаиваю на том факте, что, когда я жил в деревне... (*Конец фразы не слышен, поскольку тога уходит со сцены.*)

Занавес

Сцена одиннадцатая

Авансцена

Первый переносчик земли (*с полным мешком за спиной*). Доброго здоровья, браток!

Второй переносчик земли (*с пустым мешком под мышкой*). И тебе, браток, того же!.. Все еще таскаешь землю?

Первый переносчик земли. Таскаю, видишь сам. (*Скидывает мешок со спины.*) И ты таскаешь?

Второй переносчик земли. Куда ни посмотри, все землю носят. Ведь переносим на спине мы наше королевство!

Первый переносчик земли. Ты думаешь, мы для того таскаем землю, чтоб королевство наше вознеслось как можно выше? Но ведь чем выше подымается вершина, тем круче склоны королевства!

Второй переносчик земли. Все тяжелее с грузом вверх идти! Сейчас я только что с вершины... А вниз посмотришь, видно, как потихоньку-полегоньку мы вырываем пропасть.

Первый переносчик земли. Там, где растет вершина, там непременно быть должна и пропасть! Растет вершина — знай растет и пропасть! Таков издревле закон весов — коль чаша вверх одна идет, другая, значит, вниз стремится!.. Ну, пошли! Спускайся вниз, счастливо!.. И без спешки, потихоньку, спешить тут ни к чему!

Второй переносчик земли. Твой путь наверх, тебе счастливо!.. И ты не слишком-то спеши! Все королевство перетащить легко ли?

Первый переносчик земли (*поднимает мешок, его пошатывает*). Да, уж конечно, не легко, а на спине — тем боле!

Расстаются, каждый идет в свою сторону.

Сцена двенадцатая

Король один, медленно прохаживается. Он порядком состарился и сгорбился.

Король. Ну просто каторга — быть королем!.. От трона этого я пополам согнулся! Быть может, он свою мне форму придает?.. На этом троне жизнь моя прошла! На нем я размышляю, отсюда управляю королевством, здесь и с советом заседаю. На троне принимаю я послов, на троне сидя, я мечтаю и планы новые для королевства вынашиваю здесь. Но здесь же и уныние нередко мной овладевает. А иногда, на троне сидя, я поддаюсь дремоте и вместо пуховой подушки кладу под голову я собственный кулак!.. Да, все-таки меня и вправду в дугу согнуло, и королевский стан мой становится троноподобным... А ну-ка гляну, как деревце мое — не принялось? (*Выдергивает деревце, смотрит на его корни.*) Нет, еще не принялось! А может, это потому, что я его тревожу то и дело? (*Возвращает деревце в кадку.*) Но где же королевский мой совет? (*Стучит скипетром, кричит.*) Куда он делся? Где мои тоги? Ну словно бы сквозь землю провалились!

Входят советники, предводительствуемые Серой тогой.

Серая тога. Мы здесь, Ваше Величество! Простите нас, что задержались, но мы зато вершину осмотрели!

Король. И как вершина?

Белая тога. Вздымается все выше!

Оранжевая тога. Если дело будет двигаться и дальше в таком же темпе, то скоро будем праздновать победу!

Король. О, я мечтаю о том дне, когда над всеми королевствами иными наше королевство вознесется!.. Но прежде чем наступит этот день, скажите мне, не слишком я согнулся? Не принимаю ли я форму трона?

Голубая тога. Что вы такое говорите, Ваше Величество!.. (*Горбится.*) У вас прекрасный вид, и вы такой прямой! Совет тотчас вам это подтвердит! А о сутулости и речи быть не может!

Все советники кивают, среди них наступает оживление, каждый слегка горбится.

Желтая тога. О-о-о, что вы говорите!..

Зеленая тога. Да-да, и речи быть не может!

В это время из-за кулис доносится протяжный крик: «Ка-аму горшки, ка-аму горшки!..» Другой голос дополняет: «Горшки и миски, горшки и миски!» На сцену выходит Боженька, который тянет за собой на веревке большой гончарный круг, и Сатана. Сатана помогает Боженьке, толкая круг сзади. Оба они босиком.

Боженька. Ка-аму горшки, ка-аму горшки!

Сатана. Горшки и миски!

Останавливаются посреди сцены.

Боженька. Мир вам! (*Кланяется, Сатана берет под козырек.*)

Король. Кто вы такие? В нашем королевстве мы вас не видели! И по одежде судя, вы из далеких прибыли краев!

Боженька. Из незапамятных времен мы прибыли!.. Вон, всю обувку давно уже сносили! Про наши странствия рассказ вам показался б слишком долог.

Король. А что за дело к нам вас привело?

Боженька. Мы заработок ищем.

Король. На что же вы способны? И с этим древним колесом?

Боженька. О, это настоящий гончарный круг! Скажите только, мы станем гончарами при вашем королевстве. Лучших гончаров нигде и никогда вы не найдете!

Король. А где вы научились ремеслу? Гончарное дело — дело тонкое!

Боженька. Гончарным ремеслом владею я, а это мой подручный. Он месит глину, дрова подбрасывает в печь. Вы совершенно справедливо сейчас сказали, что дело это тонкое. И овладел я им сам по себе. Нужда заставила, и овладел.

Серая тога. Ваше Величество, видать, гончар этот — чистый самоучка, кустарь.

Боженька. Верно! На старости-то лет кустарь я, вот и все. Но должен вам сказать, что в юности я богом был! А нынче меня кличут по-простому: я боженька.

Король. Как, вы?

Боженька. Да, я!

Сатана (*делает шаг вперед, становится по стойке «смирно», берет под козырек и говорит отрывисто*). О'кей, сэр! (*Возвращается на шаг назад.*) Боженька в молодости был богом!

Король (*обращаясь к Сатане*). Вы очень хорошо говорите по-английски! Где вы выучили язык?

Сатана (*берет под козырек*). О'кей, сэр! Я выучил его на пароходе! Я много лет работал кочегаром на океанском пароходе. Страх как люблю котлы, огонь. Огонь могу я высечь из чего хотите! Вот так вот щелкну пальцами (*щелкает пальцами*), и все — готов огонь!

Король. А этим где ж вы овладели?

Боженька. Как где?.. В аду! Когда мы были молодыми, когда я богом был, то он, чертяка этакий, в аду распоряжался!

Король. Уж не хотите ль вы сказать, что вы и есть господь наш бог и — дьявол-сатана?

Боженька. Вот именно!

Сатана. О'кей, сэр!

Король (*встает с трона*). Я рад приятному знакомству! (*Сдержанно кивает Боженьке, энергичным шагом подходит к Сатане и трясет его руку. Тоги повторяют все его движения, при этом каждый старается быть таким же сгорбленным, как король. Король и тоги, столпившись вокруг Сатаны, продолжают разговор. Время от времени король снисходительно похлопывает Сатану по спине.*) Черт вас возьми совсем! Нашли же время, чтоб в королевство к нам явиться!.. Как раз сейчас нам не до гончаров!

Серая тога. Ваше Величество, простите, что я встрял, но разве можно что-то брать на веру? Любой бродяга, пьяница, пройдоха придет сюда и станет утверждать, что он и есть создатель наш или что он — сам дьявол-сатана!

Король. Так что ж нам делать?

Голубая тога. Мы должны их испытанию подвергнуть!

Король. А что мы будем проверять?

Желтая тога. Проверим, каким они владеют ремеслом!

Белая тога. Если этот вот гончар и вправду господом был богом, то, значит, он собственноручно человека первого слепил и дал нам в праотцы!

Боженька. Да, я слепил его из глины!.. Признаюсь честно, что скука тому причиной стала. В хаосе я навел порядок, и всюду воцарилась скука. И вот однажды, маясь от безделья, я пальцами стал глину разминать. Вдруг чувствую — она зашевелилась! Смотри-ка, думаю, как от безделья и со скуки я сотворил вот это существо, мне самому подобное. Дохнул ему в лицо — оно чихнуло! «Будь человеком! — я ему сказал.— Адамом будь!» А он сказал мне: «Благодарю, Создатель, что сотворил меня!» А я ему: «Делами отблагодаришь, а не словами!» Потом и он стал маяться от скуки и попросил, чтоб Еву я сотворил ему. Не то ему играть, мол, не с кем!

Сатана. Он для того просил создать второе существо, чтоб с ним играть в велосипед!

Боженька. Ты, пьяница, молчи! Какой еще велосипед в те времена!

Оранжевая тога. Ваше Величество, пусть этот мастер здесь, вот прямо перед нами, свое былое нам покажет мастерство!

Зеленая тога. Пусть человека снова сотворит! Тогда мы скажем: он создатель!

Король. Умно придумано!.. А дьявол? Что от него потребуем?

Серая тога. А он чтобы огонь зажег из ничего!

Король. Совет вас хочет испытать — проверить, правду ли вы нам сказали. Как, вы готовы испытание пройти?

Боженька. Да хоть сейчас, играючи!

Сатана. О'кей, сэр!

Король. Ну что ж, тогда начнем!

Король отходит назад к трону и садится на трон. Тоги отходят вместе с ним и располагаются по обе стороны трона. Боженька придает кругу вращательное движение, медленно закатывает рукава. Говорит, обращаясь к Сатане.

Боженька. Подай мне глину!.. Нет, не из этого мешка, а из того, она помягче, послушнее под пальцами!.. Да, эту!.. Сейчас, сейчас! Вот только б пальцы не дрожали!

Сатана. Вот, Боженька, возьмите! (*Подает ему плоскую флягу.*) Еще глоток, и дрожи в пальцах как не бывало!

Боженька (*берет фляжку, отпивает*). Проклятый сатана!.. Приохотил меня к зелью окаянному, а я привык — пока не пропущу глоток, и пальцы успокоиться не могут... Хоть провалился б ты сквозь землю, сатана! (*Снова отпивает.*) Ну просто гадость, да еще воняет! Черт-те из чего, наверно, гонят!

Сатана. Из чего б не гнали, ведь дистиллируют потом! Ты, Боженька, не беспокойся — продукт двойной очистки!

Боженька. Небось, из старых башмаков иль из портков, что грешники носили, ты варишь зелье, оттого и вонь!.. Подай воды! (*Прячет фляжку в карман.*) Вода для глины мне нужна! (*Сатана подает ему воду.*) Теперь вот руки мне послушны, и в пальцах дрожи больше нет! (*Пускает гончарный круг быстрее, он тихо воет, Боженька формует глину.*) Я чувствую, как глина шевелиться начинает!.. Да, как живая шевелится! Пошла, пошла!.. Давай огонь! Чтоб глина задышала, огнем ее должны мы опалить!

Сатана щелкает пальцами, между пальцами сыплются искры. Щелкает пальцами другой руки — и снова искры. Хлопает рукой по бедру — сыплются искры; шлепает ладонью по ступне — искры; хлопает руками — сноп искр. Указывает наверх в пространство — там рассыпаются искры, показывает двумя руками на землю — из-под земли выбиваются искры и дым. Постепенно сцену заливает красный мерцающий свет, окутывает дым.

Сатана начинает танцевать дьявольский танец, раскаляя все вокруг себя. Боженька воодушевляется и, выпрямившись, поднимает руки.

Боженька. Гром и молнии!.. Огня, еще огня! (*Делает рукой знак, сверкает молния, гремит гром. Гончарный круг вертится сам, окутанный дымом. Боженька отдает распоряжения Сатане.*) Возьми сосуд и пронеси его сквозь пламя! Да поосторожней, чтоб по дороге не разбить!

Сатана загораживает своим плащом гончарный круг, затем, что-то пряча под плащом, убегает со сцены. Снова появляется с другой стороны сцены, распахивает плащ и ставит к ногам Короля большой кувшин. Пятясь, отходит к Боженьке. Боженька вытаскивает фляжку, отпивает и прячет ее.

Боженька. Вот мое создание!

Король. Но это же не человек! Передо мной кувшин!

Советники (*хором, тихо*). Кувшин! Кувшин!

Боженька. Кувшин!

Сатана. О'кей, сэр!

Король. Вы утверждали, что вы бог и что из глины вы сотворили человека!

Боженька. Да, правда, я был богом, но престол мой опрокинут, и я теперь простой гончар. С теми, кого лишают трона,— обычная история! Пока на троне ты, ты бог, ты царь! А с трона скинут — и все, простой гончар... И так не только с богом — взгляните-ка на Сатану! Прогнали с трона — и вот он истопник иль кочегар!

Сатана. О'кей, сэр, это так!

Боженька. Мы с Сатаной порождены невежеством! Случилось это много веков назад, во времена, когда повсюду царила темнота и натуральное невежество — натуральное, а не такое, как теперь. Теперь повсюду мнимого невежества полно и всюду мнимая ученость процветает!.. Меня невежество определило на небесный трон, средь пустоты и скуки! А Сатане в аду установило трон, среди огня и дыма. Небеса невежество связало со своей душой, а тело свое — с адом. И принялось терзать и мучить тело и предавать его лишеньям и посту, надеясь, что способом таким оно возвысит душу, спасет ее от пекла. Но времена давно переменились, невежество, расправив плечи, теперь плюет на вопли и возражения души и слушается тела. Нынче каждый склонен, попирая душу, чтить тело. Тело нынче царит над всем!.. Потому подворья наши с Сатаной похожи стали на постоялые дворы у брошенных дорог. Пустота да шорох мышей летучих... Прежде чем в путь отправиться вот с этим кругом, я райские свои владенья обошел. Уныние, сонливость царили там. На деревьях уныло дремали ангелы. Лишь изредка один из них прошелестит крылом или почешет рассеянно помятое перо. Мертво вокруг, тоскливо! Что может быть ужасней, чем мертвый рай и ангел-меланхолик в помятых перьях!

Сатана. Да и в аду ничуть не лучше! Когда пошел я с адом попрощаться и бросить на него последний взгляд, он весь был скован стужей. Холодный пепел покрывал пространство, котел стоял оледенелый, хлопья сажи носились в воздухе и черным снегом засыпали то, что оставалось от адской кухни. На земле сидел подслеповатый и глуховатый дьявол и грыз какое-то дрянцо, такое черное и ссохшееся, что не определишь, чем оно было раньше. Быть может, это один из ваших ангелов унылых сверху уронил? Помет их ангелячий нередко сыпался к нам в ад! (*Достает из кармана бутылку, отпивает и прячет бутылку обратно.*)

Боженька. С тех пор как мы в пути, все пьешь и пьешь!

Сатана. Да если б я не пил, я б разве выдержал все это!.. Как вспомню прежние годочки, так грусть-тоска меня грызет. Ведь в преисподней все кипело, и чертенок каждый там при деле был!.. В смоле кипящей бултыхались грешники, с трезубцами в руках сновали черти. Они дрова пилили и кололи, подбрасывали их в огонь, трезубцами смолу мешали, чтоб ненароком из грешников никто б не пригорел иль

не присох к котлу. И постоянно терли сажей свою шерсть, чтоб волос был и черным и блестящим. А я смотрел и любовался картиной, полной жизни, расположившись на черном троне в изысканнейшей позе... Великие художники толпились тут же, оспаривая друг у друга честь писать меня с натуры.

Боженька. Великие художники сначала меня писали, сатана проклятый! И трон мой рисовали, и мой рай, и ангелов моих, и лишь потом спускались в преисподнюю твою вонючую, чтоб углем нацарапать какой-нибудь пустяк. Да разве в преисподней что увидишь — лишь уголья да сажу! Да тощих твоих подручных, таких взопревших и вонючих, что на них посмотришь только и тут же плюнешь!.. А меня и видные поэты воспевали, со всех сторон был слышен скрип гусиных перьев, меня поэты просто обожали! И более того — обожествляли!

Сатана. Что ж, Боженька, меня не менее великие поэты тоже воспевали! Вот не обожествляли — признаю, но обожали — да! И обожали не одного меня, а пекло как таковое!.. Чуть рай заснет, они сейчас же в ад тихонько шмыг и грешников рисуют. Богема, что с них взять, им нравилось, что грешники нагие. Нагими грешниками ад и привлекал. А раз и матерь божья к нам в ад спустилась. Зуб разболелся у нее, комочком ладана она его лечила, но лишь когда она увидела наш ад и грешников в натуре, прошла зубная боль. Ох и разговоров было о том, как богоматерь спустилась в ад. Хождение по мукам — так назвали это...

Боженька. Молчи, невежда! И мне противоречить не смей! (*Достает фляжку, отпивает, прячет фляжку.*) И хватит пить! С тех пор как мы в пути, все пьешь и пьешь! Да и меня сумел ты совратить, ты, искуситель!.. Давай впрягайся и пойдем, не то в пути нас ночь застанет. Видишь — не признали нас королевства мастерами, хотя они и сами не слишком мастеровиты... Мы насмотрелись по дороге, как каждое из королевств пытается на человека стать похожим. Однако, куда ни посмотри,— хромые королевства, косые королевства, иль кривобокие, или такие, что лоб едва в два пальца высотой. В подобных случаях в Мадагаскаре говорят: «Сотворил господь крокодила, глянул — не нравится, но что сделано, то сделано!»

Сатана. У этих, низколобых, волосья от бровей растут.

Боженька. Да, это так, но хватит болтовни! Не то мы королевству станем в тягость.

Король. Мы выслушали вас и оценили ваше мастерство. Теперь идите на ночлег! (*Отдает распоряжения.*) Накормите путников и укажите место для ночлега! Пусть переночуют под навесом мельницы, где спят помольщики. А наймем ли мы их как гончаров, решим попозже!.. Вы свободны!

Боженька. Благодарствуем!.. А этот вот кувшин примите от нас в подарок! Пусть он посудина простая, из обычной глины, но божьи руки форму ему дали, а обжиг он прошел в печи у Сатаны! (*Подает кувшин Королю, из кувшина доносится тихая музыка.*) Пошли! (*Кричит.*) Ка-аму горшки, ка-аму горшки!

Сатана. Горшки и миски!

Боженька и Сатана уходят, но на этот раз Сатана волочит гончарный круг, а Боженька подталкивает его сзади. Король стоит с кувшином в руках, советники тоже стоят. Боженька и Сатана скрываются за кулисами.

Король. Да, ничего не скажешь, опустились!.. И все же один из них был богом, и сатаной — другой. И рай и ад им подчинялись! Судьба-индейка! Так низко опуститься — они ведь просто жалкие бродяги. И я боюсь, что даже алкаши!

Серая тога. Ваше Величество, возможно, что они и вшивы!

Белая тога. Коль ты бродяга, значит — вшив!

Желтая тога. Да постоялый двор — такое место, что, если раз ты там переночуешь, готово — вшей не сосчитать!

Зеленая тога. Ваше Величество, а если эти бедолаги у нас останутся, что с ними делать?

Король. Если они останутся у нас и будут лепить свои горшки и миски, их на продажу выставляя в базарный день, то это пробудит любопытство подданных не только наших, но также и всех прочих королевств. Любопытные из всех краев потянутся смотреть, как бог и дьявол горшки тут обжигают, как ради хлеба трудятся они.

Голубая тога. Так это и Международную организацию, пожалуй, заинтересует! Очень остроумная идея!

Оранжевая тога. Остроумнее и быть не может! Ваш острый ум, Ваше Величество, просто поразил нас своим остроумием! Как вы только до этого додумались?

Король. Додумался я потому, что думаю без устали о том, как бы прославить наше королевство!.. Сам бог у нас — гончар, а дьявол — в кочегарах!

Советники аплодируют. Король, осторожно неся кувшин, выходит вперед и ставит кувшин на середину сцены. Медленно ступая, держась одной рукой за поясницу, идет со сцены. За ним следуют советники, при этом каждый из них держится за поясницу — кто правой, кто левой рукой. Свет сосредоточивается на кувшине. Продолжает звучать тихая музыка, напоминающая шарманку.

Занавес

Примечание. В конце этой сцены, пока еще звучит шарманка, из темноты появляется ангел с большими крыльями, который начинает кружить и танцевать вокруг кувшина. Вслед за ангелом появляется черт, одетый в красное и черное. Он старается приманить ангела и его похитить. Одновременно с чертом на сцене появляются черные ангелы. Белый ангел спотыкается и падает, встает, снова падает, по пятам преследуемый чертом. Наконец, ангел падает ничком, вздрагивает и замирает, медленно опуская крылья. Черт наклоняется и отрывает ему крылья. Черные ангелы поднимают упавшего ангела и торжественно выносят его на руках. За ними идет черт, волоча по земле оторванные им крылья.

Сцена тринадцатая

На авансцене члены королевского совета играют в «жучок». С двух сторон к ним бросаются Первый и Второй переносчики земли, нагруженные мешками.

Первый переносчик земли. Спасите!

Второй переносчик земли. Спасите!

Серая тога. Что вы кричите?

Первый переносчик земли. Гибнем!

Белая тога. Как так гибнете?

Второй переносчик земли. Рушимся!

Оранжевая тога. Куда рушитесь?

Первый переносчик земли. Королевство рушится!

Зеленая тога. Королевство? Разве королевство может обрушиться?

Второй переносчик земли. Вот так вот, рушится!.. Сыплется и распадается! Вы что, не слышите? (*Слышен гул.*)

Желтая тога. Что значит этот гул? Что значит этот грохот?

Первый переносчик земли. Все королевство сотрясается. Пока на спинах мы таскали землю и воздвигали вам вершину, все королевство стало таким отвесным и таким крутым, что начало вдруг осыпаться! Слепой лавиной королевство покатилось вниз, все на пути своем сметая! (*Бежит с криком за кулисы.*) Спасите! Королевство рушится!

Голубая тога. Что ж мы медлим?

Оранжевая тога. А что нам делать? Бежать?

Серая тога. Надо разбудить короля!

Зеленая тога. В дурном расположенье он бывает, когда его тревожат слишком рано!

Белая тога. Но королевство рушится — обязаны его мы разбудить!

Желтая тога. Тогда давайте войдем все вместе!

Серая тога. Давайте! Раз королевство рушится, будить его мы будем хором!

Советники сбиваются в кучку и, подталкивая друг друга, направляются к занавесу. Занавес медленно открывается. Советники продолжают стоять кучкой у края сцены. Слышен далекий гул.

Сцена четырнадцатая

Занавес открывается полностью. На сцене пустой трон. На троне лежат скипетр и корона, брошена королевская мантия. Советники по-прежнему стоят тесной кучкой. Сблизив головы, они кричат шепотом.

Советники (*хором, шепотом*). Ваше Величество! Ваше Величество!

Оранжевая тога (*шепотом*). Их Величество нас не слышит!

Белая тога (*шепотом*). И не услышит, раз мы шепчем!

Серая тога (*шепотом*). Почему вы все шипите? Почему никто не крикнет во весь голос?

Оранжевая тога (*шепотом*). Я бы крикнул, но голос сел. (*Прокашливается.*)

Белая тога (*шепотом*). И я вдруг взял да и осип! (*Прокашливается.*)

Серая тога (*шепотом*). Но я прошу вас! Давайте в полный голос окликнем наконец Его Величество! Пока мы мнемся здесь и шепчем, без королевства можем мы остаться! Ну же!

Советники (*хором, шепотом*). Ваше Величество!.. Ваше Величество!

На сцену выходит Король — босой, в кальсонах и белой майке, с непокрытой головой. Вид у него сонный, он щурится на свет, все еще не замечая советников, сбившихся в кучку на краю сцены.

Король (*про себя*). Как будто кто-то звал меня...

Серая тога (*шепотом*). Это мы, Ваше Величество, вас зовем!

Король (*видит советников, вздрагивает, направляется к ним*). Но почему вы так бледны? И почему дрожите?

Серая тога (*подходит к нему и шепотом, доверительно говорит ему на ухо*). Королевство рушится, Ваше Величество!

Король (*пятясь к трону, тихо*). Как так — королевство рушится? (*Берет с трона корону, надевает ее на голову. Кричит.*) Как это так — королевство рушится?

Серая тога (*громко, словно рапортуя*). Рушится, Ваше Величество! С грохотом и треском!.. Пока вершину все мы воздвигали и подданные таскали вверх мешки с землей, королевство наше таким отвесным стало и таким крутым, что и само на крутизне не удержалось и, осыпаясь, покатилось вниз! Ну прямо-таки кувырком, Ваше Величество! Точно лавина, несется вниз, все под собой сминая! Переносчики земли сейчас здесь были — они бегут с вершины в панике и страхе!.. Вы слышите подземный гул? То наше королевство под нами сотрясается!

Король. Рушится королевство! (*Хватается обеими руками за голову.*) То королевство, в которое мы с вами вложили столько заботы и труда!.. Все достиженья наши могут рухнуть!.. Черт побери! Где Недовольня? (*Швыряет корону на трон. Садится сам, сильно согнувшись.*) Где ветряная мельница? Привычного не слышу скрипа! Без хлеба ведь оставим королевство!.. И земного шара я не вижу! Стоял ведь шар земной перед дворцом, стоял для украшенья! Куда теперь он делся?

Белая тога. Вон он, Ваше Величество! Вниз катится, под горку, на крутизне не может удержаться.

Голубая тога. Смел с дороги Недовольню, опрокинул амбар с кукурузой и разогнал сорок, что кукурузой той кормились!

Король. Ох эти мне сороки!.. Вечно там вертелись!.. И хорошо, что шар их распугал!

Зеленая тога. Глядите, как мучная пыль столбом там встала! Похоже, шар земной и ветряную мельницу смахнул!

Король. Но я там ничего не вижу! Вернее, вижу только дым!

Зеленая тога. Это не дым, Ваше Величество, а пыль мучная. Когда мельница мелет, над ней тончайшая мучная пыль стоит!

Король. Мучная пыль, согласен! А этот чертов шар земной — что, еще катится?

Желтая тога. Катится, Ваше Величество, да еще как! Всю воду из болот и топей выплескивает!

Оранжевая тога. Боюсь, что духов водяных и бесов после него уж не останется!

Король. По скольку, говорили вы, водяных духов и бесов приходится на душу населения?.. Впрочем, никакого значения для королевства это уже не имеет. Лишь бы проклятый глобус не задавил какого подданного по пути!.. Что, еще катится?

Серая тога. Катится вприпрыжку, Ваше Величество!

Белая тога. Пусть катится себе, а вы бы лучше обернулись и посмотрели, какая движется на нас лавина! Подобно второму пришествию несется!

Слышны крики, гвалт, улюлюканье.

Король. Что там еще за гвалт? Что за варварские крики по королевству нашему разносятся?

Серая тога (*отступая назад, к краю сцены, вместе с жмущимися к нему другими советниками*). Это подданные надвигаются, Ваше Величество! Призывают вас к ответу!

Король. Ради бога, остановите их!

Серая тога. Это невозможно, Ваше Величество! Лавину мы не можем остановить! Лучше попытаться самим нам как-нибудь исчезнуть! То ли испариться, то ли с толпой смешаться...

Советники, пятясь, убираются со сцены. Слышны крики: «Король!.. Где король?.. Подать сюда короля!» Звенит разбитое стекло. Король боязливо спускается с трона.

Король. Сбежали, чертовы тараканы!.. На королевской трапезе они не крошки подбирали, а уплетали караваи!.. Теперь же вмиг исчезли — ну словно бы сквозь землю провалились! А я? А мне куда же скрыться? (*Оглядывается.*) Под троном, может, безопаснее всего? (*Пытается на корточках залезть под трон, но тут же отскакивает. Из-под трона вылезает, уныло мяукая, сжимаясь и распрямляясь, завязанная в мешок бродячая идея*). О-о-о, здесь бродячая идея еще раньше меня спряталась! Чертова идея, свиноподобная и прыщавая! Нашла под троном удобное и тихое местечко, чтоб из-под низа подрывать устои королевства! Ах ты подлая бродяга! (*Слышен грохот, где-то падают двери.*) Скорей бежать, скорей куда-то скрыться!.. Но как, куда? Вот был бы конь, я тут же бы умчался!.. Да-а, конь!.. Но где он, мой коняга? (*Крики за сценой нарастают.*) Конь, конь мне нужен! (*Громко кричит.*) Меняю королевство на коня!

Король бежит по сцене, но одна стена перед ним падает. Из-за стены показываются подданные. При виде Короля они останавливаются. Король, увидев их, тоже останавливается.

Король. Коня, коня мне дайте!.. Меняю королевство на коня!

Он идет в глубину сцены, но и задняя стена падает, сцена оголяется, другими словами — оголяется королевство. За стеной стоят подданные, вооруженные косами, вилами и пр. По сути дела, это все, кто так или иначе участвовал в нашей истории.

Король. Никто из вас не хочет на королевство поменять коня? Ведь королевство отдаю я за бесценок!.. Да?.. Нет?

С той стороны, куда сбежал королевский совет, входят, вызывающе смеясь и кокетничая, женщины легкого поведения. На самом деле это члены королевского совета — они подтянули тоги, подпоясались длинными поясами, надели туфли на высоком каблуке, прицепили себе бюсты, накрасились, в волосах кое-где торчат бигуди. Король видит их, отступает на шаг назад, хватается за сердце.

Король. О боже!

Боженька вместе с Сатаной выходят из толпы. Боженька тащит гончарный круг. Сатана толкает его сзади.

Боженька (*королю*). Я здесь!

Король. И Сатана, я вижу, тут же.

Сатана. О'кей, сэр! Я тоже здесь!

Король (*внезапно оживившись, начинает обходить сцену*). Отлично! Я тоже здесь!.. На деревце взгляну — быть может, принялось? (*Подходит к деревцу, выдергивает его из кадки.*) Нет, не принялось!.. Должно быть, слишком часто из земли его я извлекал, чтобы оно могло приняться... Ничего, по крайней мере послужит мне кнутом! (*Оглядывается.*) Да, но для кнута мне нужен конь! Да-да! Конь... Конь... (*Просияв, хлопает себя по лбу. Направляется к трону. Вдруг начинает громко смеяться.*) Да вот ведь в сущности мой конь! (*Похлопывает трон.*) Чудесный конь! (*Прыжком вскакивает на трон и прижимается к его спинке.*) Н-но!.. Н-но! Эй, поосторожней, чтоб я кого-нибудь не задавил... Эй вы там, расступитесь! Прочь с дороги!.. (*Показывает на членов королевского совета. Те пищат фальшивыми женскими голосами и бегут по сцене, попадая в объятия Первого и Второго верноподданных. Верноподданные ошарашены, но удивление тут же сменяется радостью, и они принимаются тискать соблазнительниц.*) Прочь с дороги, говорю, и не фотографировать!.. Все отсюда вон!.. Н-но, лошадка, н-но!.. Не фотографируйте!.. (*Закрывает лицо руками и беззвучно плачет, вжимаясь в спинку трона.*)

Боженька. Вы видели — так короли по образу и подобию своему творят свои королевства!

Сатана. Вы видели — так короли по образу и подобию своему губят свои королевства.

Боженька. Чем мне противоречить, несчастный, толкал бы лучше! (*Идет, волоча за собой гончарный круг. Сатана подталкивает его сзади.*) Ка-аму горшки! Ка-аму горшки!

Сатана (*вторя*). Горшки и миски-и-и!

Занавес

Конец

Из классики XX века

АНТОНИО МАЧАДО

■

С испанского

Ход испанской культуры последнего столетия принято измерять поколениями. Антонио Мачадо принадлежал если не к самому яркому (следующее, сплотившееся вокруг Лорки, было пестрей и шумнее), то, пожалуй, к наиболее глубокому из них. Унамуно и Валье Инклан, Бароха, Хименес и Асорин — вот лишь некоторые, самые звонкие и знакомые нашему читателю имена среди его сверстников и соратников, которым досталось подытожить XIX век и запечатлеть XX. Едва ли не впервые и как уже ни у кого потом в их стихах, драмах и прозе предстала во всей подробности испанская земля — ее будни и праздники, селенья и города ее провинций, жизнь хозяина и тяготы землепашца, калейдоскоп рассветов и закатов, каталог хребтов, излук и равнин. Задачу выразить жизнь нации с такой полнотой берет на себя далеко не всякое поколение, еще реже удается с ней справиться.

Мачадо родился на андалусском юге, в традиционной Испании плащей и шпаг — донжуановской Севилье (поздней она приютит студента Хименеса и будет воспета Лоркой), а глазами поэта увидел сердцевину страны — суровую Кастилию. География входит в его лирику с особой, редкой и для того поколения детальностью. Над страницами волхвует дух места. Провинциальная площадь со скамьей и фонтаном, улочка с церковной башней и нависшим балконом старинного особняка, дорога, встречающая зарю и уводящая в ночь, кочуют вместе со странником из одного стихотворения в другое. Одиночество и память о детстве — вот и все его спутники. Окружение, в котором выношено и на котором настояно слово, дышит в самих стихах, венчает их заглавиями, ложится в названия циклов и сборников — в них мелькают поля, берега, долины и верховья. Но нельзя не заметить, как завороженную воспоминаниями статику тумана и сна, видения сторонящегося людей мечтателя из двух первых книг преображает и преодолевает движенье. С годами все ощутимей ведущее поэта, если воспользоваться блоковской формулой, «чувство пути». Это, конечно, и вполне реальные скитанья нелюдима по испанским захолустьям («Поля Кастилии»). Но чем дальше, тем отчетливей — это еще и путь человека по жизни. И странствия тоскующей души по земному миру — тема, пронзительно звучащая в поздних стихах, передоверенных Мачадо выдуманным двойникам Абелю Мартину и Хуану де Майрене. А путь — это уже не только пространство, а пространство, преображенное временем.

И точные детали места и быта сквозят у поэта реальностью иного плана: сквозь природу и обиход глядит история и просвечивает метафизика. Картина оттого и схвачена с такой мгновенной четкостью, что запечатлена в убегающем времени — поймана на повороте, перед расставаньем. Это опять-таки и уход странствующего поэта к новым селеньям, и преддверие разлуки со всем сложившимся жизненным укладом. Место здесь увидено как время, а пространство понято как образ духа, мучительно ввергнутого в историю.

Драматизм хода времени поколение Мачадо ощутило вполне. Его сверстники повзрослели с испано-американской войной 1898 года, когда многовековая империя надломилась и вместе с последними заокеанскими колониями рухнула давно уже ставшая картонной бутафорией державная слава. А закончились судьбы его соратников — сколько бы им ни выпало еще лет по календарю! — с крушением Испанской республики после того, как между двумя диктатурами — свергнутого Примо де Риверы и грядущего Франко — страна оказалась брошена в самоубийственную бойню. Недавние надежды на обновление питали ту же душу, которой теперь выпало видеть, как рушится целый пласт истории народа и меркнут горизонты, забрезжившие было в этом провале. Никто из современников Мачадо не закрывал глаз на то, что вместе с дремучим изуверством захолустья и проклятьем безысходного труда новый век уносит родовую традицию и устойчивый миропорядок, тишину весенней долины и казавшийся вечным профиль селения на взгорье. Все это было обречено: так пластался время. Сам Мачадо к чертам испанского характера относил «беспощадную строгость в суждениях о себе». Прекраснодушных идилликов в его поколении не было, но видеть окружающее без боли не мог из них никто. На страницах «Полей Кастилии» скупая красота серых и охряных пейзажей монтируется «встык» с приметами

гибели и одичанья, а иконописный профиль идальго и вздутые жилы пахаря — с отрепьем нищего, оскалом преступника и гримасой безумца.

Так получилось, что жизненный путь Мачадо вел его с юга все дальше на север — от уютной гостиной севильянского детства в семье потомственных книжников и собирателей фольклора к пустошам и скалам зимней Гвадаррамы — к трудам и бедам ее людей,— их сторону в краткий период Республики он принял без колебаний. С ними — «гурьбой и гуртом», говоря словами тогда же погибавшего русского поэта (Мандельштама),— он и закончил жизнь, покинув разоренную родину и бредя, теперь уже через Пиренеи, среди беженцев и погорельцев разбитой республики, спасающихся от победившей диктатуры. На севере, в глухом французском городке, он через несколько дней умер. Маршрут одного оказался дорогой целой исторической эпохи, уделом не только поколения, но и народа.

И правильней будет сказать, что истинная среда Мачадо-лирика — все-таки не пространство: в конце концов «звук, цвет, линия», как в его поздней сюите «Галереи», растворяются в прозрачной дали, представая перед глазами поэта первоначалами земли и воды, ветра и огня — неудержимым и недоступным потоком Гераклита. Его стихия — время, а опора не изобразительная метафора, но, как писал он сам, «слово во времени».

Мачадо начали перево́дить у нас к концу 30-х, когда сводки с фронтов гражданской войны внедрили в быт и слух фонетику иберийских имен и географию испанских провинций. Во второй половине 70-х, почти разом, вышла вобравшая старые и новые работы книга его стихов и прозы, увидели свет несколько антологий, включавших лирику Мачадо. Казалось, он в основном переведен и хрестоматийный состав избранного установился. Сегодня видишь (мы представляем поэта только не переводившимися ранее стихами), что впереди — еще дорога. Опыт поколения Мачадо для нас все значимей и, рискну сказать, ясней. Может быть, спустя полвека после кончины поэта мы накануне нового углубления в его мир. Хочется верить, что нынешняя подборка — шаг к этому.

Б. ДУБИН

Сны

Прекраснейшая фея — фея детства —
звезде посередине небосклона
тихонько улыбнулась; по соседству
ее сестер жужжали веретена.

И лишь одна, чему-то рада,
склонялась над куделью перелеска,
а позолота утреннего сада
еще спала за рыхлой занавеской.

Густая тень. Младенец в колыбели,
и пряхам прилежания не жалко,
и пряжу сна выводит из кудели
затейливо-серебряная прялка.

* * *

Над рощами воздух вешний,
его поцелуй незрим,
и снова свежестью прежней
клубится зеленый дым.

И тучи в небесных высях
над влагой юных земель...
Дрожа на трепетных листьях,
дробится ливнем апрель.

Цветет миндаль, как бывало,
тяжелую клонит ветвь.
Раз юность любви не знала,
не стоит о ней жалеть.

Не выбрать пути иного,
и жизнь пошла под уклон...
И все же — если бы снова
небывшей юности сон!

* * *

Любовь моя, старинная подруга,
скажи мне, ночь,— на алтаре видений,
всегда таком заброшенном, где только
моя же тень колеблется в печали,
всегда одна,
палимая полдневным
огнем лучей,
внимающая втайне
каким-то скорбным голосам,
поведай, любимая, ответь,
мои ли слезы из глаз ее текут?
И ночь сказала:
— Мой милый, я твоей не знаю тайны.
Мне никогда постичь не удавалось,
ты или тень твоя во сне горюет,
и твой ли голос плачет, или это,
мороча нас, глумится пересмешник.
Но я твердил: — Ты лжешь, моя отрада!
Ты знаешь все —
в глубоком подземелье,
там, где гранятся снов моих кристаллы,
бывала ты и отличать умеешь
мою тоску и слезы от поддельных.
— Нет,— ночь сказала,— верь мне, я не знаю
разгадки тайны,
хоть не раз видала, как бродит некий
грустный незнакомец во сне твоем.
Ты помнишь, я склонялась
и к жалобе заплаканной, невнятной,
и к благостному кроткому моленью.
Но гулко-глубоки подвалы сердца —
не отличишь в них голоса от эха.
На слабый отзвук жалобы минутной
я шла к тебе, лишь только ты позвал,
и видела, как ты уходишь в смутный,
неразличимый лабиринт зеркал.

Перевод Н. ВАНХАНЕН

Хосе Марии Паласио

Паласио, пришла ли
весна, мой друг старинный?
Листвою по излукам и дорогам
одела ли дуэрские раины?

В верховьях к нам запаздывают весны,
но нет их сказочнее и нежнее!..
Что высохшие вязы —
воскресли, зеленея?
Акации чернеющие сучья,
а в вышине — заснеженные склоны...
О белая и розовая глыба
Монкайо в синем небе Арагона!
Цветет ли ежевика
на крутизне ущелий?
Луга от маргариток
еще не побелели?
Вот-вот вернется аист,
чеканя вензель на церковной башне.
Проклюнется пшеница,
и мулы побредут по свежей пашне,
шагнут крестьяне с горстью поздних зерен,
меча их под апрельский дождь счастливый.
Запутаются пчелы в розмарине.
Фиалки есть еще? Цветут ли сливы?
И браконьеры с подсадною дичью,
укрыв ее в накидках долгополых,
потянутся под утро. Друг старинный,
звенят ли соловьи в приречных долах?
Лиловым повечерьем
сложи букет из первых роз и лилий
и подымись на высоту Эспино,
Эспино нашего, к ее могиле...[1]

Баэса, 29 апреля 1913 г.

Лунная радуга

Дону Рамону дель Валье Инклану[2]

Горами к Мадриду поезд
дорогой идет ночною.
Луна в разноцветном круге
сияет над крутизною.
Клокастые тучи в небе
с апрельской ясной луною!

Ребенок, приткнувшись к маме,
уснул в толчее вагона
и видит, как на закате,
мелькающий луг зеленый
с червонными мотыльками
и залитой солнцем кроной.

А мать исподлобья мерит
грядущее и былое
и видит паучьи сети
над выстывшею золою.

---

[1] Стихотворение написано через несколько месяцев после смерти юной жены Мачадо, в глубокой провинции, куда он перебрался из Сории, с верховий реки Дуэро. (*Здесь и далее прим. перев.*)

[2] Рамон Мария дель Валье Инклан (1869—1936) — испанский поэт, прозаик, драматург; Мачадо посвятил ему ряд стихотворений.

Сосед же вернулся взглядом
из бог весть какого рая
и снова в бреду бормочет,
глазами чужих стирая.

Мне видится дол под снегом
и сосны другого края.

А Ты, нам открывший вежды,
в душе различая каждой,
уверь нас, что лик Твой сущий
увидим и мы однажды.

Перевод Б. ДУБИНА

* * *

По старым камням все выше
взбирается мох упрямо.
На старой паперти нищий,
чье сердце древнее храма.

Предутренний воздух зябкий,
и он, всему посторонний,
в углу...Сквозь ветхие тряпки
дрожанье сухой ладони.

Слепец глядит не мигая:
белеют тени в приделе,
скользя, за одной другая,
часами святой недели.

Сон о житии

Все выше лоб лысеющий, все строже
и явственней, хотя еще не время,
сквозь бледный глянец желтоватой кожи
отчетливо очерченное темя.

По ограненным скулам изощренно
резец прошелся острием алмазным,
а на губах кармин такого тона,
что флорентийцу видится соблазном.

Улыбки ускользающей подобье
и строгий взгляд посаженных глубоко
спокойных глаз, глядящих исподлобья:
глядит и видит пристальное око.

На фолиант, раскрытый как попало,
легла рука, помедля отчего-то,
а в глубине зеркального овала
дрожит и мреет полдня позолота.

И скал серее этих не найдете,
и гор таких, темнеющих лилово,—
земля орлов и ястребов в полете,
святыня для поэта и святого.

Бела стена, открыта дверь балкона,
закатный луч протянут без помехи,
и в темный угол сумрачного фона
оттеснены забытые доспехи.

Перевод Н. ВАНХАНЕН

Мои поэты

Монаха из Берсео назвать я первым вправе,
калику и поэта по имени Гонсало [1].
Он шел на богомолье — забылся в разнотравье,
молва его согбенным над свитками писала.

Он пел Пречистой Деве хвалу и Доминику,
он Орию прославил, Лаврентия, Мильяна
и бросил: не хуглар я, и то, что ляжет в книгу,—
одна святая правда без всякого обмана.

Стихи его простые и ласковы и строги,
как вереницы зимних безлистых осокорей;
сохой по бурой пашне ведут сказанье строки,
а вдалеке синеют кастильские нагорья.

Он нам поведал байку о спящем пилигриме,
он с детства знал на память часовники и святцы
и передал былые предания своими
словами, что поныне сердечностью лучатся.

Наставнику Асорину за книгу «Кастилья» [2]

Заезжий двор у тракта, ведущего из Сорьи
на Бургос, где старуха, владычица подворья,
зовется Леонардой Руйперес и кастрюли
на таганках клокочут, когда б ни заглянули.
А сам старик Руйперес, приземистый пролаза —
под серыми бровями два плутоватых глаза,—
ни звука ни проронит, уставившись на пламя.
Кастрюли распевают над жаркими углями.
Проезжий, наклоняясь к столешнице сосновой,
строчит. Перо в чернила обмакивает снова.
Обтянутые скулы, печальный взгляд туманен.
Он в траурной одежде, хоть молод горожанин.
Раины у дороги на сквозняке застыли.
Крутнулся вихрь и сгинул волчком белесой пыли.
Смеркается. Писавший, лоб подперев рукою,
задумался о чем-то с безмолвною тоскою.
Когда прибудет почта (а он пришел за нею),
в сорийских бурых долах уже почти стемнеет
последний луч. Пожухнут далекие утесы,
культи дубовых сучьев, щербатые наносы,

---

[1] Гонсало де Берсео (конец XII в.— 1246) — старейший из известных по имени испанских поэтов, автор стихотворных жизнеописаний местных святых и книг о жизни, испытаниях и чудесах Богородицы, монах-бенедиктинец.

[2] Асорин (псевд. Хосе Мартинеса Руиса, 1873—1967) — испанский писатель; книга его очерков «Кастилья» вышла в 1912 г.

синеющие кряжи, распадки и лощины,
обрывы и провалья, хребты и котловины,
излучина Дуэро, пустующие дали,
придав закатным бликам холодный отсвет стали.
Подворье в полумраке. Дымит очаг карминный.
Искрит свеча в шандале, подернутом патиной.
На камелек проезжий глядит оцепенело,
глядит, потом внезапно прикладывает белый
платок к глазам. Кто знает, что́ в сердце всколыхнули
тусклеющие угли, бурлящие кастрюли?
Упала ночь. И слышно: загрохотало где-то,
зацокали копыта... Почтовая карета.

Перевод Б. ДУБИНА

* * *

Под лавром скамья сырая —
камень ее и мох.
На белой стене сарая
от ливня плющ не просох.

Проходит ветер по тропам,
в траве и между ветвей,
Его окликает тополь.
Вечерний шум тополей!

Стихами юности бредя,
пока в лучах виноград
и трубки добрых соседей
в раскрытых окнах дымят,

шепчу лишь то, что пропето,
и новых не слышу слов...
Неужто канет и это
во мглу золотых стволов?

* * *

Гуськом проходят дети,
их восковые свечи
в закатном свете.

Как тыква, золотая,
луна встречает вечер,
во тьме не тая.

Суровы лица
разбойников из сказки,
из небылицы.
Блестит клинок дамасский
и тоже снится.

Где дети пели в хоре
в саду лимонном,
летает шмель на воле
с гуденьем сонным.

А в тех лимонных рощах,
где дети пели,
шмелей басистых ропщут
виолончели.

И только стены помнят,
как, сном объяты,
гудят в ловушках комнат
шмели-набаты.

Чернеют, будто ноты,
забившись в угол...
Дитя в краю дремоты
кружит над лугом...

Перевод Н. ВАНХАНЕН

Галереи

I

На фоне лазурного неба —
иссиня-черные птицы,
и вот — на озябший тополь
крикливая стайка садится.
...Притихшие птицы на ветках —
средь снега равнины холодной.—
словно черные ноты
в февральской тетради нотной.

Перевод В. АНДРЕЕВА

II

Лиловый кряж, излука, а над нею —
чеканка медной кроны тополиной;
снег лепестков и бабочки на сучьях —
миндаль в цвету, осыпавшем долины!
И свежий ветер с запахом горошка
кружит землей, счастливой и пустынной.

III

По темно-сизой туче
полосанула молния с размаха.
Какой восторг в ребячьих
глазах и сколько страха
за шторами у матери во взгляде!
Балкон, захлопнутый перед лавиной.
И хлещут град и разъяренный ветер
по чистым стеклам сумрачной гостиной.

IV

Балкон и радуга.
Семь струн на лире
сновиденной трепещут и лучатся.
Семь звонких нот мальчишеского бубна —
стекла и струй.
Щеглы среди акаций.
На башнях аисты. От свежих капель
вдоль площади поблескивают туи.
Кто этих девушек привел к фонтану,
смешливую их стайку молодую,
раскрыв над ними голубое небо —
осанна! — и десницу золотую?

V

Вдоль серых скал и выжженных обрывов
глотает поезд глохнущие дали.
Сверкающая вереница стекол
бежит, медаль чеканя за медалью
с орлом и решкой профилей в оконцах...
Кто время пригвоздил своею сталью?

VI

Кто, сны поя медвяною сытою,
украсил котловины
желтеющей душицей
и синими цветами розмарина?
Сиреневая сьерра,
шафран заката — чьей они рукою
расписаны? Кто создал скит и пчельник,
гранитный лоб, нависший над рекою,
и вечное бурленье перекатов,
и поле с первой зеленью сквозною,
и эту бело-розовую кипень
под миндалем весною?

VII

Все вздрагивает лира Пифагора,
та радуга на солнце, под которым
в стереоскопе грустном
узор опять сменяется узором.
Над гераклитовым огнем склоняясь,
не уберег я глаз моих от дыма.
И вот он, мир передо мной — прозрачный,
недосягаемый, неуследимый.

Перевод Б. ДУБИНА

ДЖЕК ФЛЕТЧЕР

ВЬЕТНАМ И АФГАНИСТАН: ЖИЗНЬ И ЛИТЕРАТУРА

Я знаю человека, который убил во Вьетнаме старуху-крестьянку — выстрелил ей в спину, когда она выскочила из двери своей крытой пальмовыми листьями лачуги. Это было в Дельте Меконга. Много лет спустя он впервые рассказал мне об этом, и я попытался выразить сочувствие. Я сказал: «Во Вьетнаме было много безумия».

«Как раз наоборот,— ответил он,— в тот момент, когда я в нее выстрелил, мы были единственными разумными существами во всем Вьетнаме. Она убегала из дома: боялась, что ее убьют. Я приближался к дому, чтобы кого-нибудь убить. Наши действия были идеально согласованы. Застрелив ее, я перевернул тело ногой. Она смотрела на меня; во взгляде не было упрека. Она просто умерла. В том не было ничьей вины».

Вскоре после приведенного разговора этот человек попал в психиатрический госпиталь для ветеранов и побывал там еще дважды в том же году: пытался примирить себя, каким он был, с тем, что он сделал. В октябре 1982 года он покончил с собой. Ухитрился с помощью веревки пристроить винтовку так, чтобы выстрел пришелся в спину. Медицинское название для подобного рода вещей — что-то вроде «посттравматический психический синдром» — ПТПС.

Я знаю еще одного человека. После службы во Вьетнаме он занялся бизнесом. Очень преуспел. К 1985 году стал владельцем компании, у него был большой дом, жена и трое детей, он бегал трусцой. Однажды во время бега, на безлюдной сельской дороге, присел на бревно отдохнуть и вдруг услышал, что позади него взлетел вертолет, направлявшийся на расположенную неподалеку военную базу. Секунду спустя он рыдал и ничего не мог с собой поделать. Во Вьетнаме у него не было случая оплакать погибших друзей. После войны он все откладывал это на потом, с головой окунувшись в работу и семейную жизнь. И вот спустя пятнадцать лет он сидел и безудержно, безумно рыдал. Его тоже забрали в госпиталь, где он провел два месяца, поочередно скорбя о каждом из друзей. Тогда-то он впервые признался жене, что воевал во Вьетнаме. Ему повезло: его жена не ушла от него, как жены других ветеранов — ПТПС.

В 1988 году правительство Соединенных Штатов впервые официально признало, что 15 % вьетнамских ветеранов, то есть полмиллиона человек, все еще страдают достаточно серьезными, требующими лечения психическими расстройствами — причиной является их участие во вьетнамской войне. Социологи утверждают, что более двадцати тысяч ветеранов Вьетнама (приблизительно по трое каждый день) по возвращении домой совершили самоубийство, причем самыми жестокими способами, всегда собственными руками. Многие оставляют сбивчивые записки — о войне, об армии и о преследовавших их диких кошмарах. Этого не было ни после второй мировой войны, ни даже после войны в Корее. Так что же во вьетнамской войне такого, что до сих пор рождает столько насилия, столько безумия? Обычный ответ состоит в том, что сама эта война была лишена здравого смысла. Она ввергла нормальных людей в иррациональные обстоятельства, и безумие стало единственной нормальной реакцией на нее.

Я лично знаком со многими ветеранами и знаю, что мало кто сохранил форму, ордена и медали или другие вещественные свидетельства своего участия в войне. В 1960-х они не решались появляться на улице в форме. Можно было не сомневаться, что кто-нибудь выкрикнет им: «Детоубийцы!» — или что-нибудь похуже. Многие ветераны демонстративно отказались от наград: в один из апрельских дней 1971 года они побросали их через ограду министерства обороны. Я в тот день приехал на машине в Вашингтон с двумя другими ветеранами, но мы опоздали. Тогда мы отправились к Белому дому и бросили свои награды за забор, огораживавший Ричарда Никсона. Мой друг Артур вынул бумажник и метнул туда свою призывную карточку. Затем он бросил туда же свою кредитную карточку, а потом и весь бумажник. «Вашу мать! — кричал он, и слезы ручьями текли у него по лицу.— Черт подери войну! Черт подери дурацкую войну!» Потом мы отправились домой.

Антивоенное движение оказалось для меня отличным лекарством, но у меня были разногласия с товарищами по движению. Многие из них обвиняли солдат, а не политиков. Некоторые устраивали овации во время ежемесячных сообщений о количестве жертв с американской стороны. Я отошел от антивоенного движения в 1968 году.

Периодически меня все еще посещали кошмарные видения, связанные с войной, и это продолжалось до тех пор, пока в 1984 году я не нашел в себе мужества посетить Мемориал жертв вьетнамской войны в Вашингтоне, округ Колумбия. С дрожью в ногах я подошел к этому блестящему черному рубцу в земле, к которому был прикреплен от руки написанный перечень имен и моих бывших товарищей. Я хотел знать, живы они или мертвы. До той поры я обманывал себя странной мыслью, будто, если я не буду знать о том, что они умерли, мое неведение может каким-то образом удержать их на этом свете. Пока я мог представить себе своего друга Арнолда дома, в Канзасе, в окружении жены и детей, до тех пор он словно бы и на самом деле был там. Но если я узнаю о его смерти, я буду нести ответственность за нее. Понимаю, что все это звучит дико, но я знаю много других вьетнамских ветеранов, которые руководствуются такой же извращенной логикой. Она позволяет им нормально жить. Некоторые из них никогда не были у стены памяти в Мемориале и никогда туда не пойдут.

Только после того как одолевавшие меня демоны были побеждены, я смог взглянуть на войну более объективно. Я начал читать историю войны, чтобы понять собственную роль в ней. Я был там в 1964—1965 годах, в конце «периода советников» — начале периода регулярных боевых частей американской армии. Накупил карт Вьетнама и стал их изучать. Впервые я понял, где же именно я был. После этого начал читать художественную литературу о войне. И, как для многих ветеранов, это означало для меня окончание курса лечения. Когда я смог, читая, видеть как бы со стороны, не разражаясь рыданиями, разорванные тела и мертвых детей, я почувствовал, что выздоровел. В госпиталях для ветеранов есть даже специальные библиотечки рекомендуемых книг о Вьетнаме — романов и воспоминаний,— одновременно реалистичных и воздействующих на чувства.

К сожалению, из почти пятисот романов о вьетнамской войне более трехсот — просто макулатура, дешевка, полная насилия и эротики, книги во вкусе Рэмбо с такими, например, названиями: «Кровавые джунгли» (1966), «Миссия в день Страшного суда» (1967) или «Сексрабыни Вьетконга» (1976), книги с непристойными и безвкусными обложками, продающиеся повсюду: в аптеках и гастрономах, на автостоянках и заправочных станциях. Но хоть эти книги и не представляют ни художественного, ни исторического интереса, исследовать запечатленные в них извращенные стереотипы небезынтересно. Обычно герой такого произведения — белый, атлетически сложенный американский офицер, облеченный некой секретной миссией — разрушить «коммунистический ракетный центр» или вызволить из плена американского дипломата. Перед отъездом к месту выполнения задания, по закону развития сюжета, он непременно должен попасть в шикарный сайгонский бордель и получить самые экзотические сексуальные впечатления, после чего у него обязательно будет более сдержанный роман с прелестной армейской медсестрой. Вот здесь внимание мое отключается. Армейские медсестры, которых я знал, работали во Вьетнаме по шестнадцать часов, а остаток суток тратили на то, чтобы попытаться уснуть. У них не было ни желания, ни времени для любовных приключений: в ушах все время звучали предсмертные слова раненых. В моей компании ветеранов есть одна настоящая армейская медсестра. Каждый месяц мы дарим ей цветы.

Мои знакомые ветераны ненавидят эти дешевые романы о Вьетнаме по одной особой причине — вьетконговцы всегда изображаются в них тупыми, неумелыми, безмозглыми фанатиками и никогда не бывают смелыми. Это неправда. Вьетконговцы были выносливы, ловки и очень храбры. Но Рэмбо

и подобные ему герои фильмов и книг создают видимость, будто воевать с вьетконговцами и одолеть их было легко. Это не было легко, это было чертовски трудно... и мы проиграли.

Серьезная литература о Вьетнаме так же многообразна, как и военный опыт авторов, служивших там. Нет двух солдат, прошедших через абсолютно одинаковую войну, но в общем в ней можно различить три периода. «Период советников» — с самого начала до введения регулярных частей американской армии в 1965 году — я называю периодом «Нужно ли ввязываться?» Период с 1965-го до наступления в день Тет[1] в 1968-м — это период «Сможем ли мы победить?» После 1968-го основным стал вопрос: «Как нам выпутаться?»

Две книжки, которые ввели в литературный обиход образцы сюжетов и персонажей «периода советников», появились гораздо раньше. «Тихий американец» Грэма Грина, опубликованный в 1955 году, в течение двадцати лет был тихим обвинительным актом действовавшим из лучших побуждений технократам-либералам, которые, собственно, и развязали войну. В своих политических деяниях эти либералы, разумеется, ничем не отличались от реакционных генералов-солдафонов, с которыми ежедневно встречались за обедом; однако побудительные мотивы у них были другие, по крайней мере, так они говорили. Они несли демократию, а не убивали комми. В своих воротничках с пуговками, со своими пресс-конференциями, заявлениями «о понижении уровня терроризма в его начальной стадии» они представляли дело так, что казалась вполне разумной посылка во Вьетнам небольшого контингента американских войск, затем еще одного, и еще, и еще. Грин нашел лучшую метафору того времени, сказав, что эти технократы со всей их демократической идеологией были словно немой прокаженный, потерявший свой колокольчик: он бродит по свету, не желая никому причинить вреда. В романе Грина такой «прокаженный» — это посланный во Вьетнам экономический советник. Собирая осколки французского присутствия, он, сам того не желая, провоцирует заговоры и убийства всюду, где появляется.

Грин оказался пророком: в последующие два десятилетия эти «прокаженные» взяли верх в Пентагоне и Госдепартаменте. Генералам оставалось лишь дождаться, когда они представят идеологию неприкрытой агрессии в форме демократической — в воротничке с пуговками — философии «поисков мира» и «взаимовыгодных отношений между Америкой и Вьетнамом».

Другой прозорливый писатель и противник американского вмешательства во Вьетнаме с самого его начала — Дэвид Халберстэм. Будучи журналистом, он писал не пользовавшиеся успехом репортажи из Сайгона и опубликовал документальную историю под названием «Как появляется трясина» (1965). С тех же непримиримых позиций написан и его роман «Один очень жаркий день» (1968)[2]. В этой книге впервые утвердился сюжетный стереотип, строящийся вокруг взаимоотношений новичка и Старой Азиатской Руки. Центральной фигурой здесь является молодой солдат, или журналист, или советник, который хочет понять, чего ради ведется эта война. Циник — Старая Рука,— давно утративший всякий идеализм, но не желающий слишком грубо растаптывать убеждения новоприбывшего, пытается сделать все возможное, чтобы тот не получил ответа на свой вопрос. С этими двумя взаимодействуют другие типичные персонажи: продажные офицеры, чиновники южновьетнамского правительства, пассивные и трусливые солдаты АРВ (армии Республики Вьетнам)[3] и опасные, почти невидимые вьетконговцы. А вокруг — рисовые поля, каналы и горячие зеленые джунгли.

Роман Халберстэма рассказывает об отряде патрульной службы, действующем в сельской местности. Формально им командует туповатый капитан Данг, а на самом деле — американский советник капитан Бопре. Единственный, кроме него, американец в отряде — только что прибывший лейтенант Андерсон. В тот день отряд проходит через деревни, где его встречают враждебно настроенные, себе на уме крестьяне, а энергичный, любознательный Андерсон имеет возможность откровенно побеседовать с Бопре, с солдатами и крестьянами и, что самое важное, с молодым лейтенантом Тыонгом. К концу дня Андерсон уже гораздо лучше осведомлен о Вьетнаме, но... мертв — убит пулей, выпущенной из вьетконговской засады.

Как и многие солдаты, прибыв во Вьетнам, я исполнял роль халберстэмовского «новичка». Я не имел ни малейшего понятия ни о тамошней культуре, ни о языке. Все известные мне стереотипы оказались бесполезными. На Окинаве, во время подго-

[1] Тет — праздник Нового года по лунному календарю. (*Прим. перев.*)

[2] Роман был опубликован в «ИЛ», 1969, № 6.

[3] Имеется в виду южновьетнамская армия. (*Прим. перев.*)

товки, полковник говорил, что нас посылают защищать демократических вьетнамцев от хорошо вооруженных китайцев, вторгшихся с севера. Но два дня спустя, в грузовике, который вез меня из Сайгона в Анлок, я обнаружил, что путешествую в компании китайских торговцев из Шолона, один из них сказал мне, что вьетнамским солдатам нельзя доверять и американцы могут полагаться только на китайцев. Его надежность приносила ему двести долларов в месяц; я за свой патриотизм получал лишь семьдесят пять. В Куангдыке сержант сил особого назначения говорил мне, что война ведется между монтаньярами и вьетнамцами и что мы помогаем монтаньярам. И чтобы уж окончательно сбить меня с толку, спустя несколько недель официантка из бара спросила моего вьетнамского приятеля, не немец ли я. «Почему она решила, что я немец?» — удивился я. «Потому что большинство европейцев, которые, случалось, выпивали тут, были немцами».

Я спросил своего учителя языка, правда ли это. «Конечно,— ответил он,— многие французские легионеры были немцами... скрывавшимися нацистами, наверное». Я потерял душевное равновесие. В ту ночь я решил поговорить со своим капитаном, который был одновременно и моим другом. «Я этого не знал»,— сказал он. Я задавал ему вопросы — прямо как лейтенант Андерсон в романе Халберстэма. «Что же это у нас здесь за миссия, капитан, если от нас ждут того же, что делали бывшие нацисты?» Он ответил, что не знает и поинтересуется этим потом. Еще раньше он говорил мне, что откладывает все «соображения человеческого свойства», как он это называл, до тех пор, пока его не произведут в майоры и он не получит права на пенсию.

Другая тема ранних романов — как вьетнамская элита начинала разлагать американцев. Забавная подмена! Сначала американцы-идеалисты создают условия для коррупции своими планами «демократизации» и «развития», опирающимися на миллиарды долларов военной и экономической помощи. Как и следует ожидать, вьетнамцы поддаются искушению, развращаются сами, а затем искусно раскидывают сети заговора и начинают затягивать в них американцев. В романе Уильяма Хеффернана «Корсиканец» (1983) американский офицер постепенно втягивается в торговлю наркотиками и кончает тем, что соглашается переправлять героин в Соединенные Штаты в гробах с телами убитых. В романе Пола Вудрафа «Личный успех старшего лейтенанта Питера Росилло» (1983) «новичок», лейтенант Хоуард, постепенно обнаруживает, что его друг и наставник — по всему типичный либерал — глубоко погряз в нелегальных отношениях с врагом. Неистово защищая свой идеализм от непрерывных посягательств всеобщего нигилизма, Хоуард все меньше и меньше понимает, кто же есть настоящий враг.

К концу 1964 года тонкие философские материи — «мир и война», «правые и неправые» — начинают утрачивать свою значимость в романах о Вьетнаме, а равно и в американском общественном мнении, ибо к тому времени стало ясно, что правильно это или нет, но американские войска уже на пути во Вьетнам. Дивизии, оснащенные множеством вертолетов, формировались в Соединенных Штатах для переброски по воздуху. В Миссури войска обучались находить и разрушать объект на построенных там макетах вьетнамских деревень. Между тем присутствие американских военно-воздушных сил во Вьетнаме драматически нарастало.

Рано по утрам, неподалеку от Бьенхоа, я часто сидел на заднем крыльце своего «бордельчика»[4], наблюдая, как высоко над моей головой реактивные самолеты военно-воздушных сил летели на выполнение задания. К тому времени внутренняя поверхность бедер от колен до самого паха уже гнила у меня от тропического грибка, гниль поднималась и дальше, к поясу и подмышкам. Пятна, ярко-красные по краям, становились пурпурными в середине. Рубцы были полупрозрачно-зелеными, а в местах проникновения инфекции образовались «заплаты», усеянные желтыми прыщами. Я пытался воспринимать эту картину как импрессионистский пейзаж или деталь живописи Гогена. Итак, я сидел на ступеньках, спустив штаны и стараясь уловить побольше солнечных лучей внутренней поверхностью бедер, чтобы убить грибок. Официальная цинковая присыпка в коробочках грязно-оливкового цвета не помогала. Еще до наступления дня ее смывало пóтом или вонючей водой канала.

Словом, сидел я там, спустив штаны, и пытался съесть завтрак, в то время как бойцы АРВ проходили мимо, с любопытством глядя на меня. Нам выдавали консервированный паек; по неписаному правилу самые старые консервы следовало съедать в первую очередь. Большинство из них было десятилетней давности. Я больше всего любил «Ветчину с фасолью», потому что почти всегда был шанс откопать там ветчину, хотя фасоль — никогда. «Рубленая солони-

[4] На армейском жаргоне — походный домик, в каких спали солдаты американской пехоты во Вьетнаме. (*Прим. автора.*)

на» же представляла собой просто какую-то коричневую клейкую массу.

Я видел войну в Афганистане по телевизору, это, похоже, была сухая война — пыль и пустыни. Держу пари: и солдатские грибки там были чистыми и сухими, так сказать, песочными — какая роскошь! Бьюсь об заклад, в Афганистане у солдат никогда не было малярии и им не приходилось, задрав штанину, обнаруживать два десятка слизистых пиявок, сосущих кровь. Но я слышал, что в Афганистане были ленточные черви вместо пиявок и холера вместо малярии. Интересно, как маскировались в Афганистане, когда начиналась стрельба? Может быть, просто ложились в песок и ждали своей очереди? Во Вьетнаме-то можно было плюхнуться на землю где угодно — и тебя скрывала ото всех буйная растительность. Нужно было только смотреть, чтобы рядом не оказалось змей.

Обычно такие солдаты, как я, были в центре самых значительных романов и воспоминаний о вьетнамской войне. Если время действия подобных книг ограничено 1965—1968 годами, оно разворачивается, как правило, в отделении, взводе или роте. Героем их бывает общественное животное под названием «п....н» — это армейское жаргонное слово, производное от звука, который человек издает, когда испражняется: пехотинец всегда чувствовал себя во Вьетнаме так, словно на него наложили.

После 1965 года солдат мог отслужить во Вьетнаме весь свой срок, 365 дней, ни разу словом не перекинувшись ни с одним вьетнамцем. Не осталось и следа от былых попыток советников в целях налаживания межкультурных контактов научиться говорить по-вьетнамски, или по-французски, или на том специфическом армейском языке, который назывался «бамбуковым английским». Для описания происходившего возник особый словарь. О солдате или подразделении, доставленных вертолетом на одну из новых, особо укрепленных огневых баз, разбросанных по стране, говорили, что их «воткнули». После этого они были уже «в стране». Если вас ранили и эвакуировали, говорили, что вас «сдуло» (лопастями вертолетного винта). Если солдат «покупал ферму» [5], если его «поимели» или он «закусил бирку», это означало, что его убили. По мере того как война становилась все более сюрреалистичной, солдаты стали называть то, что было вокруг и что с ними происходило, «Нам» [6], а всякое другое место, всякое другое время и любые другие условия жизни именовали «Большой землей».

Обычно американские пехотинцы во Вьетнаме совершали вылазки либо прямо из своих укрепленных лагерей или баз, либо их доставляли в исходный пункт на вертолетах. Патрульные отряды всегда старались оставаться в пределах досягаемости минометов или артиллерии своих баз или же вызывали в помощь себе самолеты, и те кружили над ними. Враг был персонифицирован, и звали его Чарли (по буквенному коду — VC,— использовавшемуся в радиосвязи) [7]. Патрули гонялись за Чарли по деревням, они искали его подземные ходы в сельской местности или пытались найти места концентрации его боевых сил в джунглях. Обычно события разворачивались следующим образом: патруль осторожно продвигался вперед, пока не натыкался на засаду, тогда он вызывал огонь со своей базы, чтобы перебить всех Чарли, прежде чем они успеют скрыться.

Зиап [8], знаменитый вьетнамский генерал, сказал как-то, что главная организационная ошибка американцев состояла в том, что они посылали солдат во Вьетнам всего на один год. Поэтому в любом патрульном отряде треть составляли новички, которые не знали, что делать, другую треть — «дембели», которые были слишком осторожны, и только треть — солдаты, которые и хотели и могли сражаться. Чарли, напротив, призывались на все время войны, служили долго и знали, что делать. Таким образом, засады состояли из настоящих бойцов, устраивавших страшные побоища восемнадцатидевятнадцатилетним, по-детски напуганным американским призывникам, которым не суждено было повзрослеть. В кровавую бойню здесь попадали, как видите, не только вьетнамские крестьяне.

Как и американские романы-вехи о второй мировой войне («Нагие и мертвые», «Отныне и во веки веков»), вьетнамский роман показывает, что главные противоречия аме-

---

[5] Слово «ферма» здесь соответствует участку земли на кладбище. «Поиметь» обычно означает — поставить в затруднительное или неудобное положение. В армии США солдатский личный знак, или «бирка», имеет зазубрину, чтобы его можно было вставить между зубами и ударом или пинком в челюсть заставить покойника «закусить» его перед отправкой в морг. (*Прим. автора.*)

[6] Усеченное «Вьетнам». (*Прим. автора.*)

[7] Начальные буквы слов Viet Cong—UC— шифровались радистами как «Victor Charlie» («Виктор Чарли»), позднее шифр был сокращен до просто «Чарли». (*Прим. автора.*)

[8] Во Нгуен Зиап — во время войны член Политбюро ЦК КПВ, министр обороны ДРВ. (*Прим. перев.*)

риканского общества и даже проклятые вопросы бытия, с которыми сталкивается вообще всякое человеческое существо, в миниатюре можно обнаружить во взаимоотношениях солдат любого отделения, взвода, роты. Например, расовая проблема. Почти половину всех американских солдат — участников войны составляли чернокожие или испаноязычные парни. Многие черные и белые ребята впервые были здесь лицом к лицу друг с другом и с представителями иных этнических групп каждый день, с утра до вечера. Командир взвода у тебя мог быть черным, командир роты — белым, а сосед по нарам — испаноязычным. Нравятся они тебе или нет, любишь ты их или ненавидишь, тебе приходится иметь с ними дело. Вынужденная близость отношений угнетала солдат в пехотных взводах, и они часто совершали непредсказуемые поступки. Большинство, правда, привыкали жить вместе, но некоторые белые сержанты пользовались возможностью убивать в бою своих черных коллег, а черные солдаты порой подбрасывали осколочные гранаты в палатки спящих белых офицеров, «раздрызгивая» их на клочки.

Крайняя степень расового раскола показана в романе Джона Краузера «Стрелковая часть» (1975), где солдаты отказываются принимать какое бы то ни было участие в войне, а чернокожие военнослужащие сговариваются убить своего командира-расиста. В трудном положении оказывается и чернокожий лейтенант по имени Мэзер. Что выбрать: лояльность по отношению к стране или лояльность по отношению к расе? Военную карьеру или социальную справедливость? Тема расовой солидарности чернокожих является ведущей также и в романе А. Р. Флауэрза «Блюз со сглазом» (1985). Здесь три чернокожих ветерана, возвращаясь домой, размышляют о том, правильно ли они поступили, взорвав гранатой белого офицера. Затем они со всем энтузиазмом приступают к овладению Черной культурой, которую так долго воспринимали как нечто само собой разумеющееся. А в конце концов становятся шаманами.

Зловещая угроза технизации всех сфер человеческой жизни — еще одна важная тема вьетнамских романов. Американцы безгранично веруют в могущество своих технических средств — автомобилей, ядерных бомб и персональных компьютеров. Во время вьетнамской войны эта вера почти вытеснила такие более традиционные ценности, как сила воли и мужество. Наткнувшись на засаду, американцы чаще всего прятались и ждали, пока техника — артиллерия или авиация — вызволит их из беды. Но в безграничном доверии к технике есть что-то роковое — об этом роман Джошайи Бантинга «Львиные головы» (1972). Здесь бригада американской армии, встретившись с решительным, наступающим противником, предпринимает отчаянные усилия, чтобы починить технику, вместо того чтобы попытаться восстановить единство в своих рядах или пробудить в бойцах личную храбрость. В книге поднимается еще одна тема, часто встречающаяся в прозе о вьетнамской войне: идиотизм и безответственность высокопоставленных лиц, определяющих стратегию и тактику войны. В то время как солдаты на полях сражений пытаются выиграть битву или хотя бы уцелеть, Сайгон и Вашингтон подсчитывают «потери», проводят испытания оружия, тактические учения и планируют психологическую войну.

И наконец, еще одна постоянная тема романов периода «Можем ли мы победить?» — ужас войны, не только именно этой, но любой войны: люди с оторванными руками и ногами, с кишками, вываливающимися наружу, тихо просят глоток воды. Люди, чьи лица кажутся живыми, но тела превратились в шевелящуюся массу личинок. Безжалостно, подобно скоту, забитые крестьяне, как в деревне Милóй — мужчины, женщины, дети. Их трупы, словно обугленные дрова, свалены вдоль деревенской дороги. Гости на свадьбе — празднично одетые, красивые молодые мужчины и женщины,— по ошибке схвачены и убиты на заре участниками засады. Смертельно раненные мужчины на поляне среди джунглей, надмирно объединенные общей болью, зовущие матерей на двух языках— английском и вьетнамском. Именно в этот многослойный кошмар «воткнуты» герои книг о Вьетнаме. На них, пытающихся сохранить порядочность, мучительно старающихся не забыть, кто они есть и как они жили на «Большой земле», эпизод за эпизодом обрушивается все это безумие, жестокость, ужас. Это Нам. В книгах о сражениях, как и в голове ветерана, реальные личные воспоминания смешаны с историями, услышанными от других, и все сливается в конце концов в страшные ночные фантазии. Этот эффект лучше всего воспроизведен в двух книгах.

В «Депешах» (1968) Майкла Хёрра нас всасывает смерч вьетнамской эпопеи некоего Хейда: «Я почувствовал острую боль где-то чуть выше глаз... Во рту у меня оказался какой-то горячий вонючий металл, я подумал, что это вкус мозгов, шипящих на кончике моего языка... В двадцати ярдах перед нами бегали по кругу какие-то люди, все они были безумны. Один был мертв, другой стоял на четвереньках, и изо рта его

извергалась отвратительная розовая масса». На известие об убийстве Мартина Лютера Кинга солдаты-негры отвечают «несколькими небольшими, то тут, то там вспыхивающими бунтами, одним-двумя случаями поножовщины — причем все это официально опровергается». И чернокожий сержант говорит им: «Ну, и чего же мне теперь делать? Чего мне теперь ихними винтовками в их же и стрелять? А это ж мой собственный народ! Дерьмо! Не могу я двадцать лет кантоваться в энтой армии. О, господи, сколько ж может продолжаться энта война!»

В «Слухе о войне» (1977) Филипа Кэпьюто сходит с ума некий Третий взвод, решивший разрушить деревню: «Фосфоресцируя, граната взрывается, оставив после себя жиденькое облачко белого дыма, и лачуга начинает гореть. За ней другая. Через несколько минут в огне уже все селение... Морские пехотинцы пронзительно кричат, бросают гранаты и палят из ружей по складам снарядов и бомбоубежищам. Женщины голосят, дети плачут... Наконец все кончено. Я слышу, как рыдают женщины, одну из них вижу сквозь дым. Она стоит на коленях, сгибаясь и разгибаясь, и причитает над пеплом, который только что был ее домом. Я стараюсь закалить свое сердце, чтобы его не трогали ее вопли. И вот тут-то понимаю, что разрушение Джаотри — нечто большее, чем акт безумия, совершенный в разгаре боя. Это еще и акт возмездия. Крестьяне помогали Чарли, и мы преподали им урок. Мы учимся ненавидеть».

Недавно я побывал в Советском Союзе. В Москве я встретился с одним ветераном. Чтобы завязать разговор, он спросил меня: «Наверное, у вас во Вьетнаме, как и у нас в Афганистане, много времени уходило на строительство школ и больниц, когда вы не участвовали в боевых действиях?» Меня вопрос этот вывел из себя — так он был наивен и высокомерен. «Нет,— сказал я,— я никогда в жизни не строил ни школ, ни больниц. Первое, что я сделал,— провел облаву на местных девушек, сфотографировал их и «зарегистрировал» как будущих проституток для наших солдат». Он, похоже, был шокирован, но я этого и добивался. «Свободное предпринимательство! — добавил я с воодушевлением.— Нет, я никогда не строил никаких, черт бы их побрал, больниц».

Я сожалею теперь о том, что наговорил тогда, и о том, как я это сделал, но не могу поверить, что присутствие советских солдат в Афганистане не способствовало росту проституции. Не могу поверить, что их присутствие там не ожесточало население, а равно и их самих. Напишут ли об этом романы, как написали их о вьетнамской войне? Будет ли советское общество менее честно по отношению к самому себе, чем американское? Впрочем, мне это не важно. С одной стороны, любопытно бы, конечно, узнать. Но с другой, хватит с меня историй. У меня и без того достаточно забот.

Знаменательно, что во вьетнамских романах герой или рассказчик всегда как бы отстранен от того, что он видит, манера повествования у него абсолютно непринужденная, как у Измаила в «Моби Дике». Уйдя глубоко в себя, он наблюдает, как война, политика и расизм развращают его товарищей, не его, а его товарищей. Наиболее запоминающийся тип такого отстраненного героя, пожалуй, Вишенка из романа Джона дель Веккио «Долина 13» (1982). Это вообще лучшая книга обо всей войне, большое эпическое полотно, наподобие «Войны и мира» или «Моби Дика». Пытаясь рассказать, о чем эта книга, неизбежно искажаешь ее содержание, но так же как можно сказать, что «Моби Дик» — рассказ об охоте на китов, можно назвать «Долину 13» рассказом о поисках штаба вьетконговцев в долине Кхеталау. По существу же это книга о том, как философы и сводники, политики и дикари начинают понимать друг друга и как отказываются понимать друг друга в пылу безумия. Она — о разных образах мира, возникающих у одних и у других под впечатлением военных действий, и о том, как каждый реагирует на «чужой» образ мира. Эта книга переживет любого из нас.

Наступление в день Тет в 1968 году было поворотным моментом войны и с политической, и с военной точек зрения. Теперь, когда все генералы, участвовавшие в войне, написали мемуары, ясно, что после этого наступления обе стороны решили, что проиграли. Что касается вьетконговцев, они разработали обширный план, подготовились и начали одновременно атаковать почти все главные города и стратегические базы в Южном Вьетнаме. Сначала им удалось довольно глубоко продвинуться и продержаться в некоторых пунктах по нескольку недель, но потом их выбили почти отовсюду. Подсчитав потери, они обнаружили, что лишились б о л ь ш е й ч а с т и своих хорошо обученных бойцов, а также вооружения и боеприпасов. Они были истощены психологически и в материально-техническом отношении и не способны продолжать борьбу.

К моменту, когда Чарли поняли, что совершили серьезную ошибку, технократы в Пентагоне тоже пытались определить размер ущерба, нанесенного наступлением. Они решили, что, если вьетконговцы могли одновременно атаковать все эти объекты, значит, их силы во много раз больше, чем предполагалось. В самих Соединенных Штатах в это время начались мощные уличные демонстрации, правительство сочло, что война проиграна, и начало разрабатывать план выхода из нее. Тогда-то началась «вьетнамизация» войны и бомбардировки Северного Вьетнама, свидетельствовавшие о том, что американские войска готовятся к уходу.

Две хорошие книги посвящены наступлению в день Тет, в котором, по иронии истории, вьетнамская война впервые предстала как война между регулярными войсками: здесь две одетые в форму армии стояли лицом друг к другу, разделенные Ничейной землей. Обе эти книги — о самой важной и продолжительной битве, сражении за Хюэ[9]. «Королевский счет» показывает, как невероятно трудно было американским солдатам вести бой с врагом, которого они видели здесь воочию фактически впервые в жизни. В «Пробежке между каплями дождя» (1985) Дейла Дая рассказано об отчаянии, охватывающем двух журналистов, неожиданно оказавшихся вовлеченными в боевые действия пехоты. И по типично вьетнамскому сценарию, пока солдаты воюют за свою жизнь, генералы и политики волнуются только о сокровищах городской художественной галереи и спорят, кто виноват и кому следует приписать заслугу окончательного изгнания вьетконговцев из города.

Вероятно, в афганской войне был свой эквивалент наступлению в день Тет — некий момент, когда советские руководители или солдаты просто сдались и оставили попытки выиграть эту войну. Один пехотный ротный командир, мой приятель, служил во Вьетнаме два срока: в 1967-м и в 1971-м. По его словам, разница состояла в том, что в 1967 году, когда часть напарывалась на засаду, солдаты бросались на землю, засекали местонахождение противника по ружейному огню, а потом вскакивали и смыкали атакующую цепь. А в 1971-м, встретив засаду, они просто падали на землю и оставались лежать, прячась, не стреляя ни из какого оружия. Когда офицеры выходили из себя и выкрикивали угрозы, пытаясь поднять солдат в атаку, некоторые притворялись убитыми или ранеными.

Настоящее безумие войны стало проявляться именно в эти последние годы, как в жизни, так и в литературе. После 1968 года солдаты начали употреблять наркотики вызывающе открыто. Офицера, осмелившегося заикнуться об этом, припугивали, а то и убивали. Солдаты выполняли свои обязанности «по договоренности», а офицеры отдавали вполне гипотетические приказы: «Эй, парни, если вы сделаете вместе со мной вылазку сегодня, небольшую, всего пять километров, завтра можете целый день валяться в своих «бордельчиках» и курить свою отраву». Однажды вечером в программе теленовостей вся страна имела возможность наблюдать, как патрульных против их воли выгоняют за ворота базы где-то в Центральном нагорье. Сопровождаемый телеоператором, патруль прошагал метров 200 по дороге, остановился, разрядил винтовки, затем солдаты набили патронники марихуаной, подожгли и стали всасывать дым из стволов. Они курили и слушали музыку весь день, а потом угрюмо двинулись обратно, на базу. Никто их ни о чем не спросил.

Реальность далеко превзошла литературный вымысел ранее написанных романов. Действительные события обгоняли сюрреалистическое воображение. И поэтому, естественно, авторы романов последнего периода войны пошли даже дальше в описании подобного эксцентричного поведения. Два таких романа весьма примечательны: это вьетнамские эквиваленты «Поправки-22» Джозефа Хеллера. «Бамбуковая постель» (1969) Уильяма Истлейка представляет взгляд на войну «с высоты птичьего полета». Капитан Кленси, пилот-вертолетчик, столь же непогрешимо логичен, сколь и любой другой неизлечимый псих. Но в том безумии, каким был Нам, никто не понял, что он сумасшедший. Заметив слона в джунглях, Кленси кружит над ним и размышляет над тем, о чем думает сейчас слон. Будучи призван на службу, он сбрасывает немыслимые количества боеприпасов безумствующим солдатам и направляет движение войск куда попало, ради собственной забавы. Все это он проделывает во время, свободное от любовных свиданий в вертолете с сестрой Дженин. Мысль Истлейка, как и Хеллера, заключается в том, что Кленси не более безумен, чем кто бы то ни было на войне, как в жизни, так и в литературе.

«Вслед за Качциато» (1975) Тима О'Брайена — более серьезное произведение, но и его сюжет основывается на отклонении героя от психической нормы. Конечно же, можно по-разному реагировать на окружающее безумие. Кто-то замыкается в себе,

[9] Город в Центральном Вьетнаме, с начала XIX века по 1945 год — вьетнамская столица. (*Прим. перев.*)

кто-то пытается найти контакт с внешним миром, а кто-то просто сходит с ума. Но Каччиато находит уникальное решение. Он вспоминает, что Евразия в конце концов — единый материк и что, приложив некоторые усилия, можно пешком дойти до Парижа. По той же логике командир Каччиато решает, что должен вернуть его, и посылает за ним Третий взвод — через всю Азию, через Грецию в Париж. Была ли эта погоня на самом деле или это больная фантазия мечтающего избавиться от военной службы солдата? Ответ О'Брайена, по сути дела, состоит в том, что это не имеет значения.

Мне памятны два эпизода из моего путешествия в Советский Союз. Иногда я даже вижу их во сне. В Ленинграде я был на выставке «Совесть», сбор от которой, как гласило объявление, шел на нужды солдат, вернувшихся из Афганистана. Как привет от одного «п...на» другим «п...нам», я опустил несколько американских долларов в плексигласовый ящик для сбора пожертвований, установленный у входа. Сама выставка разочаровала меня. Там были запечатлевшие кровавые битвы фотографии, оскорбительные карикатуры и тенденциозные политические рисунки. Похоже, русских все это не очень интересовало, так как люди собирались группами лишь возле самых поразительных экспонатов, комментируя их и споря. Для меня все это было общим местом.

Покидая выставку и снова проходя мимо плексигласового ящика, я увидел, как двое молодых русских, юноша и девушка, пытались с помощью проволоки выудить из него мои доллары. Они были смущены тем, что я это заметил, и не знали, что сказать. Я тоже не знал, что сказать. Во сне я нахожу множество разных способов разрядить неловкость. Я говорю: «Это твердая валюта». Или: «Пожалуйста, продолжайте». Или: «Это на пехоту, царицу войны». Но на самом деле я не сказал тогда ничего.

Другое воспоминание, часто посещающее меня, связано с мужчиной, которого я видел в Москве,— это был молодой инвалид, ветеран афганской войны, на костылях, с орденами на пиджаке. Может быть, советским читателям это непонятно, но у нас в Соединенных Штатах ветераны, даже второй мировой, не носят орденов публично и не пользуются никакими привилегиями. Что же касается нас, ветеранов Вьетнама, то мы часто скрываем свое участие в войне и не рассказываем правды о том, что пережили. Если мы состояли в боевых частях, говорим, что провели всю войну в лагере где-нибудь в Техасе или Нью-Джерси. Это нечто прямо противоположное хвастовству. Фактически лишь после 1982 года стало проявляться общественное признание и радушие по отношению к вьетнамским ветеранам. В тот год в Нью-Йорке был проведен парад. Те из ветеранов, у кого сохранились мундиры, натянули их на свои раздавшиеся фигуры, надели фуражки на лысеющие головы и прошли маршем по Пятой авеню. Люди на тротуарах приветствовали их, размахивали знаменами и кричали: «Добро пожаловать домой!», «Добро пожаловать домой через пятнадцать лет!». Когда мы, ветераны, собираемся вместе, мы теперь приветствуем друг друга словами: «Добро пожаловать домой». И обычно плачем.

И вот я видел этого молодого человека в Москве, в метро, в час пик, ожидавшего поезда, из которого я вышел. Он был невысок ростом, худ и рыж. Одной ноги у него не было, он опирался на металлические костыли, лицо пересекал шрам. На нем был защитного цвета китель с несколькими знаками отличия. Я вышел, а он вошел в вагон, и поезд тронулся. Интересно, уступил ли ему кто-нибудь место?

Перевод с английского И. ДОРОНИНОЙ

Советская литература за рубежом

БОЛГАРИЯ

Роман ВИТАУТАСА БУБНИСА «В час судьбы». «Партиздат».
Повесть АРКАДИЯ и ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРОВ «Объезжайте на дорогах сбитых кошек и собак». Издательство «Христо Г. Данов».
Стихи и поэма «Фуку!» ЕВГЕНИЯ ЕВТУШЕНКО. Издательство «Народна култура».
Роман СЕРГЕЯ ЕСИНА «Сам себе хозяин». То же издательство.
Повесть МУСТАЯ КАРИМА «Помилование». То же издательство.
Рассказы ЮРИЯ КОВАЛЯ «Заячьи тропы». Издательство «Отечество».
Книга ВИТАЛИЯ КОРОТИЧА «Лицо ненависти». «Партиздат».
Стихи ВЯЧЕСЛАВА КУПРИЯНОВА «Недозволенное чудо». Издательство «Народна култура».
Повесть ПАВЛА НИЛИНА «Жестокость». То же издательство.
Роман НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО «Рожденные бурей». Издательство «Христо Г. Данов».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Пожар». Издательство «Народна култура».
Роман ЮРИЯ РЫТХЭУ «Магические числа». То же издательство.

ВЕНГРИЯ

Роман АРКАДИЯ и ГЕОРГИЯ ВАЙНЕРОВ «Эра милосердия». Издательство «Европа».
Пьесы АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА. То же издательство.
Сказки ВЕНИАМИНА КАВЕРИНА. Издательство «Мора».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА «Исчезновение». Издательство «Магветё».

ГДР

Роман ВИКТОРА АСТАФЬЕВА «Печальный детектив». Издательство «Ауфбау».
Роман ЮРИЯ БОНДАРЕВА «Горячий снег». Издательство «Ферлаг дер национ».
Рассказы и драмы ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА. Издательство «Рюттен унд Лёнинг»
Повесть МИХАИЛА БУЛГАКОВА «Собачье сердце». Издательство «Фольк унд вельт».
Роман ВАСИЛИЯ БЫКОВА «Карьер». То же издательство.
Сказки и стихи ВИТАУТЕ ЖИЛИНСКАЙТЕ. Издательство «Киндербухферлаг».
Повесть ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА «Деньги для Марии». Издательство «Фольк унд вельт».
Пьесы МИХАИЛА ШАТРОВА. Издательство «Хеншель».

ДАНИЯ

Повесть ГРИГОРИЯ БАКЛАНОВА «Меньший среди братьев». Издательство «Гюльдендаль».
Роман АНДРЕЯ БИТОВА «Пушкинский дом». То же издательство.
Книга ЕВГЕНИИ ГИНЗБУРГ «Крутой маршрут». То же издательство.
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «На первом дыхании». Издательство «Виндросе».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Дети Арбата». Издательство «Гюльдендаль».
Роман ЮРИЯ ТРИФОНОВА. «Исчезновение». Издательство «Спутник».
Стихотворения МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Сентрум».

ИСПАНИЯ

Повесть ДАНИИЛА ГРАНИНА «Зубр». Издательство «Планета».
Роман ВЛАДИМИРА ДУДИНЦЕВА «Белые одежды». Издательство «Пенинсула».
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Один и одна». Издательство «Альфагуара».

ИТАЛИЯ

Повесть ВАСИЛИЯ ГРОССМАНА «Все течет». Издательство «Адольфи».
Повесть ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «День и ночь Чика». Издательство «Е/О».
Сборник повестей ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Место под солнцем». То же издательство.
Повесть БОРИСА ПАСТЕРНАКА «Детство Люверс». Издательство «Мондадори».
Роман АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Тридцать пятый и другие годы». Издательство «Риццоли».
Повесть АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ «Пикник на обочине». Издательство «Мондадори»
Письма МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ. Издательство «Адольфи».

КИТАЙ

Повести АНАТОЛИЯ РЫБАКОВА «Приключения Кроша», «Каникулы Кроша» и «Неизвестный солдат». Издательство «Жэньминь вэньсюэ шубаньшэ».
Роман ЛЮДМИЛЫ УВАРОВОЙ «Соседи» и повесть «Сумерки после полудня». Издательство «Вэнь-и».

ПОЛЬША

Повесть ЮРИЯ ИВАНОВА «Сестра морского льва». Издательство «Наша ксенгарня».
Повесть ВЛАДИМИРА ЛИЧУТИНА «Обработно — время свадеб». Издательство «Ксёнзка и ведза»
Сказка СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА «Как птицы козленка спасли». Издательство «Наша ксенгарня».
Документальная повесть ВСЕВОЛОДА ОВЧИННИКОВА «Горячий пепел». Издательство «Крайова агенцья выдавнича».
Повесть РАДИЯ ПОГОДИНА «Где леший живет». Издательство «Наша ксенгарня».
Пьеса СОФЬИ ПРОКОФЬЕВОЙ «Не буду просить прощения». То же издательство.

РУМЫНИЯ

Сборник повестей и рассказов ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА. Издательство «Альбатрос».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Расплата». Издательство «Универс».

ФРАНЦИЯ

Роман АНДРЕЯ БИТОВА «Пушкинский дом». Издательство «Альбен Мишель».
Повесть ВЛАДИМИРА МАКАНИНА «Предтеча». Издательство «Акт сюд».
Автобиографические рассказы ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА «Шум времени». Издательство «Сёль».
Письма БОРИСА ПАСТЕРНАКА к Ариадне Эфрон. Издательство «Альбен Мишель».

ФРГ

Автобиография АНДРЕЯ БЕЛОГО. Издательство «Инзель».
Роман ВЛАДИМИРА ДУДИНЦЕВА «Белые одежды». Издательство «Бертельсман».
Повесть АНАТОЛИЯ КИМА «Соловьиное эхо». Издательство «Зуркамп».
Рассказы БОРИСА ПИЛЬНЯКА. Издательство «Грено».
Роман АНАТОЛИЯ ПРИСТАВКИНА «Ночевала тучка золотая». Издательство «Кнаус».
Повесть ВЛАДИМИРА ТЕНДРЯКОВА «Чистые воды Китежа». Издательство «Зуркамп».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

Роман ЧИНГИЗА АЙТМАТОВА «Плаха». Издательство «Лидове накладателстви».
Роман ЮОЗАСА БАЛТУШИСА «Сказание о Юзасе». Издательство «Словенски списователь».
Роман АЛЕКСАНДРА БЕКА «Новое назначение». То же издательство.
Роман ОЛЕГА КУВАЕВА «Территория». Издательство «Лидове накладателстви».
Книга ЮРИЯ ЛОТМАНА «Александр Сергеевич Пушкин». То же издательство.
«Избранное» БОРИСА ПАСТЕРНАКА. Издательство «Одеон».
Сборник рассказов ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. Издательство «Лидове накладателстви».

ЮГОСЛАВИЯ

Повести АРКАДИЯ и БОРИСА СТРУГАЦКИХ. Издательство «Народна книга».
Роман МИХАИЛА ШОЛОХОВА «Тихий Дон». Издательство «Рад».

Критика

ВЯЧЕСЛАВ НЕДОШИВИН

ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ — БЕГЛЕЦ ИЗ ЛАГЕРЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Можно ли погасить звезды? Не сомневаюсь — можно! Их можно погасить, если человечество договорится, что звезд на небосклоне нет. Еще верней, если все мы заставим себя поверить в это. И уж совсем надежно, если людям так переделают мозги, что, когда надо, они искренне возомнят — звезд нет и не было, а когда потребуется — столь же честно будут считать, что они-таки есть...

Именно об этом идет речь на последних страницах последнего романа Джорджа Оруэлла [1]. И, окунувшись в мир героя писателя, в мир зверства и фанатизма, понимаешь: шутка со звездами — действительно реальность! Не бред, не философский выверт, не умственный кунштюк. Ибо и раньше, и особенно теперь, в век телевидения и газет, спутников и компьютеров, нет предела внушаемости толпы, как нет надежных гарантий, что именно в толпу при желании нельзя превратить нацию, сообщество, мир.

О человеке и мире, о человеке в мире всеобщего помешательства, коллективного психоза и насилия ведут речь лучшие антиутопии — странная, задиристая, философская литература, получившая особое распространение с начала XX века. Об этом и классические, эталонные произведения ее: романы Е. Замятина «Мы», О. Хаксли «О дивный новый мир»[2], Дж. Оруэлла — «1984».

Вспомним: «Двадцатый век будет счастливым... — писал свыше ста лет назад Виктор Гюго. — Не придется опасаться, как теперь, завоеваний, захватов, вторжений, соперничества вооруженных наций... Не будет больше голода, угнетения, проституции от нужды, нищеты от безработицы, ни эшафота, ни кинжала, ни сражений, ни случайного разбоя в чаще происшествий... Настанет всеобщее счастье. Человечество выполнит свое назначение, как земной шар выполняет свое».

Просторно мечталось писателю! Но, заметьте, из всех указанных В. Гюго зол в наступившем XX веке не осталось разве что архаичного кинжала. Все прочее люди «перетащили» с собой и в новое столетие. А мы тем не менее называем Гюго, хотя прогнозы его звучат утопически, писателем реалистического склада. И, напротив, в ирреальном романе, скажем, Джека Лондона «Железная пята» (в какой-то степени прообразе антиутопий нынешнего столетия) относительно грядущего высказывается самое реальное, не утопическое предположение. «Я жду прихода каких-то гигантских и грозных событий, тени которых уже сегодня омрачают горизонт, — говорит один из героев этого романа. — Назовем это угрозой олигархии — дальше я не смею идти в своих предположениях. Трудно даже представить себе ее характер и природу».

Что же это? Герой Гюго, кстати, революционер, сражающийся на баррикадах, мечтает о «счастливом веке», а другой — тоже революционер, но следующего поколения — откровенно страшится будущего? И кто тогда из писателей реалист, а кто фантаст, кто провидец, а кто — слепец? Наконец, почему представления о завтрашнем дне в сугубо реальном произведении могут через сто лет зазвучать утопически, а выдуманные фантазией, произволом воображения — вполне реально? И отчего тогда утопия — это хорошо, а антиутопия (при всей условности этого термина) — плохо? [3]

[1] Дж. Оруэлл. 1984, «Новый мир». 1989, № 2—4.

[2] О. Хаксли. О дивный новый мир. «ИЛ», 1989, № 4.

[3] Термин «антиутопия», конечно же, условен, как условно и само противопоставление «утопия — антиутопия». Здесь не место подробнее останавливаться на этом, но многочисленные синонимы «антиутопии» — «негативная утопия», «неутопия», «какатопия», «дистопия» и т. д.,— пущенные в оборот литературоведами, философами, социологами, уже говорят о неточности и неразработанности термина. Разве так называемые антиутопии не существовали всегда, со времен диалогов Платона? Разве иные «утопии» прошлого не читаются сегодня как антиутопии и наоборот — в связи с изменившимися представлениями человечества о тех или иных идеалах? Наконец, разве в книгах этого жанра не сосуществуют наравне и утопические и антиутопические мотивы в зависимости от того, как автор видит будущее развитие своих социальных симпатий и антипатий? Ведь и Н. Г. Чернышевский в снах Веры Павловны, и Ф. М. Достоевский в «шигалевщине» рассуждают об одних и тех же идеалах — о свободе, равенстве, справедливости, только судят о них, исходя из собственного писатель-

«Утопия в политике, — писал, например, В. И. Ленин, — есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии...»[4]. Но вот вам опять загадка. Отчего, широко цитируя это определение, соглашаясь, что утопию нельзя осуществить «теперь», наши литературоведы, наши философы словно забывают, что ее нельзя осуществить и «впоследствии», то есть никогда? Почему, стоит ученым подойти к этому вопросу, они начинают тонуть в каких-то недомолвках, туманных рассуждениях, странном бормотании? Уж не потому ли, что, клянясь в материализме, они, словно загипнотизированные словами «равенство», «братство» и «счастье», боятся очевидного — того, что всякое, даже сверхзамечательное предположение, если и претворяется когда-либо в жизнь, то совсем не так и не в той форме, в какой было высказано когда-то? Ведь здесь, как при подъеме на башню — что ни этаж, то дальше видно, и чем больше обзор с высоты столетий, тем иначе оцениваем мы увиденное первоначально. Не так ли развивались в истории и утопические идеалы? Ведь «справедливость», как ее понимал Т. Мор, «свобода», как ее представлял себе Т. Кампанелла, или «равенство», как видел его, скажем, Э. Кабе, — действительно неосуществимы никогда, теперь-то, слава богу, мы знаем это!

Ну, хорошо, слышу я голос наиболее упорных оппонентов, утопии неосуществимы, их социальные конструкции — чистая фикция, но разве они не формируют светлые, человеческие идеалы, и разве антиутопии не разрушают, не компрометируют их?

Вопрос принципиальный. Ведь это факт, что, когда не оставалось больше аргументов, блудливые «идеологи» именно из-за этого не печатали у нас «Мы» Замятина (уму непостижимо!) свыше шестидесяти лет, а антиутопии Хаксли и Оруэлла — четыре десятилетия.

Что ж, думаю, и здесь можно доказать: социальные идеалы (вернее — людские представления о них) рождаются современной им действительностью, их так же шлифует время, они, как и истины, развиваются не линейно, а противоречиво, наполняясь с каждой новой эпохой новым содержанием. Это И. Кант считал, что идеал должен быть недостижим, а К. Маркс и Ф. Энгельс, в отличие от него, настаивали: идеал должен иметь «земное» происхождение, и критерием служит его реализация в жизни[5]. Это К. Маркс, говоря о французской революции, писал: «Рабочему классу предстоит не осуществлять какие-либо идеалы (*что, заметим, мы только и делали до перестройки. — В. Н.*), а лишь дать простор элементам нового общества, которые уже развились в недрах старого...»[6]. Наконец, это К. Маркс и Ф. Энгельс предлагали объяснять «не практику из идеи» (*читай: идеалов. — В. Н.*), а идейные образования из материальной практики» — чему мы также не внимали едва ли не все семьдесят лет советской власти, отбрасывая любую идею, подсказанную практикой (включая ленинский нэп), если она не согласовывалась с «нашими идеалами». И коль так подходить к вопросу об идеалах, то что же остается от кажущейся «осуществимости» утопий?

Остается вера! Вера человека в счастье. Свобода! Равенство! Счастье! — скандирует веками романтическая часть человечества. А трезвые антиутописты, возвращая мечтателей на грешную землю, твердят: счастье, навязанное силой даже лучшими людьми, — это не счастье, а зло; полное равенство в обозримом будущем невозможно, поскольку у людей от рождения разные способности, потребности, темпераменты, а свобода без ограничений неизбежно обернется террором одних «свободных» людей над другими.

Все вроде бы так, все правильно, но *вера* возбужденной толпы, нации, сообщества сильнее. И это (что уж тут темнить?) давно поняли «вожди» всех мастей, те, кому выгодно использовать эту веру в своих интересах, пряча за красивыми, явно неосуществимыми словесами эгоистические цели и непомерные личные претензии. Ведь «гасители» звезд (на небе ли, в душе ли людской) — всегда властители.

Об этом книги социального максималиста Дж. Оруэлла. Он, как А. Франс и К. Чапек, как Лао Шэ и К. Воннегут, хладнокровно наблюдая помешательство мира, канонизацию лжи, извращение прекрасных идей, ощущая, как все решительнее наступал на лицо человека кованый сапог тоталитаризма, не молчал, поднимал перчатку вызова, даже если оставался с миром один на один.

«Серьезные, сознающие свою ответственность интеллигенты часто, а может быть и всегда, идут против господствующего в их время течения».

Слова эти — из книги друга Оруэлла Р. Риса, книги воспоминаний с очень странным, казалось бы, названием — «Беглец из лагеря победителей». Из лагеря победителей в наш век предпочитали не бегать. В эпоху конформизма, приспособленчества, интеллектуального лакейства если и случались перебежчики, то, напротив, в лагерь победителей — поближе к силе, к власти.

«Беглец», как вы уже догадались, — Оруэлл, тот, кого называют сегодня клас-

ского опыта, знания жизни и человека, личных надежд и личных разочарований.

Впрочем, условно и то, что мы называем сегодня утопией, куда мы причисляем и примитивный фантастический роман, и социально-философские трактаты, и просто то, что считаем высококлассной художественной литературой. Ведь в появляющихся ныне многочисленных статьях уважаемых литературоведов к утопиям и антиутопиям относят и прозу Платонова, и книги Кафки, Гессе, Маркеса. Если так подходить к утопиям и антиутопиям, то мы должны будем отнести к ним едва ли не всю мировую литературу от Сервантеса и Свифта до Айтматова и Аксенова.

Вот почему в данной статье автор, как и два давних исследователя утопии Г. Негли и Д. Патрик, придерживается того мнения, что обязательным опознавательным признаком антиутопии является «описание определенного государства или сообщества, политической структуры его».

[4] В. И. Ленин. Две утопии. Полн. собр. соч., т. 22, с. 117.

[5] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Фейербах. Противоположность материалистического и идеалистического воззрений (новая публикация первой главы «Немецкой идеологии»). М., Политиздат, 1966.

[6] К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 17, с. 347.

[7] Там же, т. 3, с. 37.

сиком английской литературы. Эрик Артур Блэйр — вот его настоящее имя, Джордж Оруэлл — всего лишь псевдоним; писатель взял его по выходе первой книги очерков «Жизнь на дне в Париже и Лондоне» (1933) [8], не желая, чтобы его родители расстраивались изнанкой жизни, которую сын познал в трущобах, ночлежках, под мостами Сены и Темзы. Причем Джордж — святой покровитель Англии, а Оруэлл, так во всяком случае утверждают, — название речушки на севере страны, знакомой писателю с юности. Такой «выбор предполагает, — язвил еще не так давно журнал «Тайм», — глубоко скрытый патриотизм разочарованного подданного».

Он родился в Индии, в Бомбее, в 1903 году в семье английского служащего, выходца из обедневшего, но аристократического рода. Позже, стыдясь «потрепанно-благородного» класса, воюя с ненавистной буржуазностью, сам писатель иронически относил себя к «низшей прослойке верхнего слоя среднего класса». Но именно принадлежность к роду дала ему возможность поступить сначала в элитарную школу Св. Киприана, а затем и в Итонский колледж, готовивший своих питомцев к служению на поприще политики и искусств.

«Нельзя постичь мотивов писателя, не зная ничего о том, с чего началось его становление»,— напишет позже Оруэлл. Верно, ибо не только поступки его, удивлявшие современников, книги, принесшие ему всемирную славу, но все в целом: сомнения и противоречивость, нормы и убеждения, непримиримый ригоризм и тяга к дистиллированной справедливости, бесстрашие в анализе действительности, а также умение не впадать в общие иллюзии (главная, на мой взгляд, черта его) — все это зарождалось именно в детстве. Рискну даже сказать: прежде чем по *убеждению* стать беглецом из лагеря победителей, он пережил ситуацию, в которой оказался «беглецом» *по принуждению* — одиноким, чужаком, посторонним. А ведь столь же рано понял он и другое, что «закон жизни — это постоянный триумф сильных над слабыми», и если нельзя ни изменить мир, ни стать сильным, то все равно можно «признать свое поражение и сделать из него победу».

Не имея средств на дальнейшее после Итона образование, без чего в Англии и чиновником не стать, Эрик Блэйр отправляется вновь в Индию. Поражение? В известной мере. Наняться в королевскую полицию, отбыть к месту службы в Бирму — что же тут от победы? Но, выйдя через пять лет в отставку, он не только отлично разобрался в «сущности империализма» («Мне открылось тогда, что, становясь тираном, белый человек наносит смертельный удар по своей собственной свободе»), но и собрал материал к великолепным эссе, к первому роману — второй книге писателя — «Бирманские дни». Больше того, после Бирмы для него стало меняться само значение слов «поражение», «победа». Что с того, что «его круг», услышав об «изучении» им самого «дна» гигантских городов, посчитал это даже не поражением — жизненным крахом, когда он сам расценивал это как победу? И, облачившись в лохмотья, чтобы попасть в тюрьму, или устраиваясь на ночлег в каком-нибудь «доме призрения» среди небритых, оборванных бродяг и калек, он уже беспокоился лишь об одном — как бы его не выдал безупречный итонский слог. Это были уже глубоко выстраданные шаги к бегству из класса победителей, к которым он принадлежал по рождению, первые попытки пробиться к себе истинному, поражающие и какой-то наивностью, и явной бескомпромиссностью. Недаром, когда стали ежегодно выходить его романы («Бирманские дни» — 1934; «Дочь священника» — 1935; «Не бросай ландыши» — 1936), издатель Оруэлла обратился именно к нему с предложением отправиться на север Англии и написать о положении безработных шахтеров, выброшенных волной депрессии. Итогом двухмесячной командировки к горнякам стала книга «Дорога на пирс Уиган» (1937). Оруэлл уже намеренно повернулся к политической проблематике, и книга его содержала как прямые призывы к социализму, так и резкую критику иных социалистов. «Правда состоит в том, — писал он, — что для многих людей, именующих себя социалистами, революция не означает движения масс, с которыми они надеются связать себя: она означает комплект реформ, которые «мы», умные, собираемся навязать «им», существам низшего порядка». Это был вывод, за который следовало ожидать ударов и справа и слева.

Впрочем, соединение искусства и политики, как считалось, — это прямой путь к поражению. Сколько художников ломало себе голову на этом крутом вираже! Но у Оруэлла и здесь все оказалось наоборот. «Чего я больше всего желал последние десять лет, — писал он в 1947 году, — так это превратить политическую литературу в искусство... И когда я сажусь писать книгу, я не говорю себе: «Хочу создать произведение искусства». Я пишу ее потому, что есть какая-то ложь, которую я должен разоблачить, какой-то факт, к которому надо привлечь внимание, и есть желание — главная моя забота — постараться быть услышанным». В этом смысле особенно показательна его книга о гражданской войне в Испании — «Дань Каталонии» (1938), которую он сознательно «портил» бесчисленными газетными выдержками только ради того, чтобы доказать: троцкисты, сражавшиеся против фашистов в Барселоне, были обвинены напрасно, они не были «пятой колонной», не были «наемными убийцами».

В Испании, в Барселоне, он вместе с женой Эйлин О'Шонесси оказался в конце 1936-го. «Впервые я видел город, где рабочий класс был в седле, — писал он, — я с радостью дышал воздухом равенства». Оруэлл улыбался, когда управляющий отелем выругал его за чаевые, предложенные лифтеру, радовался плакатам в парикмахерских, на которых было выведено, что рабов больше нет, восхищался, что на улицах, за исключением некоторых женщин и иностранцев, не было хорошо одетых людей.

[8] «Down and Out in Paris and London». В статьях о Дж. Оруэлле советских авторов это название переводится так: «Без гроша в Париже и Лондоне» или «Собачья жизнь в Париже и Лондоне» (См., например: В. Чаликова. Вечный год. «Новый мир», 1989, № 4).

Но когда фашистский снайпер ранил его в шею, когда в больнице он узнал, что Мадрид объявил барселонские рабочие полки вне закона, когда политический террор против инакомыслящих обрушился на головы его товарищей, которые в одночасье превратились в более важных врагов, чем сам Франко, — Оруэлл был потрясен. Нет, не тюрьмы, массовые аресты и политические убийства троцкистов испугали его — писателя испугало узурпирование «истины в последней инстанции» теми, кто возглавил революцию и войну,— новыми победителями, новой властью. Короче, после Испании он четко определил собственную позицию, написав, что с тех пор уже знал, где его место: «Каждая написанная мною с 1936 года всерьез строка прямо или косвенно была *против* тоталитаризма и *за* демократический социализм, как я сам его понимал». Отныне Оруэлл — одиночка, скептик, бунтарь — борется и разоблачает все, что связано с той или иной властью.

В романе «На свежий воздух» (1939) он уже предрекает, что после войны (ее он тоже предсказывает!) наступит век тоталитаризма, век резиновых дубинок и очередей за продуктами, лозунгов и садизма! Здесь уже появляется «ненависть» как инструмент политической игры, звучит мотив, что и Сталин, и Гитлер (впервые два этих имени он поставил рядом, кажется, еще в 1934 году, в рецензии на «Майн кампф») думают о гаечных ключах и разбитых физиономиях, и никогда, как утверждается в романе, не будет недостатка в физиономиях, разбиваемых гаечными ключами. А в сказке «Скотный двор» [9] — следующем своем произведении — он уже прямо пишет о Сталине и сталинщине, о том, «как революции неизбежно изменяют своей природе, как идея равенства воплощается в том, что одни оказываются более равными, чем другие, и как во имя нового строя коллективная воля осуществляет насилие над личностью» [10].

Последний свой роман — «1984», сконцентрировавший весь личный опыт писателя, раздумья над природой власти, гуманнейшее беспокойство за исчезающую человеческую личность, Дж. Оруэлл писал, уединившись на острове Юра, в старом фермерском доме, куда он, похоронив в 1945 году неожиданно скончавшуюся жену, переселился вместе с приемным сыном. Человек крайностей, он и уединился так, что даже друзья с трудом могли добираться до него. Дом, арендованный им на одном из Гебридских островов, находился в 25 километрах от пристани и единственного магазина. «В сущности, дорога очень удобна, — писал он своему другу, — только последние восемь километров вам придется пройти пешком». Машина там проехать не могла... Другими словами, одинокий по сути человек, «посторонний» в толпе и в блестящем обществе, непонятый многими современниками, Дж. Оруэлл в конце жизни стал, что называется, «номинально» одиноким, отгородившись от цивилизации, от человечества километрами земли и воды [11]. Но именно о человечестве, о будущем цивилизации думал и писал теперь этот оставшийся один на один с миром мыслитель.

Нет, он не писал о будущем — он жил им. И когда вырывался с острова в санаторий, и когда, уже больной, вновь женился, и когда через семь месяцев, после выхода романа в свет, собрался на отдых в Швейцарию и скончался от туберкулеза едва ли не в день, на который, как утверждают, был заказан билет... Непокорный, несмирившийся, протестующий, он знал, что среди большинства не слишком самолюбивого человечества, среди тех, кто после тридцати лет, как правило, отбрасывает амбиции и «начинает скользить по течению», всегда есть немного «одаренных, упрямых людей, которые полны решимости прожить собственные жизни до конца, и писатели принадлежат именно к этому типу»...

И все же — иронично усмехается писатель с портрета на моем столе,— и все же можно ли погасить звезды?

Можно, думаю я, если зажечь в людях «звезды» несбыточных надежд, раздуть угольки безумной веры в осуществимость утопии, в возможность реализовать нынешние представления о завтрашнем дне в дне сегодняшнем. Как ни странно, это связано. Ведь природа веры в уничтожение реальных звезд на небосклоне и осуществление при жизни выдуманных «путеводных» звезд одна и та же — самообман масс, который в конечном итоге так удобно эксплуатировать.

«Что такое эти звезды? — спрашивает на допросе Уинстона Смита, героя «1984», изощренный садист, интеллектуальный выродок, такой вот «эксплуататор» человеческой веры, некто О'Брайен. — Огненные крупинки в скольких-то метрах отсюда. Если бы мы захотели, мы бы их достигли. Или сумели бы их погасить...»

Разумеется, размышления о вселенском обмане с уничтожением звезд на небе — это предсмертное предположение писателя об эволюции власти в современном мире. А первотолчком к этим мыслям стала, возможно, обыкновенная «сельская картинка», мальчик, погонявший прутиком лошадь,— сцена, которую Оруэлл наблюдал однажды в деревне. «Меня поразило, — вспоминал он потом, — что, если бы только животные осознали свою силу, мы не смогли бы властвовать над ними и что люди эксплуатируют животных почти

---

[9] Джордж Оруэлл. Скотный двор. «Родник», 1988. № 3—6.

[10] Друзья писателя утверждали, что в последние годы жизни Дж. Оруэлл не выносил, например, выражения «под властью социализма», в котором выделял именно слово «власть». Но для полноты картины следует также сказать, что он ни на грамм не доверял и собственному правительству. Невероятно, но Оруэлл считал, например, что ограничения военного времени отменены в Англии в 1945 году не будут. «Они» не отменят ночных затемнений, твердил писатель, потому что люди свыклись с ними, а для властей это даже выгодно. Он был убежден, что продовольственные карточки также останутся навсегда — так легче правительству. А когда их все-таки упразднили, настаивал, что это «ловушка». Курьез? Не думаю. Скорей беспощадная логика, глубокий анализ природы власти, материалистическое понимание жизни.

[11] «Я понимаю его до определенного предела,— говорил об Оруэлле, например, писатель В. С. Притчетт,— потому что как раз в тот момент, когда вы утверждались в каком-то мнении, он начинал ему противоречить».

так же, как богачи эксплуатируют пролетариат».

Идея? Рождение метафоры? Несомненно! Но лишь у Дж. Оруэлла эта «картинка» превратилась в яростную сатиру на «казарменный коммунизм», на сталинщину, в книгу, где не половинно, не уклончиво, не зашифрованно было сказано о новой, наседающей на мир лжи, силой присвоившей себе имя «правды». В лучшее, на мой взгляд, произведение его — в сказку «Скотный двор».

В ней домашние животные обыкновенной английской фермы, *осознав-таки* свою силу, прогоняли хозяина ради вольной и справедливой жизни. Но, взяв власть, они чуть ли не на другой день стали убеждаться, что попадают в новое закабаление, едва ли не более жестокое, — к хряку Наполеону, который из мелкого, корыстного интереса стал, как и бывший хозяин, притеснять, вероломно обманывать и даже убивать доверчивых и трудолюбивых животных.

Я не оговорился, сказав, что это произведение — лучшее в наследии писателя. Не только по силе, по неуступчивой человечности, по разящему, беспощадному смеху — оно лучшее, потому что органично сплавило в себе форму и содержание, потому что оригинально и незабываемо даже при соотнесении его со всей предшествовавшей литературой [12]. Наконец, оно лучшее потому, что в чистых, прозрачных образах тонко высмеяло то, что не просто было подметить и выразить, даже побывав в те годы в нашей стране; ведь десятки писателей Запада, которые, зная о фальсифицированных процессах, политических лагерях, бесчисленных кровавых жертвах на Востоке, предпочитали «не видеть», «не понимать», «не осознавать» масштабов трагедии. Это было вроде «заговора молчания» — из сочувствия ли к социализму, из страха ли перед фашизмом...

Оруэлл нарушил правила игры, сокрушил табу, да так, что на первых порах оторопели и Восток и Запад. Куда уж дальше — сказку чуть ли не два года отказывались печатать и в Англии, и в Америке. Писатель не только оказался готовым идти против «течения», которое на глазах превращалось едва ли не в «величественную поступь» половины человечества, он открыто повернул против «реки» нового обмана угнетенных, против сталинщины.

И «секрет» его проницательности был в общем-то прост: Оруэлл долгие годы сам был внутри этого «течения», сам верил в близкую исполнимость великих идеалов, пока не разглядел мимикрирующее, перерождающееся, становящееся аморальным меньшинство — всех рвущихся в «вожди» ловкачей, приспособленцев, краснобаев и идеологических шулеров. Так ведь и у нас ярыми критиками сталинского «социализма» становились как раз те, кто, не щадя жизни, утверждали его на земле — Ф. Раскольников, М. Рютин, А. Артузов, да мало ли?

«Возможно, простой человек и не откажется от диктатуры пролетариата... — писал Дж. Оруэлл, думавший об СССР, по свидетельству друзей, чуть ли не ежедневно, — но предложите ему диктатуру самодовольных и ограниченных педантов, и он уже готов драться». Именно такую «диктатуру», ее генезис, ее глубинную сущность он и попытался изобразить в «Скотном дворе». Вот почему это антивождистское произведение, не уступая в силе свифтовской «Сказке бочки», думаю, не уступит ей и в бессмертии. Ведь человечество никогда не откажется от борьбы за справедливость и лучшую жизнь, и, значит, всякий, кто попытается вновь узурпировать в этой борьбе право на «команду», на бесконтрольное руководство, на «монопольную» истину и привилегии, будет невольно ассоциироваться со свиньями из оруэлловской сказки, вызывать у нас ироническую ухмылку, а то и уничтожающий хохот. Как вызывает убийственную иронию рвущийся хоть и в небольшие начальники булгаковский Шариков — вчерашний подзаборный пес.

«Свиньи», «скоты», «подзаборный пес» — кто бы исследовал эту сквозную анималистскую метафору власти? И почему раньше тирана не сравнивали с тупым, самодовольным хряком, с псом безродным? Уж не потому ли, что, как написал Ю. Домбровский, мир теперь захвачен не людьми — людишками: «Они — мелочь, придурки, петрушки, кутейкины, но мир гибнет именно из-за них» [13].

Мир гибнет... Эти настроения, сильные в творчестве Дж. Оруэлла, были в немалой степени связаны с изменившейся природой и целями власти. Еще Фрэнсис Бэкон, философ и антиутопист, подметил, что «искусно и ловко тешить народ надеждами, вести людей от одной надежды к другой есть одно из лучших противоядий против недовольства. Поистине — мудро то правительство, которое умеет убаюкивать людей надеждами, когда оно не может удовлетворить их нужды» [14]. Теперь антиутопист и философ Дж. Оруэлл шел дальше, показывал нечто большее — некий вселенский «фокус», который новые властители научились проделывать с человечеством. Смотрите, смотрите, говорил писатель, сначала вашими руками сражаются за власть, на вашу силу опираются, превращая себя в единственных выразителей народного «течения», а потом, подменив суть, перетолковав идеалы, «вырезав» в них самое существенное для вас (права, свободы, культуру!), превращают само «течение» это в инструмент манипулирования сознанием, коллективного давления на личность и уничтожения всего, что мешает властям предержащим. Чем не «фокус», не «трюк»? И «механизм» этой подмены, доказывал романист в антиутопии «1984», — и предельно прост, и абсолютно нов. Если в революциях прошлых веков, свергая тиранов, монархов, диктаторов, новые «победители» рано или поздно усваивали не только привычки, ма-

---

[12] Если не считать очерка «Скотский бунт» Н. Костомарова, напечатанного в 1917 г., в котором использована, хотя и по-иному, та же идея (см.: В. Третьяков. Д. Оруэлл или Н. Костомаров?, «Мос. новости», № 26, от 26 июня 1988, с. 16).

[13] Ю. Домбровский. Факультет ненужных вещей. «Новый мир», 1988, № 8, с. 64.

[14] Ф. Бэкон. Опыт или наставления нравственные и политические. Соч. в 2-х томах, т. 2, с. 382.

неры, но и взгляды, идеи свергнутых, то «поумневшие» вожди нынешних революций, даже взлетев на вершину власти, не только не отказывались от аскетического френча и революционной терминологии, но на словах, формально даже продолжали как бы «бороться» с идеями свергнутых ими классов. Ну не ловкачи ли?!

Впрочем, тут следует оговориться. Я покривил бы душой, если бы не сказал, что, язвительно смеясь в «Скотном дворе» над попыткой воплотить в обществе равенство способностей и ума, которого, как понятно, не будет никогда, Дж. Оруэлл тем самым как бы отбрасывал и попытки человечества достичь равенства политического, правового, экономического — институтов вполне реальных и кое-где существующих уже. Смеясь над «равенством», писатель, как мне думается, не только невольно поставил себя в некое ложное положение, но и не мог, по всей видимости, не обрадовать этим своих записных врагов — ненавистных ему империалистов, финансовых воротил, респектабельных буржуа, всех тех, кто не на шутку опасался и правового, и экономического, и уж тем более политического равенства сограждан. Но радовала ли их «радость» самого Оруэлла — вот вопрос?

Ответом и здесь стал его роман, написанный через шесть лет. В нем, если говорить о сердцевинном смысле книги, о том, что читается между строк, писатель и утверждает как раз, что без решения проблем политического и социального равенства, или, как размышляет в романе У. Смит, без создания человеческих условий жизни люди, по-видимому, никогда не станут человечнее, а не став человечнее — им не создать для себя человеческих условий. Вот «заколдованный круг» антиутопии, неразрешимая проблема романа, доминанта размышлений героя книги — последнего человека в мире «1984-го» [15].

«Вы последний человек, — говорит Уинстону в романе О'Брайен.— Вы хранитель человеческого духа...»

Последний человек в мире страха, предательства и мучений, в мире, основанном на ненависти, бешенстве, упоении победой. Оруэлл так и хотел назвать свой роман — «Последний человек в Европе», последний, как носитель и выразитель именно человечности. Но, увы, книга с таким названием уже была — роман «Последний человек» (тоже довольно мрачноватую утопию!) выпустила в начале прошлого века Мэри Шелли. И тогда — так утверждают! — Дж. Оруэлл просто поменял последние цифры года написания своего романа — 1948 — и вывел на обложке — «1984».

Что он хотел этим сказать? Являлась ли эта анаграмма намеком на апокалипсические предсказания средневекового мага Нострадамуса? Или, как замечают некоторые, Оруэлл, писатель реалистического плана, не захотел относить свои «картины» слишком далеко вперед, как бы говоря, что если до этого рубежа мир не превратится в нечто похожее, значит, человечество минует некий кризис? Не знаю, не берусь гадать. Знаю только, что год этот появляется еще в одной утопии нашего века, на которую непохожий ни на Хаксли, ни на Замятина роман Дж. Оруэлла тем не менее похож. Я имею в виду уже упоминавшуюся «Железную пяту» Дж. Лондона.

И «братство» (как «Эра Братства»), и «олигархия», и такое понятие, как «пролс», — все это было у Дж. Лондона, и все «вынырнуло» спустя сорок лет в романе Дж. Оруэлла. И если в «Железной пяте», где речь идет о необходимости серии революций и о десятилетиях подпольной борьбы с олигархией, писатель говорит, что «общество состоит из трех крупных классов» — богатейшая плутократия, средний класс и пролетариат, — то в «Книге Гольдстейна», которую в обществе «1984» года читает Уинстон Смит, Дж. Оруэлл называет их Высшим, Средним и Низшим слоями людей.

Не разбирая подробно роман и «Книгу Гольдстейна» — он заслуживает особого разговора, скажу лишь, что здесь мне могут возразить: «Книга Гольдстейна» — это-де провокационный трактат, она в романе сознательно распространяется заправилами режима среди тех, кто недоволен им. Да, это так. В ней квинтэссенция социальных опасений и страхов писателя за идущий в тупик мир. Она — отчаяние мыслителя еще и потому, что власти предержащие в Океании уже не боятся ее распространения, им как бы уже не страшна «правда» ее как правда, поскольку их господство несокрушимо и вечно. Но есть ли в романе еще более высокая правда, правда как надежда?

Есть! Она — в чувствах людей.

«Если есть надежда, — записывает в дневник У. Смит, — то она в пролах». Да, размышляет он, там, в толпящейся равнодушной массе, «которая составляла восемьдесят пять процентов населения Океании, родится сила, способная уничтожить партию...» Будущее будет принадлежать угнетенным «пусть даже через тысячу лет»! И разве это не выражение надежды писателя?

Надо ли говорить обо всех совпадениях в романах Лондона и Оруэлла — ведь проще прочесть статью последнего о своем американском предшественнике. Но еще о двух параллелях, важных для дальнейшего разговора, упомянуть, думается, стоит. Об изменении внешности человека, вступившего на путь борьбы с государством, и о дате — об этом странном названии романа Оруэлла.

В «Железной пяте» подпольщицу, нелегала, «делают» другим человеком: меняют походку, голос, меняют рост, словом, все то, что изменить, казалось, невозможно (в результате ее не узнает даже собственный муж). В романе Дж. Оруэлла до изменения внешности дело не доходит. Но

---

[15] Этот «заколдованный круг», неразрешимость взаимоотношения личности и общества, проблема свободы человека и государственного порядка всегда в той или иной мере были и побудительным мотивом создания утопий и антиутопий, и известным камнем преткновения, о который разбивались мечты и иллюзии писателей. «Вспомним только строгие предписания Платона. Кампанеллы, Кабе и других,— писал, например, на рубеже веков исследователь утопий А. Свентоховский.— Кто бы захотел подчиниться им, тот должен перестать быть человеком... Самая ужасная тирания никогда не стремилась к такому безусловному задержанию прогресса, как многие утопии, намеревавшиеся стереть всякую тиранию...» (Свентоховский А. История утопий. М., Изд-во В. М. Саблина, 1910, с. 408).

когда Уинстон и его возлюбленная Джулия, решившись вступить в «Братство» и бороться с режимом, приходят к О'Брайену, которого принимают за единомышленника, речь тем не менее заходит о том же. «Наши хирурги умеют,— говорит О'Брайен,— изменить человека до неузнаваемости». Но если у Лондона речь об изменении внешности, во-первых, идет всерьез, а, во-вторых, ее-таки меняют, то в романе «1984», несмотря на подлинность переживаний героев и даже некоторую высокопарность момента, все окрашено неуловимой, еле угадываемой насмешкой автора. А дальше, по ходу разговора, начинается вообще какой-то фарс, вопреки логике развития характеров героев и, казалось бы, вопреки здравому смыслу.

— Вы готовы обманывать, совершать подлоги, шантажировать, растлевать детские умы, распространять наркотики, способствовать проституции, разносить венерические болезни? — неожиданно спрашивает О'Брайен.

— Да! — столь же неожиданно соглашаются наши «борцы».

— Если, например... потребуется плеснуть серной кислотой в лицо ребенку — вы готовы это сделать?

— Да! — вновь решительно подтверждают Уинстон и Джулия.

Обескураживающее согласие, не правда ли? И случайно ли оно в продуманном до тонкостей романе писателя, который, как известно, был человеком щепетильной порядочности?

Не случайно, конечно. Более того, именно здесь ключ к позиции романиста. Фарсовость чувствительных «вопросиков» О'Брайена рассчитана не на героев романа — на читателей, на нас с вами.

На первый взгляд эти «вопросики» — известный способ «полемики» писателя с Дж. Лондоном, у которого в подобной ситуации никакой авторской иронии не наблюдается; с Ф. М. Достоевским (да-да!), кто, как известно, утверждал, что счастье, построенное на одной слезинке ребенка, уже не счастье; наконец, с известной мыслью, что правое дело не должно осуществлять неправыми средствами. Но — это на первый взгляд. Потом, когда по ходу романа читатель узнает, что О'Брайен отнюдь не борец с режимом, что он прикидывается им, расставляя сети для инакомыслящих, эта якобы скрытая авторская «полемика» становится чем-то вроде «антиполемики», если можно так сказать. Или — четким утверждением писателя, что он лично отнюдь не считает, что правое дело должно совершаться неправыми средствами, что он не «спорит» с Достоевским и Лондоном. Напротив, он дает понять читателю, что неправое дело в романе не только вершится провокатором, но и с первой же встречи компрометируется им. Этот прием сродни свифтовскому «засаливанию детей бедняков в бочках», сродни мощному щедринскому сарказму. И Оруэлл сознательно устраивает этот «балаган» с чувствительными «вопросиками», ответы на которые, как мы в конце концов поннмаем, находятся в вопиющем противоречии с подлинными переживаниями Уинстона и Джулии.

Человечность, чувства, любовь — именно этим «проверяется» в романе и безжалостный режим, и кастовая Партия, и политика войны и ненависти. И именно о чувствах, об этом «архаизме» в мире «1984», не раз говорит Уинстон Смит.

Это уже не только политически окрашенная программа писателя — это попытка разорвать, чтобы не сказать — взорвать, «заколдованный круг» переплетающихся противоречий.

...А что же год, давший название роману? В какой связи поминает его Дж. Лондон?

В «Железной пяте» 1984-й — это дата построения второго крупнейшего города олигархов — Эсгарда. Его возвели рабочие как город наслаждения для правящей верхушки, возвели из стекла, стали и бетона. И, сопоставляя две книги, мы вправе спросить: является ли Лондон, изображенный в романе Дж. Оруэлла, городом «наслаждения олигархии»? В известном смысле — да, если учесть, что для верховных правителей, для чиновников Внутренней Партии существуют ощутимые в этом мире привилегии (шикарные по нашим меркам квартиры, великолепная еда и вино, возможность держать слуг, то есть все то, что делает их «равнее» среди равных) и что главным их «наслаждением» является прежде всего безграничная власть над людьми.

Впрочем, возможно, это и не важно. И сравнение нам потребовалось не столько для того, чтобы выявить похожесть произведений, включенность их в одну литературную традицию, сколько для того, чтобы показать — как спустя сорок лет меняется отношение писателей к одним и тем же истинам, к истинам, которые, по меткому замечанию Гегеля, рождаются как ересь, а умирают — как предрассудок.

Этим, образно говоря, и занимается великий жанр социальной утопии. И если, скажем, к истине — «все люди должны быть свободны» — Дж. Лондон в начале века, на волне революционного подъема того времени, относился вполне серьезно, то Е. Замятин, наблюдавший тенденции развития ее и даже попытку практического осуществления в начале 20-х годов, испытывал по отношению к ней нешуточную иронию, рафинированный О. Хаксли в 30-х — острый сарказм («Свобода — это круглая пробка в квадратной дыре»), а Дж. Оруэлл в конце 40-х, убедившись, что провозглашенная в нашей стране «свобода» становится для беднейшего большинства еще более прочной клеткой, — уже подлинный страх. Такая «свобода», по его мнению, могла повлечь за собой необратимые изменения и в современном мире, и в сознании человека.

Свобода и власть — вот главная тема в мире «двоемыслия», «новояза», «двухминуток ненависти», в мире распыления людей и всеобщей слежки. Причем власть как цель, а не средство. И все в оруэлловском мире — переписывание истории, дубинки, поддержание общего уровня бедности и изощренные пытки, искоренение любви и девальвация чувств — все это лишь «инструменты» достижения абсолютной, безграничной, химически чистой власти.

Власть, власть личная, власть коллективная, власть как цель — вот над чем раз-

мышлял в конце жизни Дж. Оруэлл. И единственное, что может помешать ей, — это дух, человечность. Не здесь ли, в противоречии власти и духа, бюрократии и интеллигенции — главный конфликт современной эпохи?[16] Это уже не просто логическая задачка «Скотного двора»: как «нам», умным, навязать «им», существам низшего порядка, свою волю или комплекс реформ. С годами писателя все больше интересует, как бюрократия, подлинные «скоты» в его романе, может подчинить себе Человека Духа — единственную ценность тысячелетней истории. Причем подчинить так, чтобы в сознании умного, глубокого, тонкого интеллигента Уинстона Смита не осталось ни одной «иронической», по отношению к режиму, мысли, чтобы он искренне (а не под страхом боли и смерти) поверил в фанатичный бред властителей: в величие Старшего Брата, в вечность Партии, в то, что дважды два — пять и что свобода — это рабство.

Да, власть и дух — конфликт эпохи. Он был, он есть и будет. Власть всегда, при всех режимах, ненавидит интеллигенцию. За то, что подлинные интеллигенты никогда не борются за власть и этим как бы «рушат» представления власти о человеческой природе, да и о самой себе. Но главное, власть ненавидит ее за истинное, органичное намерение жить для других, за жертвенность, которую властители тщатся присвоить себе, в то время как на самом деле властвуют ради плебейского превосходства, лишнего мешка падалицы да силой захваченного ведра молока. И разве все это надуманные, не существующие в реальной жизни противоречия сплошь, казалось бы, фантастической социальной утопии?

Мне скажут: этого в романе нет. Уинстона «ломают», его подчиняют себе. Он предает любимую, он кричит, отводя клетку с крысами, готовыми грызть его лицо: «Отдайте им Джулию!.. Раздерите ей лицо... Джулию! Не меня!» Он, наконец, на последней странице романа плачет от почтения, преданности и любви к Старшему Брату, этому средневековому истукану, предмету поклонения и веры одураченных масс...

И все-таки это в романе есть! Героя ломают — верно, но писатель ясно дает понять чем. Той самой готовностью делать правое дело неправыми средствами, соглашательством на чувствительные «вопросики» О'Брайена, решимостью плеснуть в лицо ребенку серной кислотой... Вот в чем главное поражение Уинстона — измена духу, предательство интеллигентности в себе...

Так заканчивается одна из великих антиутопий XX века — роман, доказывающий, что с человеком, а равно и с нацией, обществом, миром, можно сделать все, если этот человек, общество, мир дрогнут, уступят, вольно или невольно предадут себя. Свое естество, тысячелетнюю мораль, простые, свойственные всем людям чувства.

«Наши представления о будущем...— писал некогда О. Хаксли, — выражают наши современные страхи и надежды».

Да, «пророчества» Дж. Оруэлла — это всего лишь страхи и надежды писателя именно конца 40-х. Вот почему, когда возникает вопрос: про «нас» ли этот роман или про «них», я в обоих случаях готов ответить утвердительно. Эта книга особой позиции, но эта «особость» писателя, оказавшись мишенью меж баррикад (по «беглецам» из лагерей стреляют, надо сказать, и те и другие!), не только отпечаталась на посмертной судьбе автора, но и долгие годы преследовала сам роман, которым то проклинали, то славословили. Образно говоря, книга, по сути провозвестие нового политического мышления, приобрела с годами странную судьбу «зеркала», в которой каждый заглянувший видел сначала своего идеологического врага, а потом неизбежно себя. Удивительная, переменчивая судьба то ли антиутопий, то ли нашего понимания времени...

Роман «1984» только-только выходил в Англии и Америке в июне 1949-го, а в нем и правые и левые, все, кто хотел «холодной войны», видели друг друга, видели, несмотря на недвусмысленное заявление умиравшего автора: «Мой недавний роман *не был* намерением атаковать ни социализм, ни британскую лейбористскую партию (за которые я голосую!). Я не верю, что общество, которое я описал, обязательно *наступит*, но я верю (учитывая, разумеется, тот факт, что книга — все-таки сатира), что что-то похожее *может* наступить». И уж совсем странно, что почти никто из тех, кто вглядывался в туманное «зеркало» его предвидений, не замечал глубинной надежды и боли писателя, того, что делало роман гуманнейшим произведением эпохи, отстаивающим общечеловеческие ценности — сочувствие простым людям, ностальгию по уходящему времени чувств, яростный гнев против преследователей, палачей и властителей всех мастей. В книге стали разгадывать реалии, бытовые подробности, вроде того, что кабинет на радиостанции Би-би-си, где работал в войну Оруэлл, был под номером «101», совсем как комната пыток в романе, что даже Старшего Брата Оруэлл взял из печатной рекламы тех лет, где симпатичный джентльмен заявлял: «Позвольте мне быть вашим старшим братом!» — и советовал покупать именно эту пасту и эти носовые платки.

Всю первую часть, например, романа «1985», названного по аналогии с книгой Оруэлла, Энтони Бёрджесс посвящает доказательству: писатель не имел в виду изобразить в «1984» восточноевропейский социализм, он-де описывал Англию послевоенных лет и возможные тенденции развития именно британского социализма. Очереди перед магазинами, контроль за людьми с помощью телевидения (речь шла о появившихся тогда телеустановках на предприятиях для присмотра за рабочими), периодическое отключение электроэнергии,

---

[16] Об этом противопоставлении так или иначе пишут сегодня едва ли не все исследователи антиутопий. См., например, статьи: Р. Гальцева и И. Роднянская. Помеха — человек. «Новый мир», 1988, № 12; А. Зверев. Когда пробьет последний час природы, «Вопросы литературы», 1989, № 1; Ю. Латынина. В ожидании Золотого Века. От сказки к антиутопии, «Октябрь», 1989, № 6; В. Чаликова. Несколько мыслей о Джордже Оруэлле, «Знамя», 1989, № 8, и др.

шараханье британской печати и даже организованную «ненависть» — все это, доказывал Бёрджесс, было «списано» Оруэллом именно с английской действительности тех лет.

В известной мере он прав. Да, с годами время все чаще заставляло и Восток и Запад признавать в «зеркале» романа свое отражение. Мы признавали это молча, сквозь зубы, но громко, на весь свет открещивались от похожести, хотя самого романа при этом не печатали, — что, кстати, было красноречивее всех слов. А Запад с легкой руки Эриха Фромма (автора одного из предисловий к роману) признавал это публично, доказывая, что роман про «них», про буржуазное общество с самоманипулирующей интеллигенцией, с двойным смыслом «свободы», с «прогрессом», который все беззастенчивей ставили на службу политического сыска, досмотра, преследования. Об этом писали и английский литературовед У. Г. Армитедж, и Дж. Вудкок, автор вышедшей еще в 1966 году монографии об Оруэлле, и Р. Уильямс, и критик Дж. Фрейзер.

Но поистине вал сопоставлений, сравнений, предположений и опровержений вызвала книга Дж. Оруэлла лет семь назад, когда год, обозначенный на обложке романа, стал приближаться к реальному календарному году, когда в Англии и Америке стало одновременно выходить 17-томное собрание сочинений писателя, когда восковая фигура его заняла свое место в музее мадам Тюссо, когда сам 1984-й был назван ЮНЕСКО «Годом Оруэлла».

«Из 137 предсказаний, сделанных в романе, — писал в те дни Д. Гудмен в журнале «Фьючерист», — более ста уже сбылось». Другой автор сообщал в «Интернэшнл геральд трибюн», что «Оруэлл схватил сегодняшнюю ситуацию поразительно точным образом», особенно в вопросах войны и мира. А еще один журнал, «Ю. С. ньюс энд уорлд рипорт», категорически заявил: «В США именно технология, но не политика «1984» подошла ближе всего к реальности». Как будто технология в наш век — это не средство политики!

Но истина, думается сегодня, лежит посередине; и утопии меняют свой первоначальный смысл, зачастую потому, что «общества», выстроенные в них, вмещают в себя элементы не столько конкретных государств, сколько вообще мира — разноликого, противоречивого, видоизменяющегося. Шумные на весь мир, «театрализованные» процессы 30-х годов, партийные чистки и массовые репрессии, ночные аресты и бесследное исчезновение людей, сокрытие правды о некоторых сторонах революции и переписывание недавней истории, сталинское управление государством и статистические «манипуляции» с цифрами, перерождение «вождей» и безраздельная власть их над людьми под фальшивым предлогом их же, дескать, блага — все это «списано» Оруэллом с нас, с нашего общества, и это надо прямо сказать. Просто писатель, как умный человек, довольно скоро понял, что «плановое общество, в котором отсутствует экономический стимул прибыли, не обязательно будет *свободным и справедливым* (курсив мой. — *В. Н.*). Оно легко может превратиться в государство рабов с сытыми и довольными рабами». Впоследствии он предвидел и такое государство, где рабы не будут даже сыты — общество угнетенных животных, управляемое свиньями. А еще раньше, в 1937 году, после знакомства с антиутопией О. Хаксли, Оруэлл утверждал, что единственный способ предохранить социалистическое общество от подобного вырождения — возродить основные социальные идеалы справедливости и свободы. То есть то, что слово в слово написали мы на знамени перестройки в 1985 году, через год после пророческой даты.

Истина посередине, потому что Дж. Оруэлл предсказал как технический прогресс (будет создано телевидение, улавливающее даже биение человеческого сердца), так и моральный регресс, отставание, откат к прошлому (ведь сердце будущего человека может стать сердцем робота). И разве мы не наблюдаем нынче этой двойной тенденции, этого нового качества мира? Разве писатель не предугадал «бракосочетание» телевизора или компьютера с бюрократией, союз, который даст власть даже не снившуюся раньше атиллам, александрам македонским, наполеонам, всевозможным вчерашним гитлерам или сталиным? Разве не грозит всем нам, с приходом третьей промышленной революции, так называемая электронная демократия, коллективизм пострашнее любых тоталитарных систем, когда, «голосуя» дома, мы вдруг обнаружим, что абсолютное и анонимное большинство станет для индивидуума покрепче любых прошлых камер, клеток и наручников? Разве, наконец, контроль над мыслями и чувствами людей (если он окажется реальностью в ближайшем будущем) не обернется сверхвластью, для которой и свет звезд на небе станет вполне досягаем?

Да, Старший Брат все больше выступает ныне в новом качестве — в форме безграничной власти административно-командной системы, способной, если надо, «согласовать» с собой историю, науку, культуру, да и сам прогресс в форме централизации знаний и обучения, информации и легко навязываемых развлечений. Вот в чем ужасная правда, или правда ужаса, оруэлловских предсказаний.

Роман Дж. Оруэлла — это «памфлет против политики, против политического тоталитаризма...— писал в 1984 году член руководства ИКП П. Инграо.— Подлинный объект пророчества и разоблачения — всесилие политической власти, ее всепроникающее могущество, ее триумф в глобальном масштабе». А самая ошеломляющая проблема современности, продолжал итальянский коммунист, состоит в том, что «нет единой власти (которую, подобно Зимнему дворцу, можно было бы взять однодневным штурмом)».

Главная надежда романа — так я во всяком случае понимаю философию антиутопий — это все та же «башня» мирового сообщества, на которую человечество поднимается год от года. Ведь нас не устраивает сегодня ни «братство» первых послереволюционных лет, ни «свобода» времен коллективизации, ни «равенство» 37-го, ни

«демократия» застойного периода. Нет, развиваясь, мы поднимаемся, чтобы по-новому с каждого следующего этажа оценивать даже ближайший вчерашний день, свои узкие зашоренные представления об обществе, в котором мы жили и живем.

Ведь главной, поистине пророческой догадкой писателя стало его убеждение — и мы наглядно видим это на пятом году перестройки! — что такой «социализм», который построил Сталин, «социализм» демагогии и тотального обмана масс, ситцевых лозунгов и постоянных «талонов» то на лезвия, то на шнурки, то на мыло непременно разлетится как карточный домик, что пренебрежение человеческими интересами, людской моралью неизбежно взорвет — и взрывает уже! — общество, замешанное на лжи, насилии и самовлюбленности.

Вам, будущим поколениям, предсказывал писатель, придется не только осознать, что власть как функция, совершив в своем развитии множество кругов, деперсонифицируется, растворится в обществе, но и научиться бороться с такой, неведомой, новой властью, властью, которая будет чем-то внутри каждого из вас, внутри вашей черепной коробки. И единственным оружием в этой борьбе — так думал писатель — может стать лишь осознание, что добро — это добро, что правда — это не ложь, а реальность, не выдумка «начальников». «Не дайте себя обмануть! — пророчески призывал нас Оруэлл четыре десятилетия назад.— Даже если обманщиками будете вы сами». Вот ступень, с которой писатель предлагал взглянуть на старые как мир идеалы человечества — «свободу», «равенство», «справедливость» и «счастье». Иначе в один прекрасный день вам без труда внушат, что звезд на небосклоне нет и никогда не было.

БОРХЕС И КОРТАСАР: ЭПИЗОД ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ XX ВЕКА

Вступление, составление и перевод с испанского **И. ПЕТРОВСКОГО**

Наш век решительно переосмыслил древнюю как мир метафору. Платон считал, что во сне человек теряет над собой контроль и в нем пробуждаются стихийные, иррациональные силы, а сегодня целая философско-психологическая школа изучает сны, чтобы понять логику нашего мышления. Евангельские герои получают во сне откровение (Матфей, 2,12) и «вразумляются» сновидениями (Деяния, 2,17), а крупнейший модернист XX века зовет очнуться — да не просто от сна, а от страшного сна — «кошмара истории» («Улисс»). Но в том же XX веке на смену полувопросительному гамлетовскому «спать и видеть сны» приходит умиротворяющее пастернаковское «спи жизни ночью длинной».

Так что же, возвращаемся к кальдероновскому «жизнь — это сон»? Один из первых романов-сказок нашего века, написанный в 1904 году, роман Г. К. Честертона, имел «жанровый» подзаголовок «страшный сон»,— так что же, сон следует понимать как метафору творческого воображения? Тогда что же означает сложнейшая, чуждая всякой театральности метафизика снов у Андрея Тарковского? И почему в середине века на Западе вдруг стал так популярен классический китайский роман «Сон в красном тереме»? И почему русский поэт в одном из трагичнейших своих стихотворений ждет встречи с сыном не где-нибудь, а именно во сне — «мой милый сын. увидь меня во сне»? Давайте спросим об этом у двух корифеев современной литературы, небезразличных к теме сна — у Борхеса и Кортасара [1],— и проследим, как их литературная полемика внезапно открывает нам истины о самосознании человека XX столетия.

Борхес всегда гордился тем, что первым опубликовал Кортасара, пришедшего однажды к нему в журнал «Аналес де Буэнос-Айрес» [2]. Ничего странного не было в этом приходе. «Кортасар начал писать свои первые рассказы в среде, где вокруг авторитета Борхеса — Минотавра аргентинской словесности — вращалась вся литературная жизнь Буэнос-Айреса: все пути вели к центру интеллектуального лабиринта, который уже с начала 20-х годов сооружал автор «Вымыслов»,— свидетельствует Хайме Алацраки, крупнейший знаток Кортасара.

Сам Кортасар уточняет Алацраки. «Были рассказы Борхеса,— вспоминает он.— Но я делал другое». Он действительно делал другое. И то, что было небом и пределом возможностей для Борхеса, отнюдь не было таковым для Кортасара. Один из его ранних сборников так и назывался: «Другое небо». «Другое» Кортасара начиналось в борхесовской стихии и шло в противоположном направлении. Кортасар пришел к Борхесу с рассказом «Захваченный дом», чтобы оставить борхесовский — отчий — дом навсегда. Правда, он тогда еще не знал, что уходить из этого дома, опровергать Борхеса и полемизировать с ним ему придется всю жизнь.

Для наглядности возьмем новеллу Борхеса «Тема предателя и героя»; Борхес трактует подлинные события ирландского восстания. Вождь заговорщиков Килпатрик разоблачен как предатель. Дабы не сорвать восстание, он соглашается участвовать в сложно организованном действе. Подмостками спектаклю служит реальный Дублин, актерами — ничего не подозревающие ирландцы, сюжетом драмы — перетолкованные сцены «Макбета» и «Юлия Цезаря», финалом — запланированное убийство предателя. А поскольку для толпы он остается героем, по окончании представления должно вспыхнуть восстание. Предатель и вождь блистательно справится с этой ролью и будет убит в театре. Точнее — в помещении театра, поскольку театральна здесь вся действительность.

В новелле Кортасара «Инструкции для Джона Хауэлла» — та же театральная метафора. В новелле случайный прохожий попадает в театр. (У Борхеса — Дублин, у Кортасара — Лондон; выразительная деталь для коренных портеньо.) После первого акта его вызывают из ложи и настойчиво предлагают сыграть одну из главных ролей. Его гримируют, дают несколько ин-

---

[1] Настоящей публикацией «ИЛ» продолжает разговор об этих крупнейших писателях, начатый статьей И. Тертерян «Новейший парадоксалист» (1974, № 7) и беседой в редакции «Движение жизни — движение литературы» (1981 № 5). *(Прим. ред.).*

[2] См. об этом подробнее: «ИЛ», 1988, № 10. *(Здесь и далее прим. перев.).*

струкций и выталкивают на сцену. Поначалу этот кортасаровский Килпатрик (не опорочивший себя предательством, но также обреченный исполнять роль) старательно следует всем указаниям. Он почти совсем сросся с ролью, когда вдруг исполнительница главной партии шепчет ему на ухо: «Не дай им меня убить». Тогда зритель, сделавшийся помимо воли актером, ломает ход пьесы. Он отказывается играть безвольного персонажа, о котором ему нашептали за кулисами. Он начинает сопротивляться и сценарию, и импровизированным попыткам актеров втолкнуть его обратно в роль. Но героиню не спасти, и конец предрешен: перед последним действием Джона Хауэлла выталкивают из театра взашей, чтобы спокойно расправиться с женщиной.

Эта новелла прочитывается как ответ кортасаровского театра — театру Борхеса, словно один режиссер спорит с другим, ставя другую версию той же пьесы. У Борхеса история безропотно подражает драматической литературе. Жизнь и театр у него абсолютно, фатально симметричны. Они обречены превращаться друг в друга. Даже если его актеры изменяют своей роли («предатель» и «герой»), они ничего не меняют в содержании спектакля. Все предопределено заранее. Читатель здесь — пассивный статист, втянутый в роковую игру. Совсем иначе у Кортасара. Его «жизнь» решительно противится злу симметрии. Его герой отказывается играть по чужой партитуре. И хотя Кортасару не чужд интеллектуальный гротеск Борхеса, равняющий историю и театр, его герой пытается отстоять им самим выбранную партию. «Роковая свобода» — любимый оксюморон Кортасара. Борхесовскому театру предопределения возражает кортасаровский театр выбора. Фатальному жесту — жест свободы.

Автор «Игры в классики» спорит с автором «Вымыслов» практически в каждой новелле. «Захваченным домом» отвечает на «Дом Астерия», переосмысляя образ Минотавра и метафизику лабиринта. Открытый финал «Шагов по следам» противопоставляет закабаляющей риторике «Трех версий предательства Иуды». Новеллой «Вечер «Мантекильи» оспаривает повествовательную технику «Мертвого», превращая чтение из безучастной рецепции в совместный с читателем труд по выработке смыслов. В новелле «Мы так любим Гленду» социологизирует борхесовский апокриф — «Евангелие от Марка». В 116-й главе романа «Игра в классики» цитирует, а в новелле «Все огни — огонь» переиначивает борхесовскую идею параллельных времен из «Сада расходящихся тропок»... Нет ни одной борхесовской модели, которую не переиначил бы Кортасар. Вместе с А. Бьой Касаресом Борхес выпускает сборник пародийных детективов: «Модель для убийства» (под псевдонимом, одним на двоих,— Б. Суарес Линч). Вспомним кортасаровский роман: «62. Модель для сборки». Разница в решении вопроса о сущности интеллектуальной игры более чем очевидна.

Говоря о борхесовском лабиринте в романе Кортасара «Игра в классики», проницательнейший Х. Лесама Лима замечает, что Кортасар «...вводит этот прием для разрешения собственных задач». Характерно, что задачи, которые ставит перед своими героями Хулио Кортасар, утопии, коих они взыскуют, именуются типичными борхесовскими метафорами. Герой Оливейра мечтает отыскать «кибуц желаний» (в русск. перев.— «сообщество желаний»). Другие мечтают выйти «к центру мандалы, к головокружительному древу Иггдрасиль» (гл. 54). Слово «кибуц»— из тех же палестин, что и борхесовские «алеф» и «голем»; «мандала» и «ясень Иггдрасиль» — соответственно из книг Борхеса «Что есть буддизм» и «О скандинавской мифологии» или из любых его рассуждений на темы восточной и западной мифологии. Таким образом, кортасаровская утопия — как и антиутопия — одного, борхесовского, корня. Полемика усложняется.

В «Антологию фантастической литературы», составленную Х. Л. Борхесом и А. Бьой Касаресом, вошла даосская притча о Чжуан Чжоу и бабочке: «Чжоу ли снилось, что он бабочка, или бабочке снится, что она — Чжоу...» (перев. В. Сухорукова). В «Игре в классики» (гл. 122) обсуждается навеянный восточными сюжетами сон Оливейры: «Ты мне как раз сегодня говорил: бабочка или Чан Кайши? Может быть, меняя старика на сон, ты выменяваешь у меня сон на старика?» Пародийность кортасаровского решения очевидна, однако это — серьезная пародия. Смысл ее прояснится, если сравнить метафору, общую для лекции Борхеса «Страшный сон» и для новеллы Кортасара «Страшные сны».

Релятивизм сна и яви, «иронизация» (по выражению Б. Дубина) подобного релятивизма — характерный прием борхесовской новеллистики. Вначале Борхес открыл его в поэзии и драматургии испанского барокко. Затем — у даосов. Вероятно, все это волновало Борхеса уже в 20-е годы, поскольку именно тогда его сотоварищ, католически ориентированный писатель Леопольдо Маречаль, макабрически насмехался:

Почиет в бозе толкователь снов
Хорхе Луис Кеведо и Арготе.
Риторика молчит — ей не до слов.
Он умер от отсутствия усов.
И оживлять его — напрасная забота.

Арготе — это, разумеется, выдающийся специалист по снам в барочной поэзии Луис де Гонгора и Арготе, а Кеведо — это не менее знаменитый сновидец Франсиско де Кеведо и Вильегас.

Лекция «Страшный сон» — автокомментарий к извечному борхесовскому мотиву. Может показаться, что лектор сознательно играет на сложных переходах от снов «литературных» к снам «реальным». Однако это не совсем так. В лекции, как и в новеллах, различные сновидения логически выстроены и ведут к метафизическим откровениям финала. Реальности здесь нет и быть не может. «Подлинный», привидевшийся Борхесу сон о человеке с птичьей лапкой уже был в свое время сюжетом его новеллы «Встреча». Сны лектора — тоже литература. Бесконечность сновидческих сюжетов поэзии, прозы, философии и искусства сплетаются в единую вязь метафор. Так Борхес разрешает вопрос о связи различных художественных реальностей, свободно переходящих друг в друга. Действительность для него — категория метафизическая.

Сон Борхеса предвещает другие сны, сон Кортасара предчувствует пробуждение. Героиня его рассказа чутче всех «интуирует» действительность. Кажется, это она бодрствует, а ее окружение — спит и грезит. Когда Кортасар будит героиню, резким толчком сюжета он словно выталкивает читателя из лабиринтов сновидений и ставит его лицом к лицу с собственной жизнью. Так, чтобы мы поняли: кошмар действительности страшнее летаргического сна. Реальность слепа, сон зряч.

Карл Ясперс говорил о жизни как о кораблекрушении. Споря с ним, Хосе Ортега и Гассет назвал культуру спасательным кругом. Кортасар бросает читателю борхесовские культурологические метафоры, словно спасательный круг — держись, мол, старина. А в финале разоблачает фиктивность подобного спасения. Плыви, читатель, сам. Ибо только от нас зависит, как мы будем плыть по этой жизни. В одном из кортасаровских рассказов читаем: «Это что-то вроде отдаления от Альмутасима»,— думает просвещенный Лукас». Несомненно, речь идет о новелле Борхеса «Приближение к Альмутасиму». Лукасу невдомек, что весь Кортасар — это отдаление от Борхеса — Альмутасима.

У Борхеса есть остроумное выражение: «Каждый писатель создает своих предшественников». В лекции Борхес творит — в буквальном смысле — своих предшественников. В новелле Кортасар творит своего читателя и своего последователя. Борхес — это культурологический сон, забытье в культуре. Кортасар — это пробуждение от сна культуры к водовороту существования. Один насылает сны, а другой — будит, и спор между ними не окончен: в архивах Кортасара обнаружена рукопись романа, герой которого, аргентинский поэт, носит примечательное имя — Хорхе.

ХОРХЕ ЛУИС БОРХЕС

Страшный сон

Сеньоры!

Сон — это жанр, страшный сон — тема. Сперва расскажу о снах, затем о кошмарах.

Просматривал на днях книги по психологии и страшно разочаровался. Там можно прочесть о механизме или сюжете снов (далее я попытаюсь обосновать это слово) и ни слова о том, что меня интересует,— о чудесном, об удивительном событии сна.

Так, в одной книге по психологии — «The Mind of Man» Густава Спиллера [1], я ее ценю очень высоко,— речь идет о том, что сны соответствуют нижнему уровню умственной деятельности (самому мне такое мнение представляется ошибочным), а также о том, как алогичны и бессвязны сюжеты сновидений. Упомяну Груссака и его замечательный труд (дай Бог припомнить название) «Среди снов» [2]. В финале этой книги, входящей в «Интеллектуальное путешествие», кажется во второй том, Груссак говорит, что просыпаться каждое утро в здравом рассудке (или скажем так: в относительно здравом рассудке), посетив перед тем мир теней, лабиринты сновидений,— настоящее чудо.

Изучение снов представляет особую трудность. Прямое изучение снов невозможно. Остается лишь рассматривать сон, запечатленный в памяти. Но сон в памяти и сновидение, видимо, не соотносятся напрямую. Великий писатель XVIII века сэр Томас Браун [3] считал, что, по сравнению с блистательной реальностью сна, его образ в памяти — убожество. Другие, наоборот, полагают, что мы приукрашиваем сны; если мы считаем сон беллетристикой (а я думаю, что так оно и есть), то, вероятно, мы продолжаем сочинять сон и в момент пробуждения, и во время пересказа. Мне вспомнилась сейчас книга Данна «An Experiment with Time» [4]. С его теориями я не согласен, но это замечательная книга и заслуживает упоминания. Однако, дабы облегчить ее понимание (двигаюсь от книги к книге, память моя работает лучше, чем мышление), хотелось бы вспомнить сперва великую книгу Боэция «De consolatione philosophiae» [5]; без сомнения, ее читал и перечитывал Данте, как читал он и перечитывал всю литературу средних веков. Боэций, прозванный «последним римлянином», сенатор Боэций воображает зрителя на скачках.

Зритель сидит на ипподроме и со своей трибуны в строгой последовательности видит старт, перипетии забега, коня, первым пришедшего к финишу. Но Боэций воображает и другого зрителя, которому виден и сам зритель, и забег. Это, должно быть, Господь Бог. Бог видит весь забег, обозревает его единым взглядом вечности, зрит из своей мгновенной вечности старт, перипетии, финиш. Единым взглядом он окидывает все, в том числе и всю мировую историю. Так Боэций вводит два понятия: свободной воли и Провидения. Подобно зрителю, который видит весь забег, но (кроме того, что воспринимает его в строгой последовательно-

---

[1] «Человеческий разум» — книга английского писателя и философа Густава Спиллера (Лондон — Нью-Йорк. 1902).

[2] Поль Груссак (1848—1929) — аргентинский писатель, эссеист, «двойник» Борхеса; как и Борхес, рано ослеп; как и Борхес, занимал пост директора Национальной библиотеки.

[3] Оговорка Борхеса: Томас Браун (1605—1682)— крупнейший представитель английского барокко (т. е. XVII в.), писатель, антиквар, физик и теолог.

[4] «Опыт со временем» (1927) — монография английского философа Джона Уильяма Данна (1875—1949), чьи идеи о временном релятивизме и множественности миров оказали влияние на формирование аргентинской культурологической фантастики. Ему посвящено эссе Борхеса «Время и Д. У. Данн».

[5] «Утешение философией» (*лат.*) — сочинение Аниция Манлия Северина Боэция (480—524) выдержано в духе неоплатонизма.

ст!!) никак на него не влияет, Бог видит наш забег целиком, от рождения до смерти. Он не оказывает влияния на наши действия, мы действуем свободно, но Господь знает — или, скажем, именно в эту минуту знает — все то, что нам предстоит испытать. Господь Бог видит и всемирную историю, и что происходит со всемирной историей; видит все в едином головокружительном мгновении, имя которому — вечность.

Данн — английский писатель нашего века. Не знаю более занимательного названия, чем у его книги: «Опыт со временем». В ней он воображает, будто каждый из нас обладает своего рода скромной индивидуальной вечностью: обладателями этой скромной вечности мы становимся каждую ночь. Однажды засыпаем, нам снится, что сейчас среда. Нам приснится и среда, и следующий день — четверг, а может, и пятница, а может, вторник... Каждому человеку дана во сне толика индивидуальной вечности, которая позволяет ему увидеть ближайшее прошлое и недалекое будущее.

Все это сновидец окидывает одним взглядом, точно Бог, наблюдающий за всем космическим процессом из своей необъятной вечности. Что же происходит, когда мы пробуждаемся? А вот что: поскольку мы привыкли к линейному существованию, нашему сну, фрагментарному и единовременному, мы придаем повествовательную форму.

Рассмотрим один простой пример. Предположим, во сне передо мной появляется человек, чей-то образ (речь идет о довольно бледном сне), а затем, через мгновение,— образ дерева. Проснувшись, я этот элементарный сон неслыханно усложняю: вроде мне снился человек, превратившийся в дерево, а может, человек, который был деревом. Раз я переиначил факты, значит, я сочинитель.

Что происходит во сне, мы не знаем в точности. Не исключено, что во сне мы переносимся на небеса, в ад, а может, превращаемся в кого-нибудь, в шекспировское «the thing I am» [6], в «то, что я собой представляю», а может, становимся божеством. По пробуждении все это забывается. Сны мы можем изучать только по их отражению, бледному отражению в памяти. Читал я также книгу Фрезера [7], писателя, кроме всего прочего, выдающегося таланта, но и весьма доверчивого, готового принять на веру все, что пересказывают ему путешественники. Дикари, по Фрезеру, не отличают сна от яви. Сон для них — эпизод яви. Так, согласно Фрезеру или согласно тем путешественникам, которых читал Фрезер, дикарь видит сон, будто он идет по лесу и убивает льва; проснувшись, он думает: во сне душа оставила тело и убила льва; или несколько усложним ситуацию: я убил сон льва. Все — вполне вероятно, а кроме того, мышление дикарей и мышление детей, не различающих четко сон и явь, в нашем случае совпадают.

Приведу собственный пример. Мой племянник — было ему тогда лет пять-шесть, на даты у меня плохая память,— пересказывал мне каждое утро свои сны. Помню, однажды утром (он сидел на полу) я спросил, что ему снилось. Он знал о моем хобби и послушно ответил: «Мне приснилось, будто я потерялся в лесу. Было страшно, но я выбрался на поляну; там стоял белый деревянный дом, вокруг него шла лестница, с пролетами, как галерея, и с дверью; из этих дверей появился ты.— Он вдруг осекся и добавил: — А ну, отвечай, что ты делал в этом домике?»

Для него все происходит в одном измерении: и явь, и сон. Тут мы подходим к другой, прямо противоположной гипотезе — гипотезе мистиков, метафизиков, которую, однако, часто путают с первой.

Сны для дикаря и ребенка — эпизоды яви, а у поэтов, у мистиков вполне возможно, что вся явь — сон. Об этом сухо и лаконично говорит Кальдерон: жизнь — это сон [8]. Шекспир выражается образно: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны» [9]; восхитительно сказано об этом у австрийского поэта Вальтера фон дер Фогельвейде, вопрошающего (сперва воспроизведу на моем плохом немецком, затем на чуть лучшем испанском): «Ist es mein Leben geträumt oder ist es wahr». «Или казалось явью мне то, что было сном?» [10] Он так и не знает точно. Тут одновременно мы подходим и к солипсизму; к той мысли, что есть только один сновидец, и этот сновидец — каждый из нас. Если речь идет обо мне, в настоящую минуту этот сновидец видит вас во сне; ему снится зал, лекция... Есть только один сновидец: он видит во сне весь космический процесс, всю предшествующую всемирную историю, ему снится ее детство, отрочество. На самом деле всех нас могло и не быть: однако именно сейчас мы обретаем бытие, начинаем ему сниться и превращаться в каждого из нас, не в н а с, но в к а ж д о г о и з н а с. Сейчас мне снится: я выступаю с лекцией на улице Чаркас, подыскиваю темы — наверно, не нахожу,— мне снитесь вы, но это все неправда. Наоборот: каждый из вас видит меня и всех остальных во сне.

Итак, вот два представления: согласно первому, сон — часть яви, согласно второму, блистательному, поэтическому представлению, вся явь — сон. Между ними нет особой разницы. Об этом и говорится в статье Груссака: деятельность человека не знает различий. Мы можем бодрствовать, спать и видеть сны, но характер умственной деятельности не меняется. Он приводит ту же фразу из Шекспира: «Мы созданы из вещества того же, что наши сны».

Существует еще одна тема, обойти ее нельзя,— пророческие сны. Идея взаимосвязи сна и реальности принадлежит высокоразвитому мышлению, поскольку здесь различают два плана.

В «Одиссее» есть эпизод, где рассказывается о воротах роговых и слоновой кости. Через ворота слоновой кости к людям проникают лживые сны, через роговые — правдивые и пророческие. Есть эпизод в «Энеи-

---

[6] «Конец — делу венец», акт I, сцена 3.

[7] Джеймс Джордж Фрезер (1854—1941) — английский этнограф, фольклорист, филолог, представитель «антропологической школы».

[8] «Жизнь — это сон» (1632) — драма крупнейшего драматурга испанского барокко Педро Кальдерона де ла Барка (1600—1681).

[9] «Буря», акт IV *(перев. М. Донского)*.

[10] Из стихотворения «Увы, промчались годы, сгорело все дотла!» *(Перев. В Левика)* Вальтера фон дер Фогельвейде (ок. 1170—ок. 1230) — первого национального немецкого поэта-миннезингера.

дс» (он вызвал множество комментариев) — то ли в девятой, то ли в одиннадцатой книге, не уверен. Эней опускается на Елисейские поля, по ту сторону Геркулесовых столпов; общается с гигантскими тенями Ахиллеса, Тиресия, видит тень своей матери, пытается ее обнять, но не может, так как соткана она из тени[11]; кроме того, видит грядущее величие города, который ему еще предстоит основать. Видит Ромула, Рема, поле, на этом поле — будущий римский Форум, видит грядущее величие Рима, великолепие Августа, видит всю мощь грядущей империи. Узрев все это, побеседовав со своими соплеменниками — они для него люди будущего,— Эней возвращается на землю. Тут происходит нечто весьма любопытное, никем до сих пор как следует не объясненное — за исключением одного безымянного комментатора, который, кажется, попал в точку. Эней возвращается не через роговые, а через ворота, украшенные слоновой костью[12]. Почему? Комментатор отвечает нам так: потому что мы на самом деле не в реальной действительности. Для Вергилия мир подлинный был, по-видимому, миром платонианским, миром архетипов. Эней выходит через ворота слоновой кости, поскольку уходит в мир снов — а мы его называем явью.

Все это вполне вероятно.

А сейчас мы подходим к теме, к страшному сну, кошмару. Небесполезно вспомнить названия страшных снов. Испанское не слишком удачно: из-за уменьшительной формы оно теряет силу[13]. В других языках названия более энергичны. По-гречески сон называется Efialtes, Эфиальт — злой дух, вызывающий кошмары. В латинском передается словом incubus. Инкуб — злой дух, который давит на спящего и вызывает у него кошмары. Немецкое слово весьма любопытно: Alp — что значит «эльф»; удушье, вызываемое эльфом, передает ту же самую мысль, что и злой дух, внушающий кошмары. Существует картина, ее однажды видел Де Куинси, один из величайших в мировой литературе специалистов по страшным снам[14]. Картина Фюсселе — или Фюзэли (таково подлинное имя швейцарского художника XVIII века), которая называется «The Nightmare» — «Кошмар»[15]. Девушка спит. Просыпается и приходит в ужас: прямо у нее на лоне уснул маленький, мрачный и злой урод. Этот уродец и есть кошмар. Когда Фюзэли писал эту картину, он думал о слове Alp, об удушающем эльфе.

Мы подходим к более глубокому и многозначному слову, к английскому названию страшных снов — «the Nightmare», что буквально означает: «ночная кобыла». Так его понимал Шекспир. У него есть строфа, где говорится: «I met the night mare» — «Я встретился с ночной кобылой»[16]. Отсюда видно: он понимает страшный сон в образе кобылы. Существует другая строка, где намеренно говорится о «the Nightmare and her nine foals» — «о ночной кобыле и ее девяти жеребятах»[17]; здесь кошмар также представляется ему в виде кобылы.

Однако, согласно этимологам, корень тут другой. Должно быть, корень этого слова: night mare или night maere — ночной дух. В своем известном словаре доктор Джонсон пишет[18], что слово восходит к северной мифологии — мы бы сказали, к саксонской мифологии,— где страшные сны считаются кознями злого духа; здесь, возможно, перекличка — а может и перевод — греческого efialtes или латинского incubus.

Существует еще одно толкование, оно поможет связать английское nightmare с немецким Märchen. Märchen означает легенду, волшебную сказку, вымысел; следовательно, nightmare может значить: «ночной вымысел». Для Виктора Гюго понимание nightmare как образа «ночной кобылы» (нечто страшное таит в себе эта «ночная кобыла») стало радостным открытием. Гюго изучал английский и писал ныне совершенно забытую книгу о Шекспире. В одном из стихотворений, входящих в «Les Contemplations», говорится, если память мне не изменяет, о «le cheval noir de la nuit» — о «черном коне ночи», о кошмаре[19]. Без сомнения, Гюго имел в виду английское слово «nightmare».

Поскольку мы перечислили различные этимологии, вспомним и французское слово «cauchemar», связанное, безусловно, с английским «nightmare». В каждом из этих слов заключена мысль демонологического характера, мысль о демоне, вызывающем кошмары. Думаю, дело здесь не просто в суеверии; говорю со всей прямотой и откро-

---

[11] Контаминация Борхеса: в VI книге «Энеиды» рассказывается о путешествии Энея в загробный мир, что соответствует эпизоду XI книги «Одиссеи», где Ахиллеса, Тиресия и собственную мать видит в загробном царстве Одиссей. Эней же видит отца (VI, 89):

Трижды пытался отца удержать он, сжимая в объятьях,—
Трижды из сомкнутых рук бесплотная тень ускользала,
Словно дыханье, легка, сновиденьям крылатым подобна.

Эпизод с воротами также из «Энеиды» (VI, 893):

Двое ворот открыты для снов: одни — роговые,
В них вылетают легко правдивые только виденья;
Белые створы других изукрашены костью слоновой,
Маны, однако, из них только лживые сны высылают.

(Перев. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского)

Согласно концепции мистического всеединства борхесовской культурологии, повторивший фразу Шекспира становится Шекспиром. VI Песнь «Энеиды» построена параллельно сюжету XI Песни «Одиссеи». Поэтому между Вергилием и Гомером нет видимой разницы. Так, видимо, следует понимать борхесовскую контаминацию.

[12] Костью слоновой блестя, распахнулись ворота пред ними,
К путникам кратким путем и к судам Эней возвратился.

(Перев. С. Ошерова под ред. Ф. Петровского)

[13] «Pesadilla» — уменьшительная форма женского рода от «pesado» — «тяжелый», «давящий».

[14] Томас Де Куинси (1785—1859) — английский писатель-романтик, автор знаменитой книги «Исповедь англичанина-опиомана» (1822), где сочетаются страшные сны, мистические видения и образы, увиденные автором в наркотическом трансе.

[15] Генри Фюзэли (1745—1825) — английский художник швейцарского происхождения, новатор книжной иллюстрации. Его работы близки по духу поэтике готического романа. Описанная Борхесом картина обычно сопровождает энциклопедические статьи «Кошмар».

[16] Вероятно, Борхес имеет в виду строку из второй части «Генриха IV», акт II, I: «а то я его замучаю в ночных кошмарах» *(перев. Б. Пастернака)*.

[17] «Он Мару там и девять сестер ее нашел». «Король Лир», акт III, сцена 4, 126 *(Перев. Т. Щепкиной-Куперник)*.

[18] Сэмюэл Джонсон (1709—1784) — английский лексикограф, писатель. Автор фундаментального «Словаря английского языка» (1755), издатель и авторитетнейший комментатор Шекспира.

[19] Точнее: «Noir cheval galopant» — «На сумрачном коне». «Бессонница» *(перев. Э. Линецкой)*.

венностью: нечто истинное заключается в этом понятии.

Войдем же в обитель страшного сна, страшных снов. Мне снится всегда одно и то же. Скажу так: меня мучают два кошмара, переходящие иногда один в другой. Первый страшный сон — лабиринт, образ которого отчасти восходит к эстампу, виденному мной в детстве в одной французской книге. На эстампе запечатлены семь чудес света, одно из них — Критский лабиринт. Лабиринт в виде гигантского, очень высокого амфитеатра (об этом можно было судить по тому, что он возвышался над окружавшими его кипарисами и людьми). В том замкнутом, фатально замкнутом сооружении были трещины. В детстве мне казалось — или сейчас кажется, что казалось: будь у меня лупа достаточно мощная, всмотревшись в одну из этих щелей, в чудовищном центре лабиринта я легко смог бы увидеть Минотавра.

Другой мой страшный сон — зеркало[20]. Это не два разных кошмара: чтобы соорудить лабиринт, достаточно двух наставленных друг в друга зеркал. Помню, приснился он мне в доме Доры Альвеар в Бельграно[21]; я видел круглую комнату с зеркальными дверьми и стенами, и всякий, кто заходил в эту комнату, попадал в центр лабиринта действительно бесконечного.

Мне всегда снятся лабиринты или зеркала. Во сне с зеркалом появляется новое видение, новый кошмар моих ночей: образ маски. Маски у меня всегда вызывали страх. В детстве казалось, что, если надевают маску, значит, хотят скрыть нечто чудовищное. Иногда (это самые мои жуткие сны) я вижу свое отражение в зеркале, но мой зеркальный двойник — в маске. Сорвать маску страшно, я боюсь увидеть истинное свое лицо, а оно мне представляется зверским. Наверно, оно испещрено следами проказы, бедствия или чего-то другого, по своему ужасу значительно превосходящего мое воображение.

Характерная черта страшных снов — не знаю, совпадем ли мы тут с вами,— это их точная топография. Мне, например, всегда снятся определенные перекрестки Буэнос-Айреса[22]. Вот я на углу Лаприда и Ареналес, а может, на углу Балькарсе и Чили. Мне известно в точности, где я нахожусь, я знаю точно, что нужно идти куда-то очень далеко. Эти отдаленные места во сне также имеют свою топографию, правда совсем иного свойства. Это может быть ущелье, сьенага[23], джунгли — не важно: я знаю, что нахожусь именно на таком-то перекрестке Буэнос-Айреса. Пытаюсь найти дорогу.

Как бы там ни было, не образы важны в страшных снах. Важно, как обнаружил Колридж — цитирую поэтов умышленно,— то впечатление, которое на нас производят сны[24]. Образы значат меньше всего, они — производные. Вначале я уже говорил, что перечитал множество трактатов по психологии, но поэтических текстов там не встретил, а они неслыханно иллюстративны.

Рассмотрим пример из Петрония[25]. Аддисон[26] цитирует строчку Петрония. В ней говорится: душа, освободившись от тяжести плоти, предается игре. «От плоти отпрянув, душа играет». В свою очередь Гонгора в одном сонете точно выразил мысль, что сны и кошмары, помимо прочего, это вымыслы, литературные произведения.

> А сон, податель пьес неутомимый,
> в театре, возведенном в пустоте,
> прекрасной плотью облачает тени[27].

Сон — это представление. В начале XVIII века в превосходной статье, опубликованной в журнале «The Spectator», этой идеей воспользовался Аддисон.

Я цитировал Томаса Брауна. Он говорит: сны дают нам идею о превосходстве души, поскольку во сне душа освобождается от плоти, принимается играть, грезить. Он считает: душа наслаждается свободой. Однако, по Аддисону, душа, освободившись от обузы плоти, на самом деле воображает и может легко вообразить то, чего наяву обычно с ней не случается. Он добавляет: из всех умений души (разума, сказали бы мы, сегодня не употребляют слово «душа») труднее всего реализовать ей свою способность к сочинительству. Безусловно, во сне мы сочиняем мгновенно, и то, что думаем, путаем с тем, что сочиняем. Нам снится: мы читаем книгу; на самом деле каждое слово в той книге придумываем мы сами, причем неосознанно, и потому считаем ее объективно существующей. Я замечал, что подобная подготовительная работа — назовем ее работой по изобретению вещей — свойственна многим снам.

Вспоминаю один мой сон. Случилось это, помню точно, на улице Серрано, точнее, на углу Серрано и Солер, только все не было похоже на угол Серрано и Солер, место было совершенно другое. Но я был уверен, что стою в Палермо, на старой улице Серрано. Мне повстречался мой друг: друг, которого я не знаю; смотрю на него и вижу — он страшно изменился. Лица его я никогда не видел, но я знал точно, что так выглядеть он не мог. Он сильно изменился и был ужасно грустным. Лицо его было печальным, болезненным, а может, и виноватым. Правую руку он спрятал под лацкан куртки (эта деталь важна для сна). Руки его я не видел, он спрятал ее у сердца. Тогда я понял: он нуждается в помощи — и обнял его. «Бедный мой Имярек, что с тобой стряслось? Как ты изменился!» Он принялся медленно вытаскивать руку. Смотрю и вижу: вместо руки у него — птичья лапка.

Странно, что человек с самого начала прятал руку на груди. Нахожу, что у человека будет птичья лапка, что я замечу чудовищную перемену в нем, трагедию человека, который превращается в птицу, я готовил неосознанно. Во сне бывает и такое: нас спрашивают, а мы не в состоянии ответить, нам

---

[20] Ср. «Зеркала и совокупления отвратительны» (из новеллы «Хаким из Мерва, красильщик в маске»).

[21] Пансион, в котором иногда останавливалось семейство Борхесов. Его интерьер описан в новелле «Сад расходящихся тропок».

[22] Здесь и далее все улицы, упоминаемые Борхесом, расположены в буэнос-айресском районе Палермо, где в 20—30-х годах жил писатель.

[23] Заболоченные районы центральноамериканской сельвы.

[24] Эта мысль лежит в основе новеллы Борхеса «Рагнарек» (сб. «Делатель»).

[25] Гай Петроний (? — 66 г. н. э.) — римский писатель, автор романа «Сатирикон»

[26] «The Spectator», 30 мая 1712 г.

[27] Перевод П. Грушко. Луис де Гонгора и Арготе (1561—1627) — один из крупнейших поэтов испанского барокко. Ср. с идеей «театра как сновидения» у М. Волошина.

подсказывают ответ, а он совершенно сбивает нас с толку. Ответ может быть и абсурдным, но для сна он точен. Мы сами его подготовили. Так я подхожу к выводу (не знаю, научен ли он): сны — это самый архаичный из видов эстетической деятельности.

Животным, как известно, снятся сны. В одном латинском стихотворении говорится о борзой собаке, которая преследует во сне зайца и лает на него. Таким образом, сон для нас — самый архаичный из всех видов эстетической, довольно любопытной деятельности, поскольку носит она драматический характер. Мысль эту хочу дополнить словами Аддисона — сам того не зная, он вторит Гонгоре — о сне, неутомимом подателе пьес. Аддисон обнаруживает: во сне мы превращаемся в театр, в аудиторию, в актеров, в сюжет, в слова, что нам слышатся. Все это происходит бессознательно и обладает живостью, которая и самой реальности обычно не свойственна. Одним снятся бледные, нечеткие сны (так по крайней мере мне их воспроизводят). У меня очень яркие сны.

Вернемся к Колриджу [28]. Он считает: все снящиеся нам образы значения не имеют, в объяснении нуждается сам факт сна. Приводит пример: если сейчас в этом зале появится лев, все перепугаются. Страх вызван появлением льва. Или: я сплю, просыпаюсь, вижу какого-то зверя, сидящего у меня на груди, и меня охватывает страх. Но во сне может произойти и нечто обратное. Нас что-то гнетет, мы пытаемся эту угнетенность объяснить. Тогда во сне, наперекор логике, но очень живо, я представляю, будто сверху на меня уселся сфинкс. Сфинкс — не причина страха, но следствие угнетенного состояния [29]. Люди, добавляет Колридж, пугаются переодетого привидения и сходят с ума. Наоборот, увидевший привидение во сне просыпается и через несколько минут или секунд приходит в себя.

Мне снилось — и сейчас снится — множество страшных снов. Самый страшный — или показавшийся мне самым страшным — я ввел в сонет [30]. Было так: я сидел у себя в комнате; светало (возможно, в это время мне и снился сон); внизу, у кровати, сидел король, причем очень древний; во сне я понял, что он — король северный, из Норвегии. На меня он не глядел: своими слепыми глазами он уставился в клочок голубого неба. Я понял, что он очень стар, сейчас таких лиц не бывает.

Меня до смерти напугал этот кошмар. Я видел короля, его меч, его пса. В конце концов я проснулся. Но король так впечатался в память, что в течение какого-то времени я все еще видел его перед собой. Пересказывать мой сон — пустое дело; видеть его — сущий страх.

Перескажу один страшный сон, на днях мне его воспроизвела Сусана Бомбаль [31]. Не знаю, произведет ли он впечатление в пересказе; возможно, и нет. Ей снилось: сидит она в комнате, под сводчатым потолком, верхняя часть комнаты теряется во мраке. Из тьмы опускается черная неподбитая ткань. В руках у нее — большие ножницы, несколько даже неудобные. Ей нужно обрезать нити, торчащие из ткани, а их множество. Тот кусок ткани, который она могла разглядеть, имел метра полтора в ширину и метра полтора в длину; наверху все терялось во мраке. Страх и ужас объял ее, ведь кошмар всегда вызывает страх.

Я говорил о кошмарах подлинных, а теперь перейду к кошмарам литературным. Впрочем, они, вероятно, также подлинные. В прошлой моей лекции речь шла о Данте, я рассказывал о «nobile castello» — благородном замке «Ада» [32]. В сопровождении Вергилия Данте подходит к первому кругу и видит: Вергилий побледнел. Он рассуждает так: если Вергилий бледнеет при входе в ад, вечное свое жилище, как же не бояться тогда ему самому? Он спрашивает об этом насмерть перепуганного Вергилия. Но Вергилий настаивает: «Я двинусь далее» [33]. И они двигаются и двигаются без устали, так как слышат вдали непрекращающиеся стоны; стоны эти вызваны не физическими муками, а чем-то более страшным.

Подходят они к «nobile castello». Его опоясывают семь стен, символизирующих семь свободных искусств trivium'a и quadrivium'a [34], а может, и семь добродетелей; не важно. Данте, вероятно, считал число «семь» магическим. Без сомнения, оно обладает множеством толкований; он ими и воспользовался. Говорит он также и об исчезающем ручье, и об исчезающем свежем луге. Когда приближаются к нему, видят только финифть. Не луг, живое пространство, но мертвую вещь. К ним подходят четыре тени четырех великих поэтов античности: Гомер с мечом в руках, Овидий, Лукан, Гораций. Вергилий просит Данте почтить Гомера, ведь Данте так его почитает, хотя и не читает. Вергилий обращается к нему: «Honorate l'altissimo poeta» [35]. Гомер приветствует Данте как шестого члена своего сообщества [36]. «Комедия» еще не написана, она пишется в это же мгновенье, но Данте понимает, что справится с ней.

Затем ему рассказывают о том, что и повторять неудобно. Можно подумать, что дело в стыдливости флорентийца; однако причина здесь более глубокая. Речь идет о тех, кто обитает в благородном замке; живут там великие тени язычников, мусульман, речи их размеренны и плавны, лица исполнены величайшего достоинства, но Бога с ними нет. Там царит безбожие: они знают,

---

[28] Сэмюэл Тейлор Колридж (1772—1834) — английский поэт, представитель «озерной школы» Борхес цитирует отрывок из «Biographia literaria» (1817).

[29] Рассуждения Борхеса о нарушении причинно-следственных связей во время сновидений перекликаются с идеями П. А Флоренского об «обратном времени» сна («Иконостас»).

[30] «Страшный сон» (сборник «Железная монета»).

[31] Близкая подруга дома Борхесов, ей Борхес посвятил новеллу «Встреча» (сборник «Сообщение Броуди»).

[32] Борхес имеет в виду лекцию «Божественная комедия», прочитанную им ранее в том же лекционном цикле (об этом см. подробнее: «Даугава», 1988, № 7, с. 118—119).

[33] «Пора идти, дорога не мала» («Ад», 15, 16). Перев. М. Лозинского.

[34] Тривий, трехпутье — первая группа средневекового школьного цикла (риторика, грамматика, диалектика); квадривий, четырехпутье — группа наук (арифметика, астрономия, геометрия, музыка), составляющая вместе с тривием «семь свободных искусств»

[35] Почтите высочайшего поэта (IV, 79).

[36] И эта честь умножилась весьма,
Когда я был причислен к их собору
И стал шестым средь столького ума
(IV, 100—102).

что обречены вечно жить в замке — вечном, великолепном и ужасающем замке.

Там Аристотель, учитель тех, кто знает[37], философы-досократики, Платон, а также великий султан Саладин, одиноко восседающий в стороне[38]. Все те великие язычники, кого нельзя было спасти, поскольку они не крещены; Христос их спасти не смог. Вергилий в аду говорит о нем, но назвать не может, именует его «Властителем»[39]. Можно предположить: Данте еще не открыл своего драматургического таланта, разговорить своих персонажей он еще не умеет. Остается только сожалеть, что Данте не передал нам те прекрасные (несомненно достойные) слова, которые, сжимая меч в руках, изрекла ему великая тень Гомера. Но мы понимаем Данте: будет лучше, если все произойдет в тишине, чтобы замок был ужасающе страшен. Данте беседует с великими тенями. Он упоминает Сенеку, Платона, Аристотеля, Саладина, Аверроэса. Он называет их, но ни единого слова мы не слышим. Пусть лучше будет так.

Поразмыслив, я сказал бы: ад — не страшный сон, а самая обычная камера пыток. Там происходят жуткие вещи, но в благородном замке ада кошмарам места нет. Так считает Данте — по-видимому, впервые в мировой литературе.

Возьмем другой пример, его очень хвалил Де Куинси. Его мы найдем у Вордсворта, во второй книге «Preludes»[40]. Вордсворт признается, его беспокоит, что над искусствами и науками, подверженными прихотям любого космического катаклизма, нависла угроза. Беспокойство довольно странное, особенно если учесть, что писал он в начале XIX века. Тогда не принято было задумываться о таких катастрофах; это сегодня мы считаем, что всякое творение рук человеческих, да и само человечество может быть уничтожено в любой момент. Вспомните ядерную бомбу. Итак, Вордсворт воспроизводит дружескую беседу. Он говорит: ужасно, страшно думать, что науки, искусства, все великие творения рук человеческих подвластны любой катастрофе! Друг отвечает: и ему приходилось испытывать такой страх. А Вордсворт говорит: мне этот страх приснился....

Тут мы подходим ко сну, который представляется мне шедевром в сравнении со всеми прочими снами; он содержит обе составные страшных снов: и мотив физической боли, угнетенного состояния, и элемент жути, сверхъестественного начала. В полдень, рассказывает Вордсворт, он сидит на берегу моря и читает одну из своих любимейших книг, «Дон Кихота», рассказанные Сервантесом приключения странствующего рыцаря[41]. Книгу он не называет, но мы догадываемся, о чем речь. Он говорит: «Я отложил книгу и принялся думать. Совершенно верно: я думал о науках, искусствах, а затем пробил час». Грозный час полудня, полдневного зноя, когда, сидя в гроте у моря (перед ним берег, желтые пески), Вордсворт начинает грезить: «Сон овладел мной и вошел в меня».

В гроте, у самого моря, среди золотых песков пляжа, он заснул. Во сне его окружают пески, черные пески Сахары. Ни воды, ни моря. Он в самом центре пустыни — если попадают в пустыню, то непременно в самый центр,— и стоит лишь ему подумать, как выбраться оттуда, его охватывает страх. Но вдруг он ощущает, что рядом с ним есть еще кто-то. Странное дело, это араб из племени бедуинов, он восседает на верблюде, в правой руке держит копье; под левой рукой у него зажат камень; в руке — раковина. Араб говорит: моя миссия — спасти науку, искусство и подносит к его уху раковину; раковина красоты неописуемой. Вордсворт («на языке мне неведомом, но понятном») говорит, что услыхал похожее на пламенную оду пророчество: в нем предвещалось, что гневом господним будет ниспослан потоп, который вот-вот поглотит землю. Это правда, подтверждает араб, воды приближаются, но нужно спасти науку и искусство. Араб показывает ему камень. Камень, не переставая быть камнем, странным образом оказывается «Геометрией» Евклида[42]. Затем протягивает раковину, она оказывается книгой — той, что навеяла все эти ужасы. Раковина — это также и вся поэзия мира, в том числе — почему бы и нет? — поэзия Вордсворта. Бедуин говорит: «Я хочу спасти обе вещи, обе книги — и раковину, и камень». Он глядит назад, и вдруг Вордсворт видит: бедуин меняется в лице, его охватывает ужас. Он также оглядывается и видит ярчайший свет, заполнивший уже полпустыни. То воды потопа, уничтожающего землю. Бедуин скачет прочь, и Вордсворт понимает: бедуин — это Дон Кихот, верблюд — это Росинант, и что точно так же, как камень и раковина — книги, бедуин — Дон Кихот; он — ни тот ни другой, но оба одновременно. Для сновидений характерен такой дуализм. И тут с криком ужаса Вордсворт просыпается.

Мне кажется, этот страшный сон — один из самых замечательных в мировой литературе.

Из того, о чем сегодня вечером мы с вами говорили, можно сделать по крайней мере два вывода; позже мы их пересмотрим. Первый вывод: сны — художественные произведения, возможно, наиболее архаичный из способов художественного выражения. Он принимает в высшей степени драматическую форму, поскольку, по утверждению Аддисона, мы превращаемся в театр, в зрителей, в актеров; творим сюжет. Второй вывод касается ужасов. В нашей жизни страшных моментов множество: известно всем, бывают минуты, когда реальность нас угнетает. Любимый человек умирает, оставляет нас — сколько всяких поводов отчаиваться, тосковать... Разумеется, со страшными снами у них мало общего. В кошмарах ужас особый, он может воплотиться в любой сюжет. Он может воплотиться в бедуина — Дон Кихота, как у Вордсворта; в ножницы и тор-

[37] Незакавыченная цитата («Ад», IV, 131).

[38] «Поодаль я заметил Саладина» (IV, 79). Саладин (1138—1193) — султан Египта и Сирии, прославившийся душевным благородством.

[39] «Ад», IV, 53.

[40] Неточность: нижеследующий эпизод относится к пятой книге «Прелюдий» (V, 56—139), английского поэта-романтика Вильяма Вордсворта (1770—1850). Пятая книга «Прелюдий» носит весьма борхесовское название: «Книги».

[41] Дословный перевод соответствующих строк из «Прелюдий» (V, 56 и далее).

[42] Евклид (III в. до н. э.) — древнегреческий математик из Александрии. «Геометрией» Борхес называет знаменитый труд Евклида «Начала» (у Вордсворта — «Elements»).

чащие нити; в мой сон о короле; в знаменитые кошмары По[43]. Но есть и кое-что еще: привкус кошмара. В просмотренных мной трактатах ничего не говорится об этом свойстве.

Остается предложить теологическую интерпретацию, что вполне соответствует этимологии. Возьмите любое из слов: скажем, латинское incubus, саксонское nightmare или немецкое Alp. В каждом есть нечто сверхъестественное. Допустим. А вдруг природа кошмаров и в самом деле сверхъестественная? А вдруг кошмары — это щели ада? И страшные сны переносят нас в ад в буквальном смысле? Почему бы и нет? Чего только не бывает в нашем удивительном мире.

[43] Эдгар Аллан По (1809—1849) — американский писатель, чьи «страшные» и детективные новеллы оказали значительное влияние на формирование Борхеса-новеллиста.

ХУЛИО КОРТАСАР

Страшные сны

Ждать, об этом твердили все, нужно ждать, в таких случаях ничего не понятно, и доктор Раймонди тоже, нужно ждать, в Мечином возрасте бывает и похуже реакция, нужно ждать, сеньор Ботто, да, доктор, но ведь она уже две недели не просыпается, две недели она как мертвая, доктор, знаю, сеньора Луиса, это классическое состояние комы, ничего не поделаешь, только ждать. И Лауро ждал, каждый день возвращался с факультета и перед тем, как открыть дверь, на мгновение останавливался и думал: вот сегодня уж точно, сегодня она проснется, откроет глаза и заговорит с мамой, не может быть, чтобы она в двадцать лет умерла, точно ведь — сидит сейчас на кровати и разговаривает с мамой; но нужно ждать, все то же, сынок, доктор вернется к вечеру, все говорят, что ничего не поделаешь. Поешьте чего-нибудь, дружище, а мама ваша посидит с Мечей, вам нужно поесть, и не забывайте об экзаменах, а там и новости посмотрим. Проходило все, только Меча не менялась, только она изо дня в день оставалась все такой же, кровать прогнулась под тяжестью тела, прогнулась под худеньким и легким телом Мечи, она танцует рок и играет в теннис, но вот уже несколько недель раздавлена и давит остальных, тяжелое вирусное заболевание, коматозное состояние, сеньор Ботто, прогнозировать невозможно, сеньора Луиса, ухаживайте и помогайте ей выкарабкаться, в этом возрасте у них столько сил, такое желание жить. Но ведь она не в состоянии себе помочь, доктор, она ну ничегошеньки не понимает, она — как, прости господи, я уже не соображаю, что говорю.

Лауро тоже не хотел верить, все это было похоже на Мечин розыгрыш, она всегда его глупо разыгрывала, то привидением на лестнице переоденется, то пенал под простыней спрячет, смех, да и только; как подстраивали они друг другу ловушки, как играли в прятки, еще детьми... Сложное вирусное заболевание — вдруг, как-то вечером, после жара и болей потухла, вдруг тишина, кожа пепельного цвета, дыхание спокойное и далекое. Само спокойствие — среди врачей, аппаратов, анализов, консультаций, а потом страшная шутка Мечи стала еще страшней, с каждым часом она подчиняла всех нас, отчаянные крики доньи Луисы сменялись стыдливым плачем, кухонной тоской; если отец не смотрел новости и не читал газету, он подбадривал ее, и она успокаивалась; недоверчивый гнев Лауро смягчался, когда он ездил на факультет, на собрания; всякий раз, возвращаясь из центра, он еще на что-то надеялся: ты мне за это заплатишь, Меча, разве так можно, бесстыжая, ты у меня получишь, вот увидишь. Само спокойствие — рядом сиделка, она шьет, собаку отдали дяде, доктор Раймонди со своими коллегами не приходил, заглядывал к ночи и почти не задерживался, кажется, он тоже почувствовал тяжесть тела Мечи, которая с каждым днем все больше давила нас, приучала ждать, единственное, что оставалось делать.

Нечто похожее на страшный сон началось той ночью, когда донья Луиса не нашла термометр, и санитарка, застигнутая врасплох, выбежала за другим в аптеку на угол. Говорили об этом потому, что термометр так просто не пропадает, только тогда, когда он нужен три раза в день, они привыкли разговаривать громко рядом с кроватью Мечи, шептаться, как вначале, не имело смысла, потому что Меча ничего не слышит, доктор Раймонди уверен, что состояние комы парализовало ей все органы чувств, можно было говорить о чем угодно, при этом ничего не менялось на безучастном Мечином лице. Все еще болтали о термометре, когда послышались выстрелы на углу, даже немного дальше, со стороны улицы Гаона. Они переглянулись, сиделка пожала плечами, потому что стрельба — обычное дело для их квартала и для любого района города, и донья Луиса хотела еще что-то сказать о термометре, когда увидела, как руки у Мечи вздрогнули. Всего одну секунду, но обе сразу поняли, и донья Луиса вскрикнула, и сиделка зажала ей рот, сеньор Ботто вышел из комнаты, и все трое увидели, как дрожь прошла по всему телу, быстрая змейка юркнула от плеч к ногам, движение зрачков под закрытыми веками, легкая судорога исказила черты лица, точно Меча хотела пожаловаться, заговорить, ускоренный пульс, медленное возвращение к неподвижности. Телефон — Раймонди — в сущности ничего нового, может быть, немного больше надежды, хотя Раймонди об этом и слышать не хотел, пресвятая дева, только бы это было так, только бы кончилась скорей эта тюрьма, боже мой. Но не было ни конца ни края, спустя час началось вновь, потом еще раз, будто Меча видела сон, отчаянный и болезненный, кошмары возвращались и возвращались, она не могла их отогнать, сидите рядом и старайтесь успокоить, она ничего не воспринимает, ее что-то гнетет, может, ей снится длинный страшный сон, никакого контакта, спаси ее, мой

боже, не оставляй ее так. Лауро возвращался с занятий и, положив руку на плечо молящейся матери, тоже садился у постели.

Вечером опять врачи, принесли новый аппарат с электродами и присосками, прикрепили их к голове и ногам, два друга-медика, приятели Раймонди, о чем-то долго спорили в гостиной, нужно ждать дальше, сеньор Ботто, картина не изменилась, думать о благоприятном исходе пока рано. Но она видит сны, доктор, у нее сны, вы же сами видели, оно снова повторится, она что-то чувствует, доктор, и так переживает. Это все нервы, сеньора Луиса, никакого сознания, уверяю вас, ждите и не поддавайтесь всему этому, ваша дочь ничего не чувствует, знаю, что это болезненно, будет лучше, если вы оставите ее наедине с сиделкой; пока не начался спад, постарайтесь отдохнуть, сеньора, примите мои таблетки.

Лауро сидел с Мечей до полуночи, урывками просматривал записи к экзаменам. Когда послышалась сирена, он вспомнил, что должен позвонить по тому номеру, который дал ему Лусеро, но из дому звонить не стоило, а о том, чтобы после сирены выйти на улицу, не могло быть и речи. Он видел, как у Мечи на левой руке медленно шевелятся пальцы, снова показалось, что зрачки под веками движутся. Сиделка сказала: идите к себе, ничего не поделаешь, только ждать.

«Но она видит сны,— сказал Лауро,— глядите, она видит сны». Все длилось не дольше, чем вой сирены на улице: казалось, руки чего-то искали, пальцы пытались найти убежище под простыней. Донья Луиса снова была здесь, уснуть так и не смогла. «Почему вы не приняли таблеток доктора Раймонди?» — скрывая раздражение, спросила сиделка. «Я не могу их найти,— рассеянно ответила донья Луиса,— лежали на столике под лампой, но я их там не вижу». Сиделка пошла искать, Лауро и мать переглянулись, Меча снова зашевелила пальцами, они почувствовали — тяжкий сон продолжается, длится непрерывно, как будто не хочет подняться туда, где нечто похожее на сочувствие, на высшее сострадание, разбудит ее, да и всех нас, и спасет от страха. Но время от времени шевеля пальцами, она продолжала спать. «Я нигде их не вижу, сеньора,— сказала сиделка,— мы все ужасно рассеянны, никто даже не знает, где в этом доме что лежит».

На следующий вечер Лауро вернулся поздно, и сеньор Ботто, не отрываясь от телевизора, где полным ходом шел репортаж со стадиона, как бы между прочим спросил его. «Посидели с друзьями»,— ответил Лауро, выбирая, с чем бы себе сделать сандвич. «Прекрасный гол,— сказал сеньор Ботто,— даже лучше, что это повторный показ, все чемпионские выкрутасы видать». Казалось, Лауро не интересовался забитым голом, он ел, уставившись в пол. «Думайте, что творите, ребята,— проговорил сеньор Ботто, не переставая следить за мячом,— но действуйте осторожно». Лауро поднял глаза и посмотрел почти с испугом: отец первый раз позволил себе подобного рода комментарий. «Успокойся, старик»,— сказал он ему, поднимаясь, чтобы прекратить разговор.

Сиделка поставила ночник на пол, Мечу на софе стало едва видно, донья Луиса оторвала руки от лица, и Лауро поцеловал ее в лоб.

— Ничего нового,— произнесла донья Луиса.— И так все время, сынок. Гляди, гляди, у нее губы дрожат, боже мой, сколько же все это будет продолжаться и продолжаться, все это?..

— Мама.

— Не может этого быть, Лауро, так, как я, никто этого не понимает, никто не знает, что ее все время мучит какой-то кошмар, а она никак не просыпается.

— Я знаю, мама, я тоже все понимаю. Если бы можно было что-то сделать, Раймонди бы уже сделал. Сидя здесь, ты ей ничем не поможешь, пойди поспи, прими успокоительного и поспи.

Он помог ей подняться и проводил до дверей. «Что это было, Лауро?» — внезапно остановилась она. «Ничего, мама, где-то там стреляют, ты же знаешь». Теперь да, теперь уже поздно, он оставит ее одну в спальне, спустится к магазину и оттуда позвонит Лусеро.

Он не нашел голубой куртки, своей любимой вечерней одежды, ходил, искал по шкафам в коридоре: может быть, мать повесила ее там,— в конце концов надел первый попавшийся пиджак, поскольку было прохладно. Перед тем как выйти, заскочил на минуту к Мече и, еще до того, как в полумраке разглядел ее, ощутил тот страшный сон, дрожащие руки, таинственного скользящего под кожей обитателя. Снаружи снова сирены, не следовало бы выходить так поздно, но магазин потом закроют, и он не сможет позвонить. Зрачки у Мечи двигались, будто хотели выглянуть из-под век, посмотреть на него, повернуться к нему. Он провел ей пальцем по лбу; страшно было дотрагиваться до нее, не дай бог обострить ее кошмар неосторожным прикосновением. Зрачки сновали под веками, Лауро отпрянул, он не знал почему, но с каждым разом боялся все больше, и мысль, что Меча может поднять веки и взглянуть на него, вынудила его уйти. Если отец еще не спит, можно попытаться позвонить из гостиной и говорить вполголоса, но сеньор Ботто продолжал слушать спортивного комментатора. «Да, об этом много болтают,— вздохнул Лауро.— Нужно будет встать пораньше и, прежде чем ехать на факультет, позвонить Лусеро». В глубине квартиры он увидал сиделку, она выходила из спальной комнаты, неся в руках что-то блестящее — то ли шприц, то ли ложку.

Даже время стиралось и исчезало в долгом ожидании, с бессонными ночами, с дневным сном, чтобы отоспаться; все время приходили и сменялись родственники и друзья, чтобы отвлечь донью Луису или сыграть в домино с сеньором Ботто; еще одна сиделка — первой нужно было уехать на неделю в Буэнос-Айрес; никто не мог найти кофейные чашки, их растаскивали по всем комнатам; когда удавалось, заглядывал Лауро и, когда хотел, уходил; перед тем, как зайти, Раймонди уже не звонил по вечной своей привычке; никаких перемен к худшему не наблюдается, сеньор Ботто, это такой процесс, который можно только поддерживать, и все; питание я ввожу ей через зонд, нужно ждать. Но ей все время что-то грезится, доктор, посмотрите на нее, она почти уже

не спит. Успокойтесь, сеньора Луиса, вы представьте себе, что ее сны — это реакция организма, все это трудно объяснить, в таких случаях действуют иные факторы, в конце концов, не думайте, будто она осознает то, что мы называем ее сном, в этом случае такая жизнеспособность и эти рецидивы — хороший признак, поверьте мне, я ведь наблюдаю за ней внимательнейшим образом, нужно отдохнуть именно вам, сеньора Луиса, идите сюда, я померю ей давление.

После всего, что случилось на факультете, Лауро с каждым днем все трудней было возвращаться из центра, он появлялся внезапно, скорей из-за матери, чем из-за Мечи, задерживался на минуту, узнавал, что все по-прежнему, разговаривал со стариками, придумывал темы для разговоров, чтобы хоть ненадолго отвлечь их от тягостных мыслей. Каждый раз, когда он подходил к Мечиной кровати,— снова мощный контакт, Меча так близко, будто зовет, неясные знаки пальцами, взгляд изнутри, как будто ищет выхода, что-то длится и длится, как стук заключенной в обитую кожей стену, этот мучительно-бессмысленный зов. Иногда подступала истерика, он вдруг чувствовал: его Меча ощущает лучше, чем мать и сиделку, когда он стоит там и глядит на нее, кошмар достигает самого страшного мгновения, лучше немедленно уйти, ведь он ничем не поможет, говорить с ней бессмысленно, дура, родная, кончай свои штучки, а ну, открыла немедленно глаза и прекратила этот дешевый розыгрыш. Меча, идиотка, сестренка, сколько же ты над нами будешь издеваться, психопатка дрянная, пошли к черту всю эту комедию и мотай сюда, мне столько нужно тебе рассказать, сестренка, ты же ничего не знаешь, а у нас такое творится, но я тебе все равно расскажу, Меча, хоть ты ничего и не знаешь, все тебе расскажу. Он поддавался приступам страха: может, наклониться к Мече, но ни слова вслух, ведь сиделка и донья Луиса никогда не оставляют Мечу одну, а ему столько нужно ей рассказать, кажется, Меча обращалась к нему изнутри, из-под закрытых век, и движением пальцев, рисующих бессмысленные буквы на простыне.

Был четверг — не потому, что они знали, какой сегодня день, и не потому, что для них это имело хоть какое-то значение, просто об этом сообщила сиделка, когда пила на кухне кофе, и сеньор Ботто вспомнил, что должен быть специальный выпуск новостей, а донья Луиса — что ее сестра Росарио позвонила, приедет в четверг или в пятницу. Наверняка у Лауро уже начались экзамены, он уехал в восемь и не попрощался, оставил в гостиной записку, к ужину, вероятно, не вернусь, пусть не сомневаются, не ждут. К ужину не пришел, сиделке вновь удалось отправить донью Луису спать пораньше, сеньор Ботто выглянул после сеанса телеигры в окно, с Пласа Ирланда доносились пулеметные очереди, вдруг тишина, невыносимая тишина, ни патрульной машины, лучше всего идти спать, эта женщина, она отвечает на все вопросы телеигры в десять вечера,— действительно феномен, сколько же она знает по античной истории, как будто жила в эпоху Юлия Цезаря, в конце концов от культуры заработок больше, это тебе не молотком на аукционе стучать. Никто не обратил внимания, что дверь всю ночь была заперта, Лауро к себе не возвращался, утром все подумали, он еще спит после очередного экзамена или занимается перед завтраком, только в десять обнаружили, что его нет. «Успокойся,— произнес сеньор Ботто,— точно ведь, остался посидеть с друзьями». Донье Луисе как раз подошло время помочь сиделке помыть и переодеть Мечу, теплая вода и одеколон, вата и простыни, уже полдень, а Лауро, но это странно, Эдуардо, как это он даже не позвонил, такого никогда не было, когда был вечер по окончании курса, он позвонил в девять, ты помнишь, он боялся, мы волнуемся, а ему тогда было меньше. «Мальчишка свихнулся на своих экзаменах,— сказал сеньор Ботто.— Вот увидишь, придет с минуты на минуту, он всегда появляется к часовым новостям». Но к часу Лауро не появился, пропустив спортивные новости и сообщение о новой подрывной акции, подавленной благодаря своевременному вмешательству сил по охране порядка, ничего нового, температура постепенно будет понижаться, в горных районах дожди.

Был уже восьмой, когда сиделка отправилась за доньей Луисой, та продолжала обзванивать знакомых, сеньор Ботто ждал, что позвонит его друг из комиссариата, если вдруг что станет известно, он непрерывно просил донью Луису не занимать телефон, но она продолжала искать по записной книжке и звонить всем подряд, может, Лауро остался у дяди Фернандо или снова вернулся на факультет сдавать очередной экзамен. «Пожалуйста, оставь телефон в покое,— снова попросил сеньор Ботто.— Как ты не понимаешь, мальчишка, возможно, именно сейчас и звонит, а у нас все время занято, что ты хочешь от него... из автомата, даже если он не поломан, все равно и другим в очереди нужно дать позвонить». Сиделка настояла, и донья Луиса пошла к Мече, она вдруг начала двигать головой, все время мотала головой из стороны в сторону, только и успевай подбирать волосы, спадавшие на лоб. Срочно сообщить доктору Раймонди, вечером его застать трудно, но в девять его жена позвонила сообщить, что он сейчас подойдет. «Добраться будет трудно,— сказала сиделка, вернувшись из аптеки с коробкой ампул.— Неизвестно зачем оцепили весь квартал, слышите — сирены». Едва только она отошла от Мечи, которая продолжала двигать головой, что-то долго и упорно отрицая, донья Луиса позвала сеньора Ботто, нет, никто ничего не знает, мальчишка ведь точно не сможет добраться, но Раймонди пропустят, он в медицинском халате.

— Дело не в этом, дело не в этом, я уверена, что-то случилось, не может быть, чтобы к этому времени никто ничего не знал, Лауро всегда...

— Смотри, Луиса,— сказал сеньор Ботто,— гляди, двигается, кисть и рука, рукой она первый раз двигает, Луиса, может быть...

— Но это еще хуже, чем раньше, Эдуардо, ты не хочешь понять, у нее продолжается галлюцинация, она защищается от... Сделайте ей что-нибудь, Роса, я сейчас, или лучше ты, Эдуардо, позвони, спроси у них, срочно.

В гостиной сеньор Ботто стал набирать номер и остановился, повесил трубку. Почему в самом деле Ромеро, что могут знать Ромеро о Лауро, лучше еще немного подождать. Раймонди не приходил, его задержали на углу, он, должно быть, давал объяснения. Роса не могла больше делать Мече уколов, это довольно сильное успокоительное, лучше подождать, пока придет доктор. Наклонившись над Мечей, подбирая ей волосы, мешающие смотреть невидящими глазами, донья Луиса покачнулась, Роса едва успела подставить стул, усадить ее. Вой сирены все нарастал со стороны улицы Гаона, когда Меча приоткрыла веки, взгляд, скрытый завесой, опущенной несколько недель, замер на клочке чистого неба, медленно соскользнул к лицу доньи Луисы. Она кричала, прижимала руки к груди и кричала. Роса попыталась увести Луису, отчаянно призывая сеньора Ботто, он пришел, сел неподвижно в ногах у Мечи и уставился на нее, словно все сосредоточено во взгляде Мечи, он передвигается медленно с доньи Луисы на сеньора Ботто, с сиделки на краешек неба, руки Мечи медленно поднимаются к животу, скользят, чтобы соединиться вверху, тело содрогается от спазма, потому что, наверно, она слышит сейчас усиливающийся рев сирен, удары в дверь, от которых содрогается весь дом, крики команд и треск дерева, рассыпающегося под автоматной очередью, вопли доньи Луисы, давка врывающихся толпой, все словно ко времени пробуждения Мечи, к тому самому времени, когда кончится этот страшный сон, и Меча сможет наконец возвратиться к реальности, к прекрасной жизни.

■

ФРАНТИШЕК ЯНОУХ

НЕТ, Я НЕ СОЖАЛЕЮ...

Малая мозаика периода «нормализации»

Перевод с чешского АДЫ КОЛЬМАН

Советский читатель не может быть безразличен к тому, что происходило в Чехословакии в глухие годы так называемой нормализации. Ведь это наши танки раздавили ростки Пражской весны — по сути, первой попытки перестройки — и вновь на десятилетия распространили на чешскую землю ледяной монолит «застоя» (тогда называвшегося «развитым социализмом»).

Эта эпоха (пять первых лет до декабря 1973 года) в предлагаемой книге отражена в личном опыте ее автора, физика Франтишека Яноуха. Книга документальна и поэтому фрагментарна. Из десятков эпизодов складывается картина гротескного по своей бюрократической бессмысленности и лицемерию общества. Автор точен в выборе и описании событий и людей. Большей частью внешне бесстрастен, иногда исполнен горькой иронии. И лишь очень редко дает волю чувствам негодования, жалости, любви и ненависти, надежды и безнадежности.

Читая книгу Яноуха, лучше понимаешь, истоки «Хартии 77» и теперешних революционных событий, разорвавших панцирь застоя и открывших путь к будущему социально справедливому, высоко эффективному и гуманному обществу. Нам есть чему поучиться друг у друга. Тем важней оглянуться в недавнее прошлое.

АНДРЕЙ САХАРОВ
декабрь 1989 г.

Мы хорошо знакомы с доктором Яноухом. Сначала было знакомство по письмам, не всегда легально пересекавшим нашу границу, которая, как известно, была на замке. Позже — лично. Сначала у меня — Франтишек был гостем на церемонии вручения Нобелевской премии мира Андрею Сахарову. Премию по доверенности принимала я. Самого лауреата в Осло не пустили «по соображениям секретности». Кроме Яноуха гостями Сахарова и моими на церемонии были Александр Галич, Владимир Максимов, Виктор Некрасов, Эдвард Клайн (издательство «Хроника-Пресс»), Боб Бернстайн (издатель Сахарова в США), наши итальянские друзья д-р Нина Харкевич и Мария Олсуфьева — известный переводчик русской литературы на итальянский язык. Во время церемонии и особенно на долгой, трудной

пресс-конференции, под десятками юпитеров и шквалом вопросов нескольких сотен представителей всей мировой прессы, я часто направляла взгляд к правой стороне зала, где сидели «свои». А на один из «физических», боясь быть неточной, попросила ответить Франтишека.

С Андреем Дмитриевичем Франтишек встретился уже после нашего возвращения из Горького. Но все эти годы, работая в институте Бора в Копенгагене и Стокгольме, он активно выступал в защиту Сахарова. Пока я могла выезжать из Горького в Москву, мы имели связь настолько регулярную, насколько позволяла моя тогда почти подпольная жизнь. От него мы получали сведения о репрессированных в Чехословакии правозащитниках и через него пересылались из банка Ротшильда, где находились деньги Фонда помощи детям политзаключенных, сведения о том, в какие семьи надо перевести деньги. И перед каждым горьковским Новым Годом получали милые письма от чехословацких детишек.

Книгу, которую сегодня печатает «Иностранка», мы прочли еще в Горьком. Как и письма, она тоже пересекла границу незаконно. Тогда она была составлена по-другому.

Андрей Дмитриевич читал окончательный вариант книги в последние дни жизни. Вчера в папке, где лежала рукопись, я нашла черновик предисловия.

ЕЛЕНА БОННЭР
8 февраля 1990 г.

Аде,
пережившей все это вместе со мной

Не сожалею, нет,
Что пострашней, приберегу в себе.
А хочешь возражать,
Так слово дам тебе.
Артюр Рембо

От автора

С сомнениями и опасениями я предлагаю читателю эту книгу. Все события, происходившие между 18 августа 1968 года и 26 декабря 1973-го, действительно взяты из жизни. Я ничего не прибавил и ничего не убавил. Тут есть только воспоминания, странички из блокнота и документы. Наша решимость и наши сомнения. Пафос и сентиментальность, наивность, реальность и абсурдность тех незабываемых дней. А также и чудесных лет, как удачно сказал Райнер Кунце [1]. Дружба и ненависть. Солидарность. Надежда и безнадежность. Наше возмужание и зрелость. Путь к «Хартии 77» [2].

Не знаю, удалось ли мне нарисовать картину, правдивую и понятную для тех, кто не переживал все это вместе с нами, картину наших судеб и наших мыслей. Пусть об этом судит сам читатель.

Стокгольм, 8 сентября 1981 г.

Франтишек Яноух

Оккупация

Воскресенье, вторая половина дня...

Механизм военной машины был уже запущен: до начала трагедии оставалось 58 часов.

Мне удалось вытащить своего друга, Франтишека Кригеля [1], бесконечно усталого и измученного, на прогулку в лес, к югу от Праги. Был теплый летний день, светило солнце, лес благоухал... Мы сидели на поваленных деревьях и говорили о будущем. Говорили и о том, не оккупируют ли нас. Кригель был крайне обеспокоен. Положение он расценивал как очень серьезное, но возможность военной оккупации отвергал. Мотивировал он это тем, что ведь у нас иное положение, чем было в Венгрии, да и международный климат совсем иной. Он вслух размышлял о шагах, которые, возможно, предпримет «старший брат»: экономическая блокада, попытки дворцового переворота, проталкивание своих людей в политическое руководство.

Кригель говорил о том, в какой особый исторический период мы живем, какую от-

[1] Райнер Кунце — восточногерманский поэт и переводчик, автор книги «Чудесные годы». В настоящее время живет в ФРГ. *(Здесь и далее, если не указано иначе, прим. автора.)*

[2] «Хартия 77» — правозащитная организация, созданная в январе 1977 г. *(Прим. ред.).*

[1] Франтишек Кригель (1908—1979) — чехословацкий врач, член Политбюро ЦК КПЧ и председатель Национального фронта Чехословакии во время «пражской весны» 1968 г. Единственный из чехословацких политиков, не подписавший московский диктат (август 1968 г.).

ветственность он чувствует за судьбу нашей страны...

К вечеру мы вернулись в Прагу. По пути зашли ко мне домой на чашку чаю. Уходя, Кригель попросил что-нибудь почитать.

— В последнее время почти совершенно не могу спать. Дай мне что-нибудь интересное.

Я одолжил ему книгу Артура Кёстлера «Слепящая тьма», привезенную мною незадолго до этого из Швейцарии.

Кригель вернул мне ее через несколько дней, в течение которых все мы помудрели на много лет.

— Да, это был не слишком удачный выбор в ночь перед 21 августа. Когда КГБ арестовало меня, когда меня водили по подвалам и перевозили в СССР с места на место, то в голове у меня все время возникали сцены из книги Кёстлера...

Ответ

Стояло жаркое лето. Все мы ощущали внутреннее беспокойство. И всем нам хотелось что-то делать для того, чтобы не осуществились наши наихудшие предчувствия. 1 августа я написал письмо своему другу, известному западному физику. Я писал ему о своих опасениях за судьбу нашей маленькой страны, за ее суверенитет и за будущее необычного эксперимента, начатого нами в январе.

«Я хотел бы ошибиться, но опасаюсь, что над моей страной нависла непосредственная угроза оккупации...» — писал я. Я просил друга подумать, какие шаги могли бы предпринять интеллектуалы на Западе, чтобы предотвратить эту катастрофу.

Ответ на мое письмо пришел... 21 августа 1968 года. Почта в тот день все еще работала, по крайней мере в нашем районе. Мой друг писал: «Я получил Ваше письмо, когда газеты как раз сообщили, что опасность вторжения миновала. У меня отлегло от сердца. Я не думаю, что голос западных ученых мог бы как-нибудь помочь. Мы должны радоваться, что это в конце концов не понадобилось. Дубчек оказался очень толковым. Только бы все это продержалось как можно дольше, и только бы вам удалось избежать польских трансформаций».

Я читал письмо, а с улиц доносились выстрелы и грохот танков.

Через десять дней мы увиделись с ним в Вене. Крепко обнялись. Глаза у Виктора Вайскопфа были полны слез. Так же как и у меня.

Пробуждение

Незадолго до часа ночи меня разбудил телефон.

— Нас оккупировали,— сказал в трубку знакомый женский голос, прозвучавший как-то безжизненно.

Я повесил трубку и почувствовал дрожь во всем теле. Через открытое окно в комнату проникал холодный ночной воздух; на улицах царили тишина и покой; Прага спокойно спала. Сообщение, только что полученное мною, казалось настолько абсурдным и невероятным, что рассудок отказывался верить. Скорее всего — это кошмарный сон; я в отчаянии ждал пробуждения.

Пробуждение, однако, не наступало. Тогда я начал будить по телефону своих знакомых. Это было неприятно, но ничего лучшего мне в ту минуту не приходило в голову.

Потом я поехал на машине в город, который все еще спокойно спал. Только в самом центре кружили и пронзительно гудели такси. Я тоже нажал клаксон, и звук раздался на пустых улицах неожиданно гулко.

— Что будем делать? — спросил со слезами на глазах мужчина у ночной бензоколонки.— Правительство должно попросить помощи у ООН!

Над городом висели низкие, тяжелые облака. В воздухе уже грохотали огромные транспортные самолеты. Начал накрапывать мелкий дождь. Небо словно плакало. И у нас на глазах появились слезы бессилия, безнадежности и ненависти. За что?

Была половина четвертого. Наш красивый город начинал просыпаться, пока не ведая о том, что после пробуждения его ждет возвращение далеко назад — может, в средневековье, к временам татарских нашествий на Европу.

Тоска и отчаяние охватили меня при мысли, что ожидает наш город. Мне было жаль тех неповторимых дней весны и лета, которые кончились столь жестоко. И мое сердце сжималось в ожидании встречи с чужими танками и солдатами, которые сейчас растопчут все это своими сапогами.

Трое в штатском

Я находился в квартире доктора Кригеля. Вторжение советских войск не застало его дома — он как раз был на заседании Президиума ЦК КПЧ. Хотя оккупанты уже проникли в город, на улице «На Сметанце» все еще царили тишина и покой.

В шесть часов утра в дверь позвонили. На пороге стояли трое мужчин в плащах.

— Дома доктор Кригель? — спросил один из них.

— Кто вы такие и что вам нужно? — спрашиваю вместо ответа. Тогда один показывает мне удостоверение работника службы госбезопасности.

— Доктора Кригеля нет дома. Вы что, хотите его арестовать?..

— Мы должны ему кое-что передать...— звучит неуверенный ответ.

— Оккупанты уже в городе. Вы с ними или с Дубчеком? — стараюсь выяснить я.

Ответ снова звучит как-то неопределенно:

— Ситуация очень сложная...

Потом один из них попросил разрешения позвонить по телефону.

— Говорит Ворон. Звоню из квартиры доктора Кригеля. Приказ не удалось выполнить. Я закончил.

Он повесил трубку, и все трое удалились.

Дрожь снова охватила меня, уже второй раз за эту ночь. Так вот что принесли нам танки с красными звездами. И тут мне показалось, что меня отбросило далеко назад, в 50-е годы. С одной только разницей: теперь я хорошо понимал, что происходит.

Ленинский проспект

Это один из новых проспектов в Праге. Реконструкцию его закончили совсем недавно. Он начинается от аэродрома и завершается большой круглой площадью, именуемой площадью Октябрьской Революции.

21 августа, в половине пятого утра, когда я ненадолго вернулся домой, мне позвонил по телефону знакомый, живущий в Дейвицах: «По Ленинскому проспекту движутся русские танки. Я вижу их из окна».

Слова застряли у меня в горле, я не смог ответить. Я вспомнил, как 9 мая 1945 года, очень рано утром, другой знакомый позвонил мне тоже из Дейвиц: «Советские танки уже тут, вижу их из окна».

Двадцать три года назад этот звонок означал конец безнадежности, сегодня же — ее начало. Между ними лежала целая эпоха.

На стене одного дома вскоре появилось лаконичное обобщение наших ощущений. Написано было по-русски, чтобы незваные гости тоже поняли: «Ваши отцы были освободителями, вы — агрессоры!»

Во второй половине дня я побывал на Ленинском проспекте: новый асфальт был изуродован гусеницами танков, развозивших «идеи» по пражским улицам и площадям, среди которых была и площадь Октябрьской Революции. Идеи эти должны были быть воистину грандиозными, раз для их распространения понадобились танки и полмиллиона вооруженных до зубов солдат.

Волнующий разговор

Возле бронетранспортера собралась небольшая толпа, но разговор не клеился из-за затруднений с языком.

Я присоединился к разговору. Через несколько минут загорелый старший лейтенант с усиками начал нервничать. Я ведь не только хорошо говорил по-русски, но еще и знал положение там у них, дома. Зато он так ничтожно мало знал о стране, в которую вступил сегодня ночью.

Он пытался найти выход из положения:

— Это так говорите вы, интеллигенты, а вот что скажет рабочий класс? — заявил он. На меня повеяло знакомым духом политинформаций.

Старый рабочий, внимательно слушавший наш разговор, повернулся ко мне и сказал:

— Переведи ему это. Видишь мои руки? Последнее можно было не переводить. Это были огрубевшие от тяжелой работы, мозолистые руки.

— Мы, рабочие, говорим то же самое, и вот с этим товарищем интеллигентом мы заодно. Почему вы вмешиваетесь в наши дела?

И чтобы у советского офицера не оставалось никаких сомнений, рабочий обнял меня. Офицер заколебался, замолчал. А меня — вот уже который раз за этот день — душили слезы.

Этот эпизод до сих пор вызывает у меня чувство неловкости. Но все произошло именно так, как я описал. Было 21 августа, вторая половина дня, около пяти часов. Разговор состоялся на улице Италска. В нескольких сотнях метров от нас, со стороны Дома радио, слышалась стрельба.

Флаг

Дело происходило на Поржичах, в первый день оккупации. От площади Республики медленно двигалась демонстрация. Несколько сотен молодых людей негромко пели национальный гимн. Во главе колонны шли двое юношей и две девушки. Вчетвером они несли окровавленный чехословацкий флаг. На тротуарах группами стояли люди — кулаки сжаты, у многих на глазах слезы.

Оккупанты, отдыхавшие на танках перед зданием газеты «Руде право», насторожились и занервничали.

Со стороны вокзала Тешнов ехал бронетранспортер. Дуло орудия было направлено прямо на приближавшуюся колонну демонстрантов. Наблюдающие замерли. Демонстранты же не испугались и не замедлили шаг. Только слова гимна зазвучали немного громче.

Бронетранспортер снизил скорость, потом свернул перед окровавленным флагом в сторону и остановился. Колонна прошла без препятствий.

Московская «Правда» наверняка привела бы этот эпизод как пример сознательности и дисциплинированности оккупантов. Но ни один из журналистов не позволил бы себе описать то, что можно было прочесть на лицах советских солдат.

Московское время

Был вечер, двадцать минут десятого. Шел, кажется, третий день оккупации. Пражские улицы темны, безлюдны и унылы. Вчера и позавчера оккупанты наглядно показали, насколько всерьез они принимают необъявленное военное положение.

Ехал я быстро — вез домой одну знакомую. Через сорок минут должен был начаться комендантский час (как называли его русские). Мы подъехали к мосту Палацкого. Въезд был перекрыт танками и бронетранспортерами.

Солдат с автоматом показал нам жестом, чтобы мы повернули. Я остановил машину и попросил его позвать начальника. Пришел. Невысокий, с детским лицом.

— Комендантский час! — заявил он категорически.

— С десяти часов,— запротестовал я.

Офицер посмотрел на часы:

— Уже четверть двенадцатого!

И тут я почувствовал превосходство над танками и автоматами:

— Что же вы не знаете, что в Праге — пражское время, а не московское? Два часа разницы, уважаемый!

Он опять нервно посмотрел на часы:

— Все равно уже четверть одиннадцатого...

— Не мешало бы вам сначала научиться считать до двух, прежде чем начнете командовать этими игрушками...— ответил я иронически и посмотрел вокруг.

— Не оскорбляйте!

— Сами себя оскорбляете, раз не умеете отнять два!

Офицер опять взглянул на часы, понял свою ошибку и крикнул:

— Ваня, отъедь с танком, пропусти этот автомобиль.

Потом посмотрел на нас и сказал почти извиняющимся тоном:

— Я вас пропущу, но не ручаюсь, что вас выпустят на другой стороне.

Я махнул ему рукой и поехал в объезд. Перспектива провести ночь посредине моста, загороженного с обеих сторон танками, нас не привлекала.

Мне было жаль наш старинный, гордый и культурный город, куда эти вот «вани» приехали нормализовать ситуацию. Жаль было и того молодого офицерика с комсомольским значком на груди, который был марионеткой в циничной великодержавной игре. Ведь это был наш город, а ребят этих я считал до 21 августа своими братьями.

КАИН И АВЕЛЬ ТОЖЕ БЫЛИ БРАТЬЯМИ — гласила народная мудрость, начертанная мелом на одном из домов неподалеку.

Академия наук

Имя старшего лейтенанта Орлова навсегда останется записанным черными буквами в историю мировой науки. Старший лейтенант Орлов вошел с ротой автоматчиков в здание Чехословацкой академии наук и занял ее. В ответ на протесты сотрудников Академии он напечатал на русской пишущей машинке, на которой обычно печатались договоры о сотрудничестве с советской Академией наук, следующий приказ:

Я, представитель войск Варшавского Договора, старший лейтенант Орлов Юрий Александрович, приказываю прекратить работу 22 августа до 13 часов всем работникам и членам президиума Чехословацкой академии наук и освободить все помещения Академии наук ЧССР.

. . . . . .

Подпись

Куда же движется наш мир? Тридцать лет тому назад, через шесть месяцев после гитлеровской оккупации, по приказу рейхспротектора был закрыт Карлов университет. В 1968 году для закрытия Чехословацкой академии наук понадобился лишь приказ старшего лейтенанта, изданный на второй день оккупации.

Правда, декрет рейхспротектора имел больший вес. Двери Карлова университета оставались закрытыми почти шесть лет. Приказ старшего лейтенанта Орлова был действителен немногим больше недели. Не помню, какие шаги пришлось предпринять при открытии университета в 1945 году. В сентябре 1968 года, перед тем как вновь открыть Академию, ее пришлось тщательно вычистить и вымыть.

Награда

После ухода советских солдат из здания Академии наук там произвели генеральную уборку, во время которой был найден заслуживающий внимания документ. Привожу его текст:

О представлении к государственной награде командира взвода, старшего лейтенанта Орлова Юрия Александровича, члена КПСС.

При выполнении боевого задания по захвату здания Чехословацкой академии наук товарищ Орлов Ю. А. проявил командирскую решительность, смелость и инициативу, осуществил наступательный маневр с тыла объекта и решительными действиями захватил левое крыло здания. Далее, в течение дня ему удалось завладеть всем зданием и организовать охрану и оборону объекта. Во время выполнения задания и далее при выполнении других приказов товарищ Орлов Ю. А. решительно пресекал попытки реакционных элементов вести пропаганду среди советских солдат и фотографировать войска и технику. Он вел непрерывную разъяснительную работу среди своих подчиненных, вливая в них отвагу для выполнения заданий.

Товарищ Орлов Ю. А. самоотверженно защищает честь советского солдата, выполняя интернациональный долг по укреплению позиций социализма в Чехословакии.

Считаю, что тов. Орлов Ю. А. достоин награждения орденом Красной Звезды.

Командир 1-го подразд.
парашютно-десантной бригады
подполковник Давыдовский

К сожалению, мне неизвестно, успел ли подполковник Давыдовский передать по назначению свое представление и получил ли старший лейтенант Орлов орден Красной Звезды. Нет сомнений, он его действительно заслужил. Ведь Орлову играючи удалось осуществить то, что во время предыдущей оккупации (30 лет тому назад) лишь с большими трудностями сумел сделать рейхспротектор господин фон Нейрат.

Серьезные неполадки

На третий день оккупации я напрасно старался дозвониться Аде в Москву. Мой пражский телефон работал, но международной связи не было.

Я пытался звонить много раз, но безрезультатно. Наконец, нервничая, я спросил, когда же, в конце концов, начнет работать телефонная связь с Москвой. Девушка-телефонистка ответила: «Это может продлиться долго — у Москвы серьезные неполадки».

«Нормальное» состояние

Все это было настолько абсурдным, что самые нелепые мысли казались естественными. Например, такая: оккупация — самое нормальное состояние для наших людей. С первого дня машины начали снова ездить во всех направлениях по вот уже год как раскопанной и закрытой для транспорта Вацлавской площади. Газеты стали выходить по нескольку раз в день, и их было интересно читать. Радио передавало известия непрерывно, и все слушали передачи с напряженным вниманием. Даже телевидение начало трансляции сразу по нескольким программам, хотя до этого правительство обещало ввести вторую программу только через несколько лет. Народ верил своему правительству и слушался его, правительство же работало в интересах народа. Люди стали внимательнее и по-дружески относиться друг к другу, старались помочь друг другу чем могли. У нас в доме ежедневно была теплая вода, а на четвертый день оккупации дворничиха даже вымыла в доме лестницу...

Разве все это было возможно до оккупации? Я гляжу на поврежденные стрельбой детскую больницу и Национальный музей и говорю себе: в будущем нам бы надо оккупантов покультурней. Или хорошо бы совсем обойтись без них...

Партия

Мне никогда раньше не приходилось бывать на этом заводе. Я вообще редко посе-

щал заводы. Сегодня у меня в кармане лежал заводской пропуск.

В проходной шумно, кроме заводской охраны тут еще стоят несколько человек в комбинезонах. Настроение хмурое. Люди с беспокойством смотрят на ракетные минометы — потомки ранее столь прославленных «катюш», размещенные на холме, за заводом.

Вахтер заглянул в мой пропуск; один из мужчин в комбинезоне проводил меня к серому зданию. У входа в него тоже стояло несколько человек.

— Пароль? — спросили у меня.

— Сталь! — ответил я, и мне разрешили войти в здание.

На каждом этаже это повторялось. Необычным было то, что все это мне не казалось смешным, и всю процедуру я впервые в жизни воспринимал так же серьезно, как и люди, проверявшие меня.

И вот последний этаж. Наконец я увидел знакомые лица, усталые, измученные бессонницей глаза. Несколько дней не менявшиеся рубашки. Здесь, среди чертежных столов и технических схем, работал Президиум вновь избранного ЦК КПЧ.

Шел пятый день оккупации. Мне совсем не казалось абсурдным, что руководство компартии должно было уйти в подполье, скрываясь от войск коммунистической державы, и работать нелегально под охраной рабочих.

Молчание

На шоссе, перед железнодорожным шлагбаумом, стояла колонна автомашин. Среди них находился и военный джип с несколькими советскими офицерами. Поезд не показывался. Один из офицеров, рассматривавший карту, вылез из джипа и обратился с вопросом к ближайшему водителю, далеко ли до Табора.

— Не понимаю,— прозвучал ответ.

Офицер не сдался и обратился с тем же вопросом к следующему водителю, также ответившему «не знаю». Третий вообще ничего не ответил: только жестом показал на дорожный указатель, где большими буквами было написано:

МОСКВА — 1800 км

Напрасно я взываю

Письмо на Запад

(Бойкот)

Чувствовали ли вы когда-нибудь страшную беспомощность оттого, что вы не в силах повлиять на события, которые происходят вокруг вас? Когда на улицах слышится стрельба, а ваше единственное оружие — это сжатые кулаки? Мне звонили несколько знакомых. У них было то же чувство. Они спрашивали: что же делать? Советовались. Из этой потребности что-то делать, как-то бороться с бесправием и насилием возникли сотни плакатов, надписей на стенах домов. Люди уничтожали таблички с названиями улиц и номерами домов, изменяли указатели и расстояния, обозначенные на них.

Во второй половине дня я узнал, что завтра кто-то едет на Запад. Ночью я написал по-английски письмо, адресованное самым близким друзьям — коллегам из разных университетов:

Прага, 24 августа 1968 г.

Дорогой друг,

я хотел бы вкратце написать Вам о том кошмаре, который мы сейчас переживаем. Кафкианские сюжеты кажутся по сравнению с этим не более чем детской игрой.

Наши «братья» на танках появились всего за несколько часов до моего отлета в Женеву — у меня остались неиспользованный билет и паспорт.

Но я не жалею об этом. Я был очевидцем варварства, которого Европа не видела, наверное, с конца второй мировой войны, и оно было во многих отношениях даже хуже — ведь это делали люди, которых мы считали своими друзьями и братьями. В Праге пролилась кровь людей, виновных лишь в том, что они несли в руках наш национальный флаг, флаг свободной и суверенной страны.

В Праге оккупанты стреляли по культурным памятникам, без предупреждения открывали огонь по машинам «скорой помощи» — эта картина навсегда останется у меня в памяти.

Судьба нашей страны глубоко волнует меня. Я восхищаюсь нашим народом, его стихийным сопротивлением, единством и находчивостью... Мы ненавидим наших оккупантов. Страшно ненавидим... Я призываю вас, наших друзей и знакомых, а также тех, кого не знаю лично: помогите нам! Выразите свое осуждение тем, чье правительство несет ответственность за это невероятное для XX века варварство. Объявите бойкот советским конференциям и советским делегациям на заграничных конференциях и конгрессах — пусть они сами почувствуют вину и стыд за свою страну и свое правительство!

Ученые-физики, давшие человечеству средства массового уничтожения, несут большую моральную ответственность, чем остальные интеллектуалы. И их роль в осуждении такого произвола властей должна быть еще более значительной.

Я надеюсь, что не впадаю в пафос, хотя пафос и является одной из черт наших дней. Но трудно сохранять трезвость лицом к лицу с дулами пушек...

Мой призыв к бойкоту не был услышан. А жаль. Бойкот, пусть и кратковременный, помог бы несколько ослабить грубую силу власти. И он наверняка усилил бы брожение среди советских интеллектуалов.

Письмо на Восток

На Восток я послал другое письмо. Оно было отправлено из Праги, Вены и других европейских городов. Не знаю, кому из адресатов дошло это письмо (всего оно было разослано 20 советским академикам). Я писал:

«...Мне нелегко было начать это письмо: но на наших улицах льется кровь, и ваши танки бессмысленно уничтожают наши культурные памятники и разрушают наши идеи

и веру, и нам для борьбы и сопротивления остаются лишь слова.

Кафкианские видения и абсурды — лишь детская игра по сравнению с кошмарами той ночи и последовавших за ней дней, когда наши бывшие друзья и братья вероломно, без объявления войны, совершили акт неслыханной агрессии против моей родины и оккупировали ее.

Ваш старший лейтенант Орлов издал в эти дни приказ, с которым вы, русские и советские академики, должны быть ознакомлены. Может быть, сильнее остальных ужасов он заставит вас призадуматься о том, как могло случиться, что во второй половине XX века ваша страна могла совершить такой шаг...

Ваши танки уничтожают наши дороги, а на полях — урожай, давят на улицах наших детей, женщин и мужчин. Уже около 100 убитых и почти 1000 раненых. Ваши солдаты безжалостно и без предупреждения обстреливали машины Красного Креста — это я видел собственными глазами, и никто меня не сможет убедить в том, что это вражеская пропаганда. Наша интеллигенция ушла в подполье, скрываясь от незаконных арестов, производимых оккупантами. В подполье ушла и наша коммунистическая партия — из-за того, что она хотела попробовать совместить слова «социализм» и «суверенитет», «социализм» и «свобода», «социализм» и «человечность», «социализм» и «демократия». Ее чрезвычайный XIV съезд должен был на третий день оккупации состояться, как пишут в истории партии, в подполье, под защитой рабочих на крупнейшем пражском заводе.

Пожалуй, ничто так остро не характеризует и абсурдность всего происходящего, и отчаяние нашего народа, как краткий лозунг, который теперь на русском и чешском языках написан везде, по всей стране, на ее заборах, фасадах домов, дорогах и скалах: «Ленин, проснись — Брежнев сошел с ума!»

Я знал, и любил, и уважал вас — и было за что и любить и уважать. Мои чувства сегодня растоптаны сапогами ваших солдат и гусеницами ваших танков.

Вы — гражданин своей страны, и не последний ее гражданин. Поэтому и Вы несете свою долю ответственности за акт, который совершила Ваша страна. И я не смогу снова подать Вам руку и сесть с Вами за один стол до тех пор, пока не услышу от Вас открытого, публичного протеста и осуждения оккупации моей Родины. Поверьте, мне нелегко это писать. Но в молчании содержится согласие. Такова неумолимая логика истории.

Я знаю — это не просто. Я знаю — есть семья, положение, работа, наука или просто даже привычки, опыт, которые подсказывают молчать и не вмешиваться.

Но бывают времена, когда Вы, как представитель науки и интеллигенции, не можете молчать. Вы не можете предать великие традиции русской интеллигенции и толстовское «Не могу молчать». И мы, очевидцы, чувствуем сильнее вас, информированных завравшейся «Правдой», что такой момент наступил.

Вы не можете представить себе, как страшно мы ненавидим ваших солдат-оккупантов, как едины и сплочены мы в своей ненависти и презрении — мы, интеллигенты, рабочие и крестьяне, все мы — чехи и словаки, старики и молодежь — все. Знаете ли вы, как объединились мы все перед вашими штыками?

Я пишу это письмо под аккомпанемент ваших пулеметов, орудий, танков и бомбардировщиков. Я ничего не знаю о своих родных, о своей семье. Некоторые из моих друзей уже арестованы, но я пишу. Я пишу Вам с надеждой и верой, что разум и право должны восторжествовать, мы должны для этого сделать все, что можем. Иначе не стоило бы жить.

Ваш бывший друг

Прага, 25 августа 1968 г.

Три московских эпизода

Оккупация Чехословакии застала мою жену Аду и нашу 4-летнюю дочку Катю в Москве. После возвращения в Прагу Ада рассказала мне такие три, действительно имевших место, эпизода.

Первый (детский)

Сын моего знакомого прибежал с улицы домой и спросил отца: «Папа, что такое чехословацкие контрреволюционеры? Мы с ребятами играли в парке в войну и застрелили всех чехословаков».

Мой знакомый грустно оправдывался: «Пожалуйста, не удивляйся. Вчера, в первый день нового учебного года, учительница сказала детям в 6-м классе, что они должны хорошо учиться, потому что Советскому Союзу угрожают американские империалисты, немецкие реваншисты и чехословацкие контрреволюционеры».

Я почувствовала некое грустное удовлетворение. Правда, было неприятно очутиться в столь подозрительном обществе, но разве часто случается, что маленькая страна наводит такой ужас на соседа, который в двадцать раз больше?

Второй (для взрослых)

Через неделю после вступления советских войск в ЧССР я наблюдала в одной московской аптеке такую сценку: пожилой гражданин покупал лекарства. Увидев, что оно чешское, он заявил, что не хочет его брать, потому что в Чехословакии — контрреволюция. «Можете быть спокойны,— сказал покупателю аптекарь,— его произвели еще до контрреволюции».

К сожалению, Ада так и не узнала, говорил ли это аптекарь всерьез, или у него было хорошо развито чувство юмора.

Говорят, что временно можно обманывать целый народ, постоянно — лишь его часть, но никогда не удастся обмануть целый народ на вечные времена.

Третий («А все-таки она вертится!»)

В очереди за помидорами стояла женщина с кошелкой и читала «Правду». Дочитала, покачала головой и обратилась к рядом стоящему мужчине: «Вот здесь пишут, что Свобода и Дубчек уехали из Москвы. Я читаю «Правду» каждый день — ведь Дубчек в Москву вообще не приезжал. Что это за бессмыслица, как он сюда попал?»

Ее сосед шепнул: «Наверное, в наручниках».

В Москве явно не хватало оруэлловского «министерства правды», которое могло бы сфальсифицировать старый номер «Правды», заменив его новым, где бы описывался триумфальный приезд Дубчека в Москву, и распространить этот подлог среди населения.

На Западе

Танки

Путешествие к австрийской границе тянулось необычайно долго: дороги были забиты советским военным транспортом. На бронетранспортерах сидели усталые и запыленные солдаты, безразличные к тому, что происходило вокруг.

А вокруг грохотали танки. Земля тряслась, гудела. Под гусеницами танков и без того плохие дороги становились еще хуже. Воздух был наполнен пылью, выхлопными газами и безнадежностью беззащитной и униженной земли.

Наконец я пересек австрийскую границу. За ней были покой, тишина и чистота. Одним словом — благоухало миром.

В нескольких километрах от границы на шоссе вдруг появился полицейский автомобиль с синей мигалкой на крыше. За ним — военный джип. А следом — тяжелый транспортер, на котором — чтобы не испортить гусеницами шоссе — везли новенький танк. Через 20 минут картина повторилась. Австрия укрепляла свои границы... двумя танками! Перед моими глазами вновь прошли сотни танков на улицах Праги и сотни других, встреченных мною по дороге к границе. И я вновь почувствовал беспомощность малых стран перед грубой силой «великих» держав.

Паника

«Будьте осторожны!» — возбужденно говорил бледный парень в джинсах людям, ожидавшим в очереди в западногерманском консульстве. Дело происходило в Вене. «По Вене ездят чешские машины с русскими шоферами и увозят чехов обратно!» — продолжал он испуганно.

Атмосфера в зале ожидания накалилась. Все сгрудились около этого парня, чтобы узнать подробности.

Я вмешался в разговор и высказал свои сомнения: «С моей точки зрения, это нелогично. Сначала должны были бы закрыть границы. А потом, я не знаю, как бы они могли без затруднений перевозить этих людей обратно через границу. По-моему, это малоправдоподобно».

Я почувствовал, что мои слова несколько ослабили напряжение и страх. Повсюду было столько пугающих сообщений, что люди были благодарны за любую попытку опровергнуть их.

Но позже я сам начал терять уверенность. Я вспомнил, как за два дня до вступления советских войск я старался убедить одного своего друга, что оккупация Чехословакии советской армией была бы нелогичным и абсурдным шагом и поэтому она маловероятна.

Бегство

Мы встретились с ним где-то в Австрии. Он был в тяжелой депрессии. В молодости он побывал в концлагере Терезинне. Его мать погибла в одном из нацистских лагерей смерти. Весь ужас и безнадежность прошедших дней были еще слишком живы в его памяти, а неуверенность в завтрашнем дне тяжело действовала на него.

«Мой дед спасся бегством из Бердичева в Кишинев от русских погромов. Отец сбежал от русских погромов из Кишинева в Прагу. А теперь я — опять же из страха перед русскими погромами — убежал из Праги в Австрию. Мне хотелось бы знать, когда, от кого и куда придется бежать моим детям...»

Пушкин в этом не виноват

Ада обычно говорила с маленькой Катей по-русски. 21 августа застало их в Москве. Они вернулись в Прагу с одним из первых рейсов возобновивших свои полеты самолетов. Перед отлетом из Москвы Катя получила строгое предупреждение: в Праге на улицах она не должна говорить по-русски. Катя так и делала. На русский она переходила только дома, за закрытыми дверями квартиры, если у нас не было гостей.

Осень 1968 года мы провели на Западе. Четырехлетняя Катя спрашивала нас при каждом новом переезде границы: «А в этой стране можно говорить по-русски?»

Сейчас Кате 19 лет. Она все еще отказывается говорить по-русски. Напрасно мы убеждаем ее, что Пушкин во всем этом не виноват.

Коллеги

Постскриптум

(«Физикалише блеттер»)

Оккупация Чехословакии поставила передо мною тяжелую проблему: статья о чехословацко-советских связях в физике, написанная мною по предложению Чехословацкой академии наук к 50-й годовщине Октябрьской революции и выходящая сейчас в немецком переводе, могла бы сегодня показаться анахронизмом. Несмотря на это, мне кажется, что будет правильным опубликовать оригинальный текст моей статьи как документ, свидетельствующий о наших взглядах и отношении к советским физикам в то время.

Я не хотел бы поддаться здесь страстям, хотя в этом не было бы ничего удивительного после оккупации ЧСАН и некоторых университетов. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что физики, сами давшие в руки своим правительствам страшное оружие массового уничтожения, несут повышенную моральную ответственность за поведение своих правительств и особую интеллектуальную ответственность за неограниченный произвол власти, которую так бесстыдно уже продемонстрировал всему миру режим Гитлера. Сегодня обе супердержавы, СССР и США, ведут себя так же бесцеремонно по отношению к малым и беспомощным государствам, таким как Вьетнам и Чехословакия.

Пользуясь этим случаем, я хотел бы обратить внимание своих советских коллег на то, что и они не избавлены от этой моральной ответственности и что мы с большим вниманием следим за их общественно-политической позицией, в которой должна отражаться часть общей ответственности интеллектуалов всего мира за будущее человечества.

Однако уже одни мужественные выступления советского академика Андрея Сахарова помогают нам сохранить дружественные отношения с нашими советскими коллегами.

Прага, 28 августа 1968 г.

Академик В. А. Фок

Владимир Александрович Фок был крупнейшим советским физиком-теоретиком, и я гордился тем, что принадлежал к его школе и мог считаться его учеником. Позже мы даже сдружились. Он часто приезжал в Чехословакию, и я всегда посещал его во время поездок в СССР.

— Странно,— сказал он как-то мне, когда мы прогуливались по берегу Финского залива в Комарове,— с вами я могу говорить гораздо более открыто, чем с большинством моих старых друзей.— Он улыбнулся и добавил своим особым голосом, характерным для глуховатых людей: — Даже о политике!

У него были причины для опасений. В 1937—1938 гг. он сидел в тюрьме: в его присутствии кто-то вел «контрреволюционные разговоры», и Фок не сообщил об этом «куда следует».

В октябре 1968 года я получил от него письмо. В то время я находился в Триесте и решал, возвратиться ли домой или остаться за границей.

4 октября 1968 г.

Дорогой Франтишек!

Передо мной лежат Ваши письма: новогоднее и от 10 апреля 1968-го, оба такие милые. Поэтому я решаюсь обратиться к Вам с вопросом: как могло случиться, что значительная часть чехословацкой интеллигенции заболела ненавистью к русским, своим освободителям, и преисполнилась симпатиями к западным немцам — наследникам гитлеровцев? (Как я узнал, в Праге стало небезопасно говорить по-русски, и русским, попавшим туда, приходилось говорить по-немецки.) Неужели не ясно, что этот путь — на Запад — неизбежно приведет к новому Мюнхену и к новому немецкому порабощению? О потере светлых перспектив на социализм я уже не говорю...

Я очень тяжело переживаю события в Чехословакии и не могу привыкнуть к мысли, что среди чехов, которых я всегда считал друзьями, оказалось так много врагов. Или еще можно надеяться на выздоровление?

Ваш В. Фок

Я ответил следующим письмом:

Дорогой Владимир Александрович!

Я получил Ваше письмо в Триесте — жить в оккупированной Праге для меня стало трудно, очень трудно.

Я прочел Ваше письмо, и мне сделалось жалко Вас: неужели возможно, что и Вы поверили примитивной лжи и низкосортной античехословацкой пропаганде? И неужели Вы, человек умный и интеллигентный, ученый с мировым именем, думаете, что русское порабощение лучше немецкого? Может быть, эта деталь ускользнула от Вашего внимания, но 21 августа Чехословакию оккупировали не только советские, но и восточнонемецкие войска.

Я провел неделю на улицах Праги после 21 августа. День и ночь я ездил и ходил по улицам и видел, что делали советские оккупанты. В некоторых отношениях они вели себя хуже, чем немецкие оккупанты в 1939 году. Я говорю это сознательно, и свои слова могу подтвердить фактами.

Да, Владимир Александрович, надежды на выздоровление больше нет. Агрессия остается агрессией, оккупация — оккупацией. Этого народ не забывает. Тем более, что агрессором оказался народ, который мы считали братским и питали к нему истинные братские чувства, что совершил он это вероломно, неожиданно для нас, что при этом были попраны все идеи, слова и обещания, что при этом были цинично расторгнуты все договоры, включая Потсдамский, в котором Ваша родина торжественно клянется, что не допустит, чтобы немецкие войска оккупировали чью бы то ни было территорию...

...Неужелн Вы не заметили, что вторжение ваших войск было сделано без ведома и согласия нашего президента — и вашего героя,— без ведома и согласия нашего правительства, Национального собрания и Президиума ЦК?

Неужели Вы не знаете, что Президиум нашей КПЧ принял в эту роковую ночь постановление, осуждающее вторжение войск пяти стран как беспрецедентный шаг, нарушающий все нормы и принципы взаимоотношений не только между социалистическими странами, но и международное право вообще?

Неужели Вам не известно, что первый секретарь КПЧ Дубчек, председатель правительства Черник, председатель Национального фронта Кригель и другие были бандитски похищены и под угрозой взведенных автоматов ваших солдат беззаконно вывезены из Чехословакии?

Не стыдно ли Вам, что Вы гражданин страны, которая во второй половине XX века совершила в одной из самых культурных и миролюбивых европейских стран такие злодеяния?

21 августа утром я стоял на Вацлавской площади и смотрел, как несколько сотен, а может быть тысяч, ваших парашютистов обстреливали из пулеметов и автоматов здание Национального музея! А 23 августа ночью роды у матерей приходилось принимать дома, впервые за 30—40 лет, так как ваши солдаты обстреливали (с 22 часов они объявили комендантский час) даже машины Красного Креста и «скорой помощи».

Может быть, мне «везет», но среди нескольких десятков людей, похищенных советскими оккупантами (поверьте, не только мне трудно было привыкнуть к такому сочетанию: советский и оккупант, но факты — вещь упрямая), находилось двое моих друзей: одного уволокли в Москву, другого — в Дрезден. Поэтому моя информация совершенно достоверна...

Вы пишете, что значительная часть чехословацкой интеллигенции (правильнее было

бы написать: чехословацкого народа) заболела ненавистью к русским... Но это тоже неверно. Мы не заболели ненавистью к русским: ваши солдаты заставили нас ненавидеть политиков, бесцеремонно и цинично попирающих свободу и суверенитет маленькой страны,— позор, который лег на вашу страну, не меньше позора, лежащего на Америке из-за Вьетнама.

Мы с Вами всегда были откровенны, Владимир Александрович. Давайте же поставим точки над «i». Вьетнам и Чехословакия — это лишь оборотные стороны одной монеты — империализма, великодержавной, циничной и грубой политики силы.

Неужели Вы, советский академик, сможете молчать, наблюдая преступления, которые совершаются и от Вашего имени над чехословацким народом? Ваши американские коллеги свою долю ответственности за Вьетнам понимают и делают из этого выводы...

Заканчиваю. Ваше письмо меня огорчило. Я ожидал от Вас либо молчания, которое я бы понимал, но не одобрял, либо письма совсем другого содержания. Вы были моим учителем, и я с благодарностью всегда вспоминал и вспоминаю это. Но мое длительное, десятилетнее, пребывание в России, а также встречи и общение с Вами научили меня, что русская интеллигенция не может молчать при виде бесправия и преступления. Но это уже дело совести каждого из нас.

Ваш Франтишек Яноух

Триест, 15 октября 1968 г.

И вот пришло письмо:

Франтишеку Яноуху

Ваше письмо от 15 октября 1968 года из Триеста я получил 30 октября.

Оно настолько извращает действительное положение вещей и настолько оскорбительно, что Вы, очевидно, и сами не ожидаете на него ответа.

3 ноября 1968 г. *В. Фок*

Не только я, но и многие мои друзья дома и за границей ломали себе голову, пытаясь понять, чем объяснить поведение Фока. Напрасно. Я встретил его девять месяцев спустя, в апреле 1969 года, во Флоренции. Мы поздоровались. Я сказал ему, что нам не мешало бы поговорить.

Разговор был длинный и напрасный. Фок отрицал факты, которые я видел своими глазами или которые подтверждали документы.

— Не могу поверить, чтобы наше правительство могло делать такие вещи,— был всегда его последний и непоколебимый аргумент.

Для меня это была загадка: как большой ученый может быть настолько слеп и недальновиден в политике? Его поведение, наверное, можно было объяснить только страхом. Не страхом перед административными органами — он находился в таком положении, когда мог позволить себе почти все в Советском Союзе,— а страхом перед самим собой: если бы он поверил, то должен был бы что-то предпринять. А это означало бы лишиться покоя, своего модус вивенди с советской властью, с таким трудом выработанного им за долгие годы. То есть, тот самый «трусливый и низкий эгоизм» интеллектуалов, о котором говорил Ромен Роллан. Это может подтвердить и письмо, которое я получил от него позже и где он откликается на сообщение, что меня выгнали с работы:

Уважаемый д-р Яноух!

Тон Вашего письма, в котором Вы пишете намеками о людях малокультурных и злых, затрудняет мой ответ. Одно могу сказать: дружба Чехословакии с Советским Союзом мне дорога, и я не могу не приветствовать, что в 1970 году Чехословакия вернулась на путь укрепления этой дружбы. Вы пишете о Яне Гусе; но вспомните, что и он всегда, а особенно после 1410 года, был сторонником единения славянских народов.

Меня, конечно, огорчает, что Вы не можете найти себе работу, соответствующую Вашей квалификации. Но поскольку Вы подчеркиваете, что Ваше мировоззрение было и остается социалистическим, я уверен, что Вы найдете себе место в социалистической Чехословакии и не вздумаете эмигрировать. Русской интеллигенции тоже пришлось много пережить, но она уже давно вросла в социалистический строй.

Разрешите поздравить Вас с наступающим Новым годом.

С уважением
Ваш В. Фок

Ленинград, 8 декабря 1970 г.

Это было последнее письмо, которое я получил от Фока. Свои последние годы он жил один, очень изолированно. И я даже не знаю, довелось ли ему узнать перед смертью, что я не эмигрировал, а что меня, собственно говоря, эмигрировали...

Л. А. Арцимович

Мы никогда раньше не встречались в Москве. Он работал в другой области физики и занимал столь головокружительно высокие посты в советской науке (был главой советской термоядерной программы, членом президиума Академии наук СССР, секретарем Отделения физики АН СССР и бог знает кем еще), что для простого смертного было почти невозможно увидеться с ним.

Встретились мы впервые в Женеве, в конце сентября 1968 года, на учредительном заседании Европейского физического общества. В перерыве Арцимович спросил меня по-английски насчет каких-то организационных дел. Я ответил ему вежливо, но сдержанно. Слишком многое разбилось, сломалось во мне за прошедшие недели, слишком много я пережил, чтобы вести дружеский разговор с советским ученым, которого я лично совсем не знал и который — сверх того — официально представлял советскую науку.

В следующем перерыве Арцимович снова подошел ко мне. Хочет, мол, со мной поговорить, сообщить мне свою точку зрения на то, что произошло. Он был взволнован. Я перебил его и сказал, что об этих вещах мы можем говорить и по-русски. И мы говорили — может, час, а может, и два. В Советском Союзе за то, что он сказал, дали бы 15 лет лагерей. Он говорил о настроениях

советской интеллигенции, об отношении ее к политическому руководству, о ее бессилии оказать влияние на политику. О разочаровании и о чувстве глубокого стыда за то, что он — советский человек и что он не может сделать ничего, чтобы изменить нашу судьбу.

Мы расстались друзьями. И встретились еще раз, год спустя, снова в Женеве.

— Откуда вы раскопали такого троглодита, этого вашего министра просвещения Грбека [1]? — спросил он меня.

— Не мы его раскопали, а вы. Он, собственно, является не нашим министром просвещения, а вашим губернатором над нашими университетами,— ответил я ему.

— Вы правы,— сказал он с грустью.

Год спустя Арцимович умер. В моем тогдашнем положении мне не разрешалось написать о нем некролог. Поэтому я пишу его с опозданием теперь, в качестве дополнения ко всем официальным некрологам, опубликованным в СССР с подписями советских руководителей.

Пусть память о нем останется в наших сердцах! Это был великий ученый и гражданин.

Я написал эти слова и засомневался. Был ли он действительно великим гражданином? Можно ли его жизнь и поведение ставить в качестве примера? Ведь в его поведении отразились оппортунизм, двуличность и малодушие, на которых сегодня зиждется советская власть. Тот же Арцимович мог произносить с трибун восхваляющие речи о великом вожде и великой стране. То, что он сказал мне в личном разговоре, была, собственно говоря, его исповедь. Индульгенция для очистки совести. Ведь тот же Арцимович не нашел в себе храбрости высказать свою точку зрения открыто в СССР.

Почему он не сделал этого? Из страха? Сомневаюсь. Андрей Сахаров сказал значительно больше. Скорее всего, Арцимович опасался усложнить свою жизнь и жизнь своей семьи. Возможно, также боялся, что не сможет потом продолжать свою научную работу. Потому что это была цена, которую за утверждение своего гражданского «я» должен был заплатить Андрей Сахаров. Канонизировать поведение академика Арцимовича ни в коем случае нельзя. Моральные принципы Андрея Сахарова стоят выше.

Новогоднее поздравление

Письмо это было написано в Москве, но отправлено в начале 1969 года из Польши. Оно порадовало меня больше, чем все остальные новогодние поздравления.

Дорогой Франтишек!

Скоро полгода, как мы живем с неутихающей болью и жгучим стыдом в сердце.

Я хочу, чтобы Вы и Ваши друзья знали об этом.

Хотелось бы написать Вам много хороших слов, но я только желаю Вам мужества и надежды.

Ваша Наташа

Письмо Наташи Светловой ходило по рукам среди моих друзей в Праге. В то время мы еще не знали, и я не уверен, знала ли она сама, что вскоре будет подписываться «Наталья Солженицына».

Поездка

Добровольное признание

В начале сентября 1969 года я должен был поехать в отпуск в Израиль. Сам я не очень-то верил, что поездка состоится. Но у меня была выездная виза, и я начал готовиться в дорогу.

За несколько дней до моего отъезда зашел один знакомый. Он обратился ко мне с просьбой. Дело в том, что накануне Национальному собранию была отправлена петиция «Десять пунктов». Троих из подписавших ее уже арестовали. Но о петиции ничего не известно, и западная печать молчит. И вот мой знакомый спросил меня, не смог бы я взять петицию с собой.

Отказаться было тяжело. Вместе с тем риск был тоже значительный.

Тогда мне пришла в голову идея. Я зашифровал петицию среди своих научных лекций. У меня просто прибавилось несколько таблиц. Правда, это отняло довольно много времени. Хороший компьютер, наверное, догадался бы, в чем дело, но я успокоился.

На аэродроме в Рузине на меня никто не обратил внимания. Я мог бы провезти хоть схемы чехословацкой водородной бомбы, если бы таковая, конечно, существовала.

Мое отсутствие «товарищи» из СТБ [1] заметили только в середине сентября, причем случайно, при каком-то расследовании в институте. И тут началась свистопляска, как мне потом рассказывали.

В Италии я не спал две ночи, расшифровывая петицию. Проклинал при этом одного из подписавших, Вацулика [2], за его многословие и утешал себя кьянти.

Потом петиция была напечатана во французской газете «Монд» и в итальянской «Эспрессо».

Позже, уже вернувшись в Прагу, я прочел в обвинении против Пахмана, Баттека и Тесаржа, что текст петиции попал за границу неизвестным путем и был там опубликован.

Сегодня это «преступление», согласно § 112 Уголовного кодекса, потеряло силу за давностью лет. Так что я могу сознаться. Тем более, что мой поступок могли бы рассматривать как уголовное преступление только безумцы. Или — обезумевшее общество.

Еврейская история

В Тель-Авиве все еще было жарко. А из Праги приходили все менее и менее утешительные новости. Наконец, я получил телеграмму из Голландии: Ада подумывает об отпуске в Швейцарии.

Значит, я должен изменить свои планы. Для небогатого валютой чеха это была нелегкая проблема. У меня был обратный би-

---

[1] Я. Грбек — министр просвещения в 1969 г., «прославившийся» указом, согласно которому учителя должны были сообщать властям об идеологических настроениях и взглядах своих коллег.

[1] СТБ — чехословацкий эквивалент КГБ. *(Прим. перев.)*

[2] Людвик Вацулик — известный чешский писатель, автор манифеста «2000 слов». *(Прим. перев.)*

лет из Никозии в Прагу, действительный только для чехословацких авиалиний. Но как попасть в Цюрих?

Я рассказал о своих затруднениях одному знакомому, тот «продал» мой рассказ своему знакомому, а последний — еще кому-то.

Через два дня мне позвонила незнакомая женщина, конечно родом из Праги, и сказала, что слышала о моих трудностях и думает, как мне помочь. И вот она посоветовала мне обратиться к господину Таусигу — тоже родом из Праги,— работающему в агентстве «Алиталия».

«Не посеешь — не пожнешь»,— подумал я и позвонил этому Таусигу. Он попросил меня сразу же зайти к нему.

Сначала мы долго говорили о Праге. Потом — о создавшемся положении в Праге и на Ближнем Востоке. Наконец г-н Таусиг спросил меня:

— Я слышал, что у господина доктора трудности?

Я рассказал ему, в чем дело. Г-н Таусиг улыбнулся:

— Ну, какие это трудности? Я вам перепишу билет из Никозии в Прагу на билет из Тель-Авива в Цюрих. Когда-то я был представителем чехословацких авиалиний в Тель-Авиве. Теперь тут уже нет такого агентства, но это не беда, пускай Прага потом договаривается с агентством в Риме.

Через несколько минут девушка принесла мне новый билет. Доплачивать пришлось всего около пяти долларов. Прошу учесть, что я — гой, причем чистокровный.

Не встретились в Цюрихе

По правде сказать, я тогда колебался. Ведь я еще не решился на эмиграцию и хотел вернуться в Прагу. Домой. К друзьям. Я все еще был неисправимым оптимистом, думал, что дома смогу принести больше пользы, чем живя на Западе, надеялся, что еще можно будет что-то сделать...

Однако Ады и Кати в Цюрихе не оказалось. Их вернули с пражского аэродрома.

Дело было так: у Ады имелись действительная чехословацкая выездная и швейцарская въездная визы. На аэродроме она без затруднений прошла паспортный и таможенный контроль. Ее чемодан погрузили в самолет. Но за несколько минут до объявления посадки Аду вызвали по громкоговорителю к окошку бюро информации. Там уже поджидали двое в штатском, из службы безопасности, которые ее задержали. Маленькая Катя плакала. Пассажиры, должны были ждать, пока в самолете разыщут их чемодан. Самолет из-за этого задержали примерно на час. Аду и Катю отвели в отдельную комнату и устроили им тщательный личный досмотр. Из принесенного чемодана все вытряхнули и проверили каждую пару белья. Отнесли куда-то Адину записную книжку с адресами и очень долго не возвращались — видимо, фотографировали ее. У Ады отобрали советский заграничный паспорт — наверное, в рамках интернациональной помощи...

Это происходило за восемь дней до того, как чехословацкие границы наглухо закрылись — упал «железный занавес».

Нормализация 1

Дружба с Опалихой

Шел 1969 год. Мне позвонил взволнованный секретарь районного комитета партии. Оказывается, приехала дружественная делегация из поселка Опалиха Московской области. На заводах отказались принять ее. Секретарь спрашивал меня, может ли он послать делегацию в наш институт?

Я поставил этот вопрос на обсуждение в общеинститутском комитете партии. Многие высказались против. Даже профсоюзы протестовали. Я предложил принять. Встретить корректно. И высказать все, что думаем.

В районном комитете приняли наши условия. Конечно, если все будет проходить «прилично».

Гости пришли. Чувствовалось, что они немного не в своей тарелке. В зале находились представители общеинститутского комитета КПЧ, профсоюзов. Я произнес вступительную речь. По-русски. Рассказал о положении нашей страны перед 1968 годом, о главных принципах «пражской весны», о нашем отношении к оккупации, о документах того времени.

Гости сидели как пришибленные. Потом поднялся руководитель делегации. Он, мол, с интересом прослушал мое выступление, но его интересует, что думают об этом присутствующие. Сзади сидели несколько рабочих. Их лица, рабочая одежда говорили сами за себя. Что, мол, скажут они? Согласны ли они с моей точкой зрения?

Я подчеркнул, что это не только моя точка зрения. Мое выступление было одобрено общеинститутским комитетом КПЧ, профсоюзами и обсуждено и одобрено всеми партийными ячейками.

Тогда он попросил выступить самого пролетарского участника собрания. Тот встал, нерешительно помял в руках шапку, а потом сказал: «Я полностью согласен со всем, что тут было сказано. Я сам, однако, не смог бы сказать это так спокойно и прилично, как товарищ Яноух».

Цензура

(Из блокнота)

Вместо «Интернэшнл геральд трибюн» библиотекарша подала мне маленький листок бумаги: «Номер 13-24.06.69 не выдается. Рекламации не подавать». И подпись: ПНС — почтовая контора, ул. Виноградска, 16, Прага-2.

Тогда еще было идиллическое время. Вскоре иностранные газеты вообще перестали поступать в библиотеки.

Школа ненависти

Ему еще даже не исполнилось шестнадцати. 20 августа 1969 года он пропал и вернулся только через 14 дней. И вот он сидит передо мной и рассказывает:

«20 августа я пошел в город посмотреть, что там делается. Мне пришлось пообещать отцу, что ни во что не стану вмешиваться. Я пришел на Вацлавак[1] после часу. Везде

[1] Вацлавская площадь *(сленг)*. *(Прим. перев.)*.

покой и порядок, только людей было больше, чем обычно. Я решил вернуться домой и ждал на трамвайной остановке; трамвай, как обычно, долго не шел. Я стоял на тротуаре, потому что на самой остановке скопилось много народу и не было места. Ко мне подошел эсенбак [1] и потребовал, чтобы я отошел подальше. Я сказал ему, что жду трамвая, и отошел. Второй эсенбак остановился, спросил меня, куда я еду, и попросил показать паспорт. Паспорта у меня с собой не было. В газетах я когда-то читал, что носить его с собой не обязан. По правде говоря, я к нему еще не привык, получил его всего несколько месяцев назад.

Эсенбак задержал меня, отвел к автобусу и посадил туда. Когда автобус наполнился, нас отвезли на Краковскую улицу. Там я очутился в большой комнате вместе с десятками других людей, среди которых было и несколько иностранцев. Мы сидели — кто на скамейках, а кто и на полу. К вечеру начались допросы, продолжавшиеся всю ночь. Сначала допрашивали тех, у кого были с собой паспорта. Всю ночь мы слышали тупые удары, стоны, крики, доносившиеся из помещения напротив. То и дело к нам в комнату приводили избитого человека, иногда — почти без сознания. Поздно вечером втащили, бросили на землю и облили водой молодого человека атлетического сложения. Он был избит до беспамятства. Позже он пришел в себя и рассказал, что с ним случилось. Он находился в помещении, где у него отбирали вещи и составляли протокол о задержании. «Вдруг привели молодую девушку в летнем платье, сильно избитую, и на моих глазах ее еще раз ударили. Я не удержался, ударом самбо повалил эсенбака и крикнул: «Ты, гестаповец, как тебе не стыдно бить девушку!» На меня бросились трое — я отбросил их, потому что хорошо владею самбо. Потом навалились сразу несколько, сбили с ног, били, пинали, избивали дубинками, пока я не потерял сознание».

Тех из нас, у кого не было паспортов, на Краковской улице не допрашивали. На другой день нас вместе с остальными отвезли в переполненных автобусах с решетками на окнах на Панкрац [2]. Перед отъездом нас построили в коридоре и приказали заложить руки за спину. Рядом со мной стоял американец, не понявший приказа и поднявший руки вверх. Эсенбак закричал на него, что это его тоже касается. Я хотел перевести американцу приказ, но эсенбак подбежал ко мне и ударил дубинкой по плечу и по голове: вот, мол, тебе за разговоры!

Во дворе тюрьмы мы вышли из автобусов, и эсенбаки погнали нас, избивая, на первый этаж, а потом обратно. Били нас при этом дубинками и кричали: вот тебе за январскую политику, вот тебе за Дубчека, за Смрковского, я тебе покажу социализм с человеческим лицом...

На второй день к вечеру меня вызвали на допрос. Допрашивали двое в форме, один назвал себя следователем, второй — свидетелем. Со мной они разговаривали мало, один писал что-то на машинке и дал мне потом подписать. Это был протокол, в котором говорилось, будто я принял участие в демонстрации, выкрикивал антигосударственные лозунги и призывал остальных к беспорядкам. Подписать такой протокол я отказался. Свидетель сбил меня ударом, оба бросились на меня и начали бить дубинками, пинать ногами, молотить руками, пока я не потерял сознание. Потом облили водой и, когда я пришел в себя, спросили, не хватит ли с меня и не подпишу ли я, а иначе они могут еще добавить. Я видел, что упорствовать нет никакого смысла, и подписал. На следующий день меня перевезли в Рузине и снова вызвали на допрос. Я сказал следователю, что подписать протокол меня вынудили силой, что меня били. Тот заорал, что, как видно, били мало, до смерти должны были бить, чтобы я им тут не морочил голову. Потом он все же составил новый протокол, который я подписал, потому что тот соответствовал моему рассказу.

В камерах, в Рузине и Панкраце, нас было набито столько, что даже спать было трудно. В камере для троих нас было вначале восемь, потом — шестеро. Еда была, в общем, ничего. В Рузине я даже как подросток получал пищу несколько раз в день. После нескольких дней пребывания в Рузине меня снова перевезли на Панкрац, откуда я 3 сентября 1969 года вышел на свободу.

Вот так я пробыл в тюрьме 14 дней. И я злюсь на себя, что не принял участия в демонстрации. Ведь дело было стоящее».

Дыра в стене

(Вариации на тему «дело Траубе» [1])

Под картиной, изображающей Дон Кихота, над чайным столиком в стене обнаружилась дырка. Примерно сантиметр в диаметре, полметра глубиной. На задней стороне рамы — тоненький слой свежераскрошенной штукатурки.

Местная полиция поверила, что из стены просачивается цианистый газ и что речь идет, таким образом, о криминальном деле. (Без всякого сомнения — оно и было криминальным, хотя и не совсем в том смысле, как представлял себе это товарищ дежурный.) Кто-то хочет нас отравить! Был субботний вечер 22 ноября 1969 года.

Соседняя квартира, куда вела дыра, принадлежала районному секретарю КПЧ. Он находился на учебе в Москве. Местная полиция проявила неожиданную активность. Разыскала бабушку, у которой были ключи от квартиры, и даже разрешила мне (вместе с другом) войти в подозрительную квартиру.

Потом уже полиция поняла, что попала впросак. В стену был вмонтирован несгораемый шкафчик с магнитофоном. Но на попятную идти было поздно. Дело передали чехословацкой контрразведке. И в воскресенье вечером около нашего дома начали околачиваться подозрительные личности.

До окончания расследования мы прикрыли уродливую дыру в стене небольшой исторической фотографией. На ней — первона-

---

[1] Полицейский *(сленг)*, сокращение от СНБ (Корпус национальной безопасности). *(Прим. перев.)*.

[2] Центральная пражская тюрьма. *(Прим. перев.)*

[1] Траубе — западногерманский физик, который обнаружил в своем доме подслушивающее устройство, вмонтированное западногерманской контрразведкой. Дело Траубе превратилось в крупный политический скандал.

чальный хозяин квартиры, отец Ады, вместе с В. И. Лениным на Красной площади 1 мая 1919 года.

Мы разослали письма по самым разным адресам. Ведь это было первое обнаруженное подслушивающее устройство, вмонтированное уже при Гусаке. И к тому же в квартире, где жили два коммуниста: один состоял в партии более 50 лет, а второй — более двадцати.

В середине декабря меня вызвали в Министерство внутренних дел.

Расследование, проведенное по распоряжению министра внутренних дел Пелнаржа, показало, что в квартире секретаря КПЧ Браздила находилось «оборудование чехословацкой контрразведки, которое, однако, не было направлено против лиц, проживающих в квартире». Министерство внутренних дел извинилось за недозволенное проникновение в нашу квартиру и информировало нас, что «по отношению к работникам, по вине которых произошло проникновение, будут приняты дисциплинарные меры». (Читатель, прости за язык: я цитирую протокол!) Никакие другие попытки проникнуть в нашу квартиру из соседней не предпринимались. Я потребовал занести это в протокол.

После чего я написал письмо господину министру внутренних дел. Я писал: «...Версия о размещении в квартире господина Браздила некоего принимающего устройства в целях пеленгации настолько технически неграмотна, что может вызвать у специалистов только улыбку... Хочу Вас, однако, информировать, что я обнаружил два новых отверстия, ведущих из квартиры Браздила... Свидетельство об этом хранится у моего адвоката... Тот факт, что комиссия, имевшая от Вас письменные полномочия, даже после трехнедельного расследования не обнаружила новых отверстий, ведущих в нашу квартиру, является тревожным признаком... это принимает оттенок политического скандала, и в разъяснении этого случая должны быть заинтересованы самые высшие политические инстанции в нашем государстве...» Копии этого письма я разослал во все возможные инстанции.

Потом наступило длительное молчание. Наконец, в июне 1970 года Министерство внутренних дел ответило, что мое «поведение в данном случае представляется довольно необычным. В этой связи необходимо в Ваших же интересах, чтобы Вы учли, что ввиду характера дела дальнейшее недопустимое предание гласности подробностей данного дела могло бы при определенных обстоятельствах нарушить оборонные интересы ЧССР». Председатель парламентского Комитета по обороне и безопасности Пеха далее писал мне: «Не сомневаюсь, что Вы тоже разделяете ту точку зрения, что органы, несущие за это ответственность, принимали такие меры в рамках закона. И дабы обеспечить соблюдение законов, хотя меры, о которых идет речь, и непопулярны... Поскольку Вы, несомненно, заинтересованы в охране социалистического государства, прошу Вас, чтобы Вы приняли к сведению объяснение Министерства внутренних дел».

Однако Пеха не поставил этот случай на обсуждение в парламенте. В печати тоже ничего не появилось. Во всяком случае, в нашей. Обо всем этом у меня остались воспоминания и толстая папка с корреспонденцией. И новые дыры из квартиры Браздила, которые были обнаружены уже после нашего отъезда из ЧССР.

Вся эта история снова вспомнилась мне, когда я недавно с любопытством следил, как разворачивается афера с подслушивающим устройством у коллеги, ядерного физика Траубе.

В отличие от Траубе, в моем случае не было ни малейшего подозрения о связях с террористами; самое худшее, в чем меня могли обвинить,— разница во взглядах. Ведь я даже был еще тогда функционером правящей партии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«Возьму уроки языка для глухонемых. Боюсь подслушивания».

ТЕМА ДЛЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО МИНИСТРА ЛЮБВИ:

«Как организовать подслушивание в квартире, где проживают глухонемые?»

Исключение

Мы — несколько человек — сидели в одной из канцелярий районного комитета КПЧ. Сидели, словно в приемной у зубного врача. Мы все немного нервничали; каждого из нас ожидала, правда, маленькая, но зато неприятная операция: мы должны были быть (без наркоза!) вырваны из рядов КПЧ.

Наконец пришла моя очередь. Я вошел в зал заседаний (портфель мне приказано было оставить в приемной!). Партийный секретарь прочел предложение об исключении меня из партии. После этого он спросил, хочу ли я к этому что-либо добавить.

Я сказал членам президиума районного комитета КПЧ следующее: «Чтобы членам президиума — перед тем как принять столь важное решение — были известны мои политические взгляды, я постараюсь изложить их в нескольких словах. Может быть, это повлияет на ваше решение. Меня обвиняют в оппортунизме. Это иностранное слово, и в словаре его расшифровывают так: беспринципность, страх перед трудностями, приспособление к современной политической ситуации. Но ко мне все это не относится. Я стою за правду, которую я постигал постепенно и продолжаю постигать, за принципы, в которых я уверен. Я не избегаю трудностей, не приспосабливаюсь к современной политической ситуации, в отличие от некоторых моих сегодняшних критиков, сидящих в этом зале. Одни из них 21 августа искали револьвер, чтобы бежать стрелять, другие были недавно активными приверженцами китайских хунвэйбинов и культурной революции, причем из-за этой деятельности их даже допрашивала госбезопасность...

Меня обвиняют в антисоветизме. Я вырос в коммунистической семье. Мой отец прошел через пекло Освенцима и Маутхаузена за участие в одной из групп Фучика. С 6—7 лет я знакомился с СССР, читая журнал «СССР на стройке». Всю войну я рассказывал своим ближайшим друзьям об СССР и изучал русский язык (тогда мне было 8—10 лет), а с 9 мая 1945 года я помогал Красной Армии как переводчик. Я окончил советскую школу в Праге и потом учился почти 10 лет в СССР. Я прочел десятки докладов об СССР, пропагандировал эту страну и наши связи с ней всеми способа-

ми. Я очень много путешествовал по СССР, написал о нем книгу (15 000 экземпляров полностью распродано). Моя жена — советская гражданка. Многие годы я сотрудничал с советскими учеными. В СССР живут мои лучшие друзья. 29 августа 1968 года я уехал в Вену с двумя папками рукописей, чтобы довести до конца задуманное летом 1968 года: издать две книги материалов международной научной конференции в Дубне. Не кто иной, как я, в начале 1969 года настоял на достойном приеме советской делегации в Институте ядерной физики, в отличие от многих других мест, где эту делегацию буквально забрасывали камнями. Обвинять меня в антисоветизме могут только люди с болезненным воображением.

Вместе с тем я осуждаю политику, которую ведет по отношению к нам СССР, особенно в последние годы. Я глубоко уверен, что если этот политический курс не изменится, то наши народы не смогут жить в действительной дружбе и равноправии. И я также глубоко уверен, что такое изменение курса, раньше или позже, наступит. Надеюсь, что это произойдет скоро.

Мне тяжело наблюдать, как разные примитивные и малообразованные люди «укрепляют» нашу дружбу с СССР в печати или по радио. Выйдите на минуту из своих кабинетов и постарайтесь узнать, что об этом думает 70—80 или даже 90 процентов наших людей...

Еще несколько слов о 1968 годе. Наше общество нуждалось в радикальных реформах. Разве не находилась в застое наша экономика? Неужто кто-нибудь из вас захочет оправдывать казни и расправы над сотнями невинных? А десятки тысяч заключенных в пятидесятые годы? Или миллионы замученных в сталинских концлагерях, как это раскрыл всему миру XX съезд КПСС? Где найти гарантии, чтобы все это не повторилось? Как обеспечить, чтобы наше общество — в согласии с идеями классиков марксизма — давало своим членам больше духовных свобод и материальных благ, чем какое-либо другое общество? Как ликвидировать отставание в промышленности, науке и технике по сравнению с развитыми капиталистическими странами? В этом был смысл 1968 года — так я его понимал и поэтому активно участвовал в политической борьбе. Я считал и до сих пор считаю 1968 год великолепным историческим экспериментом. И мне нечего менять в своем положительном отношении к 1968 году. Я уверен, что наше социалистическое общество должно будет в той или иной форме вернуться к 1968 году — иначе ему грозит постепенное отмирание. И это касается не только нашей страны.

Я являюсь гражданином этой страны и люблю ее народ. Я не стану делать ничего такого, что могло бы ему повредить. Я желаю нашей стране и ее народу, к которому принадлежу всем существом, уверенности в завтрашнем дне, желаю спокойного и свободного будущего. И мне хочется тоже участвовать в созидании этого будущего. Поэтому я нахожусь здесь, поэтому я не выбрал путь эмиграции, хотя у меня была такая возможность, да и в личном плане это было бы, возможно, легче для меня.

Я стою перед вами прямо и с чистой совестью. Как и 25—30 лет тому назад, я остался верен тем же идеалам и никогда не предавал их. Примите к сведению эту мою точку зрения, когда будете голосовать за мое исключение из партии и постарайтесь согласовать это со своим коммунистическим, национальным и интернациональным сознанием. И со своей совестью. Благодарю за внимание» (6.04.1970).

Я договорил и роздал текст своего выступления присутствующим.

Не было ни вопросов, ни комментариев. Потом все присутствующие подняли руки для голосования, и секретарь президиума сообщил мне, что я исключен из КПЧ. При этом смотрел так же, как и большинство,— куда-то в потолок.

Я ушел из зала с чувством освобождения и со свежей головой. В последнее время мне стало трудно оставаться членом партии. Я был рад, что с честью покинул эту организацию.

Утешение 1

После крупных чисток Президиум ЦК КПЧ провозгласил набор новых членов партии. При этом были обещаны награды трех категорий:

если кто-нибудь завербует одного нового члена партии, то в награду будет освобожден от уплаты партийных взносов;

если кто-нибудь завербует двоих, то в награду сам может выйти из партии;

а завербовавший трех новых членов получит справку, что никогда в партии не состоял.

Друг, рассказавший мне этот анекдот, добавил: «Тебе-то еще лучше! У тебя уже есть такая справка об исключении, причем от высокой инстанции».

Добровольное путешествие в Сибирь

Ленинград

Отдохнуть мне удалось только в самолете. Никто не обратил на меня внимания, никто меня не остановил. Через несколько часов я буду в Ленинграде. Оттуда — дальше, в Сибирь.

Весной 1970 года в Прагу пришли четыре приглашения. Советская Академия наук предлагала приехать на симпозиум в Новосибирск. Трое из приглашенных не могли ехать по политическим причинам. Даже поездка в СССР уже была нежелательной. Четвертый как раз находился в Дубне.

С августа 1968 года я избегал поездок в СССР. Я не мог себе представить, что буду вот просто так ходить по Москве и делать вид, будто ничего не произошло.

В июне 1970 года дело обстояло иначе. Поездки в СССР мне запретили, мне даже грозило увольнение с работы. И к тому же судьба нашей страны и ее будущее тесно связаны с судьбами нашего «старшего брата». Какое же там сейчас положение? Каковы перспективы? Что там изменилось после 1968 года? Директор института не разрешил мне поездку. Но не возражал против поездки личной, во время моего отпуска, на мои собственные средства.

Из Праги я вылетел как турист — навестить родных. В Ленинграде приземлялся

как гость советской Академии наук. Все было совершенно легально. И в самых совершенных правилах и ограничениях иногда бывают недосмотры. Но ведь не мне знать эти правила. Для этого существуют учреждения и пограничники. Я же занимаюсь физикой. Хотя бы пока.

24 часа в Ленинграде пробежали как одна минута, как, впрочем, и пять лет, которые я провел в этом красивом городе. Встречи с десятком лучших друзей, рассказы, дискуссии. Белые ночи и аллергия на советскую военную форму. И «Интурист», уличивший меня в наивности: из Ленинграда в Новосибирск иностранцы могут летать только через Москву. Прямой рейс им запрещен.

Экспресс «Красная стрела»

Итак, я очутился, усталый и невыспавшийся, в экспрессе «Красная стрела». Была полночь, и мне страшно хотелось спать. В купе для двоих (сюрприз номер один — нормальные купе рассчитаны на четверых) со мной оказалась красивая молодая девушка (сюрприз номер два). Я по-джентльменски уступил ей нижнюю полку, извинился и улегся спать. Девушка сидела и читала.

— Могу я у вас кое-что спросить? Вы ведь из Чехословакии? — (сюрприз номер три).

— Откуда вы знаете? — удивился я, уже почти не сомневаясь, что это провокация.

— На чемодане написан ваш адрес.

Так оно и было. Следующий вопрос заставил меня слезть с постели; я уселся возле нее, и мы начали длинный разговор. Когда мы закончили его, то короткая ночь уже пролетела, и на горизонте показалось солнце.

— Вы считаете нас оккупантами?

Провокация? Наивность? Невероятная случайность?

Я колебался, как ответить. И тогда я сам начал задавать вопросы и предоставил симпатичной собеседнице — согласно испытанным античным примерам — отвечать самой.

В конце концов девушка сама ответила на свой первоначальный вопрос и расплакалась:

— Я с самого начала так и думала, что мы оккупанты. Как это ужасно, как стыдно...

В Москве мы расстались, и я никогда больше не видел ее. Не знаю даже, как ее звали.

Социологическое исследование

Со времени разговора в поезде я начал делать заметки. Социологическое исследование, возникшее в результате моего десятидневного пребывания в СССР, было крайне интересным.

С 21 августа я говорил в общей сложности с 67 лицами. Из них трое одобряли военную интервенцию (таможенник, таксист, партийный секретарь); четверо не имели своего взгляда или же выражали сомнения, что могло бы случиться, если бы не интервенция, остальные же — 60 человек — однозначно осуждали оккупацию Чехословакии.

Уже хотя бы из-за этого стоило поехать в СССР.

Новосибирск

В Новосибирске стояла тропическая жара. Свободное время мы проводили на пляже Обского водохранилища («моря», как его гордо называют местные жители), простиравшегося до самого горизонта.

Я рассказал своим русским друзьям последний сибирский анекдот из Праги: оптимисты считают, что чехов отвезут в Сибирь; пессимисты считают, что им придется идти туда пешком.

Новосибирский вариант Сибири и те люди, которые нас там окружали, казались мне сносными. Но я не строил себе иллюзий...

Оказалось, что не я один приехал на симпозиум из Чехословакии. Я встретил там — удивление было взаимным — д-ра Адама из нашего института, приехавшего в Новосибирск из Дубны. За ним уже числилось несколько гадостей. Он рассчитывал на то, что с так называемыми «здоровыми силами» (а по-нашему — коллаборационистами) удастся поскорее сделать карьеру; за одну ночь он сменил свои взгляды, провел самокритику и начал действовать, проверять и выбрасывать людей с таким рвением, что вскорости заслужил себе кличку «злой красный карлик».

Ко мне пришел мой старый друг Г. Он слышал, насколько страшно обстоят дела у нас дома и в нашем институте. От кого? От Адама! Я не мог поверить своим ушам. Как? И Адам все это описывал и даже рассказал, что беспокоится о своей судьбе?

Потом я перестал удивляться. В конце концов это было логично. Адам знал политические взгляды большинства советских физиков. Если бы он начал рассказывать, что является членом комиссии по чисткам и что «нормализует» ситуацию, то советские коллеги перестали бы с ним разговаривать. И скорее всего — начали бы его опасаться. И вот он разыгрывает роль, представляется обиженным и преследуемым. Повышает свой кредит.

После моего приезда Адам на день куда-то пропал. Позже я узнал, что он звонил в Прагу. Как, мол, это так, что я очутился в Новосибирске? И пусть меня немедленно отзовут обратно!

В Праге, в ЦК, произошел переполох. Какая дерзость, какая провокация! Президент Академии наук Кожешник должен был немедленно представить в ЦК объяснение. Такового у него не оказалось. Он потребовал объяснения от директора моего института Шафраты. И тогда выяснилось, что я взял отпуск и указал в формуляре место пребывания: Сибирь.

Закулисные подробности этой истории мне неизвестны. Пражская Академия очевидно просила советскую Академию, чтобы меня немедленно отослали обратно. Советской Академии не хотелось в это ввязываться Такой поворот дела мог бы вызвать протесты среди многочисленных западных участников симпозиума. В конце концов, чтобы, как говорится, и волки были сыты, и овцы целы, организационный комитет симпозиума получил в последний день телеграмму из Москвы, над которой многие недоуменно ломали себе головы:

Организационному комитету
ядерного симпозиума

В случае присутствия на симпозиуме д-ра Яноуха необходимо иметь в виду, что он не представляет

интересов чехословацкой науки.
Интересы чехословацкой науки представляет г-н Адам.

Иностранный отдел
Академии наук СССР

Телеграмма пришла слишком поздно. Свой доклад я уже успел прочитать. А у Адама все равно ничего приготовлено не было.

Безработный

Увольнение

Меня вызвала секретарша директора. По ее голосу я почувствовал, что дело серьезное: надо немедленно прийти к товарищу директору.

Директор тоже выглядел серьезно. Из районного комитета партии и от президента Академии он получил распоряжение немедленно уволить меня с работы. Потом он немного разговорился. Сказал, что это исключительно из-за моей деятельности в институтском комитете партии и общественных организациях. Он, мол, надеялся, что до этого дело не дойдет, но моя поездка в Новосибирск была последней каплей, переполнившей чашу. Хоть я и получу полагающийся по закону двухмесячный срок до увольнения, но в институт — ни в библиотеку, ни на семинары отдела, который я создавал десять лет,— мне не будет больше доступа. Существует еще, мол, альтернатива. Правда, ее пока не одобрили, но он надеется, что смог бы добиться этого. А именно: я ушел бы с работы добровольно. По договоренности. Это облегчило бы мне поиски новой работы. С увольнением согласно § 46 абз. 1 Трудового кодекса у меня не будет никакой надежды найти какую-нибудь приличную работу.

Я отверг предложение директора уйти по собственному желанию как недостойное и трусливое, более выгодное для него, чем для меня.

После этого директор передал мне короткое письмо и попросил подтвердить его получение. В письме говорилось: «Уважаемый товарищ, поскольку Вы за прошедший период своей политической и общественной деятельностью наносили вред социалистическому строю и утратили доверие, необходимое для пребывания на занимаемой Вами должности, расторгаю трудовой договор между Вами и Институтом ядерной физики ЧСАН увольнением согласно § 46 абз. 1 Трудового кодекса 30 ноября 1970 года, с законным двухмесячным предупредительным сроком, начинающимся 1 октября 1970 года. Прошу Вас поэтому вовремя выполнить все формальности, связанные с окончанием Вашей работы в Институте ядерной физики. С приветом. Д-р Р. С. Шафрата, канд. наук, директор».

Я сказал директору и потребовал занести это в протокол, что с увольнением не согласен, что считаю его незаконным и оставляю за собой право принять против института соответствующие юридические меры.

Уже не для протокола я заметил своему коллеге, что удивляюсь его поведению: ведь дело становится серьезным. Сам я бы на его месте никогда не подписал такого приказа. Даже ценой ухода с директорского поста. Своей подписью на моем увольнении он начинает новый, опасный этап в нашей науке.

Директор защищался, утверждая, что ничего другого ему не оставалось делать. Потом он пожелал мне счастья и успехов. Я же пожелал ему не слишком сожалеть о своей подписи.

Весь отдел ждал меня в напряжении. Я показал им письмо директора. Люди передавали его из рук в руки в полной тишине. Ребята достали откуда-то бутылку красного вина. Настроение было паршивое. Я поднял тост за то, чтобы мое увольнение было последним (к сожалению, это оказалось не так). Мы сидели до темноты. Потом все пошли провожать меня к машине. А один мой словацкий аспирант принес и положил в машину три бутылки сливовицы (кто знает, где он так быстро их раздобыл). Как он сказал, особенно старой. Чтобы мне не было грустно — раз уж ничего другого нельзя поделать.

Мне было очень грустно. Тем не менее последнюю бутылку сливовицы мы выпили только через четыре года, в Копенгагене.

Копия письма о моем увольнении вскоре очутилась на Западе — понятно, не без моего содействия. Но я долго не знал, что мои друзья перевели его на английский язык и вместе с фотокопией оригинала разослали по сотням адресов — во все известные физические институты мира.

Профсоюзы

Я состоял членом профсоюза около 15 лет. Когда меня выгнали с работы, я написал письмо в эту организацию. В письме я спрашивал, не могли бы профсоюзы оказать мне помощь как безработному, а также дать мне правовой совет. Я просил также оплатить моего адвоката в случае, если я предъявлю иск к институту по поводу незаконного увольнения.

Ни на одну из моих просьб я не получил ответа.

Хорошо бы западным членам профсоюзов знать об этом, когда они ездят устанавливать дружеские контакты с нашими профсоюзами и обмениваться опытом,— думал я тогда.

Сегодня я хочу снова напомнить об этом членам западных профсоюзов: в Чехословакии на деле нет никаких профсоюзов. Есть только учреждение для организации отдыха и для регистрации несчастных случаев на производстве.

Утешение 2

Мы встретились в холле одной крупной пражской гостиницы. Он поинтересовался, как мне живется. Когда же я поведал, что меня выгнали с работы, то лицо у него посерьезнело и он сказал: «Со мной случилось то же самое 20 лет тому назад. Но вы не беспокойтесь, все обойдется. В худшем случае подыщем вам работу здесь, в гостинице. Только не теряйте хорошего настроения.— И добавил: — Господин доктор, когда вол мочится, то только муравей думает, что это потоп!»

Приглашение

В Прагу пришло письмо: Шведская академия наук писала Чехословацкой академии наук, что хотела бы пригласить меня приехать поработать в Швецию в качестве профессора.

Мне прислали копию этого письма, адресованного президенту Академии наук, Кожешнику. Из Академии наук долго не было никакого ответа. Вернее, ответа не было до тех пор, пока я формально числился ее сотрудником. После того как меня уволили, Академия наук отправила в Швецию письмо такого содержания: Чехословацкая академия наук сожалеет, что не может направить д-ра Яноуха в Швецию, поскольку он не работает в Академии наук.

Суд

Я предъявил иск к Институту ядерной физики по поводу незаконного увольнения с работы.

Адвокат, представляющий интересы института, вновь предложил мне перед судом изменить «увольнение» на «уход по собственному желанию». Институт даже соглашался в таком случае выплатить мне зарплату еще за несколько дополнительных месяцев. Я же высказал свое контрпредложение: на взаимную договоренность пойду лишь в том случае, если Академия наук разрешит мне уехать на несколько лет в Швецию. Тогда об этом перестали говорить.

Потом был суд. Казалось, у меня есть некоторые шансы выиграть этот процесс. Председателем суда была женщина, она вела первое заседание объективно. Адвокат института был не в состоянии назвать какие-либо причины, оправдывающие мое увольнение с работы. Последнее крайне важно. Закон требует, чтобы причины увольнения были четко сформулированы. В моем случае этого не было. Институт оказался не способен привести такие причины даже через четыре месяца после моего увольнения. И это несмотря на настояния институтского юриста. Заседание вынуждены были отложить.

Тогда в ход вступила классовая, или, вернее, кабинетная, юстиция. Заменили председательницу суда и вместо нее назначили «нормализованного» судью (кстати, тоже женщину). Последняя судила не по закону, а по желанию тех, сверху, из секретариатов.

Показания свидетелей были неубедительными и сбивчивыми. Например, меня обвиняли в том, что я пригласил в институт Вацулика и председательствовал на происходившей с ним дискуссии. Писателя Вацулика — добавила в протокол председательница суда. Она ошиблась: я пригласил тогда совсем другого Вацулика, в то время — члена Секретариата ЦК КПЧ, который пришел к нам по путевке районного комитета партии.

Долго расследовалось мое добровольное путешествие в Сибирь. Судья хотела использовать его как мотивировку моего увольнения. Я защищался: даже моего отца, работавшего на капиталистическом предприятии в буржуазной республике, не посмели выгнать с работы за то, что он в сентябре 1938 года предпринял частное путешествие в СССР.

В качестве свидетеля также пригласили директора моего бывшего института. Я застенографировал его показания:

Судья. Скажите, знал ли д-р Яноух Франтишека Кригеля? И как Яноух реагировал на вступление войск?

Директор. На это могла бы дать ответ партийная организация.

Судья. Вы бывали вместе на собраниях? Как выступал Яноух?

Директор. Я не часто бывал на собраниях. У меня были возражения против политики возрождения.

Судья. Мне кажется невероятным, что вы никогда не были вместе на собраниях. Защищал Яноух политику Дубчека?

Директор. Он активно выступал на большинстве собраний.

Судья. Вы не конкретно отвечаете на вопросы. В то время открылись все шлюзы, повсюду много говорили, критиковали минувшие ошибки, спорили о многопартийной системе. Слышали ли вы, как Яноух говорил об этом?

Директор. Затрудняюсь сказать. Возможно.

Судья. Это нам ничего не говорит, нам не нужны предположения...

Директор. Было много всякого. Яноух председательствовал в общеинститутском комитете — конкретно я, однако, ничего не помню.

Судья. Господин доктор, как ученый вы могли бы иметь память получше.

Директор. К сожалению, память у меня плохая.

Последовало еще несколько судебных заседаний. И были они примерно в том же духе. Судья изо всех сил старалась вытянуть информацию из свидетелей и из институтских источников.

Наконец, суд счел, что материалов достаточно, и после четырех заседаний и полугодового разбирательства подтвердил правомочность моего увольнения с работы. Как всегда, это было сделано «именем республики». Настоящий анахронизм. Ведь в то время никакой республики не существовало: мы были обычным советским протекторатом.

Прокурор

Мы стояли в коридоре пражского районного суда. Суд как раз должен был вынести решение насчет моей работы — законно меня выгнали или нет.

Рядом со мной стоял пожилой господин, как оказалось — прокурор. Ему вменялось в обязанность наблюдать за моим судебным процессом. И вдруг так получилось, что мы остались в коридоре только вдвоем. И тогда прокурор произнес несколько таких слов, что я буквально опешил: «Господин доктор, происходит что-то ужасное... Но я вам завидую. Вы хоть и можете проиграть ваш процесс, но зато знаете, что боретесь за справедливое дело».

Лицо прокурора снова стало непроницаемым. Вскоре он ушел. А я никак не мог понять, что же это означало: протест, смелый поступок или же лишь судорожное желание хотя бы перед самим собой сохранить лицо и право смотреть в глаза собственным детям?

Формы

Четырехлетняя Зузанка вышла с матерью и братом на прогулку. У тротуара стояло

несколько автобусов, из которых выходили люди в военной форме.

— Смотри, мама, сколько тут иванов[1]...— сказала с неприязнью и страхом маленькая Зузанка.

— Ах ты глупая,— вмешался в разговор ее восьмилетний брат Давид,— это не иваны, это полицаи!

Старший брат оказался прав. В автобусах приехали дежурные подразделения службы безопасности. Но поколению, выраставшему после августа 1968 года, было все равно — отвращение к любой форме было у него в крови. Точно так же, как мое поколение питало отвращение к серо-зеленой форме вермахта.

Не геноцид, а погром

Британский журнал «Нью сайентист» опубликовал статью о положении чехословацких интеллектуалов. Положение это в ней называли геноцидом.

Десять чешских официальных интеллектуалов откликнулись на это. Они написали открытое письмо редактору журнала и опубликовали его в профсоюзной газете «Праце». В письме утверждалось, что никто не потерял работу, никого не преследовали за взгляды или как-нибудь еще. Начиналась мода на открытые письма.

Тогда и я написал ответное открытое письмо. В нем я спрашивал: неужели авторам неизвестно ничего о том, что были сняты все директора академических институтов? Неужели им неизвестно, что с работы были выгнаны десятки научных работников в области общественных наук? И неужели они не знают, что исключенные из КПЧ не имеют права работать в научно-исследовательских институтах?

Я соглашался с авторами открытого письма только в одном: что слова «интеллектуальный геноцид» слишком сильны. А вот слова «погром, направленный против ученых и интеллегенции», гораздо лучше, полнее и точнее характеризуют современную чехословацкую действительность.

«Праце» не опубликовала мое письмо. Не появилось оно и в других газетах. Зато оно было с некоторым опозданием напечатано в лондонской «Таймс», в ноябре 1970 года.

Сегодня я сожалею, что написал тогда такое письмо. «Нью сайентист» оказался прав. Это был не погром, а геноцид.

Переводчики

Нам приходилось зарабатывать на жизнь всем чем угодно. Но больше всего — переводами. Переводчиков с чешского на русский было мало, особенно по техническим и научным специальностям. Работа наемного переводчика крайне утомительна. Он должен быть ко всему и всегда готов: приходится работать по субботам и воскресеньям, иногда — по ночам; кроме того, постоянно дрожать, что его могут выгнать из Союза переводчиков. И конечно — вечное беспокойство: будут ли следующие заказы..

Человек в таких условиях приобретает сноровку переводить все что придется. Некоторые переводы мы писали непосредственно на восковку — это оплачивалось лучше. Один раз мы с женой перевели, примерно за три недели, более 600 страниц технического проекта пражского метро, трассы 1 А 1. Проект сдавали в самую последнюю минуту, его должны были предложить на рассмотрение советским экспертам. Мы работали по 16 часов в день. Пальцы у нас буквально опухли от печатания — каждый новый удар вызывал острую боль.

До сегодняшнего дня помню все названия станций пражского метро и геологический состав трассы, а также предложенную технологию.

Нам было запрещено переводить только те части проекта, которые касались ОСМ — Оборонной системы метро. Другими словами — тех частей пражского метро, которые должны были одновременно служить бомбоубежищами. Это было страшной тайной. И лишь в результате явного недосмотра я нечаянно узнал, что «на станции Кларов будут в ОСМ созданы две уборные. Одна из них будет использоваться также в мирное время».

Шоколадная фабрика в Модржанах заключила договор о дружбе с советской шоколадной фабрикой. В Москву полетели разные обязательства, письма, документы. Директор модржанской фабрики захотел похвастаться перед советским коллегой своей лихорадочной деятельностью. И вот мне принесли для перевода на русский язык его календарный план деятельности за один месяц — по дням, часам и даже минутам. Это оказалось очень поучительным чтением. Директор проводил на фабрике примерно 12 часов в день, с 5—5.30 утра до 17.00—19.00 вечера, причем большую часть времени — на собраниях. Тут были собрания партийные, профсоюзные и молодежные, гражданской обороны, общества дружбы с СССР, собрания бригад социалистического труда, заседания районного комитета партии, заседания в министерстве и производственные совещания.

Мне было жаль беднягу. Даже тонны шоколада, которые ежедневно производила его фабрика, были не в состоянии подсластить его жизнь. После этого даже начинаешь ценить, что ты безработный.

В Москве происходила конференция по кредитной политике. Мне в спешке принесли для перевода несколько рефератов. Один из них особо привлек мое внимание. Некий господин Пенкава, директор исследовательского института, писал о многосторонних кредитах. В качестве примера он приводил постройку транзитного газопровода через территорию ЧССР, по которому газ должен был перегоняться в Западную Германию и Германскую Демократическую Республику. Это была самая крупная стройка пятилетки. СССР и ГДР дали нам грандиозные кредиты. Мы же должны будем рассчитываться за них обслуживанием транзитного газопровода и поставками труб в СССР.

Я был сбит с толку и позвонил автору. Тот подтвердил, что текст правильный.

А я, наивный мечтатель, думал, что транзитный газопровод для своего газа СССР построит сам, собственными средствами,

[1] Иван — презрительная кличка советских солдат после оккупации ЧССР.

и будет хорошо платить нам за аренду земли и за разрешение переправлять по нашей территории газ в Западную Германию — с целью получить западную валюту, которая ему так нужна. Говорят, что так это сейчас делают компании вроде «ЭССО» или «Шелл» на Ближнем Востоке. Ну да ведь то компании империалистические...

Директор

Мы встретились как-то раз вечером, на вокзале. После того как московский скорый поезд ушел, он обратился ко мне со словами:

— Знаешь, у меня по отношению к тебе совесть нечиста. Я уволил тебя с работы по приказу президента Академии наук. Понимаешь, он просто позвонил мне по телефону... Я мог притвориться, что никакого звонка не было. Ведь для увольнения других мне присылали письменные указания...

Все равно мое увольнение ему ни в чем не помогло. Он уже тоже не был директором. К тому же стоял вопрос о его исключении из партии. А может, и о его увольнении с работы.

Он был подавлен. Мне даже стало немного жаль его — он оказался в одиночестве. «Здоровые силы» отвергли его, для них он был слишком мягким и нерешительным. Его даже упрекали, что и со мной он поступил слишком мягко. А такие, как я, тоже не искали его общества: ведь его фамилия стояла на многих приказах об увольнении.

На должность директора его привела философия всех коллаборационистов или же людей со слабым характером. Он дал убедить себя, а может, и сам себя убедил, что если не он, то кто-нибудь похуже станет директором... Он не понимал, что приспособленчество и оппортунизм никогда не вели ни к чему хорошему в нашей истории. Они лишь помогали вершиться злу и поддерживали насилие.

Вскоре после моего увольнения директор поехал в Англию, в командировку. Это была не первая его поездка: несколько лет тому назад он провел в Англии довольно длительное время, заимел друзей. И вот на этот раз друзья не интересовались им, не проявляли желания встретиться, находя для этого десятки различных оправданий. Он никак не мог понять, в чем дело. Наконец, один бывший знакомый объяснил ему это «странное» поведение: вытащил из ящика письменного стола фотокопию моего увольнения, а потом спросил директора, не его ли подпись стоит на этом документе, правилен ли перевод. Все было правильно. «Теперь не удивляйтесь, что я не хочу с вами разговаривать»,— заметил бывший знакомый.

Там же, в Англии, директор получил несколько писем, содержавших такую же ксерокопию моего увольнения — увольнения по политическим мотивам. Одно из писем пришло от его очень близкой приятельницы — вместо ожидаемой встречи с ней.

О времена! О нравы!..

Однажды я получил конверт с препринтами из французского ядерного центра в Сакле. Этот конверт был отправлен из моего бывшего института в Ржежи на мой домашний адрес. Конверт был подозрительно толстым — в нем кроме нескольких препринтов оказалась служебная корреспонденция местного народного комитета в Ржежи... о детских садах.

Расследование, проведенное полицией в Народном комитете, не установило, каким образом служебная корреспонденция попала из Ржежи в Сакле, что лежит под Парижем. И почему эту корреспонденцию оттуда послали мне?.. Лично у меня было объяснение, но они почему-то не захотели его принять. Однако стали несколько осторожнее.

Осенью 1970 года я отправил четыре заказных письма: Л. Арагону, К. Х. Германссону, Дж. Голлану и Дж. Боффе [1]. Причем отправил с уведомлением о вручении. Но уведомление ко мне не вернулось. Письма, в которых я рассказывал о положении чехословацкой интеллигенции и о моем личном положении, не дошли до адресатов. Тогда я начал выяснять, что же случилось. Вскоре обнаружилось, что все они таинственным образом исчезли. Поскольку цензура запрещена нашей конституцией, я должен был допустить существование банды преступников, которая контролирует и ворует корреспонденцию. Но черт с ней, с бандой,— я забыл о письмах.

И вдруг я получаю четыре почтовых перевода — компенсацию за пропавшие письма всем четырем адресатам. Всего 1440 крон! Для меня, безработного, это было целое состояние! Время было как раз перед Рождеством, я накупил детям апельсинов и сладостей, принес домой и сказал: «Это вам посылают дяди Арагон, Голлан, Германссон и Боффа!»

Потом я стал раздумывать: вознаграждение за шесть таких потерянных писем каждый месяц могло бы обеспечить наш прожиточный минимум. Я не должен был бы заботиться о хлебе насущном и смог бы снова заняться физикой.

Я сделал копии пропавших писем и снова отправил по тем же адресам. Вскоре уведомления о вручении возвратились ко мне. Неужели письма дошли благополучно?

Загадка скоро разъяснилась. Из Рима пришла открытка, написанная по-русски. Джузеппе Боффа (журналист из газеты «Унита») писал мне: «Я получил Ваше заказное письмо от 9.12.1971. В нем находились туристические рекламы и английский перевод бюллетеня ЧТК [2] об индо-пакистанской войне, изданный 15.12.1971. Интересно!»

Это действительно было чрезвычайно интересно. Словно кто-то на почте хотел дать мне в руки доказательство, что версия рассеянного профессора тут ни при чем: ведь 9 декабря я еще не мог знать, что случится на индийском фронте 15 декабря!

Дирекция международных почтовых перевозок расследовала все это дело. Более чем через год я получил оттуда письмо, в котором говорилось: «Мы снова разыскивали Ваше письмо от 9 декабря 1971 года. Но, как ни странно, не получили от итальянской

[1] К. Х. Германссон — председатель левой партии — коммунисты Швеции в 1964—1975 гг.; Дж. Голлан — генеральный секретарь компартии Великобритании в 1956—1975 гг.; Дж. Боффа — итальянский историк и журналист.

[2] Чехословацкое агентство печати. *(Прим. перев.)*

почты никакого ответа... Сожалеем, что не можем дать Вам более конкретной информации, и надеемся, что такие, достойные сожаления, случаи не будут больше повторяться. Если бы это все же произошло, то мы рекомендуем потребовать от адресата переслать Вам обратно не только конверт, но и все его содержимое, и затем немедленно передать все это нам».

Подобные истории повторялись. В нескольких случаях я узнавал об этом по телефону от заграничных друзей. Однако письма с замененным содержимым никогда не доходили ко мне обратно. Даже когда их посылали заказными. Компенсацию в последнем случае получали мои друзья на Западе.

Таким образом, я потерял еще одну иллюзию, что безработный может существовать на вознаграждение за потерянные заказные письма. Потому что, как однажды было сказано мне в ЦК, цель — наказывать нас, а не вознаграждать, например, поездкой за границу или компенсацией за пропавшие заказные письма.

Не доглядели...

Жене позвонили из Отдела переводов и попросили срочно сделать один перевод на русский язык. Когда человек без работы, то он на все согласен и ни от чего не отказывается.

Прошло совсем немного времени, и к нам пришла сотрудница из Министерства... внутренних дел. Нужно было перевести статью об идентификации различных типов клея. Она обещала хорошо заплатить — это, мол, для конференции в Москве. Потом она вынула из сумки небольшую рукопись:

— Могли бы вы перевести еще один текст?

Я не поверил своим глазам: это была тайная инструкция, как идентифицировать по шрифту пишущие машинки. Стало быть, инструкция, как задушить чешский самиздат.

— За это мы вам не можем заплатить, но зато заплатим больше за первый перевод.

Я был почти уверен, что это провокация. Оказалось — нет. Заплатили очень неплохо и вскоре обратились к нам еще один или два раза. Качество переводов им очень понравилось.

Мы тоже были довольны. Инструкция содержала ценную информацию: например, чего надо всячески избегать.

Потом они перестали пользоваться нашими услугами. Видимо, правая рука узнала, что делает левая, и кто-то, наверное, получил хорошенько «на орехи».

Я вскоре забыл обо всем этом, но мне это напомнили в Рузине на одном из допросов.

— Что было бы, господин доцент, если бы «Штерн» по какой-то случайности узнал, что мы вам даем работу и платим за нее деньги? Что сказали бы ваши друзья дома и на Западе? Знаете, эти переводы...

Я усмехнулся и сказал:

— Вы только теперь узнали об этом? Много же вам понадобилось времени! Можете спокойно сообщить это «Штерну». Мои друзья дома и на Западе уже знают. На всякий случай я их сразу же проинформировал, думал, что это — провокация, а не плохая координация.

Нормализация 2

Молодые преступники

Как легко было нарушить закон!

Трое молодых людей — двое юношей и девушка — отправились 6.11.71 года в Малостранский винный погребок, посидеть, поговорить и выпить вина. По молодости лет и неопытности они забыли о том, что это было как раз в канун годовщины Октябрьской революции, и, кроме того, приближались первые после оккупации выборы. Власти нервничали, полиция объявила боевую готовность.

В полночь молодые люди возвращались домой. На Малостранской площади движение было закрыто — тогда они пошли пешком к Кларовой площади. Площадь тоже была раскопана: ночная смена меняла трамвайные рельсы. Старые рельсы и шпалы лежали на тротуарах. Молодые люди пошли по траве, через парк. В темноте они обо что-то споткнулись и упали.

А теперь цитирую документ:

Районный прокурор Праги-1 обвиняет

Б. Б.

1946 г. рожд., фрезеровщика, прож. по адресу...

И. К.

1946 г. рожд., техника, прож. по адресу...

в том, что они

дня 7.11.1971, в 01 час. 45 мин., в Праге-1, пинали ногами трос, с помощью которого был укреплен предвыборный стенд с лозунгом «Совместными усилиями выполним задания XIV съезда КПЧ!», установленный в парке Кларовского района. Весь стенд при этом качался и мог упасть. Таким образом, они проявили неуважение к нашему обществу и допустили грубое хулиганство в общественном месте.

Тем самым они совершили уголовное преступление, а именно — хулиганство, согласно § 202, абз. 1 Уголовного кодекса...

Обоснование приговора

...в 01 час. 45 мин. 7.11.1971 двое работников службы безопасности района «Мала страна», Йозеф Шимек и Ярослав Несвадба, дежурившие в зоне «Кларов», заметили, что обвиняемые Б. и К. бегут от Манесова моста, через парк, к предвыборному стенду с надписью «Совместными усилиями выполним задания XIV съезда КПЧ!», который стоял посередине парка. Обвиняемые подбежали почти одновременно к стенду, и Б. стал ногой пинать один из тросов, причем так, что стенд закачался и мог упасть. Обвиняемый К. подбежал к другому концу стенда, но споткнулся о трос, на котором был укреплен стенд, и упал на землю. Работники службы безопасности, наблюдавшие поведение обвиняемых с расстояния примерно 10—15 метров, воспрепятствовали дальнейшим действиям обвиняемых и доставили их в районное отделение службы безопасности.

Обвиняемые полностью отрицали свои преступные действия и уверяли, что через парк они вынуждены были идти потому, что на тротуаре лежали трамвайные рельсы и что они просто споткнулись о тросы, на которых был укреплен стенд с лозунгом.

Показания обвиняемых опровергаются показаниями свидетелей Йозефа Шимека и Ярослава Несвадбы, которые утверждают, что обвиняемые могли идти по тротуару, поскольку тротуар был лишь частично завален рельсами, и что они видели, как обвиняемый Б. т р и ж д ы ударил ногой по тросу предвыборного стенда, причем так же собирался действовать и обвиняемый К. ...

...обвиняются в том, что в общественном месте пинали агитационный стенд и тем самым совершили грубое и непристойное деяние, несущее все признаки уголовного преступления, а именно — хулиганства, согласно § 202/1 Уголовного кодекса. Опасность этого поступка для общества возрастает еще и потому, что он был совершен в предвыборный период. Своим поведением обвиняемые продемонстрировали отрицательное отношение к нашему обществу. Поэтому обвинение предъявлено на вполне законных основаниях.

Прокурор Праги-1
Болеслав Вечай

Районный суд в Праге-1, как и следовало ожидать, осудил обоих молодых «преступников»: Б. Б. был приговорен к лишению свободы, а Й. К. осужден условно.

Где же ты, справедливость? Как могли два свидетеля — полицейские — на большом расстоянии, в неосвещенном парке, в и д е т ь, к а к х о т е л действовать обвиняемый К.?

Молодые «преступники» обжаловали приговор. Городской суд оказался более милосердным и освободил их. Председательница сената приняла во внимание медицинское свидетельство, в котором говорилось, что у обоих обвиняемых на голенях ног были синяки, причем точно на высоте троса, поддерживавшего стенд с лозунгами. Освобождение мотивировали маловероятностью того, что обвиняемые намеревались повалить стенд, пиная его голенями. Стенд был высотой 4 метра и 10 метров длиной, а толщина троса была около сантиметра!

Тайна исповеди

Как-то вечером ко мне зашел М. Он вытащил из кармана бумажку, на которой были записаны номера легковых машин.

— Меня посетил один священник. Я знаю его уже ряд лет. Он сообщил, что к нему пришел на исповедь незнакомый полицейский и покаялся, что в машины с этими номерами должен подложить антигосударственные материалы.

Священник нарушил тайну исповеди и нашел путь к нам, к тем, что на другом берегу, к бывшим коммунистам.

Среди номеров машин оказался и мой, да еще номера других моих знакомых.

Изменив версию, мы осведомили министра внутренних дел, что знаем о готовящейся провокации. Наверное, поэтому ее вовремя отменили.

Плита

Ада захотела сменить газовую плиту. Наша была старой, уродливой, и, кроме того, в последнее время мы чувствовали утечку газа. Но порядок был таков, что плиту должен был сначала осмотреть мастер, написать заключение, и только потом жилищное управление принимало решение о замене. И вот мастер пришел, осмотрел плиту, покачал головой и сказал:

— Раз уж вы ждете ребенка, то я вам выпишу. А вообще-то могли бы и сами купить себе новую плиту...

— Не могли,— сказала Ада.— Муж у меня безработный...

— Безработный? По политическим причинам? С этого, милая, и надо было начинать. Я бы вам сразу три плиты выписал.

В осаде

Приближались выборы. Но мы чувствовали себя пока в безопасности.

Так было до тех пор, пока я не заметил красную «симку», следовавшую за мной. Она даже проехала на перекрестке на красный свет. И не послушалась нервных полицейских свистков. Ну и водитель — наверное, какой-нибудь пижон, подумал я.

Ту же самую «симку» я увидел за собой вновь примерно через час. И обратил внимание, что она остановилась возле патрульной машины. Та вскоре обогнала меня и приказала остановиться: проверка документов и технического состояния машины.

— Откройте багажник!

Почему?

— Мы хотим проверить, есть ли у вас запасное колесо и полагающийся инструмент.

— В «рено» для этого место не в багажнике, а впереди, возле мотора.

— Есть у вас аптечка?

Была и таковая — внутри, в машине.

Спрашиваю:

— Речь идет о техническом контроле или об обыске машины? Покажите мне ордер прокурора!

На их лицах отразилась неуверенность. Мне разрешили ехать дальше. Но слежка продолжалась. Машины время от времени менялись. Это были «шкоды», «саабы», «симки», «фиаты», «Волги» и «Татры-603».

Отделаться от них оказалось невозможно. Они вызывающе стояли прямо перед нашими окнами. Днем и ночью. И так продолжалось четыре-пять дней.

Мы чувствовали себя словно в осажденной крепости или как руководители правительства с личной охраной.

Они сопровождали меня повсюду: в магазин, на факультет, в библиотеку. Только в специальную профессорскую библиотеку их не пустили: чтобы попасть туда, нужны были академические звания.

Я решил установить с ними контакт. Рано утром я постучал в окошко их машины и подал бумагу со своей программой на день. Мне хотелось облегчить им работу.

Это им не понравилось. Мол, пусть забочусь о своих делах.

«Я и так забочусь,— сказал я.— О государственных средствах. Мне хочется их малость сэкономить».

На другое утро у меня созрел новый план.

«Сегодня я оставлю машину дома, и вы будете возить меня. Выгодно вам и мне»,— обратился я к ним.

Но они не согласились. А господин, следовавший в двух шагах за мной, тоже не хотел согласиться на мое предложение — идти рядом и разговаривать.

Только один раз мне удалось отделаться от них: я надел другой плащ, сменил шапку и пошел с коляской на прогулку. Сыну Эрику было тогда девять месяцев. Мы прошли мимо двух оперативных машин. Сидевшие в них топтуны не обратили на нас никакого внимания. Эрик с младенчества приобретал первый опыт в обращении с полицией. Неплохая школа!

На прогулке мне удалось несколько раз позвонить по делу из телефона-автомата. Возвращаясь, я снял шапку и, поравнявшись с машинами, поздоровался с топтунами. Я видел, как они остолбенели от удивления.

На следующее утро меня сопровождали две «Волги» и одна «Татра-603». Я ехал в пражский район Голешовице. Одна машина ехала передо мной, а две другие — сзади. Всего в них сидело шестеро штатских. Самого «неприметного» вида.

На мосту я заметил лимузин Гусака — он ехал из своей резиденции на работу. В его «Татре-603» были занавесочки, но сопровождала ее всего одна машина. Охранников в ней тоже было меньше.

Несмотря на всю напряженность обстановки, я вдруг почувствовал удовлетворение: по количеству приставленных ко мне охранников я переплюнул даже первого секретаря!

Через несколько дней вся эта комедия кончилась: машины исчезли незадолго до полуночи и рано утром уже не появлялись. Мы напрасно глядели в окно, дожидаясь их возвращения.

Одновременно с облегчением было и некоторое разочарование: мы их больше не интересуем!..

«Дежурный» портфель

В нашем Уголовном кодексе сказано, что при аресте или задержании человек может оставить себе предметы и литературу, которые оказались при нем. Конечно, если они не слишком крамольные.

Опытные «преступники» подтвердили мне, что так оно и есть на самом деле.

Поэтому с ноября 1971 года я завел себе новую привычку: выходить на улицу только с портфелем. В нем лежало небольшое полотенце и умывальные принадлежности, чистая тетрадка, одна книга по математике и одна — по теоретической физике (у меня никогда не хватало времени прочитать их на свободе), свод законов и учебник итальянского языка.

Позже, когда атмосфера начала сгущаться, я не выходил из дому без этого портфеля даже утром, за молоком. Наша полиция очень любила арестовывать людей прямо на улице — так называемый «момент неожиданности».

Меня задерживали дважды или трижды. И очень успокаивало, что есть с собою пара книг. Я принял твердое решение объявить голодовку и не отвечать ни на какие вопросы, если у меня попытаются их отобрать.

Если при этом меня заставляли ждать, я вынимал книгу и старался сосредоточиться на какой-нибудь математической задаче. Потому что нет ничего хуже, чем ожидание допроса: каков он будет? Что они знают? И выпустят ли вас? И наконец: что им от вас нужно?

Мое чтение раздражало их. И наверное, поэтому мне никогда не приходилось долго ждать.

Пражские стоянки

На стоянках мне, как правило, платить не приходилось. Обслуживали их мои знакомые: редакторы, доценты и профессора, партийные деятели, дипломаты, писатели и бог знает кто еще.

Приятно бывало перекинуться несколькими словами, сообщить последние новости, рассказать какой-нибудь свежий анекдот. Мы старались поддерживать друг друга морально.

Когда я пытался платить, то знакомые сторожа обычно отказывались взять деньги: ведь не станут же они брать последнее у безработного!

Не знаю, как обстоит дело сегодня. Но я слышал, что дирекция пражских автомобильных стоянок получила распоряжение провести строгую проверку кадрового состава своих служащих.

Полиция

Нарушение правил движения

Как-то я поехал на машине на заседание Физического общества, происходившее в Белых Карпатах, на север от Братиславы, в Словакии. Несмотря на то что я уже был полтора года безработным, словаки не обращали на это внимания и продолжали меня приглашать. Я шутил, что они делают это в благодарность за Новомеского [1], получившего в начале 60-х годов работу в Праге, хотя в Словакии в то время он был все еще в черных списках.

Перед Братиславой, на ровном шоссе, я поехал немного быстрее, чем позволяли дорожные знаки. Меня остановила полиция и, как обычно, потребовала предъявить водительские права и паспорт. Я не отрицал, что превысил скорость, поэтому их внимание было сосредоточено на моих документах.

— Господин доктор, почему у вас в паспорте не отмечено место работы?

— Я — безработный.

— Как это понимать?

— А так — меня выгнали с работы.

— Со столькими титулами? Ядерного физика?

— Да. Я искал работу примерно в двадцати местах, но меня нигде не хотят принять.

— Это вам напортил шестьдесят восьмой год? Вы были дубчековцем?

Я кивнул.

— Черт знает что творится,— сказал один из полицейских.— Таких людей выбрасывают с работы...

Он вернул документы; второй пожал мне руку со словами:

— Можете ехать дальше. Будьте осторожны. Желаем вам счастья...

---

[1] Лацо Новомеский — словацкий поэт; в политических процессах 50-х годов был приговорен к пожизненному заключению.

Автостоп

Однажды, когда я ехал в Южную Чехию, на шоссе проголосовал и остановил мою машину молодой человек, оказавшийся работником органов безопасности. Он ехал автостопом в том же направлении, что и я, а у меня была пустая машина. Вскоре он разговорился. Он был из дежурного полицейского полка, из казармы в Карлине.

Я спросил, что привело его в органы. Он ответил, что это дает ему возможность избежать призыва в армию и через полгода он начнет получать приличную зарплату — почти три тысячи. Он принадлежал к новому поколению прагматичных циников.

Его философия была несложной: если я этого не сделаю, то сделает кто-нибудь другой. Полицейские нужны всегда. Сегодня еще больше, чем когда-либо.

Я спросил, думают ли так остальные, вступившие на этот путь.

— Да,— ответил он,— так думают все. Ни у кого нет никаких иллюзий и идеалов.

И он рассказал несколько случаев из жизни. Один особенно заинтересовал меня: ночью в казарме объявили тревогу. Его отделение получило задание поймать советских солдат, сбежавших из своего полка, где-то в районе Западной Чехии. Они украли газик и отправились в нем на Запад. В Праге, на Карловой площади, они потерпели аварию и теперь пытались уйти пешком.

— Вы бы видели, с каким азартом наши ребята их ловили! А когда мы их поймали, то русский майор, приехавший за ними, сказал нам, что их расстреляют.

— И вам не жалко было их?

— Ничуть. Им тут нечего делать. Только прибавляют нам работы...

Да, не завидовал я в тот момент д-ру Гусаку с его дежурными полицейскими полками. Скорее, мороз пробежал у меня по спине. И я был рад, когда мой случайный попутчик наконец покинул меня.

Наркоз

Интересную историю рассказал мне один адвокат:

«Меня пригласили в Рузиньскую тюрьму на допрос одного моего клиента. Молодой работник органов ввел меня в комнату. Моего клиента еще не было на месте. Мы разговорились. Он спросил, почему я хромаю.

— У меня была флегмона. Пришлось сделать операцию.

Он заметил, что у него недавно тоже была подобная операция. Пришлось вынести страшную боль.

— Как? Разве вам не дали наркоза? — удивленно спросил я.

— Вы думаете, я позволю, чтобы мне дали наркоз, да еще в районной больнице? Ведь там все знают, что я работаю в органах безопасности!

Он был еще молод и не мог иметь ничего общего с преступлениями 50-х годов. Но все же на нем уже лежала «каинова печать» организации. в которой он работал. И его мучил связанный с этим внутренний страх».

Дружба

Солидарность

Все мои попытки найти новую работу кончались неудачей. Ряд институтов, в которые я обращался, хотя и проявляли сочувствие, но каждый раз отказывали мне по приказу партийных органов.

Однажды я написал письмо нескольким известным мне советским академикам [1], где описывал положение безработного физика и просил их совета и, если понадобится, помощи. В ответ пришло два письма. Первым ответил академик Андрей Сахаров. Вот полный текст его письма:

Дорогой товарищ Яноух!

Вы, очевидно, забыли вложить письмо в конверт, который я получил пустым.

С уважением А. Сахаров,
10.01.71 член Комитета прав человека

Я ответил академику Сахарову, что письмо было вложено в конверт. Сейчас посылаю его копию и буду посылать до тех пор, пока он не получит письмо.

Потом пришел очень сердечный ответ от профессора М. Леонтовича: он обсуждал со своими друзьями различные возможности помочь мне, но устройство на работу совершенно нереально.

Наконец пришло и второе письмо от А. Сахарова:

Дорогой Франтишек Яноух!

Я получил Ваше письмо от 15 января вместе с копией первого письма. Простите, что не ответил сразу, но я был последнее время очень занят... Я узнал, что Леонтович предпринимает определенные шаги, чтобы помочь Вам... Если Ваша ситуация не улучшится, то напишите мне снова. Начнем обдумывать дальнейшие шаги.

С уважением
10.03.71 Андрей Сахаров

Контрреволюция

Как-то я посетил академика Вихтерле. Он уже не являлся директором института, который был его детищем; с работы его, однако, пока еще не выгнали. Его патенты приносили республике миллионы долларов.

Он вышел меня проводить.

— Знаете, кто у нас в институте вахтером? Инженер Сынек. Учился в Москве. Потом работал в ЦК.

Я дополнил его сведения:

— Да, я его знаю. Его отец и дядя были известными коммунистами, их казнили нацисты во время войны. Это в их честь названа площадь имени Братьев Сынек в Праге.

Академик Вихтерле посерьезнел:

— Не победила ли у нас все же контрреволюция?

Первый допрос

Человек нервничает, словно идет на первое свидание с девушкой. Мое первое кре-

[1] Письмо было отправлено академикам Арцимовичу, Боголюбову, Зельдовичу, Леонтовичу, Понтекорво, Сахарову, Тамму и Флерову. В несколько другой версии его получил также академик Фок.

щение происходило на Бартоломейской улице. Из-за подписи под петицией в защиту Владимира Шкутины[1].

Господа попались приличные и всего-навсего хотели знать, кто дал мне подписать петицию.

Отвечал я стереотипно, что право петиций гарантируется Конституцией и что они имеют право расследовать только преступления. Подпись же под петицией к таковым не относится.

Меня информировали, что петиция была опубликована на Западе.

— Не думаете ли вы теперь, что это преступление?

Для того они и существуют, чтобы знать, отвечаю. Я всего лишь физик. Я вытащил Конституцию и стал цитировать оттуда.

Господин следователь рассердился:

— Одалживаете ее друг у друга!..

Неправда — это был мой собственный экземпляр.

Поскольку меня вызвали на свидетельский допрос, я находился под присягой и поэтому мог понести ответственность за дачу ложных показаний.

— Кто дал вам подписать петицию и кто отправил ее на Запад?

На первый вопрос я ответил, что не помню (слабая память сама по себе пока не является преступлением), а на второй — что не знаю. Все это занесли в протокол и дали мне его подписать.

Выйдя на улицу, я вздохнул свободно. Разве знаешь наперед, что может прийти им в голову...

Беззубая революция

Памяти д-ра Е. Кёнига

Он был лучшим из всех зубных врачей, встреченных мною когда-либо. Сделанные им коронки и пломбы служат мне до сих пор, хотя прошло уже более четверти века.

Сам он был родом из Братиславы, говорить по-чешски так никогда как следует и не научился: путал слова, падежи, ударения, произносил отдельные слова то слишком мягко, то слишком твердо. Но руки у него были золотые.

После войны он работал зубным врачом в правительственной клинике. Он делал вставные челюсти и лечил зубы Сланскому, Готвальду, Геминдеру и всем остальным — крупным и мелким политикам.

В 50-е годы его стали считать подозрительным из-за еврейского происхождения — пломбирование зубов революционных кадров доверили более «надежным» лицам.

В конце концов, после долгих мытарств, ему удалось устроиться зубным врачом в студенческой поликлинике, в Праге. Но поскольку лечение зубов зависит не столько от безупречности анкеты, сколько от таланта, то к нему начали возвращаться старые пациенты. В его маленькой приемной можно было встретить партработников, бывших и будущих министров, профессоров, академиков, послов, актеров и художников. Для обслуживания студентов времени оставалось меньше, чем полагалось, но никто не обижался. Зубы к нему ходил лечить даже заместитель министра здравоохранения.

После оккупации, в 1968 году, и после крупных чисток положение его еще более усложнилось. Его выкинули из КПЧ, но очереди в приемной от этого не уменьшились. Однако все было уже не так, как в либеральные 60-е годы. Врач старался, чтобы в его приемной не встречались «нормализаторы» с «нормализованными», исключавшие — с исключенными. Но это не всегда удавалось.

Наше знакомство перешло постепенно в дружбу. Он тяжело переживал мои неприятности, боялся за меня, уговаривал вести себя разумно. Позже я почувствовал, что его самого мучает страх. Хотя ему было более шестидесяти, он мог уйти на пенсию, он начал опасаться, что его выгонят с работы. Я старался как мог успокоить его.

Однажды я предложил ему, чтобы он сам бросил работу, ушел на пенсию и начал писать мемуары. Даже название для них я ему придумал: «Беззубая революция».

Его страх усиливался. Я узнал, что он просил некоторых своих старых пациентов, очутившихся в «гетто» преследуемых, найти себе другого зубного врача.

Как-то раз, когда я пришел к нему на прием, он — нервный и неуверенный — сказал и мне, что я должен найти себе другого врача. При этом он заикался, извинялся и потом проводил меня до самого лифта, повторяя: «Прошу тебя, не сердись...»

Горечь, сострадание сжали мне горло: я не умел и не мог сердиться на него. Скорее уж надо было сердиться на это жестокое время, которое делает такое с людьми.

Примерно через две недели я узнал, что он умер. Когда я в Страшницком крематории выразил соболезнование жене покойного, она расплакалась, обняла меня и сказала: «Ты даже не можешь представить, как он переживал из-за тебя. Он все время вспоминал об этом, хотел тебе позвонить, хотел зайти к тебе и объясниться, но боялся. Он так любил тебя...»

После похорон я узнал, что доктор Кёниг покончил жизнь самоубийством. Он просто не мог продолжать жить в такой обстановке. Но у него не было ни сил, ни отваги, чтобы бороться.

Нормализация 3

Нападение

Я ехал на лекцию и заметил, что за мной следует машина. Потом я обратил внимание на человека, сопровождавшего меня вплоть до здания факультета. Он даже не старался это скрыть. Моя лекция продолжалась три часа. Это была неплохая тренировка для нервов. В перерыве я отметил, что незаметный господин все еще торчит в коридоре. Уже темнело, когда я вышел на улицу. Мне казалось, что все это — какой-то детектив: на каждом углу стоял старавшийся казаться незаметным человек! Что им надо?

Я подошел к своей машине. Внезапно меня окружило несколько человек в штатском.

[1] Владимир Шкутина — чешский журналист; в 1969 году был приговорен к нескольким годам тюрьмы за свои статьи. Сейчас живет на Западе.

— Доктор Яноух? Пойдемте с нами!

Почему? Неужели я арестован? Оказывается — нет. Надо идти на допрос. Я прошу их показать удостоверения. Показывают. Вижу, что они из госбезопасности.

На допрос приглашают в письменной форме и заранее. У меня есть уважительная причина. Я устал, читал лекцию несколько часов, я голоден.

(В голове у меня промелькнул давний рассказ отца. Его арестовало гестапо, били по лицу, лопнула барабанная перепонка. У него началась рвота. Он сказал, что не слышит, не может отвечать. На другой день, по дороге из тюрьмы Панкрац на допрос, он сидел возле друга, шепнувшего ему: «Они знают то-то и то-то. Ничего больше не говори». И этого оказалось достаточно. Может быть, это спасло отцу жизнь.)

— Никаких отговорок. Если не пойдете добровольно, полиция приведет вас силой.

Действительно, в нескольких метрах поодаль ждала полицейская машина с патрулем в форме. Меня отвезли на Бартоломейскую улицу. Там ждали подполковники Войтех и Павловский. Во всяком случае так они отрекомендовались. И тогда, и при последующих встречах.

Мне позволили даже позвонить жене. Сказали, чтобы я передал — она может ждать меня к ужину. (Столь джентльменские манеры в этой преступной организации удивляют новичков. И я не составлял исключения.)

Потом начался допрос. Я догадывался, о чем пойдет речь. Это была загадочная история. Несколько дней тому назад мне позвонил некий господин Г. из Западной Германии. Он знавал хорошо моего отца, ездил к нему когда-то официально — по делу розысков немцев, пропавших без вести. Он проявил желание навестить меня. Я согласился с некоторыми колебаниями — перед домом стояла полицейская машина, из которой за мной велась слежка. Но ведь в его визите нет ничего незаконного. И вот он пришел, мы выпили чаю, он расспрашивал о моем положении безработного. Я рассказал всю правду. Сказал также, что как раз написал о своем положении открытое письмо Гусаку, и процитировал отрывки из него. Г. сообщил мне, что один его знакомый в ФРГ, университетский профессор медицины В., является другом Гусака еще со времен молодости. И что он послал Гусаку, через Г., дружеское письмо, где пишет, что хотел бы с ним встретиться. Г. передал письмо в кабинет Гусака. И якобы получил для профессора В. фотографию Гусака с его личной подписью, но Гусак просил передать, что встречаться пока еще не время.

Когда Г. уезжал от нас на такси, я обратил внимание, что за ним тут же последовала полицейская машина. На другой день Г. арестовали. Теперь его собирались выдворить из ЧССР. И в связи с этим меня вызвали на допрос. За три часа допроса я сказал не больше, чем все вышеизложенное.

Через несколько дней в «Руде право» появилась статья: «Ворона к вороне садится» [1]. Смысл ее был примерно таков: господин Г.— старый нацист. К тому же — коллаборационист. И сотрудник гестапо. И личный друг рейхспротектора Франка. Кто же такой Ф. Яноух, раз он с ним встречается?

О Гусаке в статье не было сказано ни слова. Но кто знает, против кого была нацелена статья, уж не выше ли? Написана она была крайне плохо. Тут же возникал вопрос: почему же такому человеку дали визу? И почему чехословацкие органы не поинтересовались им раньше, раз они все это знали?

Господина Г. выдворили. После этого я о нем больше не слышал. Своим следователям я сказал правду: он никогда не вызывал у меня симпатии, и у нас не было общих интересов.

Несколько месяцев спустя я случайно раскрыл чехословацкий физический журнал. Там была помещена большая фотография — официальный визит лауреата Нобелевской премии Отто Гана в ЧССР... Рядом с ним — в окружении чехословацких государственных деятелей — стоял господин Г. На всех лицах сияли дружеские улыбки.

Лекции в университете

Заканчивался 1971 год, а я все еще читал лекции в университете. На жизнь этого не хватало, но зато давало возможность поддерживать хорошее настроение и контакты с людьми.

В понедельник, через неделю после «нападения», на углу факультета, где я преподавал, стоял незаметный человек в штатском. Он ждал до самого конца лекции. Она и оказалась последней.

Два дня спустя меня вызвали к заведующему кафедрой, который показал мне письмо декана Швеца. Решение можно было назвать «соломоновым». Он не запрещал мне преподавать. Такой прецедент профессор Швец создавать не хотел. Он просто отменил курс «Теория ядра». Пока — на данный семестр. Отменил он и экзамен по этому курсу. Студенты ядерных специальностей, правда, оказались без основного курса лекций, но зато факультет «сохранил» свою репутацию.

Я колебался, не зная, смеяться или сердиться.

Я написал декану негодующее письмо о демократических и академических традициях прославленного Карлова университета. Как я и ожидал, оно осталось без ответа.

Друзья сказали мне, что на факультете был скандал. Расследование из Министерства просвещения, из ЦК и еще бог знает откуда. Как это так, почему Яноуху до сих пор было позволено преподавать? Факультет оправдывался тем, что доцентское звание у меня не отнято и что о моем увольнении с работы не было ни сообщения в печати, ни официального извещения.

Потом на факультет заявился финансовый контроль, выяснить, не платят ли они мне. Три проверки подряд, одна строже другой.

За факультетом числился долг — гонорар за мои лекции. Я получил его позже, когда уже был за границей. Перед отъездом я написал декану, что факультет не заплатил за мою работу и мне придется подать на

[1] Чешская пословица, соответствующая русской: «Рыбак рыбака видит издалека». *(Прим. перев.)*

них в суд. Но я предлагал компромисс: факультет передаст эти деньги от моего имени в фонд помощи жертвам войны во Вьетнаме.

Деньги пришли на мой адрес после нашего отъезда. И были использованы для помощи жертвам иной великодержавной политики.

Интернациональная помощь

Трудно стало в те годы учить детей любви к СССР. Но это предписывалось учебными программами, а дело инспекторов и директоров школ было контролировать, как выполняются эти программы. Ну, и конечно, всякого рода местные осведомители тоже старались вовсю.

К годовщине Октябрьской революции учительница должна была провести в 3-м классе беседу о нашем самом верном союзнике — СССР. Она стала рассказывать детям, как он пришел и освободил нас в 1945 году, дал нам хлеб в 1948 году, а сейчас посылает нам мясо, железную руду, нефть и разное сырье. И всегда, когда нам будет трудно, Советский Союз поможет нам,— примерно так закончила учительница свой рассказ.

Одна девочка подняла руку:

— Скажите, пожалуйста, а почему Советский Союз не пришел нам на помощь, когда нас оккупировали русские?

Позже учительница рассказывала об этом происшествии со слезами на глазах: «Может быть, лучше бросить преподавание и уйти из школы».

Взято из жизни

Пометка от руки в карточке для учета кадров д-ра П. П.: «Все-таки он не такая свинья, как Яноух».

Надпись на стене в Старовичках: «Великий Ленин сказал: учиться, учиться и учиться! Слава Ленину!»

Два слоя палимпсеста. Надпись на железнодорожном виадуке перед Смоленице: «Оккупанты, ступайте домой!» Ее перечеркивает другая надпись: «Позор правым!»

Просвечивающая сквозь краску надпись на жилом доме (февраль 1973 года): «Ленин, проснись — Брежнев сошел с ума!»

Апартеид

Анкета

Пришла по почте на адрес тестя. Я открыл конверт и прочел следующее:

Чехословацкая академия наук
Прага-1, Народни Тржида, 3.

Академик Арношт Кольман
Прага-10, Прубежна, 7

Уважаемый товарищ,

ввиду того, что благодаря Вашей выдающейся научной деятельности Вы принадлежите к категории ведущих научных работников Академии наук, Вы включены в номенклатуру соответствующих научных и партийных органов, т. е. президиума ЧСАН и ЦК КПЧ.

Это настоятельно требует, чтобы в отделе кадров ЧСАН были учтены и дополнены Ваши личные данные, научные достижения, характеристика с места работы, премии, награды и т. д.

С этой целью мы посылаем Вам анкету, к которой Вы должны приложить подробную автобиографию, отчет о научной и политической деятельности, заявление, а также — одну фотокарточку, и все это послать в отдел кадров ЧСАН, Прага-1, Народни Тржида, 3, для дальнейшего оформления.

Благодарим за сотрудничество,
с товарищеским приветом

Франтишек Кулгавы,
зав. отделом кадров ЧСАН

К анкете действительно было приложено следующее «Заявление»:

З а я в л е н и е

Заявляю, что

a) никто из моих родственников, а также никто из ближайших родственников жены не находится нелегально, с 1968 года, за границей

b) ни у меня, ни у жены (детей) с 1968 года не произошло изменений в членстве в КПЧ

c) в противном случае внести необходимые сведения:

a) . . . . . .

b) . . . . . .

Личная подпись

Дата

. . . . . .

Анкету я, конечно, тестю в Москву не послал, чтобы его не огорчать. Я счел это малоподходящим поздравлением к его восьмидесятилетию.

Но мне подумалось — интересно, как бы на такую анкету реагировала французская печать, если бы подобное «творение» было разослано «бессмертным» из Парижской академии...

Похороны

Мы вместе с ним сочиняли письмо другу на Запад летом 1968 года.

В ночь с 20 на 21 августа 1968 года я ездил с ним по Праге.

Потом мы в одном и том же кабинете ожидали исключения из партии. Уже тогда чувствовалось, что для него это была непосильная ноша.

Вскоре он заболел и долго находился на лечении в психиатрической больнице.

Его тоже хотели выгнать с работы, как и меня. Но из-за продолжительной болезни в конце концов дали вместо этого пенсию по инвалидности.

Он не выдержал неустанных преследований и клеветы и покончил жизнь самоубийством. Осталась семья — молодая жена и двое маленьких детей. Да и сам он был еще молод — не более сорока.

В крематории собрались все его друзья. Было запрещено произносить речи, только несколько любимых им мелодий прозвучало с пластинки.

Это были первые «молчаливые» похороны, на которых мне пришлось побывать.

Тогда на них еще отсутствовали десятки шпиков, полицейские машины и автобусы, а также — скрытые камеры.

Пока еще не было украденных урн с прахом усопших, не было запрещений похоронных обрядов, многих других провокаций. Все это появилось позже, на последующих похоронах.

Красная помощь

Регулярно, раз в месяц, после первого числа, я отправлялся на прогулку по Праге — навестить своих знакомых. Было их человек десять — пятнадцать. Мы беседовали, обсуждали создавшееся положение, ругали порядки.

Большинство моих знакомых пока еще работали и неплохо зарабатывали. Жилось им вполне прилично. Среди них имелись и известные ученые, работники искусства, писатели и те, которым пока удавалось удержаться на своих постах; к концу нашего разговора они, как правило, вытаскивали кошелек и давали деньги. Я получал сотню, а то и больше. Списков я не составлял. Для полученных таким путем денег у меня был особый конверт. И на следующий день я относил эти деньги тем, кто в них особенно нуждался: туда, где главный кормилец семьи сидел в тюрьме или находился в больнице. Или был безработным.

Я делал это с удовольствием. Мне доставляло радость желание людей помочь друг другу, их доверие. Я, собственно, как бы платил свой долг: когда мне было одиннадцать лет, моего отца арестовали нацисты и отправили в Освенцим. Каждый месяц к нам домой приходил доктор Стржитецкий (и ряд других знакомых) и приносил матери деньги. Тогда мы называли это «красной помощью». И благодаря такой солидарности порядочных людей нам удалось пережить войну без тяжелой нужды.

Ариезатор

Уже три года был я безработным, и мы зарабатывали на жизнь переводами. Но раздобыть переводы становилось все труднее, и еще труднее стало получать гонорар за них на мою фамилию.

Человека этого я знал совсем мало. Он внезапно, без телефонного звонка, зашел ко мне домой. Спросил, есть ли у меня переводы и как с деньгами. И предложил мне перевести одну книгу, причем сказал, что знает человека, под чьей фамилией мог бы выйти перевод.

Я действительно перевел эту книгу, и она вышла. Я выступал в ней под чужой фамилией. Гонорар оказался вполне солидным. Как-то вечером этот человек принес мне его в конверте, без расписки. И я даже не спросил, сколько денег в конверте.

Отношения между людьми подчинялись тогда иным критериям и принципам.

Апелляционный суд

Заседание апелляционного суда откладывалось трижды. Наконец, оно состоялось 19 января 1972 года. У меня не было никаких иллюзий насчет его объективности и беспристрастности. Когда я хотел изучить материалы суда, чтобы подготовиться к защите, то их на месте не оказалось: их одолжил для ознакомления сам министр юстиции Немец. Как видно, процесс был незаурядный.

Я представил апелляционному суду на семи страницах анализ приговора суда первой ступени, где с помощью фактов, показаний свидетелей и параграфов уголовно-процессуального кодекса доказал, что приговор противоречит закону.

Председательница сената, д-р Фучикова, спросила, не хочу ли я еще что-нибудь добавить к своему заявлению. Я воспользовался этим и добавил следующее:

Уважаемые судьи,

в приговоре суда первой ступени утверждается, что «истец привез фотографии августовских событий, с которыми знакомил своих сотрудников».

Свидетель Манделик говорит: «Истец после возвращения из-за границы привез публикации, в особенности фотодокументальный материал, изображавший события в некоторых частях Праги в августовские дни. Текст к этим материалам был на немецком языке. Я сам этот текст не читал, поэтому не могу передать его содержание. На фотографиях был снят Виноградский проспект с горящим танком, далее — советские солдаты на танке. Истец к этому снимку сделал следующее замечание: «Только посмотрите на воодушевленное лицо советского солдата...»

Я действительно привез с Запада в 1968 году книгу, о которой говорит свидетель Манделик. Предлагаю суду оба снимка, о которых говорит свидетель, и требую, чтобы они в качестве вещественных доказательств были приложены к протоколу. На первом снимке. взятом из этой книги,— горящий танк на Виноградском проспекте, на другом — советские солдаты на танке... Позвольте мне одно замечание. Я точно помню, где и когда я взял этот материал. Это было 4 ноября 1968 года, в Риме. Мы с женой пришли в советское консульство, чтобы сдать на продление ее советский паспорт, и сотрудник консульства дал нам экземпляр «Белой книги» о событиях в ЧССР на немецком языке. Книга меня заинтересовала, и я привез ее в Прагу.

В декабре 1968 года партбюро моего института анонимно получило целую пачку этих «Белых книг». Поскольку чешское издание отличалось от немецкого, я принес в институт, на заседание партбюро, немецкое издание и пустил его по рукам. Снимки, которые я предложил суду и которые описывает свидетель Манделик, взяты из этой «Белой книги».

Значит, суд первой ступени мотивирует свое решение и подтверждает мое увольнение с работы тем, что я на заседании партбюро показывал «Белую книгу», изданную в Москве официальными советскими органами...

Заканчиваю свою защиту... Более года я — безработный. Я подавал заявления о приеме на работу в пятнадцать институтов, где я мог бы применить свои профессиональные знания и опыт. Но тщетно. Несколько раз я писал президенту Академии наук, председателю физической коллегии и другим руководящим деятелям. Тоже напрасно.

Я учился на государственной стипендии десять лет в СССР. А сейчас в моей стране мне вот уже целый год не позволяют использовать свои знания на пользу моего народа. И это — единственный факт антиобщественной и антисоцналистической деятельности, с которой суд встретился при рассмотрении моего обжалования.

Опираясь на вышеприведенные факты, предлагаю приговор суда первой инстанции заменить новым решением о полном удовлетворении обжалования.

Суд долго изучал представленные фотографии и книгу. Некоторое время стояла изастороженная тишина. У меня было такое чувство, что д-р Фучикова в душе проклиала своих коллег из суда первой ступени за бездарную работу.

Наконец суд удалился на совещание. Решение его гласило: приговор остается в силе. Но я был освобожден от обязанности оплачивать судебные издержки и адвоката противной стороны. Это была своего рода моральная победа. Приговор суд изменить не мог — он был заранее предрешен министром Немецем и партийными органами.

Стоит привести выдержки из приговора, чтобы всем стало ясно, за что в Чехословакии в 70-е годы научный работник мог быть выгнан с работы. И за что его могут выгнать с работы даже сегодня. Поэтому для архива и для поучения неразумных привожу здесь выдержки:

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ

...на основании приведенных фактов апелляционный суд также пришел к выводу, что истец своей деятельностью в данной организации наносил вред социалистическому общественному строю... поскольку он старался помешать развитию образования и культурной политике нашего государства, которое руководствуется принципами марксизма-ленинизма, например, тем, что выступал за отмену инструкций о связях с Западом и за отмену цензуры научных публикаций...
Приговор обжалованию не подлежит.

Д-р Людмила Фучикова,
председатель сената

Прага, 19 января 1972 г.

Приговор в Калифорнии

Через неделю я прочитал в английской газете «Морнинг стар» сообщение, что Верховный суд в Калифорнии отменил увольнение из университета доцента Анджелы Дэвис, мотивированное тем, что она — коммунистка. Ее изгнание было признано нарушением Конституции США. Я вырезал эту заметку и послал (вместе с переводом) д-ру Фучиковой, приписав, что ей не вредно об этом знать.

Ответа от д-ра Фучиковой не последовало.

Печатные труды

Узнав, что умер академик Игорь Тамм, я написал некролог. Я очень любил этого советского ученого, одного из немногочисленных советских нобелевских лауреатов, за отвагу и искренность, с которыми он присоединял свою подпись к различным протестам и воззваниям, за его живость и человеческую простоту, и — не в последнюю очередь — за те альпинистские походы на Памир или Тянь-Шань, которые он так любил организовывать.

Некролог был набран и должен был появиться. Я внес поправки в корректуру. Внезапно мне позвонил редактор: из Академии пришел приказ, запрещающий печатать мои работы. Мне очень хотелось, чтобы некролог вышел,— не оставалось ничего иного, как согласиться на его напечатание от имени редакции. На память у меня осталась страничка корректуры с моей фамилией и страница из журнала, где меня уже именуют «Редакция».

Вскоре после этого мне позвонил редактор журнала «Весмир». В нем хотели опубликовать мою статью об обратимости времени в природе. Но выйти под моей фамилией статья не могла — как сказал мне редактор, на это у них имелся категорический приказ. И вот он спрашивал, не соглашусь ли я, чтобы статья вышла под чужой фамилией. Гонорар, мол, естественно, получу я...

Тут меня взорвало. Я еще в то время не привык к апартеиду. Шел 1971 год, и наши учреждения иногда еще отвечали на протесты таких граждан, как я. Таким образом, я узнал из Отдела просвещения и науки ЦК КПЧ, что «редакционные коллегии журналов и издательств ЧСАН отвечают за уровень публикаций и правомочны отказать на любой стадии в напечатании работы, не отвечающей полностью требуемому уровню».

Я, конечно, знал от своих друзей, что редакции всех журналов и издательств получили строгие инструкции, по которым им запрещалось публиковать работы исключенных из КПЧ и вообще всех, кто попал в черные списки «нормализации». Это были строго секретные инструкции, и на них не полагалось ссылаться в протестах.

В сентябре 1972 года мне случайно попал в руки циркуляр, где, в частности, говорилось: «Прежде всего запрещается печатать работы авторов, которые были исключены из КПЧ по политическим причинам, уволены из университета или незаконно эмигрировали».

Привожу мое открытое письмо министру просвещения Гавлину:

Уважаемый господин министр!

Несколько дней тому назад в одной из пражских университетских клиник я увидел вывешенный на стене циркуляр, текст которого здесь прилагаю. Доцент факультета общей медицины Карлова университета Балаш доводит в нем до сведения, что получил от ректора Швестки письмо, в котором приводятся правила печатания научных работ, установленные Вами в письме под номером 11.838/72—34. Из этих правил вытекает, что запрещается среди прочего публиковать научные работы сотрудников университета, исключенных из КПЧ. Подобная инструкция является незаконной, поскольку: а) она нарушает статью 20 Конституции ЧССР о равноправии граждан (Ваша инструкция ставит в неравноправное положение многочисленную группу граждан ЧССР, исключенных из одной политической партии Народного фронта); б) она фактически лишает права печатать свои труды группу граждан, ис-

ключенных из КПЧ. Как, однако, известно, лишить права заниматься определенной деятельностью может в ЧССР только суд (§§ 49—50 Уголовного кодекса), только индивидуально, на ограниченное время (не более пяти лет) и притом лишь в случае, если было совершено преступление, связанное с запрещенным видом деятельности.

Очевидно, что Вы, издав такой запрет, нарушили Конституцию ЧССР и превысили свои конституционные права члена чешского правительства. Вы открыто вынесли приговор, относящийся исключительно к компетенции суда.

В связи с этим я обратился к генеральному прокурору ЧСР с просьбой, чтобы он — в рамках прокурорского надзора — принял соответствующие меры.

Это открытое письмо я пишу Вам, однако, и по другому поводу, так как вышеприведенная проблема имеет, кроме правовой, еще и морально-этическую сторону. Ваше постановление запрещает публиковать научные результаты, касающиеся новых открытий методов и опыта в области медицинских наук, только по той причине, что их авторы были исключены из КПЧ, эмигрировали, или потому, что их морально-политический облик не отвечает неким критериям, открыто нигде и никогда не провозглашенным.

Не важно, пожалуй, что Вы этим можете лишить чехословацкую науку возможного мирового приоритета и славы. Страшно, ужасно то, господин министр, что Ваш приказ тормозит и задерживает распространение новых открытий и методов, которые могут спасти человеческие жизни, могут вылечить больных и уменьшить их страдания. История никогда, никогда не примет и не оправдает причин, приведших Вас к изданию такого приказа, и ответственность за его последствия понесете Вы лично.

Я умышленно пишу здесь «тормозит и задерживает», потому что полностью приостановить распространение и внедрение научно-технического прогресса не удастся даже Вам, хоть Вы и министр.

Куда бы могли завести последствия Вашего приказа, я позволю себе проиллюстрировать на гипотетическом (хотя и вполне реальном) примере: могло бы быть в университете опубликовано сообщение об открытии лекарства против рака, прививки против гепатита или же нового антибиотика, если бы их авторы были исключены из КПЧ? В нашем университете шестьдесят лет тому назад, в тихих комнатах здания на Виничной улице, формулировал общую теорию относительности мало тогда известный профессор Эйнштейн. Мог бы он опубликовать свою теорию, если бы был исключен из КПЧ?

Согласно инструкции, прочитанной мною, сужу, что ему бы этого не позволили. Я был бы рад, господин министр, если бы дело обстояло иначе и Вы бы могли опровергнуть содержание моего письма. Боюсь, что Вам это не удастся: я сам вот уже продолжительное время не могу ни печататься, ни преподавать теорию атомного ядра в университете...

С уважением
Франтишек Яноух

Прага, 3.10.1972

Это открытое письмо я разослал в редакции крупных пражских газет и еще примерно тридцати адресатам в университете и в Академии наук.

Привожу текст одного из полученных мною в ответ писем:

Уважаемый коллега Яноух! Я восхищаюсь выдержкой, с которой Вы боретесь за гражданские права, как выводите эти права из Конституции и Свода законов с помощью объективной логики, применяемой в научной деятельности. Я опасаюсь, однако, что Ваши аргументы могли бы найти соответствующий отклик только в обществе, где понимали бы чешский язык в его первоначальном (и по инерции все еще именно так Вами понимаемом) смысле слова и где действительны законы грамматики и логики, как мы изучали их в школе.

Случай, который Вы разбираете в своем открытом письме министру просвещения, принадлежит к длинной цепи явлений, постоянно все ясней и ясней убеждающих нас, что слова, из которых составлена Конституция и другие законы, утрачивают свое подлинное значение. В первую очередь Конституцию и любые законы не соблюдают власти предержащие; это видно уже из того, что все законодательные органы беспрекословно повинуются правящей группировке, которая обладает абсолютной законодательной и исполнительной властью.

Вследствие этого Ваше стремление к объективному толкованию Конституции и других законов и к практическому применению законов представляется мне a priori напрасным и, следовательно, излишним. Я понимаю, что Вы как бы инстинктивно сопротивляетесь последовательной ликвидации, очередным шагом которой является декрет министра просвещения о запрещении печатания «проклятых». Я и сам принадлежу к последним, поэтому я бы с радостью присоединился к Вашему протесту, если бы не видел его тщетности... Может, было бы даже достойнее принимать удары молча. Если бы мы были верующими христианами, то призывали бы, наверное, при таких обстоятельствах к покорности и благодарили наших правителей за то, что хотя они и выбрали нас своими жертвами, но мучают нас помаленьку и относительно гуманно. Мы бы радовались и таили надежду, что когда им придет в голову истребить нас физически, то они будут не менее милосердны и воспользуются проверенными методами эвтаназии.

С сердечным приветом
О. Вихтерле

Академик Вихтерле оказался неправ: ко мне начали приходить знакомые и незнакомые люди. Я узнал, что открытое письмо Гавлину ходило по рукам на всех медицинских и фармакологических факультетах от Пльзеня до Кошице в сотнях перепечатанных копий. На допросе в Рузине следователи сказали мне, что письмо появилось в нескольких западных газетах. Не знаю, сам я этого не видел.

Из Академии ответил административный директор Йелинек: мне, мол, заплатят гонорар за ненапечатанную статью в журнале «Весмир». Я получил 500 крон. Была ли это

взятка? Или у кого-то заговорила совесть? А ответа от министра просвещения Гавлина я жду до сегодняшнего дня. Конечно, если он еще до сих пор — министр...

Поправка для печати

(«Шпигель» № 41, 8.10.1973)

В статье под названием «Флюгер» несколько абзацев было посвящено моей персоне: «Уже с начала октября по Праге ходит открытое письмо атомного физика Франтишека Яноуха чешскому министру просвещения (из фракции Билака), в котором ученый жалуется на то, что со времени своего увольнения с работы он не может публиковаться в научных журналах. Этот факт, вызвавший широкий отклик в международных научных кругах, привлек внимание Гусака, который добился того, что атомный физик может снова печататься».

Позвольте мне сделать несколько замечаний: правда то, что я в октябре 1972 года написал министру просвещения Гавлину открытое письмо. В нем я подверг критике его распоряжение от 19 мая 1972 года, согласно которому университетам запрещается печатать любые работы ученых, исключенных из КПЧ. Такое распоряжение находится в резком противоречии с Конституцией ЧССР и с другими законами. Поэтому одновременно я отправил прокурору ЧСР письмо-жалобу. Я требовал, чтобы он проверил, законно ли вышеприведенное распоряжение. Гавлин до сих пор не ответил мне. Генеральный прокурор же сообщил в своем ответе, за № 111/ГД 15272/72, что распоряжение министра не находится в противоречии с нашими законами. Аргументы: обязанностью министра просвещения является следить за тем, чтобы печатные работы не противоречили марксистско-ленинскому мировоззрению. Мне кажется, что точка зрения генерального прокурора базируется на ошибочной предпосылке: почему работы ученых, исключенных из КПЧ, обязательно должны находиться в противоречии с марксизмом-ленинизмом? И как быть с профессорами теологических факультетов, которые у нас тоже подчиняются министру Гавлину?

В этой связи также встает вопрос: а как обстоит дело с работами в области точных наук? Кто и на каком основании приписывает себе право решать, является ли, например, научное сообщение об открытии нового химического элемента или новой кометы, о создании новой счетной машины, о синтезе нового лекарства соответствующим или противоречащим официальным взглядам на марксизм-ленинизм? И возможно ли вообще, чтобы сообщение о научном открытии противоречило «научному мировоззрению»?

Часть вашей статьи, касающаяся меня, к сожалению, не отвечает истине. Генеральный секретарь КПЧ никогда не сообщал мне, что я могу печататься. Двери чехословацких редакций закрыты для меня сегодня еще в большей степени, чем это было год назад.

Франтишек Яноух

Прага, 22.8.1973

Встреча

Дело происходило в маленьком итальянском городке: стояла жаркая июльская ночь. Шло народное гулянье, по-итальянски шумное, с вином, музыкой и танцами. Внезапно ко мне обратился худощавый итальянец:

— Синьор из Чехословакии?

Я подтвердил.

— Вы меня не помните? Мы встретились пять лет тому назад в Праге, в семьдесят втором...

Я никак не мог его вспомнить.

— Я привез вам тогда кое-какие подарки и передал поручения...

Тут я начал припоминать. Однажды, поздно вечером, зазвонил телефон. Какой-то итальянец говорил, что привез несколько бутылок тосканского вина от моего друга. На всякий случай я предложил встретиться немедленно, пока мои «опекуны» не успели организовать слежку.

Кроме вина, нескольких книг и поручений он передал мне конверт с деньгами. Я тоже передал с ним несколько устных поручений — к счастью, головы они пока на границах не умеют просвечивать.

Стояла такая же жаркая июльская ночь, половина пражан была в отпуске. Мне потребовалось немало времени, чтобы спрятать деньги. Дома я оставил только бутылки с вином — на случай обыска.

Деньги мы обменяли и раздали нуждающимся перед Рождеством, когда стало совершенно ясно, что моя встреча с итальянским другом осталась незамеченной. И я, на случай будущих допросов, постарался все позабыть. Причем так старательно, что с трудом припомнил эту историю даже теперь, когда миновала всякая опасность.

Тщательно прослушиваемый телефон

Такой телефон доставляет много неудобств. Они известны. Или каждый может их себе представить: надо контролировать себя, когда кому-нибудь звонишь. Кое-кому звонить приходится только из автомата. Или от соседей. Можно попасть в неприятную историю, когда кто-то, еще недостаточно наученный горьким опытом, начинает рассказывать что-нибудь деликатное по телефону.

Между тем прослушиваемый телефон обладает также рядом преимуществ. Обычно человек даже не отдает себе в этом отчета, но такой телефон дисциплинирует. Его обладатель учится формулировать свои мысли так, чтобы они не противоречили законам. Это хорошая школа для будущих допросов. Владелец прослушиваемого телефона принужден иногда звонить из телефонных будок. Поскольку будок мало и большинство телефонов в них испорчено, каждый разговор из будки связан с прогулкой. Считайте, что они полезны для вашего здоровья. Сидячий образ жизни вреден. Прослушиваемый телефон помогает вам не засиживаться и сохранять здоровье. Далее: каков шанс у нормального (неподслушиваемого) гражданина, что его точку зрения узнают в высших инстанциях? Например, у министра внутренних дел? Минимальный! Владелец же прослушиваемого телефона связан с министром

внутренних дел, можно сказать, напрямую. Можете быть уверены, что если скажете что-нибудь важное или интересное, то это попадет на стол к министру или к какому-нибудь его заместителю уже на следующий день.

И я тоже сообщал таким путем свои взгляды. Читал свои протесты. Комментировал.

А если мне хотелось быть абсолютно уверенным, что моя точка зрения попадет куда надо, то я еще дополнительно звонил некоторым своим друзьям, телефоны которых прослушивались еще тщательнее, чем мой. Например, Франтишеку Кригелю или Иржи Гаеку [1]. После этого министр, наверное, бывал дважды осведомлен о моих взглядах.

Прослушиваемый телефон можно использовать и по-другому. Но об этом позже. Чтобы не предвосхищать событий.

Д-р Йозеф К.

Мы были знакомы почти двадцать лет, учились вместе в Москве. И виделись там почти ежедневно. Он был «реакционером», ругал порядки, правительстзо, большевиков. Даже слова этого не переносил. Я же — в рамках своих убеждений и исторического оптимизма — защищал их. Я был тогда секретарем партийной организации. Несмотря на расхождения во взглядах, мы сохранили дружеские отношения.

Потом наши пути немного разошлись. Но хорошие отношения не прекратились. Когда меня выгнали с работы, он пришел ко мне и предлагал помочь. Старался что-то сделать.

Однажды, в 1972 году, я услышал, что он вступил в партию. Я никак не мог этому поверить. Встретив его случайно, я предложил поговорить, но ему, как видно, не очень-то хотелось со мной беседовать. Однако он не мог отказаться. Я спросил, правда ли, что он вступил в партию. К. покраснел и начал, заикаясь:

— А что мне оставалось делать? Ходили за мной беспрестанно, из факультетского комитета, из университетского, из районного комитета. Ну, мог я отказаться?

Я спросил, не изменились ли его политические взгляды? Он почти оскорбленно ответил «нет». Добавил, что подлостей делать не будет. Я настаивал:

— Но ведь это еще хуже. Мы хоть вступали в партию по убеждению. Стремились осуществить свои идеалы. А почему ты в нее вступил? И именно сейчас?

Он не ответил. Карьеризм? Страх? Оппортунизм?

Я вспоминаю об этом разговоре всякий раз, когда узнаю о новых членах партии.

Свидетельские показания

Меня допрашивают как свидетеля по обвинению Карела Кынцла [2]. Допрос происходит в Рузине, на пятом этаже тюрьмы.

Им хочется знать многое: о недозволенных печатных материалах, о наших с Карелом отношениях, о его заграничных знакомствах.

Время от времени в комнату вбегает какой-то пожилой господин, по внешнему виду напоминающий преступника, и кричит на меня — дескать, я должен радоваться, что нахожусь здесь как свидетель, а не как обвиняемый.

Спрашивают, говорили ли мы с Кынцлом о Комитете прав человека. Отвечаю: не говорили. Никогда. (На самом же деле — говорили, но какое им до этого дело. Мы хотели основать такой комитет.)

Спрашивают, не знаю ли господина Р. Нет, не знаю.

— Интересно,— замечает следователь.— Господин Кынцл сообщил нам, что вы сказали ему, будто знаете Р.

Допрос заканчивается поздно вечером. Я обеспокоен. Неужто Карел мог говорить о вещах, о которых мы беседовали только вдвоем? Потом мне все становится ясно. Я действительно сказал Карелу, что знаю Р.,— дело происходило в комнате у Карела. Позже, когда мы с Карелом вышли прогуляться, я осознал свою ошибку и исправил ее: я перепутал господина Р. с господином О. Разумеется, Карел не сказал им, что я знаю Р. Просто у Карела в комнате установлено подслушивающее устройство!

Это открытие мне очень помогло на следующий день.

Опять меня допрашивают: не встретился ли я у Кынцла с какой-то иностранкой? Не позвонила ли мне однажды госпожа Кынцлова, чтобы я приехал к ним?

Они, мол, знают, что я туда приезжал и беседовал с какой-то иностранкой по-английски. И увез ее потом куда-то. А также привез ее на аэродром.

Почва уходила у них из-под ног. А я все отрицал. Ведь при подслушивании они меня не видели и не могли видеть, о чем мы с ней переписывались. А иностранку я не узнал ни на одной из предложенных мне фотографий.

Допрос закончился. Протоколы подписаны. Я прошу лейтенанта Дробного не отказать в любезности и передать Кынцлу три килограмма апельсинов. Лейтенант извиняется, что, мол, это не положено. Жалуюсь на человека, кричавшего на меня во время вчерашнего допроса. Оказывается, это был полковник Махара. Он, говорит Дробны, не столь страшен, как выглядит.

Приложение

Из протокола допроса:

Д. Вы только переписываетесь с Сахаровым или связаны с ним еще как-нибудь?

Я. Какое это имеет отношение к обвинению Карела Кынцла?

Д. Объясняю вам связь: не подстрекал ли вас Карел Кынцл, чтобы вы написали Сахарову о здешней ситуации?

Я. Переписку с Сахаровым я веду по собственной инициативе. Мы занимаемся в последнее время примерно одним и тем же.

Д. Это заметно.

Я. Имею в виду физику.

Д. А я — другие вещи. Вам знакомы какие-нибудь нелегальные издания?

Я. Не знаю, о чем вы говорите.

[1] Иржи Гаек — министр иностранных дел Чехословакии во время «пражской весны».

[2] Известный чешский журналист Карел Кынцл был арестован в январе 1972 г. В июне 1972 г. осужден на 18 месяцев тюрьмы. Вторично сидел в тюрьме с мая 1980-го до апреля 1982-го. С 1983 г. живет на Западе.

Д. Прекрасно знаете. Что вам говорят слова: Ленин, собрание сочинений, том четырнадцать?
Я. «Материализм и эмпириокритицизм».
Д. Нет, Высочанский съезд [1].
Я. Уверяю вас — «Материализм и эмпириокритицизм». Как физик я читал эту работу несколько раз.
Д. Что говорит вам название: «Факты, замечания, события»? [2]
Я. Иногда я покупаю в киоске. Кажется, его издает «Руде право»?
Д. Мы имеем в виду другое издание. Речь идет о политическом ежемесячнике.
Я. Не знаю.
Д. Что вы знаете о «Листах»? [3]
Я. Я на них подписывался.
Д. Когда?
Я. Не помню точно. Через почту.
Д. Я спрашиваю о нелегальных «Листах», которые издает чехословацкая эмиграция. Знаете о них?
Я. Знаю.
Д. Откуда?
Я. В одном из последних номеров «Трибуны» я прочел, что Пеликан [4] издает эмигрантские «Листы».
(Лейтенант Дробны диктует для протокола: о том, что Пеликан издает в Италии эмигрантские «Листы», я узнал из «Трибуны».)
Я. Хочу поправить вас. Я не сказал ничего об Италии. В «Трибуне» этого не было.
(Дробны вносит поправку в протокол.)

Донкихотство

Письма, написанные мною в 1972 году, вызывают у меня сегодня смущенную улыбку. Имели ли они вообще какой-нибудь смысл? Может, это была наивность? Донкихотство? С другой стороны, молчать было трудно. Невозможно было проходить мимо бесправия и несправедливости и делать вид, что ничего не происходит...

Полгода целый ряд моих друзей находился под следствием, полгода они сидели в изоляции от внешнего мира, от своих семей и друзей.

Уважаемый господин генеральный прокурор, вот уже 5 месяцев как под следствием находится ряд чехословацких публицистов и выдающихся политических деятелей — я имею в виду в особенности Карела Кынцла, Иржи Гохмана, Владимира Непраша, Милана Хюбла и др. ...У меня нет никаких сомнений относительно преданности этих людей идеям социализма. И вот их обвиняют в действиях, вытекающих из их политических взглядов и убеждений...

...Расследование подобных политических поступков, если таковое вообще необходимо и допустимо (в чем я очень сомневаюсь), должно происходить гласно и на свободе... Прошу Вас, используйте право, предоставленное Вам чехословацкими законами, и распорядитесь немедленно освободить из тюрьмы этих людей... (19.6.1972).

К моему немалому удивлению, я получил ответ от генерального прокурора. Он писал, что по моему письму «не было принято никаких мер. Что касается высказанного в Вашем письме мнения о законности преследования названных лиц, то оно исходит из субъективных представлений, а не из знания действительных обстоятельств, на основании которых ведется следствие...» (6.7.1972).

Генеральный прокурор был прав. Но что оставалось делать, когда все было засекречено, словно речь шла об атомной бомбе?

Председателю
городского суда
в Праге,
д-ру Кашпару:

...Обращаюсь к Вам с просьбой разрешить мне присутствовать на судебном процессе Карела Кынцла... К. Кынцл долгие годы является моим другом, и я не могу поверить, что он мог совершить поступки, вменяемые ему в вину... В случае, если все билеты на процесс уже розданы, предлагаю, опираясь на пункт 29 Конституции ЧССР, перенести процесс в больший зал и таким образом обеспечить гласность судебных процессов... Если Вы не сможете удовлетворить и эту мою просьбу, то позвольте мне принести в зал заседаний складной стул — это наверняка нанесет меньший ущерб достоинству судебного процесса, чем отказ в просьбе гражданину, желающему присутствовать на нем (21.7.1972).

Уважаемый господин генеральный прокурор, уважаемый председатель Верховного суда,

Протестую против того, что общественности запрещено присутствовать на процессе профессора М. Хюбла, д-ра К. Бартошека и К. Кынцла... В пятницу 28 июля 1972 года меня принял председатель городского суда д-р Кашпар и сообщил мне, что пропуска на процесс уже розданы и что мое второе предложение (о переносе суда в большее помещение) не будет рассматриваться... Д-р Кашпар далее сообщил мне, что не впустит меня на судебное заседание даже в том случае, если мне уступит свое место кто-нибудь из родственников обвиняемых... Речь идет, таким образом, о намеренном препятствовании доступу публики в зал судебного заседания, хотя процесс этот открытый... Тем самым доктор Кашпар нарушил § 199 Уголовного кодекса, гласящий, что гражданам должна быть «предоставлена в самой широкой мере возможность следить за ходом судебного процесса, чтобы наиболее действенно проявлялось воспитательное значение хода разбирательства для широкой общественности...» (31.7.1972).

Председателю Верховного суда:

...В ходе этих процессов были нарушены чехословацкие законы и осуждены невинные люди...

...Процессы проходили без участия общественности, которой даже не дали возмож-

---

[1] Материалы чрезвычайного XIV (Высочанского) съезда КПЧ были изданы за границей под обложкой: В. И. Ленин. Сочинения, том XIV.
[2] Чехословацкий самиздатовский журнал, выходивший в 1970—1974 гг.
[3] «Листы» — чехословацкий культурно-политический журнал, издаваемый в Риме.
[4] Издатель журнала «Листы», член Европейского парламента.

ности выслушать приговор... Отрывочные сообщения о процессах в печати и радио скорее дезинформируют о поступках осужденных, их взглядах и выступлениях...

§ 98 Уголовного кодекса требует, чтобы суд выяснил не только сущность уголовной деятельности, но и ее мотивировку, которая в этих процессах не была и даже не могла быть доказана. Я знаю некоторых из осужденных много лет, знаю, что они — убежденные коммунисты, социалисты и марксисты, доказавшие это не только на словах, но и на деле. Обвинения во враждебном отношении к социализму столь же абсурдны, как те, что были когда-то предъявлены Сланскому, Франку, Гусаку, Новомескому и другим жертвам политических процессов 50-х годов...

...На основании указанных аргументов предлагаю Верховному суду ЧССР отменить вынесенные приговоры или же принять решение об их пересмотре... (20.8.1972).

Господину Людвику Свободе,
Прага, Градчаны

Уважаемый господин президент,
В случае, если Верховный суд не отнесется положительно к моему предложению, прошу Вас прибегнуть к своему праву, предоставленному Вам Конституцией как главе государства, и помиловать всех осужденных в этих процессах. Такое решение было бы высокогуманным, мудрым и великодушным, а также отвечало бы Вашему жизненному опыту и тому факту, что именно Вас выбрали президентом нашей Республики весною 1968 года (22.8.1968).

Хотя эти мои письма и не принесли конкретного результата, на душе у меня бывало как-то легче после их отправки. Я мог смотреть прямо в глаза людям — ведь, находясь на свободе, я все же не молчал. Я защищал маленькую частичку своей свободы... а может, и свободы других...

(Окончание следует)

АКИО МОРИТА

при участии
Эдвина Рейнгольда и Митико Симомура

СДЕЛАНО В ЯПОНИИ:

Акио Морита и «Сони»

Фрагменты книги

Перевод с английского Б. НИКОЛЬСКОГО

ВОЙНА
Борьба за выживание и надежда

Я был первенцем в одной из самых старых и знаменитых японских семей, производителей сакэ — мои предки варили его на протяжении четырнадцати поколений. Сакэ в нашей стране — не только национальный напиток, но и культурный символ. Без него немыслимы даже многие религиозные ритуалы, в ходе традиционной свадебной церемонии, например, молодые по очереди прихлебывают его из одной чашечки. Морита, проживавшие в деревне Косугая близ Нагоя, занимались изготовлением сакэ уже триста лет. Семейная компания выпускала также соевый соус и пасту мисо — важнейший компонент японской национальной кухни (ее используют в супах и как приправу ко многим блюдам). Обеспечивая столь важные потребности людей, Морита всегда пользовались в округе большим влиянием.

С раннего детства я слышал рассказы о древних семейных традициях, о своих славных предках. Среди них встречались люди высокообразованные, настоящие ценители прекрасного, как, например, мой дед и прадед. Не чурались Морита и дел общественных — они возглавляли деревенскую общину еще в пору сёгуната Токугава, в XVII веке, и уже тогда им было дозволено иметь фамилию и носить самурайский меч.

История нашей семьи неразрывно связана с Косугая, но родители мои жили уже в Нагоя, столице префектуры, там же 21 января 1921 года родился я. Отец решил, что перевод компании в быстро растущий промышленный центр вдохнет в нее новую энергию. Да и управлять современным производством отсюда было куда легче. Так что, в отличие от моих предков, вырос я в городе, и все-таки корни мои — в живописной деревушке Косугая.

© 1986 by E. P. Dutton, a division of New American Library

Отец не слишком строго обращался со мной в детстве, но так или иначе я был старшим сыном в семье, и он старался с ранних лет преподать мне уроки деловой хватки. Отец был сыном своего времени; в юности ему пришлось, как старшему мужчине в семье, бросить учебу и заняться спасением семейных капиталов — это сформировало его как сугубо практичного, пожалуй даже консервативного (почти сверх меры, считал я в молодости), бизнесмена. Когда нужно было принять решение о новой сфере капиталовложений или вообще о каком-то шаге, выходившем за рамки привычного, отец долго колебался, все о чем-то беспокоился. Иногда мне казалось — его беспокоит даже отсутствие причин для беспокойства. Я часто спорил с отцом по поводу его сверхосмотрительности, но благосостоянию семьи она была только на пользу. Суховатый и настороженный на работе, дома он был любящим и снисходительным. Все свободное время он проводил с детьми, и я живо помню, как отец учил нас плавать, удить рыбу, разжигать костер.

К семейному бизнесу отец относился со всей возможной серьезностью и ожидал того же от своего наследника. Мне было всего десять или одиннадцать, когда я впервые побывал в конторе нашей компании и в цехах, где варили сакэ. Меня исподволь знакомили с механизмом работы компании; я проводил долгие часы, сидя подле отца на скучнейших заседаниях ее правления. Все это не пропало даром: я очень рано постиг науку общения с подчиненными и уже учеником начальной школы знал кое-что о деловых переговорах. Как глава фирмы, отец мог приглашать управляющих для докладов и совещаний прямо к себе домой и всегда настаивал, чтобы я присутствовал при беседах с ними. Через какое-то время это стало доставлять мне удовольствие.

Мне постоянно твердили: «Ты старший сын в семье, и со временем фирма перейдет в твои руки. Помни об этом». Но одновременно я слышал очень важное, как теперь

понимаю, предупреждение: «Не считай, что, раз ты по положению выше служащих, ты можешь ими помыкать. Продумывай в деталях, чего ты планируешь достичь и чего ты хочешь от своих подчиненных. Неси всю меру ответственности за свои решения». Мне разъясняли, что бранить подчиненных и искать в случае неудачи виноватых — так сказать, козлов отпущения — бессмысленно. У японцев наиболее рациональным считается — и это мне внушили с детства — выдвинуть цель, достижение которой выгодно по-своему всем сотрудникам, и использовать общую заинтересованность для эффективной работы. Преуспеть желает каждый. Поэтому хороший руководитель должен культивировать в себе такие черты, как терпение и внимание к нуждам подчиненных. Исходить только из личных интересов, притеснять своих служащих — в высшей степени неразумно. Эти основные принципы я усвоил прочно; они помогли мне разработать свою собственную философию менеджмента, которая отлично послужила и продолжает служить мне и моей фирме.

Мы были на редкость прогрессивной семьей. Мама очень любила классическую западную музыку и покупала множество граммофонных пластинок для нашей старенькой «виктролы». Они с дедом часто ходили на концерты, и, думаю, именно мама пробудила во мне интерес к проблемам звуковоспроизведения и электронике. Мы с ней по многу раз подряд крутили шипящие диски с записями выступлений выдающихся европейских мастеров. Тогдашние граммофоны плохо воспроизводили звучание оркестра, поэтому приятнее всего было слушать записи вокальных партий или пьесы, исполняемые на отдельных инструментах. Мама, насколько я помню, очень любила Энрико Карузо и скрипача Ефрема Цимбалиста. Мы посещали выступления всех известных музыкантов, приезжавших в Нагоя,— среди них были великий русский бас Федор Шаляпин и немецкий пианист Вильгельм Кемпф, тогда еще совсем молодой человек. Владелец одного из окрестных магазинов грампластинок получал из-за границы записи классической музыки серии «Красный ярлык» фирмы «Виктор», и раз в месяц, когда приходила новая партия, он непременно посылал маме на одобрение по экземпляру каждого наименования. Живо помню, как совсем еще малышом изо всех сил накручивал ручку нашего граммофона. А когда я учился в школе, в Японии появились импортные американские электрофоны, и уж конечно один из них должен был найти дорогу в наш дом.

Отец считал, что любители музыки должны иметь хорошую аппаратуру. Кроме того, как признался отец впоследствии, он боялся, что визгливый звук нашей «виктролы» испортит нам слух, да и музыкальный вкус в придачу. Поэтому как только проигрыватели нового типа появились в продаже, он выложил кругленькую сумму и приобрел электрофон — одним из первых в Японии и, уж во всяком случае, первым в нашей округе. Помнится, это чудо (тоже, кстати, детище фирмы «Виктор») стоило невероятно дорого — шестьсот иен. А ведь в те дни за полторы тысячи иен можно было купить целый автомобиль.

Никогда не забуду изумительного звучания нашего нового проигрывателя — по сравнению с граммофонным, разумеется. Я прослушивал знакомые записи вновь и вновь — Моцарта, Баха, Бетховена, Брамса; казалось невероятным, что какая-то электронная лампа способна так все изменить: заставить те же самые трескучие и шипучие пластинки звучать столь божественно.

Я прямо-таки заболел проблемами звуковоспроизведения и только о них и думал целыми днями. Услышав как-то раз, что один из моих родственников, инженер по профессии, сделал электрофон своими руками, я немедленно отправился к нему домой. Самодельный проигрыватель представлял собой набор отдельных деталей, соединенных проводами; вся конструкция располагалась прямо на соломенной циновке пола. Я был в восхищении: выходит, это можно сделать и в домашних условиях, а не только на большом заводе. Действительно, ряды радиолюбителей в те годы стали стремительно расти; некоторые японские газеты и журналы завели даже соответствующие разделы, где помещали радиосхемы с перечнями деталей и пояснениями, как их скомпоновать. Мимо этого я, разумеется, пройти не мог.

Я стал покупать книги по электронике и подписался на японские и зарубежные журналы, освещавшие новинки в области звуковоспроизведения и вообще радиодела. Очень скоро новое увлечение отнимало у меня уже столько времени, что это стало сказываться на успеваемости. Почти все время вне школьных стен я посвящал изготовлению различной аппаратуры по схемам из японского журнала «Радио и эксперименты». Моей заветной мечтой было сконструировать электрофон и сделать запись собственного голоса. Пришлось всерьез заняться самообразованием — интересовавшие меня предметы в то время не входили в школьную программу. В конце концов мне все же удалось кое-как собрать свой собственный электрофон, да и радиоприемник в придачу. Получилась даже запись своего голоса, которую можно было на этом электрофоне слушать.

Усердие на ниве радиолюбительства чуть не довело меня до исключения из школы. Директор часто вызывал маму для бесед о моих более чем скромных успехах. Не хочу слишком строго судить себя в этих воспоминаниях и потому отмечу, что всегда был силен в математике, физике и химии. Но по географии, истории и японскому обычно получал оценки ниже средних. Когда положение становилось прямо-таки угрожающим, родители устраивали мне головомойку и приказывали отложить в сторону электронные игрушки. Я подчинялся до тех пор, пока не удавалось получить несколько хороших отметок, и тогда возвращался к тому, что интересовало меня больше всего на свете.

Особенно трудно пришлось в старших классах: хоть я и выбрал естественное отделение, там тоже нужно было постигать целый набор скучнейших дисциплин — например, минералогию, ботанику,— весьма далеких от сферы моих увлечений. Одно время я был совсем близок к тому, чтобы вылететь, но кое-как дотянул до выпускного

класса, когда проводилась специализация. Тут уж я мог бросить все силы на свою любимую физику, по которой всегда имел только наивысшие баллы. Она стала моей страстью, а преподавателей этого предмета я просто боготворил.

Я был полон энергии и надежд, но шел 1940 год, и от будущего не приходилось ждать ничего хорошего. Во всем мире царило смятение. Франция капитулировала перед германскими полчищами, бомбардировщики люфтваффе атаковали британские города, и Уинстон Черчилль предупреждал свой народ, что впереди его ждут только «кровь, тяжкий труд, слезы и пот». Япония шла по пути, ведущему к национальной катастрофе; впрочем, цензура была в полной силе, и на страницах газет все выглядело — лучше некуда. Военные, установившие контроль над страной, объявили в 1938 году всеобщую мобилизацию, и ко времени моего поступления в университет японские армии оккупировали значительную часть Азии. Все политические партии у нас были распущены. США и союзные державы ввели экономические санкции против Японии; снабжение страны нефтью и другим сырьем оказалось под угрозой. Правящая верхушка готовилась развязать войну с Соединенными Штатами — таким способом она хотела спасти страну от экономического краха и сохранить контроль над народами, которые насильственно включила в «Великую восточноазиатскую сферу сопроцветания». Происходили события поистине исторической важности, но меня в ту пору занимала только физика.

Осакский императорский университет был тогда настоящей Меккой для студентов и исследователей, интересовавшихся достижениями современной физики. Его естественный факультет был самым молодым в Японии и потому располагал новейшим оборудованием. Да и сам университет был создан недавно и среди профессоров, преподавателей было много относительно молодых людей — с широким кругозором, вкусом к новому.

Узнав, что я выбрал не экономический, а естественный факультет, отец огорчился. Он не пытался повлиять на мое решение, но, уверен, по-прежнему рассчитывал в будущем видеть меня во главе семейного дела. Отец надеялся, что со временем увлечение сына физикой превратится в обычное хобби, да и сам я подчас думал: «А ведь этим, наверное, все и кончится».

Студенты естественных факультетов пользовались правом на отсрочку от призыва, но после выпуска я сразу же был зачислен офицером в военно-морской флот. Меня определили в городок Дзуси, в сводное конструкторское бюро, где армейские, флотские и гражданские специалисты совместно работали над совершенствованием тепловых систем самонаведения. От нас ждали смелых и оригинальных решений, и мы трудились днем и ночью, действуя методом «мозгового штурма». В числе наших гражданских коллег был один блестящий инженер-электронщик, управляющий небольшой фирмы; этому человеку суждено было сыграть в моей жизни исключительно важную роль. Масару Ибука старше меня на тринадцать лет, но ему предстояло стать моим очень близким другом, соратником, партнером, сооснователем компании, которую мы впоследствии создали — «Сони».

В июле-августе 1945-го район Токио — Иокогама бомбили почти каждый день и каждую ночь. Возвращаясь после налетов, огромные серебристые Б-29 проплывали прямо над нашей базой, и расположенная поблизости зенитная батарея открывала яростный огонь. Иногда из окон можно было наблюдать, как подбитый вражеский самолет падает в море. Небо пронизывали трассирующие пули, повсюду валялись гильзы от снарядов. Во время бомбежек пол нередко ходил ходуном у нас под ногами, но со временем мы научились не замечать этого и по ночам спокойно спали, вместо того, чтобы, подчиняясь приказу, то и дело бегать в укрытие. Может быть, мне и не стоило бы так откровенно признаваться в нарушении воинской дисциплины, но, полагаю, за давностью лет могу себе это позволить.

В те дни я больше всего опасался, что военные власти не пойдут на капитуляцию, даже если сопротивление утратит всякий смысл, и полуостров Миура, где размещалась наша часть, станет ареной кровавой битвы, последним оплотом фанатичного японского милитаризма. Сегодня известно, что американский десант планировался на самом южном из Японских островов, Кюсю (так называемый «План «Олимпик»); тогда же все в нашей части были уверены — противник не оставит без внимания скопление военных объектов в районе Дзуси, и, прими дело совсем уж дурной оборот, мы окажемся в самой гуще драчки на его пути в Токио. Узнав об атомной бомбардировке Хиросимы, я понял: мы на пороге катастрофы. Многие японские военнослужащие поспешили тогда нанести так называемые «официальные визиты» домой — попрощаться с родными. Я был как раз дежурным по части и не мог никуда отлучиться, но через несколько дней мне поручили съездить по делам службы в Нагоя. Пользуясь случаем, я испросил себе однодневный отпуск, чтобы навестить родителей.

Наша семья жила в то время в Косугая, в доме предков. Нагоя, да и почти вся префектура Айти, жестоко страдал от бомбежек — это был крупный индустриальный центр, производивший в числе прочего военные самолеты (например, знаменитый истребитель «зеро») и зенитную артиллерию. К июлю воздушные налеты уничтожили, полностью либо частично, половину заводских зданий Нагоя, а еще чуть позже было сообщено, что зажигательные бомбы лишили крова 32 процента его населения. Оставаться в городе было просто опасно, и все кто мог уезжали в деревню — так поступили и мои родители, и миллионы людей по всей Японии. Между тем Нагоя пострадал меньше, чем Иокогама, где без жилья остались 69 процентов населения, меньше, чем Кобэ, Токио — там число бездомных достигло соответственно 58 и 46 процентов. Тяжело приходилось и деревенским жителям, на которых обрушился поток беженцев.

Я добрался до родительского дома вечером 14 августа. Общей радости не было границ, но отец выглядел озабоченным. Как и многие в Японии, он уже давно понял — война проиграна, но представить себе, чем она закончится и что будет потом, не мог. Ведь никто не знал, чего можно ожидать от американцев. Я был уверен: конец войны не за горами — и прямо сказал об этом отцу. За этими разговорами мы просидели с ним далеко за полночь.

Мама разбудила меня ранним утром — казалось, я не проспал и часа. Она была в страшном возбуждении — объявлено, что в полдень император Хирохито выступит по радио с обращением к японскому народу. Сама весть о том, что император будет говорить с народом, казалась невероятной. Должно произойти нечто необыкновенное — ведь до сих пор японцы ни разу не слышали голоса своего монарха. Рядовым подданным не разрешалось даже видеть его, и когда император выезжал куда-либо — будь то на автомобиле или на поезде,— встретившие его в пути должны были отворачиваться. Мы чувствовали себя свидетелями события исторической важности.

Как морской офицер, я надел форму, пристегнул саблю и выслушал речь, стоя по стойке «смирно». Несмотря на отчаянный треск и шипение в эфире, можно было разобрать каждое слово, произнесенное высоким, срывающимся голосом Его Величества.

Мы никогда раньше не слышали этого голоса, но знали, что это голос нашего императора. Он говорил на вычурном, старомодном языке двора, и хотя точный смысл некоторых его фраз остался для нас неясным, главное мы поняли — и ощутили страх и облегчение одновременно.

Война была окончена.

МИР

Начало новой жизни

В одночасье наша жизнь перевернулась. Император в своей речи предупредил — ближайшие годы будут тяжелыми. Он заявил: японцы в состоянии «построить дорогу к незыблемому миру для всех грядущих поколений», но чтобы сделать это, мы должны «стерпеть нестерпимое и вынести невыносимое». Император призвал Японию смотреть вперед: «Соберите в единый кулак все ваши силы и посвятите их строительству будущего».

В мире вдруг стало непривычно тихо — воздушные налеты разом прекратились. Правда, во многих японских городах, казалось, и бомбить-то уже больше нечего. В Осака, Нагоя, Иокогама и Токио, например, уцелели только самые прочные здания — те, что были из камня или железобетона. Обычные же деревянные жилые дома, магазины, фабричные постройки сгорели под градом американских «зажигалок», как сухой хворост. В Токио осталась половина довоенного семимиллионного населения — остальные разбежались по деревням и маленьким городкам. На ходу была лишь десятая часть городских трамваев и штук шестьдесят автобусов. Из-за трудностей с бензином считанные грузовики и легковушки ездили на угле или на дровах. Свирепствовали эпидемии, 22 процента горожан страдали туберкулезом. В больницах не хватало самых необходимых медикаментов — бинтов, ваты, антисептиков. Магазины зияли пустыми витринами либо были завалены никому не нужной чепухой вроде скрипичных струн или теннисных ракеток. Работали, правда, некоторые кинотеатры; их осаждали толпы людей, которым было нечего делать и некуда больше пойти — многие стремились хоть на пару часов отключиться от горестей повседневного бытия.

Нашей семье повезло: мы вышли из войны целыми и невредимыми, конторские и производственные помещения нашей компании в Нагоя, даже жилой дом — все счастливо избежало неприятельских бомб. Когда мне и моим братьям удалось наконец вернуться в родные стены, общей радости не было границ. Но надо было думать, как жить дальше, и через несколько дней мы устроили семейный совет. Речь шла главным образом о моем будущем — как-никак я был старшим сыном, наследником. Впрочем, отец пребывал в добром здравии, прекрасно справлялся с руководством делами компании и нужды в моей помощи не испытывал. Поэтому в конце концов все сошлись на том, что с моим подключением к семейному бизнесу можно пока повременить.

Вскоре после возвращения в отчий дом я получил письмо от одного из своих самых любимых учителей — профессора Хаттори. Он сообщал, что занят организацией при физическом факультете Токийского технологического института курсов для ушедших на фронт со студенческой скамьи. Преподавателей не хватало, и Хаттори приглашал меня — точнее, настоятельно просил — попробовать силы на этой стезе. Перспектива выглядела весьма соблазнительной: во-первых, занятия моей любимой физикой; во-вторых, жизнь в столице, где, я надеялся, со временем можно будет найти и более интересную работу. Родители против моих планов не возражали.

Еще до отъезда в Токио мне удалось связаться с Ибука, бывшим коллегой по конструкторскому бюро в Дзуси. Выяснилось, что он открывает в столице собственную фирму.

В последние месяцы войны мы с Ибука виделись нечасто. Он не мог регулярно появляться на нашей базе — Токио жестоко бомбили, и Ибука пришлось эвакуировать свой завод на северо-восток, в префектуру Нагано, а оттуда до Дзуси было несколько часов поездом. Иногда я сам выезжал по делам к нему в Нагано, и вот тут мы как-то и разговорились о том, чем каждому хотелось бы заняться после войны — оба слушали зарубежные радиопередачи и понимали, что поражение Японии не за горами.

Ибука был человеком осведомленным. Его тесть, Тамон Маэда, считался правой рукой бывшего премьер-министра князя Фумимаро Коноэ. Маэда даже стал впоследствии министром просвещения первого послевоенного японского кабинета, правда, через полгода ему пришлось уйти в отставку — оккупационные власти затеяли чистку госаппарата от лиц, имевших то или иное отношение к правительствам военного времени. В беседах с тестем мой друг черпал много по-

лезной информации внешнеполитического и военного характера.

Фирма, где Ибука работал управляющим, называлась «Нихон сокутэйки» — «Японские измерительные приборы». Ее завод в Нагано (там работало полторы тысячи человек) изготовлял несложные устройства для контроля частот в радарных установках. Талантливый и честолюбивый инженер жаждал иного поля деятельности — заниматься выпуском комплектующих деталей на провинциальном заводике ему было неинтересно. Ибука заявил президенту своей компании, что хотел бы вернуться в Токио, и тот, хоть и неохотно, отпустил его и даже предложил помощь в открытии собственного дела. Нашелся и еще один добрый знакомый — ему принадлежало то, что когда-то было универмагом «Сирокия» на Нихонбаси, в самом сердце разбомбленного Токио.

Пустое, ободранное здание бывшего торгового центра одиноко возвышалось среди гор битого кирпича, обгорелых остовов домов и магазинов некогда процветавшего столичного района. Здесь Ибука и разместил свое новое детище — «Токио цусин кэнкюсё», «Токийский исследовательский центр радио». Служащих поначалу было семеро — все прежде работали с ним в Токио, потом эвакуировались в Нагано,— и они умудрились кое-как втиснуться в бывшую комнатенку телефонного оператора на третьем этаже (позже «Центр» освоил и седьмой этаж здания). Мой друг как-то рассказал, что остальные его коллеги, бывшие токийцы, не пожелали возвращаться в свой родной город, поскольку известно было — там очень плохо с жильем и продуктами. Знали они и то, что с деньгами у новой фирмы туго и перспективы у нее, мягко говоря, весьма неопределенны.

Ибука мог рассчитывать только на свои личные средства и на свои идеи. Небольшой коллектив сотрудников проводил целые недели в нескончаемых совещаниях, пытаясь найти способ заработать хоть немного денег на текущие расходы. По замыслу ее создателя, новая компания должна была производить что-то абсолютно новое, но для начала следовало создать финансовую базу для этого. Какие только предложения не выдвигались в первые дни! Один из служащих, к примеру, заявил: раз центр Токио все равно выгорел и превратился в пустырь, нужно арендовать там участок земли и открыть небольшое поле для гольфа. Люди хотят развлекаться, настаивал он, смотрите, что делается в кинотеатрах. Другой был убежден, что самый верный заработок дает пищевая индустрия: не заняться ли фирме, скажем, выпечкой пирожков со сладкой бобовой пастой.

Но Ибука перебрался в Токио все же не для этого. У него возник более интересный план. Во время войны населению было категорически запрещено иметь коротковолновые радиоприемники, что, естественно, возбудило к ним широкий интерес. Теперь запрет сняли и появилась возможность привести спрос и предложение в равновесие. Почти каждая семья имела радиоприемник — надо же было слушать сигналы воздушной тревоги и вести с фронта,— но все они могли работать только в диапазонах средних волн. И вот Ибука сконструировал специальный адаптер — простенькую радиосхему всего на одной лампе, заключенную в деревянный ящичек. Подключив его к обычному бытовому радиоприемнику, каждый мог принимать передачи на коротких волнах. Электролампы приходилось добывать на черном рынке, иногда по очень высоким ценам, но в конце концов все усилия себя оправдали — адаптер пошел нарасхват. Это придало сотрудникам «Токио цусин кэнкюсё» уверенности в своих силах.

Приехав в Токио, я забросил багаж к приятелю (он жил в западной части города, не так уж сильно пострадавшей от бомбежек) и, не теряя времени, отправился на Нихонбаси разыскивать Ибука. Штаб-квартира новой компании имела довольно жалкий вид, но лицо моего друга дышало энергией — он и его служащие были счастливы заниматься настоящим делом в те дни, когда многие японцы проводили время в бесплодных размышлениях о будущем.

Я знал, что с деньгами у Ибука туго, и объявил о решении делить свое время между работой у него и преподаванием. В этом случае компании не придется платить мне слишком много — я ведь буду кое-что получать в институте,— и таким образом и я и она сведем концы с концами. В перспективе же мы рассчитывали создать новую фирму, где Ибука и я выступали бы в качестве деловых партнеров (эта идея возникла у нас еще во время войны, вскоре после знакомства). Но тут вставал непростой вопрос о моих обязательствах по отношению к семье.

Итак, в апреле 1946 года я, Ибука и Маэда, который к тому времени уже оставил пост министра просвещения, сели на ночной поезд до Косугая. Друзья намеревались просить моего отца помочь становлению новой компании — разрешить мне стать ее совладельцем. Они считали себя обязанными проявить в отношении отца максимум деликатности, поскольку понимали, что значит оторвать старшего сына от семейного бизнеса.

После беседы на общие темы Ибука и Маэда рассказали отцу о проекте создания новой компании, о ее концепции и заявили, что без меня им не обойтись. Мы все с нетерпением ждали реакции отца. Он, очевидно, был внутренне готов услышать нечто подобное. Почти не раздумывая, он ответил, что хотел бы видеть меня своим преемником в качестве главы семьи и семейного бизнеса. «Но,— тут отец повернулся к Маэда и Ибука,— раз мой сын избрал иной путь в жизни, нашел иную возможность реализовать свои способности, я возражать не буду.— Он посмотрел на меня с улыбкой: — Занимайся тем, что тебе больше по душе».

Вернувшись в Токио, мы собрали всю свою наличность и образовали новую фирму, которую назвали «Токио цусин когё» — «Токийская радиотехническая компания». Ее капитал составил около пятисот долларов — сумма отнюдь не королевская, попросту говоря, недостаточная. Очень скоро возникла нужда в дополнительных средствах, и мы неоднократно брали у отца взаймы. Он верил в нас и нашу фирму и не настаивал на быстром возвращении долга. Поэтому я решил расплачиваться с ним акциями «Токио цусин когё». Впоследствии оказалось, что

отец распорядился деньгами очень мудро, поскольку его вера в нас была щедро вознаграждена. Постепенно он сделался держателем крупного пакета акций компании.

Хотя деньги, которые я получал за чтение лекций в Токийском технологическом институте, были в моем бюджете отнюдь не лишними, преподавательской деятельностью я тяготился. Мне хотелось заняться делами нашей фирмы в полную силу. Поэтому я был, в сущности, рад, когда в один прекрасный день газеты сообщили о решении оккупационных властей уволить всех преподавателей, которые во время войны служили офицерами в армии или на флоте.

В августе 1946-го в здании универмага «Сирокия» начался ремонт, и нам было предложено подыскать себе другое помещение. В конце концов мы обосновались на южной окраине города, в полуразрушенной деревянной лачуге на холме Готэнъяма, некогда славившемся особым очарованием в пору цветения сакуры. С 1853 года Готэнъяма служил укрепрайоном, прикрывавшим Токио со стороны моря, но к тому холодному январскому дню 1947-го, когда мы перебрались в нашу древнюю развалюху, от укреплений не осталось и камня на камне; мы были окружены зримыми приметами военного поражения. Куда ни посмотри — всюду видны последствия разрушительных бомбежек. Крыша текла, и нам подчас приходилось защищать свои рабочие столы обыкновенными зонтами. Зато, хоть удаленность от центра города и имела свои минусы, мы распоряжались помещением как хотели, да и места здесь было больше, чем в «Сирокия».

Чтобы попасть в комнаты, где размещалась в те дни «Токио цусин когё», посетителю приходилось подныривать под несколько бельевых веревок, увешанных зачастую пеленками соседских младенцев. Когда меня как-то раз навестили на работе родственники, они были столь сильно поражены неприглядным видом нашей конторы, что решили: не иначе как я подался в анархисты — так и было передано маме. Эти люди не могли взять в толк, с какой стати, если не по политическим мотивам, мог я предпочесть прозябание в этой дыре жизни в Нагоя, жизни, подобающей моему «общественному статусу» сына президента солидной компании.

Когда мы решали, какого рода изделия выпускать, многие предлагали остановиться на радиоприемнике — на японском рынке был большой спрос не только на коротковолновые адаптеры, но и на сами приемники. Ибука был категорически против этого. Мы с ним много говорили в свое время о концепции нашей компании; мы хотели видеть ее фирмой-новатором, фирмой-интеллектуалом, фирмой, способной изготовлять самую современную наукоемкую продукцию на оригинальной технологической базе. Производство обычных радиоприемников, полагали мы, отнюдь не приблизило бы «Токио цусин когё» к намеченному идеалу.

Ибука загорелся мыслью выбросить на рынок бытовой электроники совершенно новый товар — не просто улучшенную модификацию того, что было доступно покупателям до войны, а нечто, в Японии абсолютно не известное широкой публике — проволочный магнитофон. Нам приходилось видеть подобные магнитофоны, их завозили из Германии; в лабораториях университета Тохоку, на севере Японии, уже разрабатывалась технология производства проволоки к ним и была получена отличная магнитная сталь.

Ибука выяснил, что компания «Сумитомо» располагает оборудованием, позволяющим выпускать проволоку нужного нам типа — диаметром ровно в одну десятую миллиметра (крайне, кстати, сложную в изготовлении). Он отправился в Осака, но заинтересовать «Сумитомо» нашим заказом не сумел: представлял он мелкую, только что образовавшуюся фирму, а просил поставить ему высокотехнологичный товар, который производить дорого, а сбывать можно только одному покупателю. Другие потенциальные поставщики реагировали аналогичным образом. Но, как подчас бывает в жизни, все в конце концов обернулось только к лучшему. В то время мы, конечно, досадовали, что наладить выпуск проволочных магнитофонов не удается, не подозревая — именно трудности с проволокой побудят нас вскоре обратиться к гораздо более перспективному материалу — магнитной ленте.

Оккупационные власти взяли на себя руководство Японской радиовещательной корпорацией Эн-эйч-кей (японский аналог Би-би-си) и занялись ее техническим переоснащением. Им требовались микшерские пульты и другое оборудование для звукозаписи и радиовещания — как раз то, с чем Ибука был хорошо знаком. Он предложил американцам заключить с «Токио цусин когё» контракт на изготовление для Эн-эйч-кей крупного микшерского пульта, и в нашу лачугу на Готэнъяма прибыл гость, американский бригадный генерал, дабы ознакомиться на месте с работой безвестной фирмешки и обсудить с ее руководством детали заказа. Технической реконструкцией Эн-эйч-кей руководил приятель Ибука, некто Сигэо Сима,— он-то и посоветовал своим хозяевам заключить контракт именно с нами. Когда генерал увидел, в каких ужасных условиях мы работаем, он даже головой покачал — причины, по которым Сима выбрал фирму Ибука, были для него непостижимы. Наш доброхот мог лишь просить его довериться суждению специалиста, и в конце концов все устроилось. Чиновник только потребовал, чтобы мы постоянно держали наготове ведра с песком или водой — ему казалось, что наша халупа может загореться в любой момент.

Когда оборудование было наконец доставлено заказчику, все пришли в восторг от его высокого качества, особенно генерал-скептик — он не мог взять в толк, как удалось нашей маленькой, совсем еще юной компании, с ее кустарной производственной базой, обеспечить выпуск столь высокотехнологичного изделия. Поздравлениям, казалось, не будет конца. Думаю, именно отличное качество выполнения этой работы помогло «Токио цусин когё» заложить фундамент доверия, который позволил ей впоследствии получать заказы от Радиослужбы американских вооруженных сил и от Дальневосточных ВВС США.

В студии Эн-эйч-кей, куда он с таким триумфом доставил наш микшерский пульт, Ибука впервые увидел ленточный магнитофон — изделие американской фирмы «Уилкокс-Гэй». Осмотрев его, мой друг принял решение. Проволочный магнитофон, который он мечтал создать, не мог идти с ленточным ни в какое сравнение. Использование проволоки, при общей плодотворности концепции, чревато рядом существенных затруднений. Во-первых, чтобы получить приличное качество звучания, проволоку надо пропускать мимо звукозаписывающей и воспроизводящей головок с большой скоростью — значит, ее должно быть много, и бобины становятся чрезмерно громоздкими. Второй недостаток — проволочные записи очень трудно редактировать.

Магнитную ленту, в отличие от проволоки, можно свободно резать и клеить. На сравнительно компактной бобине ее помещается достаточно много. Но главное — качество записи на ленте получается несравненно выше, чем на проволоке.

К этому времени Ибука успел выдвинуть так много самых разных проектов будущей деятельности фирмы, что сотрудники, особенно бухгалтер, перестали относиться к ним с энтузиазмом; мой друг знал — в серьезность его инициатив верят все меньше и меньше. Он твердо решил создать первый японский ленточный магнитофон, и теперь нужно было убедить своих коллег и нашего прижимистого финансиста, что эта идея жизнеспособна. Ибука обратился все к тому же генералу с просьбой одолжить магнитофон на короткое время — он хочет продемонстрировать его возможности сослуживцам. Чиновник долго мялся, но потом дал согласие с условием, что привезет и включит чудо техники лично. В нашем сарае магнитофон сразу же стал центром общего внимания, а после сеанса пробной записи и воспроизведения уговаривать было уже некого — все были уверены в перспективности усилий в этом направлении. Все — кроме бухгалтера Дзюнъити Хасэгава, человека, которого отец специально откомандировал из своей конторы, чтобы помочь нам по финансовой части.

Мы с Ибука были в таком восторге от самой концепции магнитофона, столь уверены в его коммерческом успехе, что решили как следует насесть на Хасэгава и уломать его любой ценой. Зазвав его на ужин в спекулянтский ресторанчик, мы закатили настоящий пир: пиво, большая тогда редкость, лилось рекой. Застолье продолжалось до поздней ночи. Мы рассказали Хасэгава об уникальных возможностях магнитофона, его поистине эпохальном значении для всей отрасли, объяснили, что наша фирма в состоянии выйти на рынок с этим изделием раньше других, обогнав своих тяжеловесных конкурентов — крупные компании, если начнет действовать завтра же, главное — продуманные решения и ни минуты промедления. Видимо, мы были в должной мере красноречивы, поскольку бухгалтер одобрил проект в тот же вечер, не выходя из-за стола. Дело наконец сдвинулось с мертвой точки.

Так, по крайней мере, нам казалось поначалу. Но скоро выяснилось: основное препятствие — наша полная неосведомленность в том, что касалось изготовления решающего компонента всей системы — магнитной ленты. Работая над проволочным магнитофоном, мы освоили механическую и электронную части конструкции. С лентой же все было намного сложнее. Никто в Японии не был знаком с технологией ее производства, импортные закупки для нас исключались; мы знали, что придется делать магнитную ленту самим. И «Токио цусин когё» с самого начала взяла курс на выпуск не только магнитофонов, но и большого количества ленты к ним — ведь ясно было, что с появлением в продаже магнитофонов возникнет и обширный рынок сбыта ленты. Отказавшись от ее массового производства, мы помогли бы этим своим будущим конкурентам.

Первой и труднейшей проблемой было достать или изготовить основу для ленты. Пластмассой мы не располагали — пришлось довольствоваться целлофаном. Ибука, я и Нобутоси Кихара, блестящий молодой инженер, образовали своего рода бригаду, вместе резали целлофан на длинные ленты шириной в четверть дюйма и пробовали покрыть их магнитным слоем того или иного состава. Очень скоро мы поняли, что это пустая затея — даже самый лучший, самый прочный целлофан выдерживал всего один-два прохода мимо магнитных головок, а затем безнадежно вытягивался, что вело к ухудшению звучания. Мы прибегли к помощи химиков, чтобы получить целлофан повышенной прочности, но и это не удалось. Пытались использовать более толстый целлофан — безрезультатно. В конце концов я обратился к своему двоюродному брату Горо Кодэра, сотруднику «Бумагоделательной компании Хонсю», с неожиданным вопросом: возможно ли в принципе создание очень прочной, тонкой и гладкой бумаги, которую можно было бы пустить на основу для магнитной ленты. Он обещал нам помочь, и вскоре, получив бумагу, мы опять принялись орудовать бритвенными лезвиями.

Изыскать составляющие для качественного магнитного слоя было в те времена всеобщего дефицита делом почти невозможным. Кихара додумался использовать щавелевый феррит, который при нагревании превращается в окись железа. Вот оно! Но откуда взять щавелевый феррит? Мы с Кихара бросились по фармацевтам-оптовикам и в конце концов разыскали единственную лавчонку, где продавалось нужное нам зелье. В лабораторию вернулись с двумя бутылками химиката. Подогревали мы его на одолженной у соседей сковородке; в результате получили сначала коричневый, а затем черный порошок, соответственно — окись железа и четырехокись железа. У Кихара обнаружился неожиданный дар — он мастерски определял на глаз нужный цвет химиката и всегда вовремя снимал сковородку с огня. Порошок мы смешали с прозрачным японским лаком — мы ведь собирались напылять его на ленту с помощью пульверизатора. Из этого, однако, ничего не вышло. В конце концов мы пришли к тому, чтобы наносить магнитный слой вручную, тонкими кисточками из енотовой щетины — к общему изумлению, этот способ оказался самым результативным.

Качество нашей бумажной магнитофонной ленты было, разумеется, ниже всякой критики. Но мы ею гордились. А когда удалось достать пластмассу, мы сумели быстро скорректировать нашу технологию и вышли с магнитной лентой на рынок раньше других. (По настоянию Ибука производству ленты и в дальнейшем уделялось особое внимание, и наконец в ноябре 1965 года он — как и все мы — получил веские основания считать свои усилия вознагражденными: ИБМ приняла решение использовать именно нашу магнитную ленту в качестве носителя для своих компьютерных программ.)

В те дни лента являлась ключом к будущему нашего предприятия — механическую часть мы уже успели отработать до совершенства. Магнитофон, который мы выпустили в 1950 году, был громоздким и тяжелым, но работал, как нам казалось, превосходно. Я пребывал в полной уверенности, что после всех трудов мы наконец-то находимся на пути к большому успеху. Стоит только покупателям увидеть и услышать наше детище, думали мы, отбоя от заказов не будет.

Нас ожидало жестокое разочарование. Магнитофон был в Японии абсолютно новым видом товара — очень мало кто вообще знал, что это за штука. Из тех же, кто знал, большинство не видели резонов тратиться на него. Магнитофон не казался людям необходимым атрибутом их жизни. Его попросту не покупали.

С позиций сегодняшнего дня я прекрасно вижу причины наших затруднений. Объемистый агрегат весил целых тридцать пять килограммов, и запрашивали мы за него сто семьдесят тысяч иен. В Японии периода оккупации это была крупная сумма — выпускник университета зарабатывал тогда менее десяти тысяч иен в месяц. Так что мы изготовили пятьдесят штук наших магнитофонов для рынка, который, похоже, вообще не существовал. Дело в том, что ни Ибука, ни я не имели никакой подготовки либо практического опыта по части выпуска и сбыта потребительских товаров. У нас даже не возникало мысли о необходимости специальных знаний в этой области. Ибука свято верил: главное — дать хорошую продукцию, а заказы придут сами собой. Я думал примерно так же. Добрый урок был нам просто необходим.

Я пытался сделать все возможное для успеха нашего магнитофона. Как только первый экземпляр был готов, я принялся демонстрировать его возможности повсюду, где только мог — в конторах различных фирм, в университетах. Каждый день я возил магнитофон на грузовике по домам друзей и устраивал своего рода шоу: записывал их голоса, а потом прокручивал все это, к общему изумлению и удовольствию. Всем наше изделие нравилось, но покупать его никто не желал. Реакция обычно была примерно такой: «Забавная вещица, но для игрушки дороговата».

Тут-то я и понял, что разработать уникальную технологию и выпустить уникальную продукцию — еще не значит добиться коммерческого успеха. Продукцию необходимо продать, а для этого надо предварительно убедить потенциального покупателя в том, что товар представляет для него реальную ценность. Я осознал: главным коммерсантом в нашей маленькой фирме предстоит стать мне. Счастье, что в наших рядах был такой гений, как Ибука; ему следовало дать возможность полностью сосредоточиться на конструкторско-производственной деятельности, коммерческую же сторону дела я решил взять на себя.

Я пришел к выводу, что необходимо прежде всего определить круг лиц и организаций, которые могли бы по достоинству оценить наш магнитофон. И тогда у Тамон Маэда родилась интересная мысль.

В первые послевоенные годы в Японии остро не хватало стенографистов — ведь целое поколение наших соотечественников из-за войны не сумело получить нормального школьного образования. Особенно страдали от этого суды: немногочисленные стенографисты работали там с колоссальной перегрузкой. Маэда организовал демонстрацию нашего изделия в Верховном суде, и мы сразу же получили заказ на двадцать магнитофонов. Здесь моментально сообразили, как приспособить нашу разработку для практических нужд, оценили ее по достоинству; никому и в голову не пришло назвать магнитофон игрушкой.

После этого логичным казалось обратить свои взгляды к школе. Как-то раз на одном из бесчисленных совещаний по проблеме сбыта Ибука обратил внимание присутствующих на следующее. Традиционная японская система образования вращалась вокруг чтения, письма и искусства считать на счетах. Американцы придавали большое значение аудиовизуальным средствам обучения и оказывали в этом плане давление на министерство просвещения Японии. Однако шестнадцатимиллиметровые фильмы с английским текстом, которые оккупационные власти поставляли в японские школы, использовать было практически невозможно: преподавание английского в годы войны запрещалось, и только очень немногие из преподавателей, не говоря уже об учениках, могли понимать этот язык на слух. Надо было изыскать способ снабдить учебные ролики комментарием на японском языке. Магнитофон давал такую возможность.

Мы специально сконструировали более компактную установку, и притом с ценой, которую бюджет обычной школы мог осилить. По размеру она была чем-то средним между атташе-кейсом и чемоданом небольшого габарита. Устройство — предельно простое, всего одна скорость, надежность в работе — максимальная. В 1951 году я и моя невеста Ёсико получили от сотрудников фирмы в подарок к свадьбе первый экземпляр этой модели, которую мы назвали «Эйч».

Постепенно мы переходили к выпуску переносных магнитофонов, уделяли все большее внимание внешнему оформлению продукции. Появилась уверенность в своих силах. Новые идеи и подходы наконец-то начали пускать корни в умах людей; подчас их воспринимали, пожалуй, слишком уж безоглядно — но ведь строилось совершенно новое общество, простое подновление существующего никого не устраивало.

Мы с самого начала положили, что «Токио цусин когё» должна выйти на внешний рынок; это означало, что Ибука и мне так или иначе придется выезжать за границу. К 1952 году наш магнитофонный бизнес прочно стоял на ногах, и Ибука решил — сейчас ему самое время отправиться в США, чтобы больше узнать о сферах возможного применения звукозаписывающих устройств и технологии производства ленты. Он практически не говорил по-английски, однако сумел много где побывать и многое увидеть. Вернулся разочарованным: он понял, что в американских школах магнитофоны распространены даже меньше, чем в японских. С лентой его также постигла неудача — ни один из американских ее производителей не допускал посторонних на свои заводы. И все же поездка моего друга обернулась для нас большой удачей.

Еще в 1948 году мы с Ибука прочитали в журнале «Белл лаборэтэри рекорд» о работе группы Уильяма Шокли из «Белл лаборэтэриз» и с тех пор внимательно следили за ее выдающимися открытиями. В 1952-м в прессе разных стран появились краткие сообщения о создании инженерами «Белл» устройства под названием «транзистор». В ходе своей командировки Ибука узнал, что лицензия на это замечательное приспособление вот-вот появится в продаже. Он сразу же начал строить планы.

Тут необходимо сделать существенную оговорку: задача наша не сводилась просто к покупке лицензии и налаживанию производства. Тогдашние транзисторы безусловно являлись новым словом в электронике, но работать они могли только на звуковых частотах. Когда годом позже я подписывал патентное соглашение, партнеры из компании «Уэстерн электрик» предупредили: если говорить о ширпотребе, их изделие годится только на слуховые аппараты. Транзисторов, которые можно было бы использовать в радиоприемниках, тогда попросту не существовало. Слуховые аппараты мы, разумеется, делать не собирались — уж очень узок их рынок. Нашей целью было создать товар для самого широкого потребителя, поэтому мы и решили ориентировать научно-исследовательский и инженерный персонал «Токио цусин когё» на разработку собственного высокочастотного транзистора.

Мы мечтали заменить транзистором громоздкую и ненадежную электронную лампу — это позволило бы не только существенно уменьшить габариты изделий, но и снизить потребление энергии. Создав высокочастотный транзистор, мы оказались бы в состоянии выпустить по-настоящему миниатюрный приемник на батарейках.

Миниатюрное и компактное всегда было дорого сердцу японца. Наши веера складываются, картины — скатываются в свитки, ширмы, на которых подчас изображен целый город, легко сложить и убрать с глаз долой либо, наоборот, выставить на всеобщее обозрение — любуйтесь, наслаждайтесь, развивайте свой художественный вкус, а можете просто использовать их по назначению. Вот и мы задались целью изготовить радиоприемник, который помещался бы в нагрудный карман рубашки. Нет, не просто переносной, повторяю, «карманный». Еще до войны американский концерн «Ар-си-эй» выпускал переносной приемник на лампах-«орешках»: половину его объема занимала дорогостоящая батарея, и хватало ее всего на четыре часа работы. Радикально решить проблему габаритов и питания, считали мы, можно было только с помощью транзистора.

Наши исследователи прошли долгий путь проб и ошибок, экспериментируя с новыми или, во всяком случае, нетрадиционными материалами. Им пришлось сконструировать транзистор заново, по существу вновь изобрести его. Годом позже мы поразили людей из «Белл», рассказав, что нам удалось добиться желаемых результатов, используя фосфорное покрытие — метод, от которого они в свое время отказались, очевидно, преждевременно.

Во время своей первой поездки за рубеж в 1953 году я пришел к выводу, что название нашей компании — «Токио цусин когё» — не подходит для того, чтобы красоваться на экспортной продукции. Иностранцу его было попросту не выговорить. Мне казалось, нам никогда не добиться международного признания, если мы не придумаем для своей фирмы оригинальное имя. В конце концов было решено: новое наименование компании — необычное, остроумное, легко запоминающееся — впервые появится на нашем транзисторном радиоприемнике.

Изобретали такое название мы с Ибука долго. Прежде всего, сошлись на том, что обойдемся без эмблемы; ее роль будет выполнять само название, и потому оно должно быть коротким — не более четырех-пяти букв. Ежедневно мы выписывали на бумагу возможные варианты и в свободную минуту обсуждали их. Искали слово, которое было бы понятно людям любой национальности, звучало бы одинаково на всех языках мира. Многие десятки предложений были отвергнуты. В поисках удачи мы просматривали словари различного профиля и однажды наткнулись на латинское слово «сонус» — «звук». Казалось, это слово само заключает в себе некое звучание, да и профиль нашей компании оно отражало самым непосредственным образом. С другой стороны, в Японии тех лет наметилась мода на англоязычные прозвища и смышленых молодых людей (а мы считали себя таковыми) именовали «сонни» — «сынок». К сожалению, просто назвать нашу фирму «Сонни» мы не могли: по-японски «сон-ни» означает «невыгодно». После некоторого размышления мне пришло в голову: почему бы не опустить одно «н» и не остановиться на «Сони»? Вот оно, решение проблемы!

Важным преимуществом нашего нового названия было то, что оно не имело никакого дополнительного значения ни на одном из языков мира; оно легко запоминалось и вызывало как раз те ассоциации, которые нам требовались. Латинский шрифт делал его как бы «своим» во многих странах. Повсюду в мире, включая Японию, власти не жалели денег на обучение населения английскому языку. Так что расширение круга лиц, знающих латинский алфавит и способных прочесть и запомнить название нашей

фирмы, должно было расти автоматически, без всяких затрат с нашей стороны.

Свой первый транзисторный радиоприемник мы выпустили в 1955 году, а его «карманный» вариант — в 1957-м. Это был самый маленький приемник в мире, но в обычный нагрудный карман мужской рубашки он все же не влезал. Пренеприятная неожиданность! Хотя никогда не уточнялось, о каком именно кармане идет речь, мы как-то свыклись с мыслью, что любой коммивояжер будет в состоянии поразить воображение потенциальных покупателей, продемонстрировав, как легко наш приемник умещается в кармане сорочки. Выход оказался простым — мы заказали для своих торговых агентов рубашки с карманами чуть больше обычных.

Наша законная радость была несколько омрачена сознанием того, что мы оказались все же вторыми. Американская компания «Ридженси», работая совместно с «Тексас инструментс», изготовила транзисторный приемник на несколько месяцев раньше нас. Как пионер в этом деле, «Ридженси» могла бы легко захватить огромный рынок (что сделали впоследствии мы), однако она ошибочно сочла данное направление неперспективным и свернула все работы по нему.

На нашем симпатичном приемничке впервые красовалось новое название компании — «Сони»; мы строили грандиозные планы использования транзисторов в бытовой электронике и верили, что успех «карманного» радио — это только начало.

РЫНОК СБЫТА — ВЕСЬ МИР

Приобретение опыта

Хотя наша фирма была пока невелика, а японский рынок считался весьма емким и перспективным, мы знали (как знали это все деловые люди в Японии): чтобы выжить, японская компания должна экспортировать свою продукцию. Другого пути попросту не существовало, ведь наша страна располагает только одним видом природных богатств — энергией ее народа. Обращение к зарубежным рынкам было для «Сони», таким образом, делом вполне естественным. И по мере того, как мы шли от успеха к успеху, я все отчетливее понимал, что без ориентации на экспорт реализовать выношенную Ибука и мной концепцию компании не удастся. Мы мечтали опровергнуть расхожее мнение о низком качестве японских товаров; ясно было, что продавать качественные, дорогие изделия можно только в высокоразвитой, зажиточной стране. Это сегодня свыше 99 процентов японских семей имеют цветные телевизоры, свыше 98 процентов — холодильники и стиральные машины, от 60 до 70 процентов — стереосистемы и магнитофоны. А в 1958-м, через год после появления в свет нашего «карманного» транзисторного приемника, телевизоры были всего у одного процента, стиральные машины — у 5 процентов, а холодильники — у 0,2 процента японских семей. К счастью, с середины пятидесятых годов японский экономический потенциал стал расти очень высокими темпами. Стремительное увеличение валового национального продукта при низком уровне инфляции вызвало к жизни настоящий потребительский бум. Многие считают, что началом послевоенной эры для Японии следует считать 1955 год, когда мы выпустили первый в стране транзисторный радиоприемник. Валовый национальный продукт вырос в 1955-м на целых 10,8 процента. Японский потребитель нуждался в очень многих товарах и имел сбережения, позволявшие их купить — норма накопления превышала тогда 20 процентов. Словом, внутренний рынок постоянно расширялся, определенные надежды были и на внешний; мы могли смотреть в будущее с оптимизмом.

Дела у «Сони» шли хорошо, хотя дома нам по-прежнему приходилось вести жестокую борьбу за признание — японцы очень консервативны по части товарных ярлыков. За рубежом же все японские фирмы, старые и новые, были в равном положении. Тут мы, пожалуй, находились даже в более выигрышной позиции. В довоенной Японии качественных потребительских товаров практически не выпускали. Изделия с клеймом «Сделано в Японии», поступавшие на внешний рынок, пользовались дурной славой. Большинство рядовых покупателей в США и Европе полагали, что японцы в состоянии делать только бумажные зонтики, кимоно, игрушки и дешевые украшения. Выбирая название для своей компании, мы не задавались специальной целью скрыть ее национальную принадлежность — так или иначе международные соглашения обязывают всех указывать на товаре страну-производителя,— однако акцентировать последнюю, безусловно, не стремились из-за риска быть отвергнутыми прежде, чем успеем продемонстрировать высокое качество своей продукции. Должен признать, однако, что в те дни мы старались писать слова «Сделано в Японии» возможно более мелкими буквами и по этому поводу имели даже как-то раз неприятность с американской таможней которая в конце концов заставила нас использовать шрифт покрупнее.

Мы выбрасывали на рынок товары, которые не предлагал покупателю никто — да их и не выпускал до нас никто, взять хотя бы транзисторный радиоприемник или телевизор,— и постепенно зарабатывали себе репутацию первопроходцев. Некоторые даже называли нас «подопытными кроликами» в области бытовой электроники. Так и шло: «Сони» разрабатывает новый вид товара, «киты» электронной промышленности выжидают, какой будет реакция потребителя, и, если она благоприятна, наводняют рынок аналогичной продукцией. Эта схема действовала все годы существования нашей компании — ей все время приходилось идти на шаг впереди других, будь то миниатюрный приемник либо телевизор на транзисторах в прежние времена, будь то сегодняшние «уокмен» — переносной стереоплейер, «уочмен» — плоский карманный телевизор или «дискмен» — мини-проигрыватель компакт-дисков. Мы первыми познакомили японцев со стереозвучанием. Мы выпустили первый в мире бытовой видеомагнитофон; разработали систему «тринитрон» — новый метод проецирования цветовой картинки на кинескоп телевизора; создали 3,5-дюймовую компьютерную дискету с самым большим в мире (для данного габарита) объемом па-

мяти. Наши портативные видеокамеры произвели подлинную революцию в тележурналистике. Мы были пионерами в области беспленочной фотографии, компакт-дисков и 8-миллиметровой видеоленты. И все это только малая часть наших наиболее впечатляющих достижений.

В первое время, когда послужной список «Сони» еще не был таким внушительным, зачастую проходил год и более, прежде чем конкуренты решались сами заняться производством той или иной нашей новинки. За это время, будучи монополистами на рынке, мы успевали заработать кучу денег. Наши успехи вели к постепенному сокращению подобной «форы», и ныне она подчас не превышает трех месяцев. Лестно в некотором роде, но весьма накладно. Уже много лет подряд мы вкладываем в исследования и разработки свыше 6 процентов сумм, получаемых от реализации продукции, в некоторые годы этот показатель доходил до 10 процентов. Курс взят следующий: не пытаться выяснить, какого рода товар ждет от нас покупатель, а идти впереди его пожеланий. Покупатель не знает, на что мы способны, но нам-то это известно. И вот вместо изучения спроса на то или иное изделие мы сосредоточиваемся на разработке концепции изделия совершенно нового, определяем возможные сферы его применения, а потом пытаемся сами создать для него рынок — проводим среди общественности соответствующую разъяснительную работу. Иногда такая концепция рождается в моей голове как бы сама собой.

Для примера могу рассказать об изделии, наверняка известном всем — об «уокмене». Как-то раз Ибука появился у меня в кабинете с переносным стереомагнитофоном и наушниками стандартного размера. С кислым видом мой друг объявил, что конструкция чересчур тяжела: «Видишь ли, музыку я люблю, а мешать другим — нет. Вот и таскаю с собой этот агрегат. Все руки оттянул».

Слова Ибука окончательно оформили идею, над которой я размышлял уже довольно давно. На примере своих собственных детей я знал, что современная молодежь не может прожить без музыки ни минуты. Сегодня чуть ли не каждый имеет стереоаппаратуру как дома, так и в автомобиле. В Нью-Йорке, да и в Токио мне приходилось встречать молодых парней, разгуливавших по городу, водрузив на плечо увесистый магнитофон или приемник, из которого неслись модные песенки. Помню, как-то раз моя дочь Наоко, возвратившись домой со школьной экскурсии, первым делом бросилась к себе в комнату и включила музыку — даже с мамой забыла поздороваться.

И вот я начал действовать. Инженеры «Сони» получили задание: изъять из «прессмена» (так назывался наш лучший малогабаритный магнитофон) звукозаписывающий контур и динамик, а на их место установить стереоусилитель. Наметил я и некоторые другие характеристики нового изделия, например, попросил сконструировать очень легкие наушники, что, между прочим, обернулось одной из наиболее трудноразрешимых задач всего проекта.

Убеждать пришлось абсолютно всех — моя идея не имела, казалось, ни единого сторонника. Помнится, раз на совещании один из наших инженеров заявил: «На первый взгляд все это выглядит неплохо, но что это за магнитофон, на который ничего не запишешь? Думаю, вряд ли его кто-нибудь станет покупать».— «На автомобильные магнитофоны тоже нельзя записывать,— ответил ему я.— И все же они разошлись в миллионах штук. Уверен, наше новое детище также купят миллионы».

В открытую надо мной никто не смеялся, но убедить в неизбежном успехе даже свою собственную проектную группу мне не удалось — работали они безо всякого энтузиазма. Ко всему прочему, еще до изготовления опытного образца я назначил на новое изделие цену, доступную для молодежи. «Прессмен», дававший монофоническое звучание, стоил в общем-то недешево, в Японии он шел по 49 тысяч иен, я же заявил, что первые модели нашего нового агрегата надо продавать не дороже чем по 30 тысяч (и это при стереозвучании). Бухгалтеры отчаянно протестовали, но я настоял на своем. Решающий аргумент был следующий: я уверен, что объем производства нового изделия будет чрезвычайно велик и издержки со временем окупятся. Многие считали, что за основу надо взять не «прессмен», а более дешевую модель, но тут у меня были свои резоны. Во-первых, запчасти к «прессмену» имелись во всех наших зарубежных центрах сервисного обслуживания, и, во-вторых, его конструкция зарекомендовала себя исключительно надежной, так что жалоб по механической части мы могли не опасаться.

Прошло совсем немного времени, и я уже держал в руках экспериментальный образец нового изделия, оснащенный парой изящных наушников. Миниатюрность всего комплекта и высокое качество звучания были приятным сюрпризом. В обычных стереосистемах, с их мощными динамиками, большая часть энергозатрат пропадает впустую — лишь незначительная доля производимого звука доходит до ушей слушателя, а остальная просто бессмысленно сотрясает стены и оконные стекла. Нашему же малышу для его легоньких наушников хватало тонкой струйки электроэнергии от батареек. А качество звучания было даже лучше, чем я предполагал. Бросив все дела, я уехал домой и стал испытывать первый «уокмен», слушая самую разнообразную музыку. Очень скоро я обнаружил, что жена от моих опытов отнюдь не в восторге — она чувствовала себя как бы отключенной от собственного мужа. Хорошо, решил я, нужно сделать гнездо для второй пары наушников. И на следующей неделе я уже имел модель с двумя гнездами.

Пару дней спустя я пригласил своего постоянного партнера, писателя Каору Сёдзи, на партию гольфа. По дороге в клуб протянул ему пару наушников и включил «уокмен». Надев вторую пару, я стал наблюдать за выражением лица приятеля. Он был приятно поражен, услышав звуки фортепианного концерта Грига в исполнении своей жены, пианистки Хироко Накамура. Каору широко улыбнулся и хотел мне что-то сказать, но я его не услышал, ведь мы оба были в наушниках. Еще одна проблема! Мое решение было следующим: последова-

ло указание нашим инженерам оборудовать «уокмен» микрофоном, через который двое слушателей могли бы переговариваться «поверх» музыки, так сказать, по «горячей линии».

Я полагал, что мы разработали потрясающую новинку, которая пойдет нарасхват, но наши специалисты по сбыту думали иначе. Они твердили: «уокмен» никто покупать не будет,— и я оказался в несколько дурацком положении, расхваливая изделие, которое все, кроме меня, считали «холостым выстрелом». Но моя уверенность в успехе проекта была столь велика, что я заявил: всю ответственность за результаты беру на себя. И никогда не жалел об этом — не было причин. «Уокмен» сразу же стал пользоваться сногсшибательным успехом. Кстати, само название «уокмен» мне никогда не казалось особенно удачным, но оно как-то сразу понравилось покупателям. Я был в отъезде, когда группа молодых сотрудников придумала это слово-гибрид[1], и, вернувшись, распорядился заменить его чем-нибудь более приемлемым с грамматической точки зрения, но было уже поздно — название вовсю использовалось в рекламе, красовалось на партии новеньких агрегатов.

В дальнейшем мы пытались продавать «уокмен» в Англии и США под другими наименованиями, но они как-то не прижились. В конце концов я позвонил в английское и американское отделение «Сони» и объявил: «Отныне мы используем название «уокмен», и никакое другое». Сегодня я слышу со всех сторон, что это название — просто находка.

Скоро спрос на «уокмен» стал временами превышать предложение, и нам пришлось ввести специальную автоматизированную систему, чтобы успевать обрабатывать поток заказов. Разумеется, мы его сами стимулировали активной рекламной кампанией, например, нанимали юные парочки, чтобы они прогуливались со своими «уокменами» воскресными днями по пешеходной зоне Гиндзы, в самом центре Токио, и демонстрировали их всем желающим. Мне казалось, люди будут считать невежливым слушать музыку поодиночке, однако скоро стало ясно — «уокмен» покупают именно для этого. Поэтому мы перестали оснащать его «горячей линией». а потом вообще оставили на большинстве моделей только по одному гнезду для наушников. Я с самого начала верил, что наша новинка «обречена на успех», но предугадать его масштабы не дано было даже мне. К сегодняшнему дню продано более двадцати миллионов «уокменов» — свыше семидесяти различных моделей, включая водо- и пыленепроницаемые, причем на подходе все новые и новые варианты исполнения.

Всю эту историю я рассказал, чтобы наглядно продемонстрировать: самое тщательное изучение рынка не смогло бы дать ответ на вопрос, будут покупать «уокмен» или нет, и уж тем более предсказать его фантастический успех, вызвавший к жизни множество подражаний. А ведь этот маленький ящичек с наушниками совершил настоящую революцию в привычках миллионов любителей музыки во всем мире. Многие мои друзья-музыканты, например дирижеры Герберт Караян, Зубин Мета и Лорин Маазель, исполнители-виртуозы вроде Исаака Штерна, постоянно шлют мне заказы на новые и новые партии «уокменов» — весьма лестное подтверждение плодотворности идеи и отличного качества ее воплощения. Разрабатывая миниатюрные наушники для «уокмена», мы смогли облегчить, усовершенствовать и наши стандартные наушники, создать десятки их новых разновидностей, так что ныне стали одним из ведущих мировых производителей этой продукции. Сегодня «Сони» контролирует почти 50 процентов рынка наушников в Японии.

Именно такие технологические прорывы имел в виду Ибука, когда внес в основополагающий документ «Сони» — наше своего рода философское кредо — следующие слова: «Создание условий, в которых люди окажутся объединенными крепкими узами сотрудничества и смогут со всем жаром сердца реализовать свой творческий потенциал, позволит добиться невиданного уровня их удовлетворения от работы и невиданных прибылей».

ОБ ИСКУССТВЕ УПРАВЛЕНИЯ

Все мы — одна семья

За достижениями ведущих японских компаний не кроется ничего сверхъестественного. Никакая теория, план или государственная политика не помогут предпринимателю добиться успеха — это способны сделать только люди. Главная задача японского менеджера — установить здоровые отношения со своими сотрудниками, создать на фирме, так сказать, семейную атмосферу, общее ощущение того, что руководители и подчиненные находятся в одной лодке. В Японии лучше всего дела идут именно у тех компаний, что сумели объединить идеей общей судьбы управленческий аппарат, рабочих и служащих, а также держателей акций.

Я не видел, чтобы этот несложный принцип управления применялся где-либо еще в мире, а ведь он продемонстрировал — и думаю, весьма убедительно — свою эффективность. Возможно, в других странах японскую систему не принимают из-за приверженности собственным традициям или просто по робости. Ориентация на человеческий фактор должна быть искренней, иногда она требует смелости и даже готовности идти на немалый риск. Но в конечном итоге — и я готов подчеркивать это вновь и вновь,— как бы ни были вы умелы, ловки и удачливы, успех вашей компании находится в руках людей, которые в ней работают. А если чуть-чуть сгустить краски, судьба вашего дела по существу зависит от самого молодого вашего сотрудника.

Вот поэтому-то я каждый год обязательно встречаюсь с молодежью, которая приходит к нам трудиться после окончания вузов. В Японии учебный год заканчивается в марте, и поскольку набор на работу во все компании проходит в течение последнего семестра, уже в апреле мы собираем своих иовобранцев в нашей токийской штабквартире на торжественную церемонию вступления в ряды сотрудников «Сони». В

[1] «Уокмен» — искаж. англ. «гуляющий», «человек на прогулке». *(Здесь и далее — прим. перев.)*

нынешнем году, глядя с трибуны на семь сотен молодых взволнованных лиц, я вновь прочел лекцию, как делаю это уже почти сорок лет.

«Во-первых,— начал я,— вы должны осознать разницу между нашей компанией и учебным заведением. В студенческие годы вам приходилось вносить плату за обучение, теперь же, наоборот, платить будут вам. Помните: пока вы осваиваете свой участок работы, вы для компании бремя, обуза.

Далее. На экзамене в университете вы можете получить в лучшем случае сто баллов[1], а в худшем — ноль. В мире бизнеса экзамен приходится сдавать каждый день, и в случае удачи вас могут ждать не сто, а тысячи и тысячи баллов. Но если вы сделаете ошибку, вы получите не просто ноль. Ошибка у нас всегда означает минус сколько-то, причем нижний предел отсутствует и опасности может подвергнуться само существование компании».

На таких встречах перед новичками открывается правдивая, лишенная романтического ореола картина того, что их ждет. Я рассказываю о нашей компании и их месте в ней — то самое важное, что считаю нужным подчеркнуть особо. В прошлом году, например, я сформулировал свою основную мысль следующим образом:

«У нас не армия, вы пришли в «Сони» добровольно. Решение это ответственное, и мы надеемся, что вы проработаете в компании двадцать-тридцать лет.

Человек живет один раз, а ближайшие двадцать-тридцать лет — лучшие годы вашей жизни. Вернуть их вам не удастся.

Я бы очень не хотел, чтобы, уходя из компании, вы пожалели о годах, проведенных в «Сони». Это было бы настоящей трагедией. Готов настаивать, что избежать ее — долг каждого из вас перед самим собой. Вот почему главная ваша задача на ближайшие месяцы — решить, будет ли вам работа здесь в радость или нет. Мы же, руководство компании, дать вам эту радость не в состоянии, она должна быть делом ваших собственных рук».

Мой опыт показывает, что люди работают не просто ради денег, и если вы хотите стимулировать их активность, материальный фактор — далеко не самый эффективный. Наиболее плодотворный путь — создать у сотрудников ощущение принадлежности к одной семье и обращаться с ними соответственно. Разумеется, в нашей национально однородной стране сделать это легче, чем где бы то ни было, однако главное условие успеха все же — высокий общеобразовательный уровень населения. В сегодняшней Японии, например, девятилетнее образование обязательно, 94 процента школьников продолжают учиться в средней школе второй ступени (еще три года), а 37 процентов из них поступают в вузы.

Важно также, что отношения руководства и рядовых работников в японских компаниях демократичны, как нигде в мире. Мы в «Сони», например, почти не делаем различия между так называемыми «синими» и «белыми воротничками». А если кто-либо из наших сотрудников, мужчина или женщина, добивается успеха на ниве профсоюзной работы, мы сразу берем его на заметку, как кандидата на руководящую должность. Именно такие руководители нам и нужны — способные убеждать людей, сплачивать их вокруг себя. Управление производством — это не отношения господства и подчинения, задача состоит в том, чтобы уметь повести людей за собой. И вот мы постоянно ищем среди своих сотрудников талантливых лидеров и считаем, что исключать кого-либо из сферы этого поиска по признаку академической подготовленности или нынешнего служебного положения было бы попросту недальновидным. Важно также, что у нас, как и в других японских компаниях, практически отсутствует дух противостояния между администрацией и рядовыми работниками, и завоевать авторитет одной лишь деструктивной критикой руководства невозможно.

Я не собираюсь утверждать, будто в Японии вообще не бывает трудовых конфликтов, поскольку это не соответствует действительности. В послевоенные годы самые различные отрасли нашей промышленности периодически страдали от крупных, хотя по преимуществу кратковременных забастовок. Одна из них, прошедшая на «Тойота мотор» в 1950 году, привела, например, к отставке всего высшего руководства компании. В Японии почти каждый день случаются забастовки, они обычно краткосрочны, но тем не менее цели своей достигают. И все же потери рабочего времени в результате трудовых конфликтов в последние годы неуклонно снижаются. Очередной пик забастовочного движения в нашей стране пришелся на 1974 год, год энергетического кризиса в связи с событиями на Ближнем Востоке. Япония потеряла тогда 9663 тысячи человеко-дней, в то время как США — 47 991 тысячу, а Великобритания — 14 750 тысяч. Разрыв, как видите, велик, и к настоящему времени он еще вырос. В 1984 году потери рабочего времени в Японии в результате забастовок составили всего 354 тысячи человеко-дней, в США — 8348 тысяч, в Великобритании же — целых 26 564 тысячи. Разумеется, экономика США значительно мощнее и структурно сложнее, чем наша, однако приведенное соотношение представляется мне весьма интересным, а уж сравнение с цифрами по Великобритании — и вовсе показательным.

Секрет гармонии трудовых отношений в Японии прост — рядовые сотрудники знают, как к ним относится руководство. Предприниматель основывает компанию, чтобы воплотить в жизнь свои идеи, с этой целью он нанимает себе работников. Однако последние рассматриваются не как слепые орудия для получения прибыли, но как коллеги и помощники. Важнейшая задача управленца — обеспечить акционерам прибыль на вложенный капитал; с другой стороны, он должен учитывать запросы своих сотрудников-коллег, справедливо вознаграждать их за усилия, направленные на процветание компании. Таким образом, для менеджера интересы акционеров и работников фирмы важны в равной степени, а подчас вторые даже перевешивают, ведь ак-

[1] В японских учебных заведениях принята стобалльная система оценки.

ционеры приходят и уходят, руководствуясь сиюминутными меркантильными интересами, а сотрудники остаются в компании на долгие годы. И все эти годы они, заботясь о своем собственном благополучии, заботятся о благополучии компании.

Разумеется, в японских корпорациях существуют самые разнообразные подходы к данной проблеме, однако во всех случаях признается необходимым обоюдное уважение рабочих и администрации и общее осознание того, что компания принадлежит всем работающим в ней, а не только высшему эшелону управления. Последний же обязан прилагать все усилия, чтобы эффективно руководить этой общей семьей и заботиться о ее членах.

Ощущение принадлежности к единой семье сотрудников «Сони» мы стараемся создать и в своих зарубежных филиалах. Например, еще до открытия нашего завода на территории Великобритании мы пригласили весь его будущий административный персонал и инженеров на стажировку в Токио. Английские коллеги получили возможность ощутить себя как бы в лоне нашей семьи, все члены которой, независимо от служебного положения, носят одинаковые форменные куртки и пользуются одной и той же столовой. Мы старались внушить им, что в «Сони» все сотрудники равны; ни один управленец на новом заводе не получил отдельного кабинета, даже директор,— всем предстояло разместиться в общем конторском помещении, вместе с рядовыми клерками.

Чуть ли не каждый вечер я ужинаю со своими младшими коллегами из низшего управленческого персонала — это очень помогает налаживанию хорошего рабочего контакта. Мы засиживаемся за беседой допоздна, и я узнаю много нового для себя. Как-то я заметил: один из молодых людей явно не в духе. Он весь вечер сидел хмурый, и я в конце концов прямо спросил, что его беспокоит. Мы уже пропустили по нескольку стаканчиков, и мой собеседник был вполне расположен к откровенному разговору. «Пока я не работал в «Сони»,— выпалил он,— я думал, вот это фирма — высший класс! Хотел работать здесь, и только здесь. А сейчас я в отделе у такого-то и в итоге работаю не на «Сони», а на него. Он — тупица из тупиц, а все равно его не обойдешь, все, что я делаю, идет наверх через него. Вот мне и досадно, что моя карьера в «Сони» — в руках этого остолопа».

Меня эта тирада заставила серьезно призадуматься. Ведь вполне логичным было предположить, что проблемы подобного рода возникают у многих и многих наших сотрудников. И вот я решил издавать специально для них еженедельный бюллетень по внутрифирменным вакансиям. Теперь все недовольные могут без лишней огласки пробовать подыскать себе новое место. Мы так или иначе стараемся примерно раз в два года переводить сотрудников на смежные либо совершенно новые участки работы, но некоторых энергичных людей этот график не устраивает. Наш бюллетень дает им возможность быстрее обрести подобающую позицию в компании, сообразуясь с личными способностями и интересами.

Важно и другое: отдел кадров теперь легко обнаруживает «болевые точки» в управленческом звене. Если подчиненные один за другим стараются уйти из-под начала того или иного руководителя — значит, он сам сидит не на своем месте. В таких случаях мы переводим его или ее в другое подразделение, туда, где подчиненных будет поменьше, и это обычно решает проблему. Так что учет мнения рядовых работников дает нам очень много, и неудивительно — чувство здравого смысла отнюдь не является монопольной собственностью управляющей верхушки.

Система кадровой мобильности обладает еще одним неоспоримым достоинством — она дает способным людям возможность проявить себя. Я помню случаи, когда сотрудники, занятые малоквалифицированным трудом — вахтеры, шоферы, машинистки,— откликались на объявления о наборе, например, в отдел подготовки рекламных текстов, успешно сдавали экзамены, которые мы им устраивали, и становились на новом месте первоклассными работниками. Когда человек сам выбирает себе место по душе, это становится важнейшим стимулом его активности, и он трудится не жалея сил — так по крайней мере обстоит дело у нас. Деятельность «Сони» весьма многообразна, людей в компании работает достаточно, и лично я не вижу причин отказываться от стремления заполучить на каждый участок сотрудника, который действительно намерен там «выкладываться».

Все, о чем я рассказал, к сожалению, нетипично для японских фирм, но я много лет назад решил, что нам нужна собственная методика работы с кадрами, позволяющая постоянно держать дверь открытой для прогрессивных веяний. То, что способно эту дверь захлопнуть,— во зло, и именно поэтому в «Сони» действует непреложное правило: как только человека приняли в штат, его былые академические успехи теряют всякое значение, не влияют на оценку его труда, не служат сами по себе основанием для служебного продвижения. Хотя в большинстве японских компаний дело обстоит как раз наоборот, интерес к нашей системе растет — моя книга по вопросам работы с кадрами разошлась тиражом в 250 тысяч экземпляров. Правда, какое-то время после выхода книги выпускники «элитных» университетов отказывались идти к нам на работу, опасаясь некой дискриминации. Однако нам удалось делом доказать, что подобные опасения беспочвенны, просто «Сони» нужны люди способные и знающие, а не гордые носители почетных ярлыков. Так что сегодня к нам охотно идут выпускники всех лучших вузов, включая самые престижные.

Когда мы начинали, мы были в науке управления зелеными новичками, и поэтому совершенно естественно брали на вооружение свои собственные, далекие от традиционных, подходы. Размеры компании позволяли тогда обсуждать любую проблему всем коллективом сотрудников, пробовать различные пути ее решения до тех пор, пока не находился удовлетворительный вариант. Думаю, мы смогли достичь столь вы-

дающихся успехов во многом благодаря этой атмосфере свободной дискуссии — мы постарались сохранить ее и в дальнейшем.

Ибука — прирожденный руководитель, люди тянутся к нему и с удовольствием работают под его началом. История «Сони» — это по сути рассказ о том, как группа единомышленников пыталась помочь Ибука воплотить его мечты в действительность. Мой друг никогда не был сторонником единоличного управления. И самое сильное впечатление на всех, кто с ним работал, производила не столько его необыкновенная одаренность и оригинальное мышление конструктора, его прозорливость в коммерческих вопросах, сколько способность превратить созвездие молодых честолюбивых инженеров в спаянную команду менеджеров, сотрудничающую на началах абсолютной свободы высказывания мнения каждого.

В большинстве японских компаний под внутрифирменным сотрудничеством, консенсусом, понимают отказ работников от своего «я». Мы же в «Сони» пытаемся всячески побуждать каждого открыто высказывать свои, и только свои, идеи. И если эти идеи войдут в противоречие с чьим-то мнением — тем лучше, не исключено, что именно синтез противоположных точек зрения поможет выработать оптимальное решение. Руководители многих японских фирм любят рассуждать о сотрудничестве и консенсусе как раз потому, что не терпят работника-личность. Я же считаю (и прямо говорю об этом, когда спрашивают мое мнение, а подчас — и когда его не спрашивают): менеджер, который слишком часто употребляет эти слова, как бы расписывается в своей неспособности использовать творческий потенциал работников-личностей, гармонично сочетая их идеи. И если «Сони» и достигла чего-то, так это в значительной мере благодаря тому, что мы такой способностью обладаем.

Мне пришлось долго и горячо отстаивать этот принцип даже в своей собственной компании. Например, несколько лет назад, когда я был еще вице-президентом, а Митии Тадзима — председателем совета директоров, между нами произошел очень показательный спор. Тадзима весьма достойный человек, настоящий джентльмен старой школы — в прошлом он возглавлял Управление императорского двора, учреждение, ведающее бытом императорской семьи. У меня был какой-то проект (сейчас даже не помню, в чем он заключался), и я настаивал на его осуществлении, хотя ясно видел, что Тадзима против. Он постепенно приходил во все большее раздражение и наконец не вытерпел: «Морита, у нас с вами разный подход к ведению дел. Поскольку мой образ мысли вам чужд и у нас постоянно возникают разногласия, я полагаю свое дальнейшее пребывание на нынешнем посту невозможным».

Я ответил очень смело, поскольку уже тогда был убежден в правоте своих слов не меньше, чем сейчас: «Если бы мы с вами придерживались одинаковых подходов к решению всех проблем, незачем было бы платить деньги нам обоим, кому-то одному следовало уйти. Именно потому, что мы смотрим на многие вещи по-разному, мы и полезны компании — риск принять ошибочное решение снижается. Прошу вас, не обижайтесь и обдумайте мою точку зрения спокойно. Если вы покинете «Сони» только потому, что в чем-то со мной не согласны, это будет нелояльно по отношению к компании».

Подобная логика для японского бизнеса — дело непривычное, и Тадзима был несколько ошарашен, но в конце концов мысль об отставке отбросил. А между тем по сути мое рассуждение ничего нового для «Сони» не несло. С самого начала моей деятельности мы не имели обычного для японских компаний гимна (трудно было бы представить интеллектуала Ибука распевающим такой гимн), но зато разработали меморандум «Дух «Сони» — так сказать, наше кредо. В первых же его строках мы зафиксировали: «Сони» будет играть роль первопроходца и никогда не пойдет по пути, проторенному другими. Далее меморандум гласил:

«Путь первопроходца отмечен многими тяготами, но сотрудники «Сони» не намерены пасовать перед трудностями. Радость творчества, гордость от сознания того, что они употребляют свои уникальные дарования на достижение целей прогресса, помогут им обрести вечное и гармоническое единство. «Сони» стоит на принципе уважения и поощрения таланта (каждому — работу по способностям), постоянно стремится раскрыть все лучшее в сотруднике, верит в него, предоставляет ему все возможности для самосовершенствования. И в этом сила и жизнеспособность «Сони».

Таким образом, в центре всей концепции стоял человек. В то время у нас почти не было единомышленников — в подавляющем большинстве японских компаний к кадрам относились с царственным пренебрежением, людей произвольно назначали на должности, переводили с места на место, заставляли заниматься нелюбимой работой.

Я всегда стремился возможно лучше узнать тех, кто у нас работает; регулярно посещал все службы компании, старался побеседовать буквально с каждым сотрудником. Мы росли, и это становилось труднее и труднее. Сегодня попросту невозможно свести личное знакомство со всеми сорока тысячами рабочих и служащих «Сони», но я по-прежнему пытаюсь делать что могу. А уж от управленцев среднего звена просто требую: в конторе времени проводить поменьше, с людьми — побольше. При случае и сам люблю заглядывать на какой-нибудь наш завод или в филиал — просто так, поболтать. Недавно, например, я был в деловом центре Токио и случайно наткнулся на крошечный офис одного нашего подразделения. Я там раньше никогда не был, однако без церемоний зашел и представился. «Пришел продемонстрировать свою персону,— объявил я.— По телевизору вы меня, наверно, видели, а сейчас я решил показать вам Морита живьем — прошу любить и жаловать». Все рассмеялись, а я прошелся по комнатам, поговорил со служащими о том о сем, словом, встреча получилась краткой, но теплой — приятно было осознавать, что мы делаем общее дело. А как-то раз, помню, на маленьком заводике «Сони» близ Пало-Алто, в Калифорнии, менеджер-американец попросил меня попозировать для на-

мятных фотографий. Я, разумеется, ничего против не имел и тут же снялся с каждым из тамошних тридцати или сорока служащих. «Вы работаете как раз в нужном ключе,— сказал я американскому коллеге.— Рад, что вы понимаете сущность нашего «семейного» отношения к кадрам».

Когда отмечалось 25-летие американского филиала «Сони», мы с женой специально вылетели в США и там умудрились посидеть за праздничным столом буквально со всеми сотрудниками. В Нью-Йорке мы съездили на пикник с персоналом местной конторы, в Дотане (штат Алабама) и Сан-Диего были на банкетах вместе с рабочими, в Чикаго и Лос-Анджелесе — на званых ужинах с танцами. Я получил огромное удовольствие, думаю, и сотрудники были рады увидеть меня и мою жену. Это не просто выполнение служебного долга, мне приятно проводить время с этими людьми. Они — члены моей семьи.

Если в компании думают только менеджеры, она ничего не добьется. Посильный вклад в общее дело должны вносить все, и мы настаиваем на том, чтобы сотрудник даже самого низкого ранга работал не только руками, но и головой. Сегодня мы получаем от каждого в среднем по восемь рационализаторских предложений в год; в большинстве своем они имеют целью облегчить выполнение той или иной операции, либо повысить надежность выпускаемого продукта, либо поднять эффективность какого-либо производственного процесса. На Западе можно подчас услышать насмешки в адрес подобной практики: дескать, заставляют людей изобретать велосипед, сами же ничего нового придумать не могут. Подобная оценка основана на заблуждении. Мы никого не заставляем заниматься рационализаторством, просто относимся к инициативам сотрудников серьезно и воплощаем лучшие из них в жизнь. А поскольку большинство проектов связаны с совершенствованием конкретной производственной операции, они оказываются деловыми и полезными. В конце концов, кто, если не исполнитель, может определить, как лучше организовать работу на его участке?

В этой связи мне вспоминается спор с председателем Тадзима о возможности различных подходов к решению стоящих перед компанией проблем. Мир остановился бы в развитии, если бы все мы вели дела точно так же, как в свое время наши нынешние руководители. Поэтому я всегда выступаю за то, чтобы сотрудники не жили с оглядкой на начальство, всегда говорю им: «Надо действовать, не дожидаясь указаний сверху». Управленцам же внушаю, что подобный подход во многом помогает раскрыть способности и творческий потенциал их подчиненных. Молодость — это гибкий ум и воображение, и если пытаться загнать их в прокрустово ложе устоявшихся методик, велика опасность того, что оригинальность мысли увянет, так и не успев расцвести.

В Японии люди работают в одном и том же коллективе долгие годы, так что возникает своеобразная атмосфера общей заинтересованности в результате труда — прежде всего усилиями молодых. Управленческий персонал, зная, что вся текущая работа на фирме выполняется энергичными и любящими свое дело молодыми сотрудниками, может, в свою очередь, сосредоточить усилия на планировании ее будущего. Учитывая все это, мы полагаем, неразумным и даже бессмысленным излишне подробно оговаривать рамки индивидуальной компетенции работников — так или иначе они, как члены одной семьи, призваны решать любые задачи по мере их возникновения. Если же случится какой-нибудь прокол, то выяснять, кто же конкретно допустил оплошность, считается дурным тоном. На первый взгляд — безрассудство, даже глупость; но нам такое отношение кажется вполне логичным. Ведь главное, как мне кажется, не найти козла отпущения, а выявить глубинную причину ошибки.

Как-то раз директор-американец одной токийской смешанной компании пожаловался мне, что, несмотря на все усилия, никак не может выявить виновника аварии на производстве. Пришлось объяснять: здесь проявляется как раз сильная сторона его фирмы — все осознают свою коллективную ответственность за инцидент,— и найти конкретного нарушителя значило бы подорвать моральный дух всего коллектива.

От ошибок не застрахован никто. Мы с Ибука наделали их предостаточно. И я готов нести полную ответственность за все принятые мной управленческие решения. Но следует иметь в виду: если совершивший тот или иной промах заносится в своего рода «черный список» и теряет возможность служебного продвижения, он может утратить стимул для творческой, продуктивной работы на всю последующую жизнь в стенах компании. Причины же каждой неудачи необходимо вскрывать и делать достоянием гласности — совершивший ошибку извлечет соответствующий урок, а остальные ее не повторят. Я часто повторяю сотрудникам: «Действуйте так, как считаете нужным. Если ошибетесь, не страшно, это будет вам наукой. Главное — не идти по неверному пути дважды».

Кроме того, сказал я моему американскому другу, даже если удастся выявить проштрафившегося работника, вполне вероятно, что он окажется ветераном компании и найти полноценную замену его квалификации и опыту будет делом совсем не простым. Если же это новичок, продолжал я, что ж, родители не отказываются от детей по причине их неразумности. Показав коллективу, что причины аварии исследуются не для того, чтобы испортить чью-нибудь карьеру, а с целью всем вместе чему-то научиться, руководство может обратить потерю в приобретение для компании. Поэтому за все годы своей работы я могу припомнить лишь считанные случаи, когда я кого-то увольнял за совершенные промахи.

После открытия американского филиала «Сони» нам пришлось в спешке набирать множество сотрудников, поскольку дела очень быстро пошли в гору. Некоторые из них оказались хорошими работниками, а некоторых, как выяснилось впоследствии, принимать к себе не стоило. С одним из этих служащих было особенно трудно, он прямотаки выводил меня из равновесия. В конце концов я решил посоветоваться со своими

американскими коллегами и как-то раз прямо спросил их: «Что нам делать с этим парнем?» Они посмотрели на меня как на ненормального: «Да увольте его, и дело с концом». От изумления я потерял дар речи. Я еще никого за свою жизнь не увольнял, и даже в этом особом случае подобная мысль попросту не приходила мне в голову. Подлинно американское решение проблемы — оно казалось предельно простым, естественным и логичным. Я уже стал подумывать о том, что Америка — это рай для менеджера: руки полностью развязаны. Однако через несколько месяцев мне открылась и другая сторона медали.

Заведующий одним из наших региональных отделов сбыта производил впечатление весьма перспективного работника, столь перспективного, что я даже направил его в долгосрочную командировку в Токио — встретиться с сотрудниками штаб-квартиры компании, познакомиться с философией «Сони». Он проявил себя там прекрасно, очаровал буквально всех. Вернувшись в Штаты, этот сотрудник продолжал радовать нас своими успехами, пока однажды, без всякого предупреждения, не появился у меня в кабинете со словами: «Спасибо за все, мистер Морита, но я увольняюсь». Я не мог поверить своим ушам. Но он не шутил. Просто один из конкурентов «Сони» предложил удвоить или даже утроить ему зарплату, а наш любимец не сумел устоять. И это тоже американское решение проблемы, понял я.

Вся эта история оставила в моей душе горький осадок, и, честно говоря, я долго не мог оправиться от некой растерянности. Несколько месяцев спустя я случайно встретил предателя — на торговой выставке, у стенда конкурирующей фирмы. Мне казалось, нам следовало бы держаться подальше друг от друга, но он, напротив, бросился ко мне с самыми теплыми приветствиями, как будто стыдиться ему было абсолютно нечего. И я наконец осознал: этот человек, как и выпестовавшая его американская система управления, не видит ничего дурного в том, что работник, имевший доступ к конфиденциальной информации одной фирмы, может запросто уйти работать к ее конкуренту. Ясно было: в США такие переходы — вещь привычная, а раз так, говорить о менеджерском рае не приходится. Я дал себе слово: сделаю все возможное, чтобы в моей компании этот американский принцип не привился.

Еще один сюрприз — на Западе в случае спада деловой активности рабочих увольняют. Мы в Японии поступаем подобным образом, только если речь идет о жизни и смерти фирмы. Например, в 1973—1974 годах наша экономика понесла тяжкие потери из-за установленного ОПЕК эмбарго на экспорт нефти (здесь мы полностью зависим от поступлений из зарубежных источников). Уровень инфляции за год составил тогда 25 процентов, многие предприниматели вынуждены были попросту остановить производство и распустить рабочих по домам. Однако людям было невмоготу сидеть без дела в трудную для родной компании пору, и в целом ряде случаев они по собственной инициативе возвращались на службу — убирали территорию, подстригали газоны, добровольно выполняли другую черную работу. Некая электротехническая фирма, скажем, отправляла своих служащих на подмогу несшим убытки магазинам бытовой электроники, и они бесплатно работали там продавцами. Причем делалось это не по указанию руководства, а по инициативе рядовых сотрудников, желавших разделить судьбу своей компании.

Я считаю, что избавляться от «лишних» рабочих рук глубоко безнравственно. Раз руководство приняло решение взять кого-то на службу, оно обязано нести полную ответственность за сохранение его рабочего места. Брать или не брать нового сотрудника — прерогатива администрации, почему же тогда в случае делового спада страдать должен он, а не те, кто неверно оценил возможности фирмы? Потому-то в периоды экономического бума мы подходим к вопросу расширения штатов очень осторожно. А новичкам разъясняем нашу концепцию общей судьбы и заверяем их, что в случае спада компания всегда готова пожертвовать прибылью, дабы сохранить рабочие места. Но и сотрудники, в свою очередь, должны быть готовы к жертвам в трудный для «Сони» час — замораживанию зарплаты, потере премий. Что же касается управленцев, то они у нас вообще не получают премий, причем, когда фирма терпит убытки, понижение зарплаты начинается с верха иерархической лестницы.

Я не люблю, когда менеджер воображает себя представителем этакой высшей расы, призванной самим Богом вести неразумных трудяг к выдающимся победам. Мир бизнеса — область особенная. Взять, к примеру, искусство: здесь, чтобы заслужить признание, надо стать блестящим артистом, виртуозом. Никто не рвался бы на концерты, скажем Горовица, Кемпфа или Серкина, не будь они выдающимися мастерами своего дела. То же, думаю, можно сказать и о выступлениях канатоходцев, акробатов. Все эти люди долгие годы тяжким трудом добивались совершенства. И, что особенно важно, они знают — их малейший промах тут же станет очевидным зрителям. Тогда все их достижения окажутся под угрозой, а циркачи и вовсе могут лишиться жизни.

В бизнесе же менеджер может из года в год совершать ошибки, и никто этого не заметит. Дело в том, что о результатах его работы не всегда можно судить по конкретным показателям, например, по финансовым итогам очередного квартала (хоть это и пытаются делать профессора Гарвардской школы бизнеса и многочисленные обладатели ученых степеней, наводнившие сегодня деловой мир). Можно заканчивать каждый квартал с прибылью и в то же время не заботиться о будущем компании, подрывая тем самым основу ее существования. По-моему, подлинный критерий оценки деятельности менеджера — его умение организовать работу большого коллектива, добиться максимальной отдачи от каждого его члена и сплотить их для достижения общей цели. Искусство управления заключается именно в этом. И если вы им овладели, прибыль в конце квартала появится сама собой.

В области электроники все сегодня меняется очень быстро; наверняка можно знать только одно — на месте она стоять не будет никогда. И конкуренция между японскими компаниями здесь идет ожесточенная. Мы прошли путь от магнитофона к видеомагнитофону и компакт-диску, от вакуумной лампы к транзисторам, полупроводникам, интегральным схемам; на повестке дня теперь — биочипы. Стремительное развитие технологии даст человеку в будущем бытовые приборы, открывающие немыслимые пока возможности. Жизнь станет богаче и интереснее.

Парадоксально, но факт — я обнаружил, что тормозом столь впечатляющего прогресса может оказаться ваш собственный отдел сбыта, если дать ему слишком много воли. Выпустив принципиально новое изделие, вы должны объяснить возможности его применения своим торговым агентам, чтобы те, в свою очередь, могли просвещать потребителя. Инновации стоят денег: необходимо финансировать как научно-исследовательские работы и создание промышленного оборудования, так и рекламную кампанию. Главное же, некоторые ваши изделия сразу морально устаревают, причем часто это как раз наиболее прибыльная продукция, поскольку расходы на разработку уже окупились, сердца клиентов покорены и продавать ее легко.

Однако, если думать только о сегодняшней прибыли, легко утратить видение перспективы. В тех компаниях, где зарплата управленца непосредственно привязана к прибыли (как, например, в большинстве американских фирм), менеджеры очень часто рассуждают примерно так: «Чего ради стану я жертвовать прибылью сегодня, если плоды это даст только через несколько лет, когда на моем посту будет уже другой?» Поэтому в США и европейских странах отнюдь не редкость случаи, когда менеджер останавливает разработку многообещающей новинки, поскольку сопряженные с ней расходы кажутся ему чересчур большими. Такое решение может оказаться крайне близоруким и подорвать позиции компании в конкурентной борьбе.

Предположим, вам удалось набрать подготовленных, сообразительных и энергичных сотрудников. Теперь нужно разбудить их творческий потенциал. Лично я решаю эту задачу путем постановки долгосрочных целей. Наиболее наглядный пример такой методики — американская программа «Аполлон». Когда Советский Союз вывел на орбиту первый искусственный спутник Земли, а вскоре отправил в космос и человека, американцы были прямо-таки шокированы. Разумеется, они сразу же стали думать о ликвидации своего отставания; но по-настоящему работа в этом направлении развернулась лишь после того, как президент Кеннеди поставил перед американской аэронавтикой конкретную цель — осуществить в течение ближайших десяти лет полет на Луну. Это был поистине дерзкий план, он предполагал скачок в развитии науки и техники. Как практически возможно достигнуть Луны — этого не представлял себе никто, все сводилось к умозрительным построениям. Нужно было немедленно начинать целую серию научных исследований. Сколь мощной должна быть ракета-носитель? Какая потребуется навигационная система? Какой компьютер?

Так стремление к единой цели подняло творческую активность многих людей. Менеджеры должны были определять промежуточные задачи и организовывать их решение, побуждая рядовых работников превосходить самих себя.

Между прочим, принцип «нулевого брака», родившийся в недрах НАСА, оказал огромное влияние на формирование японских программ контроля качества продукции. Мы уже имели возможность познакомиться с американскими требованиями по части качества: в годы корейской войны (1950—1953) поставки силам ООН (давшие, кстати, сильнейший стимул развитию японской промышленности) потребовали введения стандартов, неведомых прежде в гражданских отраслях нашей экономики. Военные стандарты надежности и принцип «нулевого брака» прочно вошли в наш деловой обиход.

Парадоксально, но «духовным отцом» японских программ контроля качества был американец — некто У. Эдвардс Деминг. На родине он был практически неизвестен до тех пор, пока не выяснилось, что в Японии его идеи внимательно изучают и реализуют на практике. Тут уж и в США стали прислушиваться к словам этого провидца, но все же пока не воспринимают их столь серьезно, как мы. У нас, скажем, присуждается даже специальная «Премия Деминга за качество продукции», и это одна из самых почетных наград, какую только может получить японская компания.

«Сони» всегда объединяла в своих рядах фанатиков качества. (Суть дела, если быть кратким — чем лучше продукция изначально, тем меньше расходы на гарантийный ремонт.) Поэтому нам было очень приятно узнать — а это явилось сюрпризом,— что «Аполлон-11» доставил на поверхность Луны магнитофон нашего производства, который астронавты использовали для трансляции музыкальной записи с ее поверхности. НАСА специально выделила значительные средства, чтобы добиться полной гарантии бесперебойной работы в условиях невесомости буквально всех приборов и устройств на борту корабля, вплоть до таких нехитрых, как механические карандаши. Наш же магнитофон был обычным серийным изделием — он прошел соответствующие испытания и был признан годным без всякой доработки. Мы ничего этого заранее не знали, и я потом устроил нашим конструкторам шутливый разнос за то, что они «пересолили с надежностью» данного агрегата. «Невесомость — это уж чересчур,— посмеивался я.— Пусть наши магнитофоны не ломаются в любой точке земного шара, и ладно». Вот вам и наглядное свидетельство, показывающее, каких результатов можно добиться, ставя перед учеными и инженерами конкретную цель. Если же такой цели нет — просто выделяют средства и дают указание «что-нибудь изобрести»,— успеха достичь не удастся.

Толковое техническое решение само по себе еще ничего не значит, нужно придумать, как его использовать в том или ином изделии,— здесь тоже простор для ищущей

мысли. И наконец, выпустив хороший товар, необходимо с выдумкой подойти к проблеме его сбыта. Только творческий подход на всех трех стадиях — разработки технологии, создания конкретного изделия, его продажи — позволит широкому потребителю пользоваться плодами научно-технического прогресса. И трудно рассчитывать на полное воплощение в жизнь новых идей, не создав коллектива единомышленников, способного терпеливо добиваться желаемого.

Сама схема управления в «Сони» ориентирована на стимулирование предпринимательской активности сотрудников. Внутри компании созданы подгруппы (телевизионная, видео-, аудио- и т. д.), каждая из которых имеет своего полномочного менеджера. Ответственность за состояние дел на конкретных участках лежит на руководителях секторов — именно они представляют материалы по конкретным изобретениям или новым технологическим решениям. Если менеджер подгруппы (обладающий соответствующими техническими познаниями) сочтет предложение перспективным, оно будет принято в работу.

По мере того как проект изучается, автор должен добиться его одобрения конструкторами, производственниками, специалистами по дизайну и маркетингу — словом, довести идею до практической реализации, будь то совершенствование какого-либо технологического процесса или выпуск на рынок нового товара. Такая система способствует укреплению «семейных уз», которые связывают наших людей. Все чувствуют, что являются не просто коллегами по работе, но равноправными предпринимателями, успешно использующими свой творческий потенциал в общих интересах дружной семьи сотрудников «Сони».

АМЕРИКАНСКАЯ И ЯПОНСКАЯ СИСТЕМЫ

Различия в подходах

Если спросить у менеджера-японца: «В чем вы видите свою главную задачу?» — он наверняка упомянет прежде всего сохранение рабочих мест и повышение благосостояния своих сотрудников. Возможно это только при условии получения компанией прибыли, однако прибыль как таковая никогда не является для нас главной целью. Что же касается американцев, то большинство моих знакомых из деловых кругов первостепенное внимание уделяют дивидендам вкладчиков либо итогам, с которыми их фирма заканчивает финансовый год. Иначе и быть не может — ведь они подотчетны вкладчикам и должны всячески ублажать их, дабы не потерять место. Совет директоров, представляющий интересы держателей акций компании, уволит ее управляющего, если сочтет, что дивиденды не так высоки, как хотелось бы. Поэтому для менеджера-американца производственные мощности, оборудование и сами рабочие — не более чем инструменты для извлечения прибыли. Последствия этого могут быть пагубными.

В американских компаниях руководство обычно относится к рабочим и даже младшему управленческому персоналу подчеркнуто свысока. Японская традиция гораздо демократичнее, хотя гости из западных стран обычно ожидают увидеть у нас некую восточную иерархическую пирамиду. Помню, как-то раз я был на заводе по сборке телевизоров компании «Моторола» в штате Иллинойс. Прежде всего бросилось в глаза, что конторские помещения оборудованы кондиционерами, тогда как в цехах стоит невыносимая духота, люди обливаются потом, а огромные рычащие вентиляторы просто гоняют с места на место струи раскаленного воздуха. О рабочих здесь явно не заботились, и я спросил себя: «Неужели кто-то думает, что люди в таких условиях будут хорошо трудиться? И разве смогут они жить одними интересами со своими боссами, заседающими в прохладных кабинетах?»

В Японии еще не так давно считалось, что рабочий всегда в большем комфорте на работе, чем дома. Сегодня общий уровень жизни у нас вырос и кондиционер в квартире отнюдь не редкость — в 1984 году, скажем, их имели уже более половины японских семей. А вот когда они только появились, в конце пятидесятых, мы оснастили ими сначала цеха, а уже потом офисы.

Японский менеджер не слишком беспокоится о личном комфорте. Ему обычно не нужен в рабочем кабинете ни ковер, ни графин с водой, ни дорогая картина на стене. Недавно одна американская компания, производитель высокосложного компьютеризованного чертежного оборудования, образовала совместное предприятие с японским партнером. Японцы заявили: «Мы хотим просить вас взять оформление демонстрационного зала на себя, но позволить нам самим спроектировать конторские помещения на втором этаже». Предложение показалось вполне разумным. Демонстрационный зал получился поистине роскошным: мягкое освещение, удобные кресла для посетителей, витрины, оснащенные по последнему слову техники, рекламные видеоролики, красочные брошюры, знакомящие с компанией и ее продукцией. На втором же этаже все было по-спартански. Для служащих приготовили одну общую комнату, где была только самая необходимая мебель — столы с телефонами, картотечные шкафы и т. д. Увидев поднятые брови американского коллеги, японцы объяснили: «Когда в нашей стране клиент приходит в офис молодой, добивающейся признания фирмы и обнаруживает там плюшевые ковры, отдельные кабинеты для менеджеров и тому подобные излишества, он начинает сомневаться: а серьезные ли здесь люди работают, не слишком ли много думают они о своем комфорте и не слишком ли мало о качестве продукции и интересах потребителя? Если дела у нас пойдут хорошо, через год можно будет поставить между столами невысокие перегородки, а через два-три года — выделить руководителю отдельный кабинет. Сейчас же всем нам нужно помнить одно: мы вместе боремся за то, чтобы компания побыстрее встала на ноги».

В год, когда мы основали свою фирму, с одеждой в Японии было трудно, покупали ее только на черном рынке за большие деньги. Люди ходили на работу в чем придется; фронтовики обычно донашивали во-

енную форму либо щеголяли в старомодных костюмах, провисевших без дела многие годы. Если же кто-то умудрялся раздобыть приличную вещь, на службе он в ней не появлялся — не ровен час, испачкаешь или прожжешь дыру кислотой. У некоторых из наших служащих просто не было денег купить рабочую куртку. Вот мы и решили приобрести такие куртки для всех сотрудников за счет компании. И очень скоро они стали восприниматься как символ нашего «семейного» единства. Когда «Сони» встала на ноги, необходимость в бесплатных спецовках (мы выдавали как летнюю, так и зимнюю) пропала — все стали зарабатывать лучше и могли теперь сами обеспечить себя рабочей одеждой. Но традиция уже укоренилась, и мы решили ее не ломать. Привыкли все и носить на груди таблички со своей фамилией; поначалу их цвет у управленцев был иной, чем у рядовых работников, но со временем мы пришли к полной унификации и здесь.

В начале семидесятых, после установления Японией дипломатических отношений с КНР, газеты стали помещать много материалов на китайскую тематику, в том числе фотографий. Все китайцы в те годы носили одинаковые френчи, и по «Сони» стала ходить шутка: наши совещания похожи на заседания китайского парткома.

Я решил заменить наши куртки на что-нибудь более элегантное, приурочив это к 35-й годовщине компании. За помощью обратился к своему другу, знаменитому модельеру Иссэй Миякэ. Для начала он посетил наши цеха, лаборатории, офисы и лично понаблюдал за основными трудовыми операциями, выполняемыми сотрудниками «Сони». А через год мы получили форму нового образца: серую куртку с красной отделкой, простую и одновременно оригинальную — рукава у нее можно было отстегивать, так что получалось нечто вроде жилета, подходящего для любого времени года. Тут уж все недовольство прекратилось. Как я и предполагал, даже у тех, кому сама идея форменной одежды была не по душе, язык не поворачивался жаловаться на то, что их заставляют носить творение одного из самых известных в мире модельеров (для верности я попросил Миякэ украсить куртки его личным товарным знаком).

Сегодня, облачившись в форму «Сони», человек с гордостью ощущает себя частичкой большого организма, стремящегося к единой цели. А владельцы окрестных лавочек обычно не отказывают ему в кредите — наши куртки и именные таблички котируются не хуже кредитных карточек

В Японии к работе относятся иначе, чем в США. Японцы в массе проявляют гораздо большую готовность воспринимать труд, любой вид труда, как занятие почтенное. Никто у нас не станет уважать человека меньше за то, что после ухода на пенсию он решит ради заработка заняться менее квалифицированным трудом, чем прежде. А управленцы высших рангов, для которых не устанавливается предельный возраст ухода в отставку, зачастую не покидают своих постов, даже достигнув семидесяти, а то и восьмидесяти.

Предельный возраст для президента «Сони» определен нами в 65 лет. Однако опыт и знания бывших руководителей не пропадают даром — они продолжают работать у нас в качестве консультантов либо переходят в дочерние фирмы.

Японские рабочие, как правило, с удовольствием осваивают новые профессии. Это в Америке люди стремятся работать только по своей узкой специальности, и есть даже система правительственных фондов, выплачивающих пособие тем, кто не может подобрать место по вкусу. Япония такой роскоши позволить себе не в состоянии. Зато и уровень безработицы у нас в последние годы не превышал трех процентов.

Многие американские компании, да и кое-кто в Японии, придерживаются устаревшей концепции управления, согласно которой главная задача состоит в достижении максимальной производительности труда и минимальных затратах при выпуске серийной продукции. Производительность труда — царь и бог этой системы. А раз так, то главным действующим лицом на производстве становится машина, а идеалом — полностью автоматизированное предприятие, работающее вообще без участия человека. Подобный механистический подход ведет к полной дегуманизации управления.

Сегодня, в эпоху небывалого по своей стремительности технологического подъема, руководство компании должно заботиться не столько об удешевлении производства изделий, уже пущенных в серию, сколько о том, чтобы раньше конкурентов развернуть выпуск новых видов продукции. А в США и Западной Европе по-прежнему стараются уберечь от увольнения малоквалифицированную рабочую силу, новым же технологиям внимания не уделяют.

Рабочий ныне перестал быть рабом машины, призванным, подобно герою Чарли Чаплина в фильме «Новые времена», бесконечно повторять одну несложную операцию. Он больше не вьючное животное, которым можно управлять с помощью кнута и пряника, не просто продавец своих мускульных усилий. Последние сегодня с успехом можно заменить работой автоматики. Но никакая автоматика не способна заменить человеческий интеллект — важнейшую составляющую современного производства. Чтобы соответствовать требованиям эпохи, надо постоянно заботиться о повышении квалификации молодых сотрудников и переподготовке старых.

И наконец, еще один принцип. Каждый научно-исследовательский работник «Сони» время от времени участвует в деятельности ее подразделений, занимающихся сбытом,— чтобы не чувствовал себя живущим в этакой башне из слоновой кости. Мне всегда казалось важным наглядно показать нашим ученым, что конкуренция в отрасли крайне остра, дать им возможность набраться некоторого опыта, так сказать, «в окопах». В этих же целях молодежь, поступающая в «Сони» после университетов, проходит специальную стажировку: обладатели технических специальностей месяц работают в фирменных магазинах компании, а специалисты не технического профиля — в цехах.

Сегодня можно часто слышать утверждение, будто трудовые отношения японского

образца являются пережитком прошлого. Некоторые заявляют, что традиционная трудовая этика в нашей стране рушится, как это уже произошло во всем остальном мире. Я не считаю подобную перспективу какой-то неизбежностью. Мне кажется, потребность трудиться, и трудиться качественно, отнюдь не противоестественна для человека. Полагаю, любому приятно справиться с непростым делом и увидеть, что его усилия и принесенная польза получили должную оценку. Зарубежные менеджеры, похоже, этого не учитывают. В Америке, например, людей приучили непременно оценивать всякий труд в денежном выражении. В своем роде это не так уж и плохо: все знают, что бить баклуши им не позволят — можно либо работать по-настоящему и получать зарплату, либо отправляться на все четыре стороны. (Думаю также, что американцы правильно делают, заставляя своих детей зарабатывать на карманные расходы; мы в Японии зачастую просто выдаем им деньги, не требуя ничего взамен.) Руководитель-японец не боится предоставить своим сотрудникам гарантию от увольнения и в результате вынужден постоянно думать о том, как стимулировать их активность. Я уверен, что полагаться в этом плане только на деньги было бы серьезной ошибкой.

Людям нужны и деньги, но не менее того — интересная и престижная работа. Поэтому, если мы поручим молодому сотруднику ответственный участок, даже не повышая его в должности, он поверит, что у него есть перспектива служебного роста, и будет с радостью трудиться за двоих. В США должность, выполняемая работа и денежный доход находятся как бы в едином блоке. Считается, что большая ответственность, возлагаемая на молодого человека, должна оцениваться большой зарплатой. В Японии же принято повышать зарплату каждый год, по мере того, как сотрудник становится старше по возрасту и опытнее. Если мы кому-то установим оклад, намного превосходящий средний для его коллег-ровесников, общий принцип окажется под угрозой. Увеличивать такой оклад фирма с течением времени будет не в состоянии, тут-то у его обладателя и пропадет стимул напряженно работать. Поэтому в сфере оплаты мы предпочитаем свою «уравнительную» систему, которая успешно нам служит. Не исключено, что она годится только для Японии, хотя я в этом отнюдь не убежден.

Я верю — труд сам по себе способен быть человеку в радость. Если в США рекламные фирмы, похоже, добились того, что высшей ценностью в общественном сознании стали отдых и развлечения, в нашей стране этого пока не случилось. Мое кредо: такие вещи, как фирменный патриотизм и радость хорошо выполненной работы, реально существуют, и действуют они не хуже материальных стимулов.

Человек, который трудится единственно ради денег, часто утрачивает ощущение того, что он — член определенной общности. Он старается исключительно для себя и своих близких, игнорируя интересы коллег и фирмы в целом. Поэтому долг администрации, во-первых, обеспечить каждого сотрудника работой, которая была бы полезной и приносила удовлетворение, и, во-вторых, постоянно воспитывать в нем чувство принадлежности к единой семье работников компании.

Мне кажется, американскую фирму можно уподобить кирпичной стене, тогда как японскую — стене из камня. Вот что я имею в виду. Американская компания заблаговременно решает, чем она будет заниматься и какого рода специалисты для этого понадобятся. Затем, как можно убедиться, просмотрев раздел объявлений в любой американской газете, фирма ищет людей, точно соответствующих выработанным критериям. Если при изучении той или иной кандидатуры выяснится, что заданные параметры либо превышены, либо не достигнуты, она обычно отвергается. Поэтому-то и приходит на ум кирпичная стена: каждый сотрудник должен поместиться точно в отведенную для него ячейку — в противном случае он оказывается никому не нужным.

В Японии же мы сначала набираем новичков, а уже потом определяем, как их использовать. Люди это высокообразованные, но очень разные. Менеджер прежде всего хорошенько присматривается к этим, так сказать, природным камням — ему, словно мастеру-каменщику, предстоит воздвигнуть стену, найдя наилучшее их сопряжение. Камни попадаются подчас круглые, подчас плоские, удлиненные, большие, маленькие — и все надо свести в одно целое. Следует учитывать и то, что их форма со временем меняется: ведь люди взрослеют, затем стареют. А с изменением экономической конъюнктуры приходится так или иначе искать для некоторых камней новое место. Я не считаю, что с помощью подобной метафоры можно до конца объяснить все своеобразие системы трудовых отношений в Японии, но несомненно одно — способность как рабочих, так и администрации приноравливаться к изменяющимся условиям является ее характернейшей особенностью.

Когда та или иная отрасль производства в нашей стране приходит в состояние застоя либо упадка, множество фирм меняют сферу своей деятельности. Рабочим в этих случаях предлагаются программы переквалификации, и они в большинстве случаев с удовольствием осваивают новые профессии. Иногда приходится даже переезжать всей семьей к новому месту работы в другой город, и домочадцев, как правило, это не пугает.

Как-то само собой получилось, что круг действующих лиц моих рассуждений до сих пор ограничивался высшей администрацией и рядовыми сотрудниками компании. Это отнюдь не свидетельствует о недооценке значения среднего управленческого персонала. В Японии он играет иную роль, чем на Западе. Большинство фирм в нашей стране практикуют систему «инициатив снизу», подразумевающую, что основным генератором идей является средний эшелон управления, а высшие руководители главным образом оценивают предлагаемые им готовые проекты. Такой порядок, разумеется, в корне отличен от широко распространенной на Западе, и особенно в США, опоры на таланты одного или нескольких высших ме-

неджеров. (Американцы тут, видимо, держатся традиции преклонения перед «сильной личностью», заложенной их предками — пионерами-первопроходцами.) Управление японскими компаниями осуществляется на основе принципа консенсуса. Подобное утверждение на первый взгляд вступает в противоречие с описанными мной выше примерами того, как руководство «Сони» принимало подчас смелые решения, вроде бы ни к чьим советам не прислушиваясь. На самом же деле никакого противоречия тут нет.

Добиться консенсуса среди сотрудников японской фирмы по тому или иному вопросу часто оказывается возможным только после серьезной подготовительной работы. И в большинстве случаев он формируется целенаправленными усилиями «верхов», а не вызревает «снизу», как утверждают авторы некоторых трудов по японской системе менеджмента. Тот или иной проект может родиться и на средних этажах управления, но принимает его к исполнению (в полном либо частично переработанном виде) высшее руководство компании, оно же добивается его одобрения и поддержки всеми сотрудниками — до самого низа иерархической лестницы. Когда, например, я пустил в ход все средства убеждения (вплоть до угрозы уйти в отставку), чтобы добиться реализации идеи «уокмена», коллеги поняли: я вижу то, чего не видят они, и решение принял на основе своего немалого опыта, знания рынка и психологии покупателя. И они бросили все силы на успешное завершение проекта.

После того как согласованное решение принято, персонал японской компании беззаветно трудится над его воплощением в жизнь, независимо от того, откуда изначально пришла инициатива, из цеха или из высокого кабинета. Всякие пересуды задним числом, тем более обструкция — а на Западе иногда бывает и такое — полностью исключены. Словом, ситуация самая благоприятная, каждый участок надежно прикрыт — только вот добиться ее бывает подчас очень трудно.

Мой младший сын Масао, проработавший после окончания Джорджтаунского университета два с половиной года в нью-йоркском и лондонском отделениях «Морган гэрэнти траст», считает японскую процедуру достижения консенсуса чрезвычайно нудной и утомительной. Он подходит к этому вопросу чисто по-западному. «В японских фирмах,— жалуется Масао,— очень любят проводить совещания. Длятся они часами и лично у меня неизменно вызывают раздражение — трудно бывает понять, зачем люди вообще собрались вместе и какую конкретную проблему они собираются решить. Через пять минут после начала обязательно начинаешь клевать носом. Вот у Моргана на совещаниях не было ничего лишнего — время берегли. Выступающий первым делом предлагал готовый вариант решения, и если кого-то интересовало, как он был найден, следовали вопросы. В Японии же вам сначала предлагают всю цепь рассуждений, а конкретные предложения делают только в самом конце. А между тем, не зная заранее вывода, трудно бывает оценить весомость аргументации».

Похоже, эта традиция раздражает всех иностранцев, которые с ней сталкиваются. Я разговаривал, например, с одним западным журналистом, который взял немало интервью у наших бизнесменов (он прибыл в Японию специально ради этого, и мы встречались незадолго до его отъезда). Понимать японцев, по словам моего собеседника, он начал только после нескольких недель работы: «Нет нужды слушать их с самого начала. Достаточно включиться после того, как прозвучит это слово — «однако», поскольку все, что было сказано до него,— мысли чужие. А вот после «однако» вы услышите собственные идеи собеседника». Поистине, общение с моими согражданами требует немалого терпения — кратко формулировать свои суждения большинство из них не привыкли.

Принятая в Японии система «коллективного управления», подразумевающая участие в выработке решений младшего административного персонала, способна давать долговременный эффект. Молодые менеджеры имеют впереди двадцать — тридцать лет работы на данной фирме, причем лет через десять займут в ней высшие руководящие посты. Потому-то ее перспективы — предмет их глубоко личных размышлений. Это позволяет выработать нечто, крайне редко встречающееся в деловом мире Запада: философию компании. Работая в одном месте многие годы, сотрудники фирмы вырабатывают определенные общие взгляды, идеалы, которые со временем остаются неизменными. Когда я, например, покину «Сони», ее философия не уйдет вместе со мной. В США же компании, имеющие свою философию, наперечет — каждый новый руководитель обычно радикально меняет курс в соответствии со своими воззрениями. Более того, здесь часто можно наблюдать, как совет директоров специально подбирает нового президента из кругов, весьма далеких от сферы деятельности фирмы, специально для того, чтобы провести в ней «генеральную уборку» и начать вести дела по-новому.

Скажем, недавно один из таких «чужаков» закрыл ряд заводов некой американской компании, уволил тысячи ее сотрудников — и удостоился за это похвалы в «Уолл-стрит джорнэл» от своих коллег, нарекших его выдающимся руководителем. В Японии подобная политика покрыла бы ее инициатора позором. Свертывание производства и увольнение рабочих в случае экономического спада может показаться целесообразным и удобным, позволит закончить очередной квартал без потерь, но неизбежно подорвет моральный дух сотрудников компании. И где фирма потом найдет опытных работников, готовых служить ей не за страх, а за совесть и способных выпускать высококачественную продукцию?

Я считаю, что именно здесь кроется важнейшее преимущество японской системы управления перед американской и западной в целом. Практика долговременного планирования и «инициатив снизу» формирует очень тесные отношения сотрудничества между верхним и нижними этажами управления. С годами такой тандем и вырабатывает конкретные подходы, определяющие философию компании. Когда же эту философию удается донести до каждого сотрудника, фирма обретает подлинную мощь и гибкость.

Американцы гордятся своим прагматизмом в деловых вопросах: во всех их школах менеджмента слушателей учат холодно-логическому подходу, исключающему из рассуждений всякий человеческий элемент. Мы в Японии считаем, что основа успеха в сфере бизнеса совсем не в этом. Мы уверены, что продуктивная работа компании возможна только на основе тесных, по-настоящему сердечных взаимоотношений руководства с подчиненными. Иногда задача укрепления этих уз более важна, чем что-либо иное, и приходится принимать решения, по сути, алогичные. Но до конца рациональным можно быть только в отношении машины. Если же вы работаете с людьми, логика подчас должна уступать пальму первенства человеческим чувствам.

КОНКУРЕНЦИЯ

Топливо для локомотива японской экономики

«Если ваша система управления так хороша,— спросил меня как-то приятель-американец,— почему тогда ежегодно 18 тысяч японских фирм всплывают животиками кверху?» Мой ответ таков: по той же причине, что в любой другой части мира. Как я уже показал выше, успех японским компаниям приносит не какая-то магическая формула, а многочисленный набор проверенных практикой методов. И задействовать их способны только непосредственно менеджеры — не банкиры и не государственные чиновники.

Кнут и пряник японского бизнеса, животворящая кровь нашего промышленного организма — добрая старая конкуренция. Это очень жесткая форма конкуренции, иногда столь жесткая, что перспектива ее пересаживания на почву других стран внушает мне опасения. Мы, японцы, соперничаем друг с другом не только в сфере бизнеса, но и в частной жизни. В годы войны милитаристы пользовались именем императора, чтобы добиться подчинения народа своей воле,— все правительственные указы выходили тогда за подписью Его Величества. И среди людей было в ходу своеобразное соревнование за репутацию самого преданного и верного подданного. А у великих фехтовальщиков эпохи Токугава обычным делом было приезжать в незнакомую деревню и вызывать на поединок любого желающего — совсем как на американском Диком Западе в старые времена. Выяснение, кто же сильнее всех, было для этих людей смыслом их жизни.

Однако как в те годы, так и ныне мы чувствуем границу, за которой соперничество переходит в борьбу на уничтожение. Китайцы говорят: нельзя лишать человека последней плошки риса. В Японии тоже принято считать, что не следует стремиться к полному подавлению достойного врага — нужно дать ему возможность сохранить свою честь, свое лицо. И тем не менее конкуренция в японском деловом мире подчас приобретает беспощадный характер. Она-то и ведет к тому, что на зарубежных рынках наши товары оказываются весьма конкурентоспособными. Неписаное правило гласит: ни одна компания в Японии не должна стремиться к тому, чтобы полностью захватить весь национальный рынок того или иного вида продукции. Но если кто-то попросту несостоятелен, соперник не будет искусственно поддерживать его на плаву.

Конкуренция на внутреннем рынке делает покупателя царем и богом. В Японии сегодня больше производителей однотипных потребительских товаров, чем в какой-либо другой стране, не исключая США. И все эти фирмы (к примеру, автомобили выпускают девять компаний и еще две — исключительно тяжелые грузовики, станки — свыше сотни, электронику — более шестисот) — победители, выжившие в конкурентной борьбе. Одно время у нас было сорок производителей телевизоров, сейчас их осталось только шесть.

Мы работаем в условиях свободной рыночной экономики, где каждый может заниматься любым видом легального бизнеса. Если какой-то товар начинает пользоваться спросом, сразу же появляется немало охотников его производить, и между ними разворачивается жесточайшее соперничество. Например, несколько лет назад руководители «Ямахи» решили: наступил подходящий момент, чтобы попытаться отвоевать у «Хонды» часть национального рынка мотоциклов и скутеров. «Хонда» была, конечно, сильнее, но незадолго до этого крупно потратилась на свой новый автосборочный завод в США. «Ямаха» выбросила на рынок сразу несколько новых моделей и начала энергичную рекламную кампанию. Несмотря на свое непростое финансовое положение, «Хонда» среагировала незамедлительно. Ее ответом конкуренту стал выпуск в продажу новой модели каждую неделю на протяжении года с лишним! Такой темп оказался «Ямахе» не под силу, и она отступила, причем ряд высших менеджеров компании подали в отставку.

Японского предпринимателя всегда больше интересует доля рынка, которую контролирует его фирма, нежели быстрая прибыль. Если, скажем, закупка дорогостоящего нового оборудования в краткосрочной перспективе негативно отразится на прибыли, однако позволит рассчитывать на завоевание в будущем новых групп покупателей, выбор почти наверняка будет сделан в пользу долговременных интересов компании.

Несколько лет назад в книжных магазинах ряда западных стран появился английский перевод «Книги пяти кругов» Мусаси Миямото. Автор — выдающийся мыслитель средневековой Японии и знаток боевых искусств — изложил на ее страницах свои мысли о тактике самурайского поединка. Некоторые зарубежные бизнесмены сделали работу Миямото настольной книгой: им внушили, что, изучив этот небольшой томик, они познают секрет успеха в конкурентной борьбе с японскими компаниями. В каталоге одного книготорговца из Нью-Джерси, например, «Книга пяти кругов» именовалась «японским ответом на гарвардскую ученость».

Но настоящий ответ на упомянутую ученость находится не в труде средневекового воина, а на полках и в демонстрационных залах по всему миру: это высококачественные товары, пользующиеся спросом, и притом в ассортименте, способном удовлетво-

рить самые причудливые вкусы. Мы вовсе не стремились «поработить» американский рынок, как иногда пытаются доказать, а просто направили в США лучшее из того, что выпускала наша промышленность, изделия, прошедшие горнило жесточайшего соперничества за признание японского покупателя.

После того как «Сони» сконструировала первые в мире сверхлегкие наушники для «уокмена», мы выпустили их уже свыше 50 миллионов пар, причем самых разнообразных моделей, число которых продолжает расти. Сегодня в токийском магазине предлагают свыше двухсот типов наушников, производимых двенадцатью разными компаниями. Выбор телевизоров, видеомагнитофонов, проигрывателей компакт-дисков, видеокамер, фотоаппаратов, автомобилей, мотоциклов, скутеров, компьютеров, принтеров, спортивных и туристских товаров, электробытовых приборов, одежды и т. п.— перечень можно продолжать почти бесконечно — у нас самый большой в мире. А поскольку японский покупатель весьма привередлив, продать ему можно только изделие высочайшего качества. Важную роль играет у нас и послепродажное сервисное обслуживание; фирма, дающая слабину на каком-либо этапе производства, продажи или ремонта своей продукции, неизбежно теряет клиентуру. Один сотрудник американской косметической компании рассказывал мне, как он был поражен, когда узнал, что у нас оптовый торговец не задумываясь отправляет рассыльного с одной-единственной палочкой губной помады через весь город в магазин, где ее ждет особенно разборчивый покупатель. Не сделай оптовик этого, объяснил я, в следующий раз розничный торговец может заключить контракт с его конкурентом.

Острое соперничество на японском внутреннем рынке привело к пересмотру приоритетов в производственной сфере. Если раньше главной задачей было обеспечить выпуск значительного количества продукции с минимальными издержками, то теперь период ее морального устаревания непрерывно сокращается, а себестоимость растет, так что, создавая большие запасы готовых изделий, рискуешь оказаться обладателем никому не нужного, устаревшего товара. Поэтому основные усилия сегодня мы направляем на то, чтобы возможно быстрее и эффективнее претворить конструкторские новинки в жизнь. В прошлом «Сони» могла производить ту или иную модель по полтора-два года, теперь же приходится искать ей замену раз в шесть месяцев, а то и чаще. Подчас кажется бессмысленным вкладывать столько денег, вести такую большую и сложную исследовательскую работу ради выпуска новой модели, жизнь которой неизбежно будет короткой. Однако если пытаться продлить этот цикл, конкуренты выйдут на рынок с очередной новинкой раньше, и не исключено, что в этом случае им удастся нас потеснить. Поэтому мы должны быть в постоянном поиске — в области как технологии, так и дизайна — и кроме того, повышать квалификацию наших рабочих, чтобы они могли быстро переходить на выпуск новой продукции.

В борьбе за контроль над возможно большей долей рынка того или иного изделия применяются и неблаговидные приемы, включая промышленный шпионаж. Мы в «Сони» очень бережно относимся к своим секретам и постоянно напоминаем сотрудникам, что не следует вести служебные разговоры при посторонних. Соблюдать подобную рекомендацию в японских условиях непросто: в нашей стране давно вошло в обычай после работы идти всей бригадой или отделом в бар либо ресторан. Под воздействием пива, сакэ или виски языки развязываются, люди расслабляются, возникает теплая дружеская атмосфера, которую я очень ценю. Ясно однако: посторонний свидетель подобных пирушек слышит много такого, что может быть использовано конкурентами.

«Сони» во многом ограждена от этой опасности — у нас есть свой собственный бесприбыльный бар. Изначально он был основан вовсе не для борьбы с утечкой информации, просто я заметил, что наши менеджеры слишком уж тратятся на коллективные увеселения со своими подчиненными (мы всячески поощряем такое времяпрепровождение, поскольку оно укрепляет «семейный дух» в «Сони»). Бар этот, так называемый «Клуб «Сони»,— здание без всякой вывески неподалеку от нашей штаб-квартиры. Весь персонал — бармены, повар, официанты — получает зарплату в «Сони», и пускают сюда только сотрудников компании и никого другого. Управленцы, начиная с заведующего сектором, получают специальные кредитные карточки, и траты в баре автоматически вычитаются из их зарплаты. На практике же «Клуб «Сони» — не только облегчение финансового бремени для администрации и еще одно средство сплочения сотрудников компании, но и надежная крепость для наших тайн.

Я был приятно удивлен, когда услышал, что руководители КНР начали внедрять элементы рыночной экономики в сельское хозяйство и сферу обслуживания, что и в этой стране начинает понемногу развиваться свободная конкуренция. Советский Союз также пытается (временами более, временами менее активно) использовать в своей экономике отдельные элементы стимулирования по капиталистическому образцу.

Мы с женой побывали в СССР в 1974 году. Перед отъездом друзья советовали нам запастись полотенцами и туалетной бумагой, но это оказалось ненужной предосторожностью. С первой же минуты в Москве с нами обходились прямо-таки по-королевски. В аэропорту огромная черная «Чайка» встретила нас прямо у трапа самолета, не пришлось даже обременять себя обычными паспортными и таможенными формальностями. Нам предоставили экскурсовода и двух переводчиков — отдельно для Ёсико и для меня. Наши хозяева старались быть предельно заботливыми и, казалось, решили не оставлять нас ни на минуту.

Принимал нас Джермен Гвишиани, тогдашний заместитель председателя Госкомитета СССР по науке и технике. Это дружелюбный и интеллигентный человек, прекрасно говорящий по-английски. Я познакомился с ним на одном приеме в Сан-Франциско и был просто поражен той легкостью и не-

принужденностью, с которой этот русский (изумительный, кстати, джазовый пианист) вел беседу с матерыми капиталистами.

На родной земле Гвишиани тоже был сама обходительность. Он угощал нас кушаниями из своих родных краев — здоровой крестьянской едой. Он возил нас на московские и ленинградские заводы, где я ознакомился с производством советских радиоприемников, кинескопов, телевизоров. Я увидел все лучшее, что только могли предложить наши хозяева, но впечатление это оставило довольно бледное. Советский Союз отставал от Японии и западных стран в области бытовой электроники на восемь — десять лет. Примитивное оборудование, допотопная технология... У меня не вызывало ни малейшего сомнения, что плохое качество и низкая надежность конечного продукта — прямое следствие безразличного отношения рабочих к результату своего труда и неспособности администрации их в этом результате заинтересовать. Даже сами советские люди не прочь были пошутить на тему о плохом дизайне и скверной работе изделий отечественной промышленности. Впрочем, я уверен, что за время, прошедшее после моей поездки в Москву, качество советской продукции выросло.

Накануне нашего отъезда на родину Гвишиани пригласил меня в свой служебный кабинет, где к нам присоединились несколько чиновников, включая представителя министерства связи. «Ну вот, мистер Морита,— сказал он с улыбкой,— вы осмотрели ряд предприятий и получили представление о наших возможностях. Инфляции у нас нет, нет и необходимости постоянно увеличивать зарплату трудящимся. Наши трудовые ресурсы очень стабильны. Мы готовы поделиться всем этим, заключив с вами субдоговор».

Похоже, мой хозяин гордился всем тем, что он мне показал. Вполне вероятно, человеку, своими глазами видевшему, как тяжело дались советским людям достигнутые результаты, они и впрямь казались феноменальными. Мне же то, с чем я познакомился, не внушило особого оптимизма.

Я обвел взглядом лица собеседников, с нетерпением ожидавших моего ответа. Спросил у Гвишиани: могу ли я говорить правду. Разумеется, да, последовал ответ.

«Я буду с вами до конца откровенным,— начал я.— Мы в Японии не пожалели годы работы наших лучших умов, чтобы изучить возможности наиболее эффективного использования даже такого элементарного инструмента, как отвертка. Мы провели тщательнейшие исследования и опыты, чтобы абсолютно точно определить оптимальную температуру паяльника для каждой конкретной операции. Вы же ничем подобным и не пытаетесь заниматься, не видите, наверное, в этом нужды, у вас всем все равно.

Мистер Гвишиани, мне очень неприятно говорить вам это, особенно после такого радушного приема, но для меня просто невыносима мысль о том, что изделия с маркой «Сони» будут производиться в столь ужасных условиях. Поэтому я не готов предложить вам нашу технологию».

Он выслушал меня довольно спокойно, а потом сделал знак одному из своих сотрудников. Тот торжественно извлек откуда-то малогабаритный черно-белый транзисторный телевизор советского производства — грубый и угловатый.

«Мистер Морита,— сказал Гвишиани,— этот телевизор мы планируем экспортировать в европейские страны. Как он вам нравится?» И опять я спросил: «Могу ли я говорить правду?» Он кивнул.

Я набрал побольше воздуху в грудь: «Мистер Гвишиани, Советский Союз богат талантами. У вас есть выдающиеся музыканты, артисты балета с мировым именем, целая плеяда замечательных художников. Это просто счастье — иметь в своей родной стране такое сочетание мощного промышленного потенциала и высокой культуры.

Но я никак не возьму в толк, почему вам не удалось совместить эти два начала в вашем телевизоре? Ведь, казалось бы, передовая технология в сочетании с тонким художественным восприятием мира должны произвести на свет прекрасные потребительские товары. Честно говоря, джентльмены, весь мой коммерческий опыт подсказывает, что такой уродливый телевизор покупать никто не будет».

Последовала минута тягостного замешательства, а затем Гвишиани обратился к представителю министерства связи: «Что вы можете сказать по поводу замечаний мистера Морита?»

Чиновник с самым серьезным видом ответствовал: «Я понимаю, о чем вы говорите, мистер Морита. Но художественная сторона дела выходит за рамки нашей компетенции».

Я не поверил своим ушам. Ошеломленный, нашел в себе силы кое-как пробормотать: «Ну, тогда все ясно. Больше мне добавить нечего. Если хотите, я могу взять этот телевизор с собой в Токио и попросить наших инженеров подумать над улучшением его конструкции». Так я и сделал: специалисты подготовили длинный перечень предложений, который был направлен в Москву. Но все — на прежней базе, не раскрывая наших технологических секретов.

Мы продаем Советскому Союзу значительное количество оборудования для радиовещательных станций — по объему его производства «Сони» не имеет себе равных в мире. (Разумеется, все сделки подобного рода согласовываются с КОКОМ.) Поставляем мы такое оборудование и в Китай. Обе эти страны часто обращаются к «Сони» с просьбой продать им лицензию на тот или иной технологический процесс — особенный интерес вызывают у них наши кинескопы типа «тринитрон». Однако мы решительно против того, чтобы на каком-либо изделии, выпущенном в СССР или КНР, стояла наша торговая марка. Много лет назад «Фиат» продал Советскому Союзу автомобильный завод, и в результате вся Европа оказалась наводненной машинами, внешне похожими на «фиаты», но на деле оказавшимися лишь их убогим подобием. Репутация «Фиата» от этого пострадала, и мы не хотим, чтобы то же случилось и с нами.

К нашим иллюстрациям

Антонио Гауди

В фильме крупнейшего современного итальянского кинорежиссера Микеланджело Антониони «Профессия: репортер» несколько ключевых сцен происходят во Дворце Гуэль и Доме Мила́, построенных в Барселоне гениальным каталонским архитектором Антонио Гауди (1852—1926).

Обратившись к образам Гауди с помощью кино, Антониони, как никто до него, смог раскрыть сложный синтетический язык творчества каталонского мастера, где архитектура, живопись, поэзия, музыка составляют единое целое.

Гауди является предшественником экспрессионизма и сюрреализма в живописи. Недаром выставка фотографий его построек, состоявшаяся в 1911 году в Париже, привлекла внимание прежде всего художников. Известны многочисленные высказывания Сальвадора Дали, показывающие влияние Гауди на его творчество. Знаменитый принцип коллажа был выработан Гауди совершенно самостоятельно, намного раньше, чем о нем заговорили дадаисты, кубисты и сюрреалисты.

Антонио Пласидо Гульермо Гауди родился 25 июня 1852 года в небольшом селении Реус близ Таррагоны в семье медника. В 1873 году Гауди приезжает в Барселону и поступает в Провинциальную школу архитектуры, слушает лекции по истории, экономике и философии. Он — частый посетитель Кафе Пелайо, где бывают поэты анархистского толка и художники. Много читает Гёте, Шатобриана, Виолле-ле-Дюка. Особенно сильно повлияло на него творчество английского историка, теоретика искусства, поэта и экономиста Джона Рёскина (1819—1900). Гауди становится близка идея Рёскина о слиянии естественных наук и христианской этики для объяснения мира, в котором отражена деятельность Бога-Творца.

Гауди было 26 лет, когда он приступил к созданию своего первого значительного произведения: Дома Висенс (1878—1888), выполненного для Мануэля Висенса Монтанера, крупного фабриканта керамической плитки.

В художественном образе Дома Висенс «заложена» тема «Тысячи и одной ночи». Каждая часть внутреннего пространства здания, каждая деталь — это момент единого, загадочного целого. Разгадка скрыта в самой архитектуре, как и в поэзии. Рассказчик ведет основную линию, нанизывая пространства одно на другое, как в арабских сказках с их соединением строгой организации и безудержного воображения. В этом стремлении повысить духовную содержательность пространственной среды немалую роль у Гауди играет включение поэтических надписей в украшение интерьера. Еще в Альгамбре этот прием был с успехом использован ее строителями.

В начале 1880-х годов Гауди знакомится с графом Эусебио Гуэлем, который становится его другом и главным заказчиком. Умный, образованный, обладавший тонким художественным вкусом, граф Гуэль сумел разглядеть в молодом архитекторе задатки будущего гения. Это содружество дало великолепные результаты: Дворец Гуэль, Парк Гуэль и Усадьба Гуэль стали лучшими созданиями Гауди.

В искусстве каталонского мастера важен прежде всего живописный образ его постройки, живой и динамичный. Так, в основе замысла Парка Гуэль — гигантский ящер, как бы медленно ползущий по холмам вниз к морю. И недаром у подножия главной лестницы, ведущей к «дорическому хра-

му» — рынку, нашла приют скульптура ящера — старинный народный каталонский образ.

С древнейших времен в Каталонии полихромия была тончайшим элементом архитектуры. Гауди была родственна эта традиция, берущая начало из Средиземноморской культуры. Внимательно вглядываясь в украшения «античного» храма Парка Гуэль, мы видим бесконечное разнообразие форм, калейдоскопически сменяющих друг друга. Эти коллажи отличает поразительное цветовое богатство, тончайший вкус. Возникает гармония, вызывающая особое, мажорное настроение у зрителей. Перед нами пример активного благотворного влияния «чистых» цветовых форм.

За пятьдесят лет до Корбюзье Гауди объединяет воедино скульптуру, живопись и архитектуру. Это особенно заметно в поздних его созданиях, как, например, в Доме Мила (1906—1910).

До сих пор барселонцы именуют этот странный дом «каменоломней». Дом Мила по замыслу Гауди должен изображать утес-постамент для статуи Девы Марии, помещенной на фасаде и как бы омываемой морскими волнами. Интерьер здания не имеет стен. Они заменены переносными экранами, на которых изображены морские растения. Пол выложен шестиугольными цементными плитами нежно-зеленого цвета с изображениями морских звезд и осьминогов. Металлическая решетка внутренних двориков напоминает коралловые рифы, а железные украшения балконов — морские водоросли. На крыше здания видны скульптуры воинов в шлемах с закрытыми забралами — трубы и вентиляционные ходы.

Этот рационализм характерен и для главного произведения великого каталонского мастера — собора Святого Семейства в Барселоне (1883—1926).

Идея Рёскина — «готика не стиль, а религия» — стала одним из ведущих творческих принципов Гауди. Он воспринимает готическую архитектуру как некую симфонию, управляемую дирижером-архитектором, соединившим в одном лице геометра, социолога, урбаниста, литургиста, живописца, скульптора и декоратора. Архитектурное сооружение, по мнению Гаудн, следует уподоблять природному организму. Так, башни собора напоминают по форме некоторые виды морских раковин, встречающихся в окрестностях Барселоны. Для гаргулий собора Гауди не обратился к фантастическим созданиям готической архитектуры, но изобразил простых садовых улиток, покрытых плесенью и дождевыми каплями.

Собор Святого Семейства напоминает лес с мириадами ветвей, отягощенных плодами, птицами и животными. В интерьере собора Гауди предполагал также использовать лесные мотивы. Колонны напоминали стволы деревьев. Лучи солнца, проходя сквозь них, должны были создавать атмосферу лесной дубравы.

Романтизм Гауди утверждает единство всего сущего, единство мира, внутреннюю взаимосвязь всех начал жизни — материальных и духовных. Антонио Гауди мечтал создать «живой» собор для всех людей. При соборе постоянно действовал приют для нищих и престарелых, школа для бедняков, бесплатная столовая. Сам мастер жил здесь много лет в маленькой деревянной пристройке к собору. В крипте собора Святого Семейства он был похоронен в 1926 году.

«Собор Святого Семейства не закончен,— писал Сальвадор Дали,— как не закончены некоторые романские, готические, барочные соборы. Должен появиться новый гений, чтобы завершить работу».

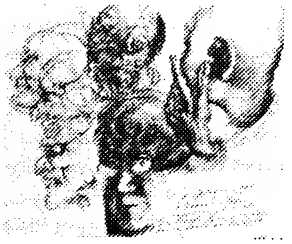
Л. ДЬЯКОВ

Курьер «ИЛ»

Австрия

НЕ ПРОСТО АВТОР СВОИХ ТРУДОВ

В Австрии прошли мероприятия, приуроченные к 50-летию со дня смерти Зигмунда Фрейда. Большой успех в Вене имела выставка «История человеческой души», посвященная научным и художественным корням психоанализа. Специально к этой дате была подготовлена и экспозиция работ пятидесяти авангардистов под названием «Зигмунд Фрейд сегодня». Издательства «Локер» и «Риттер ферлаг» выпустили в свет каталоги обеих выставок. Венская психоаналитическая ассоциация и Общество Зигмунда Фрейда организовали международный коллоквиум «Философия и психоанализ»; «З. Фрейд, Р. Музиль, Л. Виттгенштейн и литература XX века» — такова тема одного из семинаров.



Зигмунд Фрейд. Рисунок Сальвадора Дали.

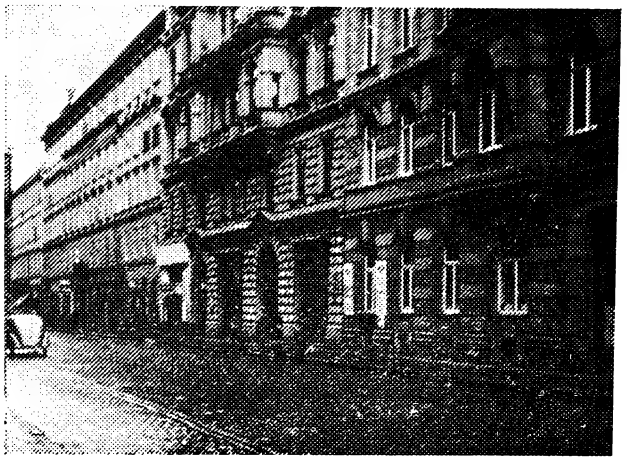
(Журнал «Магазин литтерер»)

Впрочем, как отмечает на страницах «Магазин литтерер» Роберт Флек, отношение к печальному юбилею нельзя назвать однозначным. Характерно, что консервативная австрийская пресса в большинстве своем хранит молчание, в то время как либеральные издания на памятную дату откликнулись. В частности, еженедельник «Профиль» и газета «Штандарт» сообщили о еще одной интересной экспозиции, развернутой в музее-квартире Фрейда на Берггассе, 19. Ныне квартира находится в ведении частного музея Фрейда, занимающего первое место в Австрии по посещаемости иностранными туристами. «Враждебно-прохладный взгляд на Фрейда и его идеи все же отступает,— констатирует Р. Флек и полушутливо добавляет:— Неспроста уже четвертый год портрет Фрейда красуется на банноте достоинством в 50 шиллингов».

«Фрейд и Маркс обладают одной особенностью,— писал известный культуролог М. Фуко.— Они не просто авторы своих трудов, своих книг. Они создали нечто большее — пример и основу для появления новых и новых работ».

Вена, улица Берггассе. Здесь в доме № 19 жил З. Фрейд. Снимок 1938 года.

(Журнал «Магазин литтерер»)



Парагвай

АУГУСТО РОА БАСТОС — ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ им. СЕРВАНТЕСА

Известный парагвайский писатель Аугусто Роа Бастос не был избалован литературными наградами, пишет газета «Паис». Поэтому присуждение ему в 1989 году главной премии испаноязычного мира — премии им. Сервантеса — «исправляет эту досадную несправедливость».

Роа Бастос, по мнению кубинской «Гранмы», безусловно принадлежит к числу наиболее значительных латиноамериканских прозаиков XX века. Его романы «Сын человеческий» (1960) и «Я, Верховный» (1974), углубляя лучшие традиции литературы континента, оказали сильное влияние на ее современное развитие, считает член жюри сервантесовской премии Хуан Маре-

чаль. Но многое роднит Роа Бастоса и с европейскими мастерами, например, с Джойсом, отмечает критик Роберто Саладригас. «Ему удалось гармонично соединить высокий интеллектуализм с верностью древней культуре своей земли».

Почти все свои книги Роа Бастос написал в эмиграции. Вот уже 42 года живет он в изгнании. Но Парагвай был и остается главной темой его творчества. Историю своей родины, по словам испанской «Вангуардии», он осмыслил как метафору мировой истории, судьбу своего народа — как символ упорной борьбы за свободу, за сохранение собственного достоинства. Долгие годы диктаторского правления привели Парагвай к культурной изоляции, мир практически ничего не знает о литературе и искусстве этой маленькой страны, говорит Роа Бастос. Поэтому так важно, считает он, что именно сегодня, когда там начинают строить новую жизнь, премию им. Сервантеса получает парагвайский писатель.

Над чем работает Роа Бастос в настоящее время? Правда ли, что он уничтожил уже готовую к печати рукопись своего последнего романа «Фискал»? На эти вопросы писатель ответил со страниц «Паиса». Действительно, четыре последних года были целиком отданы созданию «Фискала» — главной, как он убежден, книге его жизни. «Но с самого начала я стал ощущать, что в ткань повествования вкрадывается какая-то фальшь, и пытался избавиться от нее». Вероятно, это не удалось. Надо снова приниматься за работу. Сейчас Роа Бастос уверен в своих силах, так как смог наконец найти «глубинный интонационный стержень» будущего произведения увидел, какой формы требует так долго вынашиваемый замысел.

США

ПОЭЗИЯ ТРАГИКОМЕДИИ

В нью-йоркском издательстве «Фаррар, Страус энд Жиру» вышло в свет «Собрание стихотворений» Джона Берримена (1914—1972). Основная тема творчества этого крупного поэта второй половины столетия — социальные и духовные драмы американского общества, которые он стремится выразить одновременно в двух планах — трагическом и комическом. По словам обозревателя еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», язык лирики Берримена — это «отчасти Шекспир, отчасти водевиль, отчасти детский лепет». Оценить своеобразие художественного мира поэта, продолжает критик, можно, представив себе «соединение философской глубины Эмили Дикинсон, меланхоличностей блюзов Бесси Смит и нелепицы кинокомедий с участием Граучо Маркса».

«Собрание стихотворений представляет в хронологическом порядке произведения из семи поэтических книг Берримена, от ранних «Стихов» (1942) до последнего прижизненного издания — сборника «Разочарования» (1972). К сожалению, в подборке отсутствует центральная вещь Берримена — лирический роман «Песни-сновидения» (1969). Том Берримена без «Песен», сетует рецензент, «это все равно что обед из семи блюд, но без горячего».

Известность пришла к Берримену с публикацией книги «Обездоленные» (1948), где были представлены стихи, воплотившие философские размышления поэта о судьбе американской нации после второй мировой войны. Одновременно он обращался и к литературной стилизации — годом раньше вышла книга «Сонеты Берримена», где, подражая Петрарке и Шекспиру, поэт создал роман в стихах (117 сонетов), посвятив его своей возлюбленной. Попыткой соединить историческое прошлое и современность стала поэма «Дань уважения госпоже Брэдстрит» (1953) — воображаемый диалог поэта с Энн Брэдстрит, поэтессой XVII века, «десятой музой, которая родилась в Америке». После почти пятнадцатилетней работы над «Песнями-сновидениями», ставшими хроникой социально-политической жизни страны, Берримен вновь изменил направление своего творчества: последние стихи, появившиеся в сборниках «Любовь и слава» (1970) и «Разочарования», — интимная лирика исповедального характера.

Выпущенная книга стихотворений Берримена — первое комментированное издание его работ. Очевидно, за ней последует академическое издание «Песен-сновидений».

«АСТРОФОБИЯ»

Под таким названием вышел в издательстве «Гроув» английский перевод романа Саши Соколова «Палисандрия» (переводчик Майкл Хайм). «Соколов — трудный писатель,— заявляет газета «Вашингтон таймс».— Его герои обитают в сумеречном пространстве между светом разума и мраком подсознания. Временные границы в повествовании сдвинуты, угол зрения на описываемые события постоянно меняется, текучее «я» персонажей нередко сливается со своим двойником».

Язык прозы Соколова, продолжает рецензент, может быть пронзительно-лиричным и безудержно-прихотливым. Его скорее интересуют художественные возможности слова и формы, нежели повествовательный сюжет. «Из современных писателей он больше всего напоминает Набокова, из классиков — Лоренса Стерна, автора «Тристрама Шенди».

«Астрофобия», или «Палисандрия», отличается от двух предыдущих романов Соколова — «Школы для дураков» и «Между волком и собакой» — большей ясностью стиля. Это фантастические мемуары некого Палисандра Дальберга, дальнего родственника Григория Распутина и Лаврентия Берии.

В представлении автора, считает критик, история не движется. Именно поэтому так легко совершаются в романе удивительные перемещения в историческом времени — из 80-х годов XX века в XXI век и обратно, в пернод царствования династии Романовых. «В духе многих модернистских и постмодернистских произведений «Астрофобия» предельно рефлективна: притворяясь рассказом о мире, это по сути роман о самом этом романе».

Соколов, отмечает в заключение «Вашингтон таймс», характеризует свое творчество, используя образ матрешки. Как набор кукол внутри куклы, его книга — множество книг, скрывающихся под одной оболочкой.

На Каннском фестивале 1989 года был представлен фильм «Вешние воды», снятый режиссером Ежи Сколимовским по одноименному роману И. С. Тургенева. «Кинолента практически повторила сто лет спустя судьбу книги — успех у публики и сравнительно прохладный прием у некоторых критиков»,— пишет журнал «Магазин литтерер». Рецензент отмечает «техническое совершенство экранизации, ее близость оригиналу», а также обаяние и мастерство исполнителей главных ролей — Тимоти Хаттона, Валерии Голино и хорошо известной советским зрителям актрисы Настасии Кински.

Настасия Кински в фильме Е. Сколимовского «Вешние воды».

(Журнал «Магазин литтерер»)

Но изобретательность, остроумие и языковое богатство маскируют отчаяние писателя и его опасение, что «все в жизни — игра». Во всяком случае, читатель, закрывая увлекательный роман талантливого прозаика, испытывает ощущение, что это и впрямь была всего лишь игра.

ПЯТЫЙ ПОДВИГ ДЖЕКА РАЙЕНА

Однажды утром (дело было в 1984 году) служащий страховой конторы Том Клэнси проснулся знаменитым: его роман-дебют «Охота за «Красным Октябрем» стал бестселлером, приковав внимание миллионов читателей увлекательным рассказом о таинственном исчезновении советской атомной подводной лодки «Красный Октябрь». На поиски подлодки были брошены лучшие силы советской разведки, но удача улыбнулась агенту Центрального разведывательного управления США Джеку Райену, который помог «Красному Октябрю» добраться до американской военно-морской базы.

Т. Клэнси расстался со страховой фирмой и сел за персональный компьютер — сочинять новые истории о подвигах Джека Райена. И они не замедлили появиться: «Надвигается красный шторм» (фантастический роман о чуть было не разразившейся третьей мировой войне), «Патриотические игры» (Джек Райен спасает членов английской королевской семьи от международных террористов), «Кремлевский кардинал» (Джек Райен ищет пропавшего в Москве американского агента). Клэнси стали называть мастером «технотриллера» — военно-приключенческого романа, где дотошно описываются новейшие виды вооружений и достижения военной технологии.

Пятый роман популярного автора «Явная и неизменная опасность» повествует о вторжении американских войск в Колумбию с целью уничтожить логово местной наркомафии. Вооруженной акции Пентагона предшествует цепь случайных событий. Кто-то в беседе с президентом упоминает о смерти своего знакомого от злоупотребления наркотиками. Президент вспоминает об этом печальном случае в разговоре с помощником по национальной безопасности. Тот, в свою очередь, рассказывает о возмутившем первое лицо государства факте шефу ЦРУ. И вот постепенно зреет план тайной операции.

Наркомафия — это и в самом деле «явная и неизменная опасность». Так что же, Т. Клэнси оправдывает пускай «полезную», но явно преступную миссию американских командос? Ведь они не только стирают с лица земли плантации коки и подпольные фабрики в джунглях, но и убивают подневольных рабочих этих фабрик, женщин и детей из близлежащих деревень...

Нет — автор осуждает эту акцию. И рупором его негодования становится Джек Райен, возмущенный нарушением американских законов. Он не против бескомпромиссной борьбы с кокаиновыми баронами, но ведь в данном случае вооруженную акцию санкционировал только президент, конгрессу о ней заранее известно не было. Это плохо. Вот если бы военные действия одобрили законодатели — тогда совсем другое дело.

Читая романы Т. Клэнси, замечает рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», менее всего следует искать в них какие-нибудь особенные литературные достоинства. Зато в пятом романе о подвигах Джека Райена читатели в избытке найдут все то, чем так поразил их Клэнси еще в «Красном Октябре», — и радиоуправляемые ракеты, и приборы ночного видения, и авиабомбы с лазерным наведением на цель. «Мистер Клэнси любовно живописует инструменты смерти».— с иронией отмечает критик. Именно это и является, по его мнению, сутью «феномена Тома Клэнси» — писателя, эксплуатирующего любопытство неискушенных обывателей.

Франция

«ВАВИЛОН» В ЛУИЗИАНЕ

Гонкуровская премия 1989 года вручена Жану Вотрену за роман «Большой шаг к Господу Богу». Герои книги — французские переселенцы, обосновавшиеся в американском штате Луизиана, время действия: конец прошлого — начало нынешнего века. Перед читателем проходят три поколения семьи Ракенов. Глава семейства Эдиус, крепкий, работящий крестьянин, живущий в полном единении с природой, находит удовлетворение в спокойном, размеренном труде земледельца. Его дочь, своенравная Аззелина, напротив, ищет приключений. Пятнадцатилетней девочкой влюбляется она в бандита Кроуля, наводящего страх на всю округу. Союз их не приносит счастья: свадьба оборачивается кровавым побоищем. Последняя часть романа рассказывает о судьбе сына Аззелины и Кроуля — Джимми. Брошенный своими родителями, он оказывается в Новом Орлеане. Чтобы не опуститься в городе, «являющем собой картину нищеты, скученности и разврата», юноша примыкает к группе темнокожих музыкантов. Играя вместе с ними новую музыку — джаз, Джимми верит, что в мире все же есть что-то хорошее...

В романе около сотни других персонажей, множество сюжетных коллизий. По мнению еженедельника «Экспресс», Ж. Вотрен умело организует свое объемное произведение. Видимо, пишет журнал, автору, сотрудничавшему с такими режиссерами, как Миннелли, Росселинни, пригодился опыт киносценариста.

Интересно показана в книге культурная и психологическая ситуация, в которой оказались французы в Америке. Оказавшись в совершенно новой среде, колонисты и их потомки все же сумели сохранить свои национальные традиции и обычаи. Рецензенты в один голос говорят о том, что самобытность французской общины в Луизиане передана писателем исключительно ярко. Выразителен и сочен язык героев повествования — французских переселенцев, негров, только что сбросивших ярмо рабства, индейцев, бежавших из резервации. Эта причудливая

«Беспощадной прозой» окрестили критики одно из течений в современной советской литературе, представленное произведениями, авторы которых художественно воссоздают действительность с натуралистической точностью, без прикрас, говорят жестким языком суровой правды. Причем, в отличие от прежних поколений писателей, не претендуют на роль «духовных наставников» или «обличителей». К их числу журнал «Кензен литтерер» относит и Сергея Каледина, творческий почерк которого знаком французскому читателю по повести «Смиренное кладбище». Рецензент отмечает бесспорный талант молодого автора, его острый глаз, восхитительное владение языком и обнаруживает неожиданное сходство между пером Сергея Каледина и кистью Иеронима Босха. И вот новая встреча с «литературным Босхом»: в издательстве «Марен Селль» вышла его повесть «Стройбат», получившая во французском переводе название «Дембель».

Сергей Каледин.

(Журнал «Кензен литтерер»)

смесь архаического французского, английского языков, индейских наречий заставляет читателя, по мнению газеты «Монд», вспомнить библейскую легенду о Вавилонской башне. Это многоголосье объясняет и некоторую эклектичность романа Ж. Вотрена, где соседствуют, как пишет рецензент, «притча, эпическая поэма, песня, эклога, «черный» роман, крестьянский фарс...»

ОДИННАДЦАТЬ ВЕКОВ СТРАХА

«Со времен основания России не было, пожалуй, ни одного поколения, которому не довелось с ужасом наблюдать бесконечную смесь политических акций и преступлений. Такое многовековое уничтожение властями предержащими своих противников, безусловно, сформировало общественное сознание, практически лишенное представления о мирной политической жизни, однако в нем прочно укоренился страх насилия». С этой цитаты в журнале «Лир» начинается рецензия на новую книгу Элен Каррер д'Анкосс «Бич России», вышедшую в издательстве «Файяр».

В то время, когда во многих странах с интересом следят за современной жизнью Советского Союза, автор книги — известный советолог, исследователь «русской темы» — неожиданно обращается к истории России, начиная с самых ее глубин. Перед читателем предстают одиннадцать веков политических убийств, казней, пыток и террора. Князь Владимир уничтожает большую часть своей семьи; после его смерти разгорается кровавая братоубийственная борьба за власть. Вслед за мрачным периодом татаро-монгольского ига начиная с XVI века следует цепочка заговоров и чисток. Особой жестокостью было отмечено правление Ивана Грозного с его опричниной: немало боярских голов слетело с плеч в годы царствования Петра I; Екатерина II организует убийство мужа, сместив его прежде с трона; в 1801 году Александр I дает молчаливое согласие на уничтожение своего отца. Во второй половине прошлого века Россию захлестнула новая волна насилия: от рук народников гибнет «царь-освободитель» Александр II. И уже в нашем веке в России бушует «белый» и «красный» террор, и новый «виток жестокости» длится вплоть до 1953 года. По мнению Элен Каррер д'Анкосс нынешняя советская политика направлена на «прекращение этого разгула насилия и устранение многовекового страха».

Автор книги считает, что было бы слишком легко и банально приписывать столетиями существовавшее положение свойствам все той же «русской души». Исследовательница пытается докопаться до причин и определить последствия «бича России», найти ему какую-либо альтернативу. Говоря о достоинствах книги, журнал «Лир» подчеркивает «сжатость изложения и глубину анализа». Кроме того, работу Элен Каррер д'Анкосс отличает яркость и эмоциональность стиля, о чем свидетельствует помещенный на страницах журнала отрывок из книги — очерк о правлении Ивана Грозного.

ФРАНСУАЗА САГАН: «НА ПОВОДКЕ»

Рецензию на новый роман Франсуазы Саган «На поводке» критик газеты «Монд» Б. Пуаро-Дельпеш начинает с несколько неожиданной констатации: «Наконец-то перед нами произведение, где откровенно говорится о роли чистогана в сфере чувств! «Денежный интерес» был в течение ста лет своего рода «табу» в литературе, а единственной проблемой, волновавшей читателя, до самого последнего времени была проблема «некоммуникабельности».

Ф. Саган, по мнению рецензента «Монд», чуть ли не первая со времен Бальзака и Золя вновь открыто заговорила о власти денег в любовных взаимоотношениях. Так это или иначе но новая работа знаменитой французской писательницы, как и предыдущие ее произведения, сразу заняла место в списке бестселлеров.

Каков же сюжет этой книги? Дочь банкира Лоранс, к неудовольствию своей семьи, выходит замуж за бедствующего музыканта Венсана. Вкушая комфорт который приносит материальный достаток. Венсан не особенно задумывается, чем же все-таки он привлек богатую невесту. Случай открывает ему глаза. Как-то Венсан сочиняет песенку для фильма знакомого режиссера, и она совершенно неожиданно имеет потрясающий успех. Автор новоиспеченного шлягера получает сразу шесть миллионов. Свалившееся на Венсана богатство вызывает смятение у Лоранс. Муж-неудачник тешил самолюбие женщины, его полная материальная зависимость от нее давала ощущение превосходства. Свобода же супруга означает для Лоранс потерю живой игрушки. Воспользовавшись неопытностью Венсана, тесть дает ему подписать бумагу, лишающую музыканта прав распоряжаться своими доходами. Лоранс вновь получает возможность держать мужа «на поводке». Но покорный до сей поры, он решает взбунтоваться...

Роман Ф. Саган, как достаточно единодушно отмечает критика, читается легко и с удовольствием. Секрет его успеха «Монд» видит в том, что «писательница избегает ненужных современных вывертов» и «ее естественность стоит оригинальности и дерзости иного автора».

«Она рождена была для смерти» — так один из современников сказал о нелепо погибшей в 1933 году французской поэтессе Анне де Ноай. Ее александрийский стих, тонкий лиризм произведений, выраженные в них настроения и чувства — все это может показаться «старомодным» на фоне дадаизма, сюрреализма и других литературно-художественных течений XX века. Однако при жизни блиставшая в свете красавица-графиня пользовалась широким признанием, с ней были дружны М. Пруст, Ж. Ростан, Л. Блюм, Ж. Кокто. Марина Цветаева восторженно писала ей: «Вы вскормлены грудью Этны! Этна — вот кормилица Ваша. Этна — гробница Эмпедокла». О возрождении интереса к жизни и творчеству Анны де Ноай свидетельствует выход в свет ее переписки и биографии, подготовленных к публикации Элизабет Югонне-Дюбуа, а также биографической книги Франсуа Броша о судьбе поэтессы.

Анна де Ноай. Редкая фотография.

(Журнал «Кензен литтерер»)

ПОЛЕТ «ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»

Уже почти два года на оживленной рю дю Бак в самом центре Парижа сотрудники редакции «Пернатого змея» не менее оживленно обсуждают каждый номер журнала, готовя его в печать.

Главная их заслуга отмечает рецензент «Магазин литтерер» Серж Сафран, — «в пестовании жанра новеллы, в 70-е годы превратившейся в Золушку мировой прозы». Столичная пресса уже не раз отмечала подготовленные «Пернатым змеем» публикации произведений крупнейших современных писателей (Г. Грина, А. Моравиа, В. Набокова, Ф. Дюрренматта, Г. Гарсиа Маркеса, И. Бродского) и более молодого поколения «серьезных прозаиков» (А. Табукки, Р. Карвер, Б. Штраус).

Издание, выходящее ежеквартально, весьма необычно по оформлению: это прозрачная пластиковая папка с десятью двойными листами, на каждом из которых крупным или мелким шрифтом, в зависимости от объема текста, набрана только одна новелла. Внизу последней страницы дается библиографическая справка об авторе и сведения о переводчике. Функцию обложки выполняют репродуцированные на плотном бристоле картины известных сегодня на Западе художников.

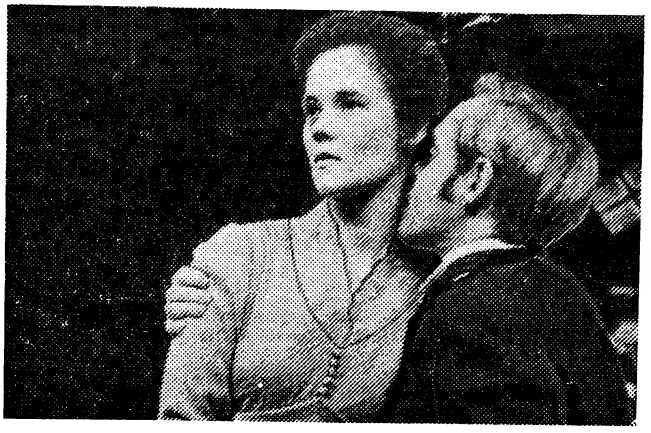
Недавно с помощью своих специальных корреспондентов за пределами Франции журнал начал выпускать так называемые «региональные номера». Каждый из них будет посвящен новеллистике одной страны — «страны, где чтят и бережно хранят традиции этого жанра». Итак, подытоживает С. Сафрак, пятая книжка журнала открывает читателю «литературный горизонт Великобритании» на примерах прозы Г. Грина, Д. Лессинг, И. Макьюэна, М. Эмиса, К. Исигуро. В приложении к номеру печатается интервью с безвременно скончавшимся Б. Четвином.

Швеция

«КУКОЛЬНЫЙ ДОМ» ПО БЕРГМАНУ

На сцене ведущего театра страны «Драматен» состоялась премьера: Ингмар Бергман, нынешний главный режиссер театра, поставил «Кукольный дом» Г. Ибсена. (Для этой постановки молодому шведскому писателю Класу Эстергрену был специально заказан новый перевод пьесы.)

В «Кукольном доме» (1879), одном из самых известных произведений великого норвежского драматурга, обнажается скрытая драма семейной жизни адвоката Хельмера и его жены Норы, на первый взгляд счастливой, но основанной на эгоизме и лжи. Героиня Ибсена принимает решение уйти от непонимающего ее мужа, чтобы «воспитать себя самоё» и «попытаться стать человеком» — эта концепция была поистине новаторской и смелой для норвежской литературы своего времени. Недаром после написания «Кукольного дома» Ибсена обвинили в «аморализме».



Пернилла Эстергрен и Пер Маттсон в спектакле Ингмара Бергмана по «Кукольному дому» Г. Ибсена.

(Газета «Гётеборгспостен»)

В интерпретации Бергмана пьеса претерпела некоторые изменения: так, например, время действия приближено к нашим дням, иные персонажи отсутствуют. По мнению рецензента газеты «Дагенс нюхетер», режиссер стремился добиться иной, чем у Ибсена, расстановки акцентов. «Кукольный дом» в «Драматене» — рассказ не столько об освобождении женщины, сколько о взаимоотношениях между мужем и женой, между родителями и детьми, которых ранят поступки взрослых. Как считает критик, спектакль представляет собой «сцены из супружеской жизни», «набор фотографий из семейного альбома», оживших благодаря блестящей игре слаженного актерского ансамбля.

Ансамбль этот состоит из лучших актеров современной Швеции — достаточно назвать хотя бы Эрланда Юсефсона, широко известного по фильмам «Ностальгия» и «Жертвоприношение» А. Тарковского. Особо «Дагенс нюхетер» выделяет исполнительницу роли Норы Пернилу Эстергрен; эту молодую талантливую актрису советские зрители могли видеть в фильме Бергмана «Фанни и Александр».

Критики восторженно приняли постановку, единодушно отметив, что «Кукольный дом» в истолковании Бергмана — глубокое и тонкое произведение искусства, где тщательно выверена каждая интонация.

■

Авторы этого номера

КЭТРИН ЭНН ПОРТЕР (KATHERINE ANNE PORTER; 1890—1980) — американская писательница. Автор сборников рассказов «Цветущее Иудино дерево» («Flowering Judas», 1930), «Гасиенда» («Hacienda», 1934), сборника повестей «Бледный конь, бледный всадник» («Pale Horse, Pale Rider», 1939), романа «Корабль дураков» («Ship of Fools», 1962), переведенного на разные языки мира. К. Э. Портер была удостоена многих литературных наград, в том числе Национальной книжной и Пулицеровской премий.
В «Иностранной литературе» напечатаны ее рассказ «Как была брошена бабушка Вэзеролл» (1976, № 7), повесть «Бледный конь, бледный всадник» (1979, № 1), в «Библиотеке «ИЛ» — книга «Полуденное вино», включающая повести и рассказы (1985).
Повесть «Падающая башня» вышла в США в 1944 году («The Leaning Tower», New York, Harcourt, Brace & Co., 1944).

ДЖЕЙМС ЛЛОЙД КАРР (JAMES LLOYD CARR; род. в 1912 г.) — английский писатель, издатель и составитель словарей диалектов и сленгов английского языка. Автор романов «Летним днем» («A Day in Summer», 1964), «Доклад Харпола» («The Harpole Report», 1972), «Битва при Поллоке» («The Battle of Pollocks Crossing», 1985) и др. Повесть «Месяц в деревне» издана в Англии в 1980 году («A Month in the Country». London, Penguin Books, 1980).

ЙОРДАН РАДИЧКОВ (род. в 1929 г.) — болгарский прозаик, драматург, лауреат Димитровской премии. Автор многих сборников рассказов, среди них «Сердце бьется для людей» («Сърцето бие за хората» 1959), «Козья борода» («Козята брада», 1967), «Воспоминания о лошадях» («Спомени за коне», 1975), романов «Все и никто» («Всички и никой», 1975), «Праща» («Прашка», 1977), «Ноев ковчег» («Ноев ковчег», 1988), пьес, путевых очерков, книг для детей.
В русском переводе изданы книги «Опрокинутое небо», «Ветер спокойствия», «Мы, воробышки», «Избранное» (в серии «Мастера современной прозы»), пьеса «Попытка полета» шла на сцене МХАТа. В «Иностранной литературе» напечатаны новеллы «Жаркий полдень» (1964, № 5), «Воскресенье» (1969, № 5), рассказы из книг «Пороховой букварь» (1974, № 2), «Нежная спираль» (1985, № 7).
Пьеса «Образ и подобие» опубликована в болгарском журнале «Съвременник» (1986, № 2). Предлагаемый перевод сделан по тексту, предоставленному редакции автором.

АНТОНИО МАЧАДО-И-РУИС (ANTONIO MACHADO Y RUIZ; 1875—1939) — испанский поэт, эссеист. Автор поэтических сборников «Одиночество» («Soledades», 1903), «Поля Кастилии» («Campos de Castilla», 1912), «Новые песни» («Nuevas canciones», 1924), «Апокрифический песенник Абеля Мартина» («Cancionero apócrifo de Abel Martiín», 1926), «Стихи о войне» («Poesías de la guerra», 1936—38), книги стихов и прозы «Хуан де Майрена. Изречения, шутки, замечания и воспоминания апокрифического профессора» («Juan de Mairena. Sentencias, donaires, apuntes y recuerdos de un profesor apócrifo», 1936).
Произведения А. Мачадо выходили на русском языке отдельными изданиями (наиболее полное — «Избранное». М., 1975), включались в антологии — «Испанские поэты XX века» (М., БВЛ, 1977), «Жемчужины испанской лирики» (М., 1984) и др., печатались в периодике.
В предлагаемую подборку вошли не переводившиеся ранее стихотворения поэта из его книг разных лет.

ДЖЕК ФЛЕТЧЕР (JACK FLETCHER) — американский писатель, живущий на Среднем Западе. Служил во Вьетнаме в качестве военного советника. Член Американского легиона, Ассоциации вьетнамских ветеранов и организации «Вьетнамские ветераны против войны».
Статья «Вьетнам и Афганистан: жизнь и литература» получена от автора в рукописи.

НЕДОШИВИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1945 г.) — советский публицист, кандидат философских наук. Автор ряда работ по литературе, культуре, философии, публиковавшихся в советской периодике: в газетах «Правда», «Советская культура», «Комсомольская правда», в журналах «Коммунист», «Юность», «Урал» и др.

ФРАНТИШЕК ЯНОУХ (FRANTIŠEK JANOUCH, род. в 1931 г.) — чехословацкий физик, правозащитник и публицист. Председатель Фонда «Хартия 77». С 1974 года живет в эмиграции. Автор книг «Без паспорта на крышу мира» (1964), «Китай далекий и близкий» (1985). Книга «Нет, я не сожалею...» («Ne, nestěžuji si...») издана по-чешски в ФРГ и по-шведски в Швеции в 1982 году. С января 1990 года Ф. Яноух — советник президента ЧССР.
Перевод на русский язык получен редакцией в рукописи.

Переводчики

БЕСПАЛОВА ЛАРИСА ГЕОРГИЕВНА — советский переводчик с английского и французского языков. В ее переводах издавались романы И. Во «Пригоршня праха», А. Моруа «Три Дюма» (совместно с С. Шлапоберской), А. Кристи «Восточный экспресс» и «Десять негритят», повести и рассказы У. Фолкнера, С. Беллоу, В. Вулф, К. Э. Портер и др.

ВИТКОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1950 г.) — советский поэт и переводчик. В его переводах публиковались произведения Д. Китса, Р. Киплинга, Р.-М. Рильке, А. Рембо, Л. Арагона, Л. де Камоэнса, Г. Бенна, а также южноафриканских поэтов Э. Криге, Л. И. Оппермана, И. Йонкер, Л. Спис, Б. Брейтенбаха и др.

НИКОЛАЕВСКАЯ АЛЛА ГЕОРГИЕВНА — советский критик и переводчик, автор статей по современной английской литературе. Переводила романы Дж. Уэйна «Малое небо», Б. Маклэверти «Лэм», Б. Хайнса «Взгляды и улыбки», книгу мемуаров У. Сарояна, рассказы Эдны О'Брайен, У. Тревора, В. Притчетта и др.

ГЛЕН НИКА НИКОЛАЕВНА — советский переводчик болгарской прозы и драматургии. В ее переводе опубликованы романы К. Калчева «У истоков жизни», И. Петрова «Облава на волков», повесть Б. Райнова «Дороги в никуда», В. Андреева «Партизанские рассказы», повести и рассказы Св. Минкова, Э. Станева, пьесы С. Стратиева, И. Радоева и др. Переводила многие произведения И. Радичкова, в том числе публиковавшиеся в «Иностранной литературе».

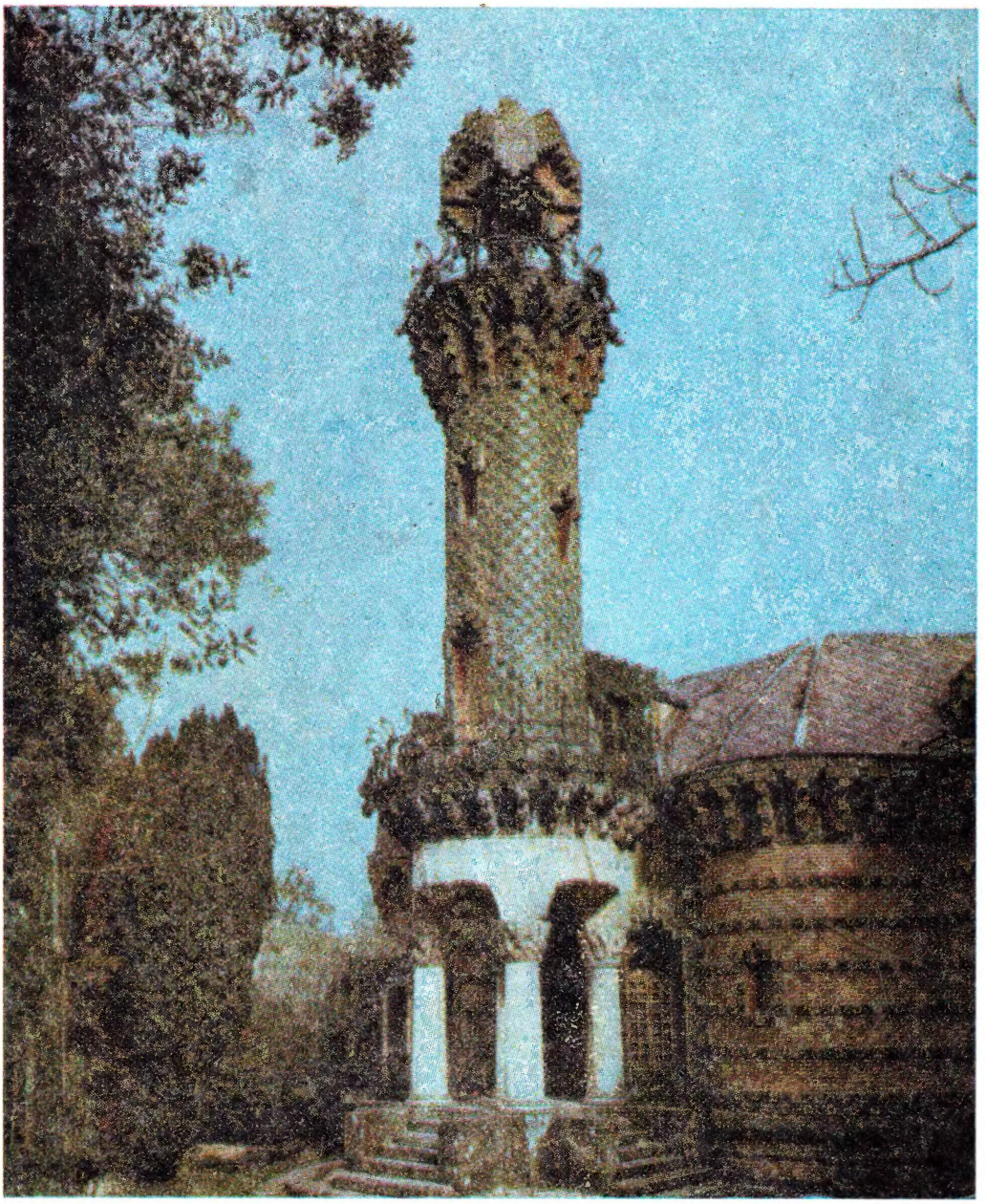
АДА КОЛЬМАН — доцент кафедры радиационной биологии Стокгольмского университета, переводчик с чешского.

■

Вентиляционная система Дома Мила.

1 р. 80 к.

ИНДЕКС 70394



ISSN 0130—6545 Иностранная литература, 1990, № 3, 1—256